This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Slav 4115.65

EX LIBRIS

V. BOGUSLAVSKI

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

230-382
+ intro, contents
413-466

ОЧЕРКИ

РУССКОЙ ЛИТТЕРАТУРЫ.

ОЧЕРКИ

РУССКОЙ

ЛИТТЕРАТУРЫ.

СОЧИНЕНІЕ

НИКОЛАЯ ПОЛЕВАГО.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1839.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Slav 4115.65 (1)

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JUN 13 1958

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, Мая 11 дня, 1838 года.

Ценсоръ *П. Корсаковъ.*

Въ типографіи Сахарова.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стран.

Нѣсколько словъ предварительно VII

Сочиненія Г. Р. Державина 1

Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго 95

Борисъ Годуновъ. Соч. А. С. Пушкина . . . 145

А. С. Пушкинъ 211

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Соч. К. А. Полеваго 231

Торквато Тассо. Соч. Н. В. Кукольника . . . 281

Русскіе Классики. Соч. князя А. Д. Кантемира. 355

Басни Ивана Хемницера 383

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Соч. Ивана Козлова 413

Пѣсни и романсы Мерзлякова 431

Стихотворенія Михаила Дмитріева. 439

Двумужница, драма. Соч. князя А. А. Шаховскаго 448

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ

ОТЪ

СОЧИНИТЕЛЯ.

Издатель книги, которая представляется благосклонному читателю, можетъ подтвердить, что самъ я не думалъ издавать ее, когда онъ предложилъ мнѣ ее печатать; я согласился на его предложеніе — книга является въ свѣтъ. Правда, мнѣ самому давно думалось: собрать и издать критическія статьи, помѣщенныя мною въ теченіе *двадцати лѣтъ* въ разныхъ Русскихъ Журналахъ, но, главное, за сборомъ было дѣло! Предпріятіе, казалось мнѣ, требовало труда, а особенно времени; чего у меня недоставало. Если писатель не лишенъ литтературной совѣсти и не ослѣпленъ смѣшнымъ честолюбіемъ, и если притомъ онъ много писалъ и много работалъ для Критики современныхъ изданій, то едвали согласится онъ вновь перепечатать безъ разбора, что напечаталъ въ жизнь свою, а такой-то именно разборъ дѣло довольно затруднительное. Пусть всегда водило перомъ писателя чистое желаніе добра, пусть статьи его въ свое время имѣли цѣну въ глазахъ современниковъ, достигали цѣли, для которой были писаны. Но время—время судія грозный и строгій: отношенія бываютъ перемѣнчивы, и такъ часто, и такъ быстро; самъ сочинитель подверженъ неизбѣжному закону измѣненія, а притомъ Критика не то, что художническое созданіе. Не помню кто-то говорилъ, что завоеваніе всѣ-

кой истины, во всякомъ времени, похоже на осаду крѣпостей и сраженія между двумя войсками. Для того и другаго строятъ баттареи, копаютъ рвы, разбиваютъ лагери. Взята крѣпость, выиграна битва, и укрѣпленія, рвы, баттареи забыты; самый подвигъ остается только въ нѣсколькихъ строкахъ реляціи, когда, можетъ быть, имъ свершилось великое событіе, и онъ стоилъ жизни многимъ храбрымъ, былъ плодомъ геніяльнаго соображенія полководца, ознаменованъ чудесами отваги и смѣлости. Такъ истина, завоеванная въ то или другое время, сливаясь съ другими чертами исторіи просвѣщенія и образованія, преобразованная, измѣненная, составившая часть запаса, скопляемаго вѣками, походитъ на взятую крѣпость, на выигранную битву. А Критика, а работа людей, которые взяли, выиграли ее, не тѣ-ли они баттареи, рвы, окопы, укрѣпленія, которыми пріобрѣтенъ былъ успѣхъ? Любопытны-ли они будутъ, когда и самый предметъ ихъ уже потерялъ цѣну новости — сдѣлался положительною, безспорною истиною, и не возбуждаетъ живаго любопытства людей, быстро летящихъ впередъ, увлеченныхъ новыми страстями, новыми битвами за истины, прежде неизвѣстныя? Пусть Критика устремлена была на предметы важные; пусть она показала цѣну и достоинство того, что безъ нея не было-бы оцѣнено и понято людьми; пусть она безстрашно передала наслѣдникамъ то, что безъ нея истлѣло-бы, дошло до потомства въ искаженномъ видѣ, оклеветало предка передъ потомками — кому о томъ забота? Кто знаетъ умныхъ, трудолюбивыхъ комментаторовъ Омира, читая Иліаду?..

Но, подвигъ никакой не пропадаетъ, большой и малый. Есть въ Исторіи мѣсто для великихъ событій, есть мѣстечко для примѣровъ частнаго самопожертвованія, достопамятныхъ происшествій и мгновенныхъ случаевъ, гдѣ вмалѣ блеснуло достоинство человѣка, среди тьмы, его окружавшей! Отношеніе, время и мѣсто оцѣняютъ каждое дѣло. Всякому свое. И если мысль пережить себя есть мысль отрадная—пусть не гремитъ шумная молва потомства о какомъ нибудь смиренномъ труженникѣ ученія, о томъ, кто безвѣстно погибъ, сражаясь въ рядахъ другихъ—будетъ и имъ память немногихъ, и ихъ дѣла также оцѣнитъ, узнаетъ избранный, и для нихъ также забьется сочувствіемъ сердце какого нибудь потомка—Исторія и имъ дастъ строчку на своихъ скрижаляхъ, если только истина была цѣлью скромнаго труда ихъ, если пользы ближнихъ руководила ихъ, если совѣсть не упрекала ихъ за сдѣланное. Какъ часто, утомленное настоящимъ, потомство обращается къ прошедшему, какъ часто ищетъ оно рѣшеній будущаго въ минувшемъ, и какъ часто хотѣлось-бы ему видѣть для того предковъ во всевозможно полной картинѣ, со всѣми дробями ихъ страстей, ихъ отношеній, даже бошмаковъ и внѣшней одежды! Литература, столь важная часть общественнаго быта, должна занимать мѣсто въ подробностяхъ того, что настоящее обязано передать будущему. На такихъ подробностяхъ основанъ интересъ Записокъ, которыя можетъ и долженъ оставлять послѣ себя каждый, кому удалось видѣть и замѣтить что нибудь въ своемъ времени. Ихъ долженъ оставить послѣ себя и литераторъ, которому удалось быть дѣятельнымъ сви-

ди своихъ современниковъ. Какъ любопытно было-бы теперь намъ читать Записки какого нибудь современника Ломоносова, Державина, Карамзина! Настанетъ время, когда любопытный потомокъ также пожелаетъ имѣть Записки современника Грибоѣдова, Пушкина, литтератора нашей эпохи, имѣющей также свои любопытныя стороны. Журналы, Критику не должно-ли отчасти причислить къ разряду Записокъ? Не показываютъ ли они также многообразныхъ сторонъ своего времени, страстей его, мнѣній, подробностей быта? — Вотъ точка, съ которой смотрѣлъ я на свои критическія статьи, рѣшаясь выбрать и напечатать изъ нихъ, подъ именемъ *Очерковъ*, то, что можетъ еще принесть нѣкоторую пользу въ настоящемъ, показать замѣчательныя подробности прошедшаго, и представляетъ личный интересъ для меня самого. Послѣднее важно мнѣ, какъ человѣку, какъ члену общества, и семьянину, который хочетъ, чтобы дѣти его за него не краснѣли.

Немногіе изъ Русскихъ литтераторовъ, говоря вообще, писали столь много, и въ столь многообразныхъ родахъ, какъ я. Едвали какой нибудь современный предметъ, сколько нибудь волновавшій умы и сердца моихъ современниковъ, не обращалъ на себя моего вниманія, какъ критика и журналиста. Изученіе и разборъ всего, что мелькало передъ нами, въ минувшіе 15-ть, 20 лѣтъ, увлекали меня безпрерывно и постоянно. Осмѣливаюсь думать, что въ томъ, что было мною писано, и не одни современники найдутъ поводъ къ размышленію. Многое изъ спорнаго для

насъ еще донынѣ не рѣшено и предоставляется рѣшенію, можетъ быть, дѣтей нашихъ, а особенно можетъ и должно еще занять насъ самихъ въ настоящемъ времени. — Менѣе-ли любопытны современныя черты прошедшаго, на которыя теперь самъ я смотрю, какъ посторонній зритель, уже не сочувствуя имъ живымъ участіемъ, какое увлекало меня нѣкогда, смотрю, какъ на бумаги выигранпаго или проигранпаго процесса судебнаго? Наконецъ, мои личныя отношенія къ тому, что я писалъ — они для меня всего важнѣе.

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать въ слухъ, что никогда не увлекался я, ни злобою—чувствомъ для меня презрительнымъ, ни завистью — чувствомъ, котораго я не понимаю — никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убѣжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда сильно билось для всего великаго, полезнаго и прекраснаго. Смѣю думать, что самые враги мои, если они и въ состояніи сказать обо мнѣ очень многое — въ тайнѣ сердца своего не станутъ противорѣчить симъ словамъ моимъ. Смѣю прибавить, что такое постоянное стремленіе доставляло мнѣ минуты прекрасныя, усладительныя, награждавшія меня за горести и страданія жизни моей. Не разъ пожимали мнѣ руку тѣ, кто лучше узнавалъ меня, дѣлались друзьями тѣ, кто не любилъ меня прежде, смотря на меня съ невѣрной точки зрѣнія. Сколько разъ слышалъ я искреннюю благодарность и привѣтъ добродушныхъ юношей, говорившихъ, что мнѣ одолжены они нравственнымъ на-

слажденіемъ и вѣрою въ добро! Не скажетъ оно мнѣ, кто приметъ на себя трудъ познакомиться съ тѣмъ, что было мною писано, не скажетъ, чтобы я чѣмъ либо обезславилъ званіе, которое всегда высоко цѣнилъ и цѣнилъ—званіе литтератора. Мои слова не самохвальство, но искренній голосъ человѣка и литтератора, который дорожитъ названіемъ *честнаго*. Между тѣмъ, въ столько лѣтъ... какъ человѣкъ, я платилъ горькую дань несовершенствамъ и слабостямъ человѣка... Сколько разъ видалъ я, что мое искреннее увѣжденіе бывало невѣрно, сколько разъ разочаровывался я въ мечтахъ моихъ, сколько разъ обманывали меня обольстительныя надежды!.. Пусть вержетъ за то на меня камень тотъ, кто самъ не испыталъ обмана и разочарованія въ окружающемъ его, и — что еще грустнѣе — въ самомъ себѣ!.. Если ты еще юнъ, собратъ мой — ты не судья мнѣ: дай провиться сѣдинѣ на головѣ твоей, дай похолодѣть сердцу твоему, дай утомиться силамъ твоимъ отъ труда и времени, и тогда говори и суди меня!

Если я былъ однимъ изъ самыхъ многописавшихъ и самыхъ дѣятельныхъ литтераторовъ своего времени, я долженъ былъ чаще другихъ сталкиваться съ своими современниками. Смѣло говоря то, что, покрайней мѣрѣ, казалось мнѣ истиною, я долженъ былъ возбуждать противъ себя весьма многихъ. Не зная чувства робости, не умѣя мириться съ другими уступкою совѣсти, я смѣло вызывалъ на битву и не укрывался отъ единоборства ни съ кѣмъ. Потому не о многихъ и на

противъ многихъ литтераторовъ было столько писано, какъ обо мнѣ и противъ меня. Немного литтераторовъ Русскихъ было донынѣ, которые возбуждали-бы столько свирѣпыхъ нападеній, какъ я, и — я стыжусь даже за многихъ, стыжусь: какое низкое, постыдное оружіе безсовѣстныхъ порицаній, лживыхъ толковъ и клеветъ они употребляли противъ меня! Честное слово, что теперь, начиная пятый десятокъ жизни моей, и третій съ того времени, какъ выступилъ я на поприще литтературное, честное слово, что до сихъ поръ не знаю ни одного *человѣка*, ни одного *литтератора*, которыхъ-бы я ненавидѣлъ — несправедливость и ошибку каждаго я всегда прощалъ и прощаю, готовый самъ сознаваться въ своей несправедливости и ошибкѣ. Но, признаюсь: есть *три*, *четыре существа*, которыхъ — не могу не презирать! Прошу простить: презрѣніе чувство невольное. Можно не сердиться на врага своего, можно прощать его и желать ему добра: гнѣвъ въ нашей власти. Но никакія силы человѣческія не властны побѣдить чувства презрѣнія, возбуждаемаго *нѣкоторыми* людьми... Къ счастью человѣчества, число такихъ людей всегда бываетъ ограничено; порадуемся: они рѣдкія явленія, уроды нравственнаго міра... Но не о томъ рѣчь.

Столько лѣтъ подверженный нападеніямъ многочисленнымъ, столько разъ сражавшійся, и противъ столькихъ, я долженъ былъ неоднократно подвергаться пересудамъ и кривымъ толкамъ, и они могли набросить на меня тѣнь въ глазахъ постороннихъ, даже

многихъ, можетъ быть. Мы всѣ такъ легковѣрны на зло, такъ лѣнивы, когда надобно разсмотрѣть молву о ближнемъ, такъ любимъ безотчетно повторять, что слышали, повторять даже безъ всякой злобы, съ улыбкой на устахъ, какъ шутку, какъ острое словцо, что, безъ сомнѣнія, и я остаюсь безъ вины виноватъ въ мнѣніи иныхъ людей, впрочемъ достойныхъ всякаго уваженія. Нѣкоторые увѣрены, на примѣръ, что я несправедливо, безъ должнаго уваженія, по чувству эгоизма возставалъ на Карамзина, что я дерзко писалъ о Пушкинѣ, Жуковскомъ, и проч. и прочее, чего не исчисляю, и о чемъ было сто разъ повторяемо печатно. Не хочу упоминать объ обвиненіи болѣе тяжкомъ, которое перешло даже за предѣлы Россіи, и отозвалось въ сочиненіяхъ иностранцовъ, удостоившихъ насъ чести писать о современной Русской Литтературѣ, по глухимъ и невѣрныхъ извѣстіямъ. Сколь многіе притомъ считали меня участникомъ и перебѣжчикомъ разныхъ партій литтературныхъ! На всѣ такія мнѣнія, пусть отвѣтствуетъ издаваемая мною нынѣ книга: въ ней нѣтъ ничего вновь мною прибавленнаго; въ ней только собрано то, что думалъ и писалъ я въ теченіе многихъ лѣтъ. Я не исключилъ изъ нея ничего прежняго, и смѣю думать, что она послужитъ мнѣ оправданіемъ передъ всѣми. Въ ней увидятъ, что такое называли мои противники дерзкими, неприличными выходками противъ Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, увидятъ мои литтературныя и всякія мнѣнія, надежды, догадки, мысли, увидятъ, какъ однообразно, постоянно доброе намѣреніе всегда одушевляло меня, уваженіе

къ истинному и прекрасному водило перомъ моимъ, и какъ общая польза всегда была моею цѣлью. Въ Романѣ, Драмѣ, Исторіи, Критикѣ, я всегда былъ одинъ и тотъ-же. Мечтатель въ повѣсти, безпристрастный изслѣдователь въ Исторіи, иногда строгій критикъ чужаго произведенія, я ошибался и думалъ, можетъ быть, невѣрно, но никогда не измѣнялъ добру, и никогда не подымалась рука моя сорвать вѣнокъ съ заслугъ, никогда голосъ мой не возвышался противъ дарованія истиннаго! Потому-то согласился я съ особенною охотою на предложеніе почтеннаго Издателя *Очерковъ*. Критическія статьи мои собраны изъ десятковъ томовъ разныхъ повременныхъ изданій. Пусть строго осудятъ ихъ, пусть не найдутъ въ нихъ ничего такого, за что стоили-бы они перепечатыванія, пусть скажутъ, что они имѣли интересъ только временный — спорить не стану. Правда, позволяю себѣ думать, что нѣкоторыя мысли о теоріи наукъ и искуствъ, изображенія Ломоносова, Державина, Кантемира, Дмитріева, Хемницера могутъ имѣть и не мимолетный интересъ; что разборы сочиненій Пушкина, Жуковскаго, Мерзлякова, Козлова, Карамзина, Кукольника, Берха, и проч., имѣютъ цѣну, какъ матеріялы для Исторіи нашей литтературы; что другія статьи, о путешествіяхъ Муравьева, Щукина, Бѣлявскаго, Турецкой войнѣ 1828 года, и теперь любопытны будутъ, какъ дополненія характеристики нашего времени—все это я позволяю себѣ думать, но если скажутъ, что я думаю несправедливо — согласенъ и не спорю! Я не судья самъ себѣ. Но, да позволятъ же мнѣ представить мои статьи, какъ

личное оправданіе мое, и какъ первые опыты Русской самобытной Критики. До появленія моего въ журнальной Литтературѣ, Критика только изрѣдка мелькала въ нашей Журналистикѣ. Отдадимъ справедливость немногимъ критическимъ статьямъ Греча, Мерзлякова, Качеповскаго, Булгарина и Воейкова: имена сихъ почтенныхъ литтераторовъ останутся, какъ имена остроумныхъ критиковъ, за написанныя ими критическія статьи. Но никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ Критики постоянную часть журнала Русскаго, первый обратилъ Критику на всѣ важнѣйшіе современные предметы. Мои опыты были несовершенны, не полны — скажутъ мнѣ — и послѣдователи мои далеко меня обогнали въ сущности и самомъ образѣ воззрѣнія. Пусть такъ, да и стыдно было бы новому поколѣнію не стать выше насъ, поколѣнія уже преходящаго, потому выше, что оно старше насъ, послѣ насъ явилось, продолжаетъ, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будутъ имѣть для него цѣну историческую. Критика Мерзлякова на Россіяду Хераскова, критика Качеповскаго на сочиненія Дмитріева, критика Греча на Грамматику Академіи, критика Воейкова на трагедіи Грузинцова, критика Булгарина на Образцовыя сочиненія и на Исторію Г. Р. Карамзина, будутъ достойны всегдашняго вниманія, какъ памятники ума и — отваги, которую оцѣнитъ безпристрастный наблюдатель.

Я былъ строгъ въ выборѣ статей моихъ: взялъ весьма немногое изъ многочисленнаго, и только съ

немногимъ предстаю на судъ читателей. Остальное — опыты несовершенные, или статьи слишкомъ частныя, мелочь современная, борьба съ великанами, которые потомъ сами собою превратились въ пигмеевъ, все, все остальное — да тонетъ въ Летѣ! Говоря, что статьи вновь издаваемыя мною остаются въ прежнемъ видѣ, я долженъ однакожь сказать объ одномъ обстоятельствѣ, какъ одной изъ главныхъ побудительныхъ причинъ изданія *Очерковъ*, именно: статьяхъ, заимствованныхъ въ Очерки изъ *Библіотеки для чтенія*, въ которой почти два года былъ я постояннымъ участникомъ. Читатели увидятъ въ этихъ статьяхъ немалыя отмѣны противъ того, какъ онѣ были напечатаны первоначально въ Б. для Ч. — Объяснимся, ибо объясненіе здѣсь весьма важно для меня.

Не мое дѣло, покрайней мѣрѣ, не здѣсь мѣсто излагать начало Б. для Ч. и мое мнѣніе объ ней, или разсказывать о моихъ отношеніяхъ къ ея почтенному Редактору. Скажу одно, что съ самаго начала сего журнала, я былъ рѣшительно несогласенъ съ его цѣлью, планомъ, воззрѣніемъ, и показывая въ началѣ его и потомъ мое искреннее желаніе ему добра и успѣха, я отрекался отъ всякаго постояннаго въ немъ участія, хотя неоднократно былъ увѣдительно приглашаемъ къ тому. Въ 1836 году, когда давно уже прекратился журналъ, мною издававшійся, я пріѣзжалъ въ Петербургъ, и — для чего скрывать? О недобрыхъ поступкахъ надобно говорить во всеуслышаніе. — Добрый, благородный Издатель Б. для Ч., А. Ф. Смирдинъ

оказалъ мнѣ тогда безкорыстную и важную услугу въ моихъ тогдашнихъ, стѣсненныхъ обстоятельствахъ, услугу; когда люди, называвшіеся моими друзьями, люди, которымъ имѣлъ я, можетъ быть, нѣкогда случай быть полезнымъ, отвергли меня, показали мнѣ себя въ самой темной краскѣ безчувственнаго эгоизма... Богъ съ ними! Я давно простилъ имъ! Тѣмъ съ большею признательностью вспоминаю о немногихъ, тѣмъ благодарнѣе былъ и всегда буду я доброму, благородному А. Ф. Смирдину, который за услугу свою требовалъ участія моего въ Б. для Ч.—Отказаться я не могъ. Мы сошлись съ Редакторомъ ея. Послѣ продолжительнаго съ нимъ переговора, я взялъ на себя отдѣленія *Критики* и *Библіографіи*, и началъ доставлять изъ Москвы статьи по обоимъ отдѣленіямъ. Съ перваго шага всѣ условія моего сотрудничества были нарушены Редакторомъ. Не мое было дѣло отвѣчать за статьи самого Редактора и другихъ сотрудниковъ, а равно и *не мои* критическія и библіографическія статьи (ибо, касательно нѣкоторыхъ предметовъ, мы рѣшительно согласиться не могли, и я объ нихъ писать отказался), но, къ изумленію моему, Редакторъ наложилъ право нестерпимаго цензорства на всѣ мои статьи, передѣлывалъ въ нихъ языкъ по своей методѣ, переправлялъ ихъ, прибавлялъ къ нимъ, убавлялъ изъ нихъ, и многое являлось въ такомъ извращенномъ видѣ, что читая Б. для Ч., иногда во все я не могъ отличать: что такое хотѣлъ я сказать въ той или другой статьѣ? Не говорю о статьяхъ библіографическихъ — библіографія Б. для Ч. вообще была безпрерывною шуткою; я не дорожилъ ею и отдалъ ее на жертву

прихоти Редактора, но передѣлкѣ подвергались и всѣ большія статьи. Возраженія мои были тщетны, и не смотря на все желаніе мое исполнить желаніе доброго А. Ф. Смирдина, я принужденъ былъ, въ Декабрѣ 1837 года, рѣшительно отказаться отъ всякаго участія въ Б. для Ч. — Между тѣмъ мое сотрудничество не было тайною, и въ совѣсти моей я не могъ быть спокоенъ, видя свои статьи обезображенными,—хотя подъ ними и не было моего имени. До какой степени мысли мои были измѣнены — повѣрить трудно! При веду три или четыре примѣра. Я послалъ Редактору статью о комедіи М. Н. Загоскина: *Недоволь-ные*, гдѣ говорилъ о комедіи Грибоѣдова, изъявляя безпристрастно мнѣніе мое, и отдавая справедливость и прекрасному произведенію М. Н. Загоскина и превосходному произведенію Грибоѣдова. Редакторъ прибавилъ брань на *Ревизора*, комедію г. Гоголя, и придалъ словамъ моимъ о Грибоѣдовѣ такой смыслъ, что ими оскорбилъ всѣхъ почитателей памяти Грибоѣдова, и прежде всѣхъ перваго меня. — Въ статьѣ о *Пушкинѣ*, написанной мною по полученіи въ Москвѣ извѣстія о горестной утратѣ великаго поэта, Редакторъ вставилъ цѣлую страницу мнѣній своихъ о Русскомъ языкѣ, съ коими я никакъ не могъ согласиться (тѣмъ болѣе, что подъ статьею было подписано мое имя). — Изъ статьи объ *Исторіи Крестовыхъ походовъ*, соч. Мишо (пер. г-на Бутовскаго), Редакторъ отрѣзалъ окончаніе и замѣнилъ его своимъ, которое, кромѣ того, что было во все несогласно съ моимъ образомъ мыслей, но рѣшительно противорѣчи-

по началу и средине статьи. — Въ статьѣ объ *Исторіи жизни и путешествій Колумба*, Редакторъ вставилъ *похвалы мнѣ* и брань на Русскій переводъ сей книги г-на Бредихина, чего никогда не писалъ я. Я хотѣлъ разсуждать, а меня заставляли браниться. Но всего забавнѣе было приключеніе съ статьею о стихотвореніяхъ г-на Соколовскаго: *Міроздание* и *Хеверъ*. Желая показать, что поэтъ совершенно превратно смотритъ на предметъ свой, я написалъ статью, гдѣ подробно изложилъ свои мысли о Духовной Поэзіи и сочиненіяхъ г-на Соколовскаго. Редакторъ Б. для Ч., какимъ-то непостижимымъ для меня образомъ, умѣлъ вырѣзать изъ статьи нѣкоторыя частицы, и помѣстилъ ихъ въ библіографіи, а остальному далъ названіе: *О Духовной Поэзіи*, и въ видѣ статьи отдѣльной напечаталъ въ отдѣленіи *прозы*, съ моимъ именемъ. Въ этой статьѣ столько нашелъ я прибавокъ, урѣзокъ, измѣненій, что вовсе не понялъ и теперь не понимаю, о чемъ идетъ въ ней рѣчь! Статья начинается, на примѣръ, небывалымъ анекдотомъ, будто Пушкинъ разговаривалъ нѣкогда съ Батюшковымъ о Русскихъ стихахъ. Но Батюшкова съ 1817 года не было уже въ Петербургѣ, когда Пушкинъ былъ еще ученикомъ въ Лицеѣ, писалъ дѣтскіе стихи, и не могъ разсуждать о поэзіи Русской съ однимъ изъ корифеевъ тогдашней Русской поэзіи. По крайней мѣрѣ, я ничего подобнаго не слыхивалъ отъ Пушкина и ничего не писалъ о разговорѣ его съ Батюшковымъ.

Радуюсь, что теперь, печатая *Очерки*, могу осво-

водить себя отъ непринадлежащаго мнѣ и ненризнаваемаго мною. Беру изъ Б. для Ч. тѣ только мои статьи, которымъ (не имѣя у себя прежнихъ оригиналовъ моихъ) могъ я памятью возвратить, насколько возможности настоящій смыслъ ихъ. Отъ всего остальнаго, что писано въ Б. для Ч., въ отдѣленіи Библіографіи, 1836 и 1837 годовъ, я рѣшительно отрекаюсь и ничего тамъ помѣщеннаго прошу не почитать моимъ: оно ни мое, ни редакторово, а Богъ знаетъ чье, и что оно таков, я первый менѣе всѣхъ понимаю. Изъ статей Критическихъ, можетъ быть, будутъ еще взяты нѣкоторыя въ 3-й и 4-й томы *Очерковъ*, если только сіи томы будутъ изданы.

Мои предварительныя объясненія кончились. Пусть книга говоритъ сама за себя — это уже не мое дѣло. Не знаю: удостоится ли вновь благосклоннаго вниманія читателей издаваемое книгою, что нѣкогда было награждаемо одобреніемъ почтенныхъ и просвѣщенныхъ современниковъ въ видѣ статей журнальныхъ. Самъ чувствую, перечитывая нынѣ иное, черезъ много лѣтъ, не полноту, несовершенство многаго, но если бы считалъ я мои *Очерки* рѣшительно безполезными въ настоящее время — для чего лицемѣрить? — я не сталъ-бы ихъ перепечатывать...

Многое въ нихъ обновляетъ для меня въ настоящемъ чувство утѣшительное, но еще больше внушаетъ чувство грустное, сознаніе не достигнутой мечты, не-

выраженныхъ идеаловъ. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто *жилъ* сколько нибудь и *мыслилъ*. Только невѣжество, только глупость получили на сей землѣ, впрочемъ, не знаю счастливую ли, участь самодовольства. Есть другая награда, болѣе драгоцѣнная, которою благословляетъ насъ Провидѣніе: мысль, что если Богъ далъ намъ что нибудь, сильно горѣвшее въ душѣ нашей, сильно тревожившее насъ въ дни нашей юности, еще безсознательнымъ, темнымъ ощущеніемъ, мы: не погубили его потомъ въ суетѣ и бѣдствіяхъ жизни, *не зарыли таланта въ землю, какъ рабъ лѣнивый*, въ притчѣ Евангельской, старались разработывать тайные рудники души нашей, не тушили свѣта во мракѣ тяжелаго бытія. Да, такая увѣренность награда сладостная и драгоцѣнная. Пусть мы не достигли искомыхъ нами идеаловъ, пусть не оправдали надежды на самихъ себя, покрайней мѣрѣ, порадуемся, что не безплодно утраченная протекла жизнь наша..

Теперь, когда по вычету вѣроятностей, мнѣ остается жить менѣе, нежели я жилъ, когда посулы будущаго уже не обольщаютъ души моей, и золотые сны не облекаютъ наготы существеннаго, когда лѣта и жизнь чаще приковываютъ взоры мои къ общей нашей матери, землѣ, и прогулки на кладбище становятся для меня утѣшительнѣе самаго веселаго пира, болѣе другихъ строго сужу я обо всемъ, что успѣлъ сдѣлать, и думаю: *какъ мало сдѣлано*! — Не рѣдко въ душѣ моей вскипаетъ еще желаніе дѣятельности, иногда воображеніе еще далеко ставитъ грани того, что *можно*

сдѣлать.., Но угрюмый опытъ останавливаетъ мечту и щиплетъ крылья моего воображенія...

Съ какою радостью желалъ-бы я передать юному, свѣжему силами поколѣнію все, что многолѣтній опытъ, размышленіе и трудъ дали мнѣ, все, что таится въ душѣ моей, для пользы ближнихъ, для чести отечества, для присовокупленія въ сокровищницу знаній, и что, вѣроятно, погибнетъ не высказанное, умретъ со мною!... Сколько еще предметовъ для работы, сколько труда, почетнаго, прекраснаго въ настоящемъ состояніи нашего просвѣщенія и образованія! Желалъ-бы я указать на сіи труды и работы, ожидающія дѣлателей, желалъ бы сказать: »Дорожите каждымъ часомъ, каждою минутою нашего невѣрнаго, мимолетнаго бытія; помните, что только пользою и добромъ оцѣняется наша жизнь — *здѣсь* и *тамъ*, и если не всякому изъ насъ дано, если только не многимъ избраннымъ дано призваніе творца, поэта, художника, то ни у кого изъ насъ не отнята воля на трудъ, а при сильной волѣ, человѣкъ можетъ сдѣлать многое, очень многое, больше, нежели онъ себѣ сначала воображаетъ. Но помните, что только трудомъ и размышленіемъ покупается честь и успѣхъ, упорствомъ, постоянствомъ въ стремленіи къ положенной цѣли, и что не рѣдко — часто даже — насъ встрѣчаютъ неблагодарность, злоба, своекорыстіе, насмѣшка. Не робѣйте, друзья! Паче всего гоните отъ себя *духъ унынія*; ищите награды въ самомъ трудѣ, не ожидая другой награды — придетъ и она, можетъ быть.» ...

Все это, и многое еще желалъ-бы я сказать тѣмъ, кто долженъ смѣнить насъ на поприщѣ міра — сказать, что всѣ наши пожертвованія, всѣ труды наши, всю горесть бытія, на поприщѣ науки и искуства искупаютъ минуты, какихъ не знаетъ человѣкъ, не испытавшій работы умственной. Какое наслажденіе даже въ самомъ пріобрѣтеніи знаній, въ нравственномъ, духовномъ совершенствованіи самого себя! Какая утѣха, когда потомъ наши понятія свѣтлѣютъ, когда темное ощущеніе наше переходитъ въ ясное чувство самопознанія; когда для бесѣды съ нами отверзаются безмолвныя гробницы, и тѣни великихъ всѣхъ вѣковъ приходятъ бесѣдовать съ нами въ наше уединеніе, даже на языкахъ давно умолкнувшихъ; когда, въ избыткѣ чувства, переполненная душа наша стремится передать другимъ то, чего не можетъ удержать въ самой себѣ, облекаетъ идеи свои въ образы и формы, даетъ имъ жизнь и бытіе, и, какъ драгоцѣнный залогъ безсмертія нашего даже и на землѣ, передаетъ своему времени, своимъ ближнимъ мысль, идею, родившуюся на берегахъ Инда, Цефиза, Тибра, Гвадальквивира, Рейна, Авона, непогибшую въ пыли вѣковъ, или тайны мудрости Индійца, Эллина, Германца, озарявшія ихъ для блага и счастія человѣчества. . .

Желалъ-бы я пересказать имъ и мою собственную жизнь, то, чего стоило мнѣ исполненіе мечты моей, еще въ дѣтствѣ увлекавшей меня въ міръ фантастическихъ созданій и труда умственнаго, чего стоило мнѣ стараніе стать въ ряду другихъ современниковъ,

имена которыхъ волновали душу мою съ самыхъ юныхъ лѣтъ... Можетъ быть, когда нибудь я представлю имъ отрывки изъ замѣтокъ о жизни моей... Не изъ хвастовства рѣшусь я на такое предпріятіе, и — чѣмъ хвастать, Боже великій! если я самъ лучше другихъ понимаю всю ничтожность моего бѣднаго дарованія, всю слабость средствъ, какими замѣнилъ я недостатокъ моего первоначальнаго воспитанія, всю недостаточность сдѣланнаго мною! — Мои замѣтки могутъ быть любопытны подробностями — мнѣ удалось многое видѣть въ жизни моей, разнообразной, перемѣнчивой, которая изъ купеческой конторы и водочнаго завода перевела меня въ кабинетъ литтератора и ученыя общества и Академіи, съ береговъ Ангары и Тускори на берега Москвы и Невы, и простаго купца сближала съ столь многими достопамятными людьми, не только Русской литтературы, Россіи, но и Европы нашего времени. Мнѣ хотѣлось-бы изобразить притомъ многія любопытныя стороны нашего вѣка, нашего времени, столь богатаго диковинками, выставить рядъ портретовъ современныхъ — галлерею пеструю и разнообразную. Я исполнилъ-бы тѣмъ даже и святой долгъ благодарности немногимъ, кто дружбою, участіемъ, благодѣтельнымъ для души и сердца моего вниманіемъ наставлялъ меня, былъ благодѣтелемъ моимъ — иныхъ изъ числа ихъ уже нѣтъ на свѣтѣ — давно нѣтъ и тебя, мой отецъ, человѣкъ, память котораго священна для дѣтей твоихъ, тебя, которому одолженъ я и жизнью, и всѣмъ тѣмъ, что только составляетъ достоинство человѣка, тебя, страдалецъ міра, не-

узнанный, непонятой людьми и судьбою!.. Простите говорливости, въ какой обвиняютъ всѣхъ старыхъ людей, когда они заговорятъ о прошедшемъ; я не могу здѣсь молчать, и прибавлю вамъ еще нѣсколько словъ— безпорядочныхъ отрывковъ изъ моихъ воспоминаній...

Нашъ родъ *Полевыхъ* былъ однимъ изъ старинныхъ и почетныхъ посадскихъ родовъ въ Курскѣ, на ряду съ Климовыми, Голиковыми и другими почетными Курчанами. Замѣчательно, что кромѣ Курска Полевыхъ нигдѣ больше не было, но тѣмъ многочисленнѣе были они въ Курскѣ, такъ, что ихъ различали даже однихъ отъ другихъ *уличными* названіями; нашъ родъ по уличному прозванью назывался *Осиповъ*, по имени моего прадѣда *Осипа*, который былъ извѣстенъ по своему благочестію и считался большимъ начетчикомъ духовныхъ книгъ. Я видѣлъ подпись его, четкими, кудрявыми буквами, на купчей Курскаго Магистрата, въ ряду съ другими почетными гражданами. Онъ велъ большія торговыя дѣла, но въ старости устранился онъ отъ всѣхъ дѣлъ, поручилъ ихъ дѣтямъ, ходилъ только къ церкви Божіей, и жилъ въ комнаткѣ подлѣ бани, стоявшей на огородѣ его стариннаго дома. Домъ этотъ находился противъ бывшаго въ Курскѣ верхняго Троицкаго монастыря, на высокомъ берегу живописной Тускори (его купилъ потомъ купецъ Горбуновъ). Впрочемъ, предки наши не умѣли наслаждаться живописными видами; домы ихъ строились внутри дворовъ, обнесенныхъ на улицу заборами, ворота которыхъ днемъ и ночью бывали заперты. Прадѣдъ былъ однимъ

изъ богатыхъ людей въ Курскъ; у него была каменная *палатка* для складки товаровъ, которые вывозилъ онъ изъ Персіи, куда ѣзжалъ торговать, а такихъ палатокъ въ цѣломъ Курскѣ было только двѣ. Дѣдъ мой Евсей былъ женатъ на Климовой, сестра которой была за И. Л. Голиковымъ, однимъ изъ богачей Курскихъ, двоюроднымъ братомъ Михайла Сергѣевича Голикова, котораго воспѣлъ Державинъ подъ именемъ *Сосѣда*, и Ивана Ивановича Голикова, извѣстнаго сочинителя *Дѣяній Петра Великаго*. Но первый ударъ нашему дому нанесенъ былъ возмущеніемъ Тахмасъ-Кулыхана, гдѣ погибли Русскіе купцы, находившіеся тогда въ Персіи, и между ними братъ моего дѣда, при чемъ всѣ товары были разграблены. Дѣдъ мой принужденъ былъ ограничиться торговлею съ Бухарцами въ Оренбургѣ. Странно, что какой-то духъ предпріимчивости отличалъ моихъ предковъ среди тогдашняго купечества. Такъ, братъ моего дѣда Иванъ погибъ въ Америкѣ, куда отправился искать счастья, а старшій дядя мой Василій рѣшился ѣхать въ Камчатку, гдѣ оставалось наслѣдство послѣ Ивана; и онъ также не воротился на свою родину. Дѣла дѣда поправились, но Пугачевщина въ конецъ разорила его. Дѣдъ былъ въ числѣ сидѣвшихъ въ Оренбургской полугодовой осадѣ, 1773 года. Участь его была долго неизвѣстна бѣдному семейству его. Отецъ мой былъ тогда лѣтъ 13-ти (онъ родился въ 1759 году), выученъ уже грамотѣ у дьячка, и бабушка посылала его торговать мѣлочами на Курскомъ базарѣ. Между тѣмъ Голиковъ сдѣлался откупщикомъ въ Сибири; бабушка просила его принять си

готу, племянника Алексѣя, и дать ему мѣстечко. Голиковъ велѣлъ отправить его въ Сибирь, и отецъ мой отправился въ Тобольскъ. Онъ видѣлъ мимоѣздомъ пожарище Казани, сожженной Пугачевымъ, и въ юности увлеченный судьбою въ Сибирь, провелъ тамъ сорокъ лѣтъ дѣятельной, трудной, разнообразной жизни. Вскорѣ былъ онъ отличенъ хозяевами. Ему поручали дѣла въ Москвѣ, Петербургѣ, Казани, Тобольскѣ, но вскорѣ настало для него занятіе важнѣе. Голиковъ имѣлъ участіе съ знаменитымъ Шелиховымъ по торговлѣ и промысламъ въ Америкѣ. Его капиталами совершена была знаменитая экспедиція Шелихова въ 1783 году, когда онъ открылъ Кадьякъ, за что обоимъ компаньонамъ даны были медали и шпаги въ 1788 году. Но ловкій Шелиховъ умѣлъ запутать дѣла, началъ съ Голиковымъ тяжбы, и отцу моему поручилъ Голиковъ быть повѣреннымъ съ его стороны. Съ тѣхъ поръ отецъ мой поселился въ Иркутскѣ. Тамъ женился онъ на бѣдной сиротѣ, умѣлъ окончить всѣ ссоры, получилъ пай въ торговлѣ Американской, сдѣлался другомъ Шелихова, и они рѣшились утвердить на прочномъ, незыблемомъ основаніи дѣла въ Америкѣ. Отецъ мой составилъ планъ обширной Компаніи, поѣхалъ въ Петербургъ, и уже возвращался въ Иркутскъ съ условіями, на какія согласился Голиковъ, бывшій тогда откупщикомъ въ Петербургѣ, когда дорогою услышалъ онъ о смерти Шелихова (1795 года). Начались споры за дѣлежъ богатаго наслѣдства. Отецъ мой подвергся жестокому гоненію, но не унывалъ. Зная лучше всѣхъ дѣла, и соперничествуя Голикову, кото-

раго безсовѣстно умѣли вооружить противъ него, и Шелиховымъ, сдѣлавшимися его врагами, онъ уговорилъ Иркутскихъ купцовъ завести другую компанію. Напрасно мирилъ и ладилъ дѣло Н. П. Резановъ, зять Шелехова, бывшій въ послѣдствіи каммергеромъ, оберъ-прокуроромъ, и потомъ посломъ въ Японіи. Уговорили отца моего отъ всего отступиться. Компаніи соединились, приняли названіе Соединенной Американской. Отецъ мой получилъ за весь свой пай 100,000 рублей, забылъ объ Америкѣ, и занялся дѣлами другими, намѣреваясь оставить Сибирь. Прошло не много лѣтъ. Смѣлое торговое предпріятіе и излишняя доброта и довѣрчивость къ людямъ вдругъ лишили его состоянія. Едва могъ онъ расплатиться, остался почти ни съ чѣмъ, и отправился въ Петербургъ въ 1802 году. Американская Компанія, составленная изъ Шелиховской и Иркутской, получившая многочисленныя привиллегіи, распространившая свои дѣла, имѣвшая уже главное Правленіе въ Петербургѣ и отправлявшая корабли кругомъ свѣта, видѣла въ немъ опытнаго, особенно нужнаго ей человѣка, и уговорила его принять мѣсто Правителя въ конторѣ Охотской и Иркутской. Отецъ мой опять принялся за Американскія дѣла, но не долго пробылъ онъ и принужденъ былъ отказаться отъ своей должности. Надобно было что нибудь дѣлать. Еще кровь его кипѣла дѣятельностью; средства казались неистощимы. Онъ завелъ выдѣлку морскихъ котовъ, и на небольшія деньги, какія успѣлъ собрать, рѣшился основать въ Сибири фаянсовую фабрику. Имя Веджвуда

произносилъ онъ съ восторгомъ. Матеріялы нашлись близъ Иркутска; двое какихъ-то ссыльныхъ мастеровъ, токарь и лѣпщикъ, бывшіе нѣкогда на Петербургскомъ фарфоровомъ заводѣ, были первыми его помощниками. Онъ продалъ свой домъ въ городѣ, занялъ обширное мѣсто за городомъ, на рѣчкѣ Ушаковкѣ, построилъ тамъ себѣ небольшой домъ, завелъ свой фарфоровый заводъ и началъ работать. Это было въ 1805 году. Здѣсь начинаются уже мои живыя воспоминанія. Изъ всего, что было прежде, помню кое-что, отрывками, случайно. Но въ 1805 году мнѣ было девять лѣтъ (я родился 22 Іюня, 1796 года).

Помню отца моего въ ту пору, уже съ сѣдиною на головѣ, но еще бодраго, свѣжаго, пылкаго, горячаго, дѣятельнаго, всегда въ своемъ халатѣ, или за дѣломъ, или съ книгою въ рукахъ. Только теперь могу я оцѣнять его необыкновенный умъ, множество практическихъ его свѣдѣній, его свѣтлыя мысли обо всемъ. Школа опыта и жизнь въ свѣтѣ, ознакомили его съ людьми, путешествіе по пустынямъ Сибири съ природою. Прибавьте къ тому огромное чтеніе (онъ не зналъ ни одного языка, кромѣ Русскаго, но не знаю, чего не читалъ онъ по Русски, въ свое время), память чрезвычайную, привычку мыслить, любопытство безграничное, живость юноши даже въ преклонныхъ лѣтахъ, вспыльчивый характеръ, при младенческомъ сердцѣ, умное, благородное лице, съ голубыми глазами, стройность тѣла при нѣкоторой тучности, веселость, даръ слова, и вы очертите себѣ портретъ отца моего. Не

зналь я никого другаго, болѣе его добродѣтельнаго и благодѣтельнаго, не зналь никогда сердца болѣе чувствительнаго — сколько разъ заставаль я его, въ старости, плачущимъ за романами, сколько разъ видаль что послѣдній рубль дѣлилъ онъ съ бѣднымъ, слыхаль, какъ прощаль онъ обиду, неблагодарность! Но въ гнѣвѣ онъ бывалъ ужасенъ. — Мы любили его безъ памяти и боялись чрезвычайно, хоть онъ самъ иногда игрывалъ, бѣгивалъ съ нами, какъ дитя. Пылкость и воображеніе неукротимыя, при довѣрчивости къ другимъ, всегда губили его, и тутъ не помогали ему ни умъ, ни опытность. Сколько разъ говаривалъ онъ мнѣ, что послѣднія слова дѣдушки, при послѣднемъ прощаньи его съ нимъ были: *Алексѣй! не будь яръ!* и при первомъ случаѣ увлекался онъ пылкимъ, добрымъ своимъ характеромъ! Прежде любилъ онъ жить открыто, но когда началь я помнить себя, мы жили уже весьма скромно. Отецъ мой мало выѣзжалъ изъ дома, но гостей всегда бывало у насъ много; весь городъ зналъ, любилъ и уважалъ его; съ нимъ приходили совѣтоваться, къ нему шли мириться. Губернаторъ пріѣзживалъ къ нему запросто и требовалъ, чтобы онъ оставался въ своемъ халатѣ. Все, что только являлось въ Иркутскѣ замѣчательнаго, каждый путешественникъ посѣщалъ отца моего.

Нельзя однакожъ ничего вообразить страннѣе понятій отца моего объ образованіи, и въ слѣдствіе того о методѣ воспитанія, какое слѣдовало дать дѣтямъ. Собственно—методы у него не было ни какой. Онъ чувство-

валъ пользу ученія и образованія, желалъ ихъ, по долго надобно бы говорить, объясняя, что значили въ его понятіяхъ слова: *дѣловый человѣкъ*, и что такое называлъ онъ *вздоромъ*. Писатель въ глазахъ его былъ что-то странное, хоть онъ глубоко уважалъ Голикова, и сто разъ слыхалъ я отъ него всѣ подробности объ этомъ любопытномъ Историкѣ Петра Великаго, съ которымъ хорошо друженъ былъ онъ, какъ родственникъ. Нѣсколько разъ хотѣлъ отецъ мой послать меня въ Петербургъ, въ Коммерческое Училище, гдѣ очень знакомъ ему былъ Директоръ, извѣстный Подшиваловъ. Я почти не помню себя не грамотнымъ, потому, что лѣтъ шести былъ я, когда старшая сестра выучила меня читать, и лѣтъ восьми я уже читалъ въ слухъ—матери моей романы, отцу уже Библію и Московскія Вѣдомости, а десяти перечиталъ уже все, что было въ шкапѣ у отца моего: Всемірный Путешествователь, Разговоръ о Всеобщей Исторіи, Боссюэта, о множествѣ міровъ Фонтенеля, путешествія Ансона и Кука, Дѣянія и Дополненія къ Дѣяніямъ Петра Великаго, нѣсколько разрозненныхъ томовъ сочиненій Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, театра Коцебу и проч. — Добрый товарищъ моего дѣтства, А. А. Титовъ (онъ теперь Правитель Компанейской Конторы въ Иркутскѣ) выучилъ меня писать, и мнѣ было лѣтъ десять, когда я велъ уже домашнюю контору у отца моего, и писалъ — да, *писалъ стихи и прозу*, самъ не зная, что такое стихи и проза, выдавалъ газету: *Азіятскія Вѣдомости*, въ родѣ Московскихъ Вѣдомостей, журналъ: *Другъ Россіи*, въ родѣ Москов-

скаго Меркурія (Макарова), отъ котораго я былъ въ восторгѣ, написалъ драму: *Бракъ Царя Алексѣя Михайловича*, трагедію: *Бланка Бурбонская*, интермедію: *Петръ Великій въ храмѣ безсмертія*, сочинялъ Путешествіе по всему свѣту, и рѣшился свести воедино Дѣянія и Дополненія Голикова. Если успѣвали мы достать новыхъ книгъ у кого нибудь, я просто зачитывался, забывалъ дѣла; тутъ-то начиналась буря: отецъ бранилъ меня, жегъ мои драмы и журналы, отнималъ у меня книги. Но черезъ нѣсколько время я опять принимался за прежнее, и отецъ мой, страстный политикъ, читая Московскія Вѣдомости, Вѣстникъ Европы, Политическій Журналъ, забывалъ свое запрещеніе, говорилъ, разсуждалъ со мной, какъ со взрослымъ; мы вмѣстѣ бранили Наполеона, дѣлили Европу, ждали съ нетерпѣніемъ почты, которая привозила новости о нашихъ побѣдахъ, о Тильзитѣ, объ Эрфуртѣ, о Вѣнѣ; я наизусть выучивалъ статьи изъ Русскаго Вѣстника, вмѣстѣ съ Россіядой Хераскова, стихами изъ Моихъ Бездѣлокъ, Карамзина, притчами Сумарокова, «Мыслями въ слухъ на Красномъ крыльцѣ.» Сдѣлался наконецъ ходячею справочною книгою отца моего по Географіи и Исторіи, потому, что память у меня была такая, какой я ни у кого другаго не встрѣчалъ. Выучить наизусть цѣлую трагедію мнѣ ничего не стоило. Словомъ, если надобно выразить умственное образованіе мое до 1811 года, то оно было таково: я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Каррмзина и статей Вѣстника Европы до хронологическихъ чиселъ и Библіи, изъ которой могъ

пересказывать наизусть цѣлыя главы, но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить. Между тѣмъ, я былъ *дѣловымъ человѣкомъ*, управлялъ заводами отцовскими (къ своему фаянсовому заводу, онъ присоединилъ еще водочный, войдя въ связи съ тогдашними откупщиками), велъ контору, разсчеты, ходилъ и ѣздилъ въ городъ по дѣламъ, и слылъ въ городѣ диковиннымъ мальчикомъ, съ которымъ, какъ съ ученымъ человѣкомъ, разсуждалъ самъ Губернаторъ и спорилъ Директоръ Гимназіи.

Въ 1811 году, отецъ мой, успѣвши поправить нѣсколько свое состояніе, рѣшился оставить Сибирь. Воображеніе сулило ему золотыя горы въ Россіи. Онъ исчислялъ десятки предпріятій, и отъ каждаго сотни тысячь, а я долженъ былъ отправиться предварительно съ его препорученіями въ Москву. Мнѣ было лѣтъ 15-ть. Въ Маѣ 1811 года оставилъ я Иркутскъ, былъ мимоѣздомъ на Макарьевской ярмаркѣ, а въ Августѣ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ поселился у стараго отцовскаго пріятеля...

Говорить ли о впѣчатлѣніяхъ моихъ, когда не оставляя прежде никогда Иркутска, я вдругъ проѣхалъ черезъ всю Сибирь, видѣлъ первую въ свѣтѣ ярмарку и увидѣлъ древнюю Москву? Ни что не поразило меня однакожъ такъ, какъ театръ и книжныя лавки (первая пьеса, которую видѣлъ я на Макарьевскомъ театрѣ была: *Гусситы подъ Наумбургомъ*, Коцебу, при чемъ я обливался слезами, а вторая пьеса, на Московскомъ те-

атръ, опера: *Павелъ и Виргинія*, гдѣ играли Самойловы). Дѣла задержали отца моего въ Сибири. Я прожилъ почти годъ въ Москвѣ безъ него, и театръ, куда ходилъ я раза по три въ недѣлю, книги, которыхъ прочиталъ и накупилъ я свыше счета, въ университетъ, куда пробрался я на лекціи, и гдѣ слушалъ Мерзлякова, Страхова, Гейма, Каченовскаго, увлекали все мое время. Я не забывалъ притомъ писать: сочинилъ трагедію: *Василько Ростиславичъ*, рѣшился продолжать *Опытъ повѣствованія о Россіи* Елагина, который казался мнѣ образцомъ краснорѣчія, написалъ повѣсть: *Янъ Усимовецъ*, романъ, и проч. и проч. — Отецъ мой и все семейство наше выѣхали въ Москву въ Іюнѣ 1812 года. «Много ли у тебя осталось денегъ?» и «что что ты *дѣлалъ* въ Москвѣ?» были первые вопросы отца. Я указалъ на груду книгъ, мною накупленныхъ, и кипу бумаги, мною исписанную. «А дѣла?» — Я безмолвствовалъ. Кипа была немедленно предана всесожженію; книги читать мнѣ строго запрещено, и мы принялись за *дѣла*...

Но намъ не удалось ихъ много надѣлать. Августа 26-го, мы уже тянулись съ другими бѣглецами изъ Москвы по Владимірской дорогѣ. Я видѣлъ потомъ пожаръ Москвы, и въ Декабрѣ отецъ мой поѣхалъ со мною изъ Арзамаса, куда укрылись мы, въ Петербургъ, гдѣ онъ кончилъ старые разсчеты съ Компаніею. Онъ стремился теперь на родину, забывши, что оставилъ ее юношею и возвращается старикомъ, черезъ *сорокъ лѣтъ*. Въ Іюнѣ 1813 года отправились мы изъ Курска

на Донъ — дѣлать сахаръ и ромъ изъ арбузовъ и торговать Донскою рыбою. Черезъ годъ дѣла отца моего были въ самомъ печальномъ положеніи. Я оставался безъ дѣла, опредѣлился въ контору богатаго купца, и рѣшился заняться только *дѣломъ*. Книги составляли только временную отраду мою. Неутомимо работалъ я, писалъ счеты, переписывалъ купеческія письма. Въ концѣ 1814 года, отецъ мой снова отправился въ Иркутскъ. Въ 1815 году я послѣдовалъ за нимъ; но, увы! уже около шестидесяти лѣтъ легло на плечи добраго отца моего. Остальная жизнь его и будущая участь многочисленнаго, безпомощнаго семейства терзали его. Ему не жилось въ Сибири. Въ началѣ 1816 года, онъ отправилъ меня опять въ Курскъ, а въ 1817 году выѣхалъ самъ изъ Иркутска. У насъ было очень немного денегъ; по крайней мѣрѣ, былъ теперь собственный домикъ, были и *дѣла*, но я снова однакожь занялся дѣлами моего прежняго хозяина. Здѣсь наступилъ новый и рѣшительный переходъ жизни моей.

Поѣздки, испытанія, обращеніе съ людьми, рано начатое, сдѣлали то, что мнѣ еще не совершилось 20-ти лѣтъ, но я казался совершенно взрослымъ, и прослылъ дѣловымъ человѣкомъ. Уѣзжая изъ Курска въ 1816 году на Нижегородскую ярмарку, на примѣръ, мой хозяинъ поручалъ мнѣ въ управленіе всѣ торги свои, домъ, разсчеты, и даже строеніе церкви Знаменскаго монастыря, куда опредѣленъ онъ былъ членомъ отъ общества, какъ градскій глава. Все было исполнено мною исправно, къ большому удовольствію хозяина. Я сдѣлался замѣчатель-

нымъ молодымъ купцомъ среди моихъ сверстниковъ. Но съ одной стороны, дѣла купеческія уже давно не наполняли души моей: ей чего-то хотѣлось, чего-то она жаждала, требовала. Я чувствовалъ даже, что всему уму моему не чѣмъ тутъ заняться, что даже самаго времени у меня много останется, какъ ни занимался бы я дѣлами. Товарищи мои убивали излишекъ его на забавы и шалости. Я не могъ раздѣлять съ ними ихъ время препровожденія. Чтеніе безъ плана и системы было жаждой, которая ни чѣмъ не утолялась и не вела за собой ничего существеннаго. Съ другой стороны, нигдѣ такъ, какъ въ купеческихъ отношеніяхъ не чувствуете неравенства состояній. Тамъ все уравнивается капиталомъ, а безъ него умъ и знаніе дѣлъ оставляютъ въ людскихъ отношеніяхъ бездну неизмѣримую. Но богатство пріобрѣтается тихо, медленно, и нерѣдко годы, жизнь проходятъ, когда притомъ судьба купца не вѣрнѣе судьбы лодки на морѣ въ бурю. И жизнь моя, которой такъ рано испыталъ я разныя стороны, представляла мнѣ въ будущемъ грустную перспективу. Между тѣмъ, и отецъ мой началъ давать мнѣ больше свободы, видѣлъ во мнѣ опору семейства, находя, что я могу быть дѣловымъ человѣкомъ, и понимая, что странностямъ моего образованія былъ онъ отчасти самъ причиною. Къ тому прибавилось у меня оскорбленное чувство самолюбія, когда мнѣ рѣзко дали уразумѣть, что ни честное имя, ни уваженіе къ старику отцу моему, ни мои старанія и заботы, ни общее мнѣніе, что я отличный молодой купецъ, не дополняютъ того, что доставляетъ купцу честь и славу въ его кругу—

богатства. «Я докажу имъ,» думалъ я, «что они ошибаются!» Но какъ и чѣмъ доказать? И жизнь купеческая и дѣла опостылѣли мнѣ. Грусть терзала меня, и тогда-то мнѣ пришло въ голову, что только ученью остается въ Россіи дорога *къ почестямъ безъ денегъ*. А между тѣмъ эта дорога ведетъ именно къ тому, что до сихъ поръ составляло лучшее услажденіе моей жизни, что составляло до тѣхъ поръ мою радость и утѣху — *книги* и *науки*. Лекціи университета, бесѣда съ учеными мужами будутъ моею обязанностью, а потомъ поведутъ меня къ чести и славѣ, къ чинамъ и къ богатству!... Обольстительный міръ раскрывался передо мною; воображеніе мое рисовало въ будущемъ картины плѣнительныя!... И еще съ 1814 года началъ я потихоньку учиться, и прежде всего Русской Грамматикѣ, по грамматикѣ Соколова, которая какъ-то попалась мнѣ въ руки. Тогда же увидѣлъ я необходимость знать иностранные языки. Мнѣ надобно было скрывать и таить свое ученье, и передъ отцомъ и передъ хозяиномъ: оно могло повредить моей дѣловой *репутаціи*, и кромѣ того, что сказали-бы мои товарищи если-бы узнали, что я *учусь азбукѣ*? А старики, а старухи?... Пѣяный цырюльникъ Наполеоновской арміи, Итальянецъ, который остался допивать жизнь свою въ одной изъ Курскихъ цырюленъ, показалъ мнѣ произношеніе Французскихъ буквъ; старикъ музыкальный учитель, Богемецъ, который училъ на фортепіано дочерей моего хозяина, и любилъ послѣ уроковъ посидѣть у меня въ конторской комнаткѣ и покурить табаку, научилъ меня Нѣмецкой азбукѣ. Я нашелъ въ то время

друга, съ которымъ могъ дѣлиться моими надеждами, моими мечтами, друга, съ которымъ потомъ пошли мы по дорогѣ жизни, рука въ руку, которому одолженъ я увѣренностью, что дружба не мечта поэзіи, но точно святой даръ неба, существующій на землѣ: этотъ другъ былъ братъ мой *Ксенофонтъ*. Горе и опытъ рано коснулись его ума, крѣпкаго, основательнаго, его души, сильной, пламенной, но сокрытой подъ холодною наружностью. Противоположность характеровъ еще болѣе сблизила насъ. Раза по три въ недѣлю, я уходилъ послѣ обѣда изъ богатаго дома моего хозяина, гдѣ жилъ тогда, въ смиренную квартиру на нижней Сергіевской улицѣ, гдѣ отецъ мой нанималъ себѣ двѣ, три комнатки. Ксенофонтъ нетерпѣливо ждалъ меня, и пока отецъ отдыхалъ послѣ обѣда, мы уходили за крыльцо, и тамъ въ углу, на чистомъ дворѣ, разстилали рогожу, садились на нее; я вынималъ грамматику Соколова, грамматики Французскую, Нѣмецкую, и начиналъ учить Ксенофонта, чему самъ выучился въ прошедшіе два, три дня... *Двадцать пятый годъ* идетъ послѣ того времени, а я помню, живо помню тѣ драгоцѣнныя минуты! — Ласковый взоръ отца, непоколебимаго среди горестей жизни, встрѣчалъ насъ потомъ; мы принимались за чай; я всегда запасался новостями и газетами: мы начинали читать ихъ, и я помню восторгъ отца, когда я принесъ ему извѣстіе о взятіи Парижа. Старикъ плакалъ отъ радости! — Въ Иркутскѣ, въ 1815 году, судьба свела меня еще съ добрымъ товарищемъ, молодымъ, любезнымъ человѣкомъ, который занимался тогда по дѣламъ откупа, В. М. Пурлевскимъ

(онъ теперь оберъ-секретарь въ Сенатѣ). Вмѣстѣ съ нимъ и съ Ксенофонтомъ отыскали мы какого-то ссыльнаго Поляка, который училъ насъ по Французски, а оригиналъ, какихъ можно встрѣтить не много на свѣтѣ, старый пасторъ Лютеранской церкви въ Иркутскѣ, Беккеръ, давалъ нашъ уроки въ Нѣмецкомъ языкѣ. — Возвращеніе мое въ Курскъ, въ 1816 году, было рѣшительно для моихъ занятій. Умъ мой совершенно увлекся новою, дотолѣ неизвѣстною мнѣ прелестью — прелестью ученья. Уже не средствомъ для другаго, но цѣлью жизни моей сдѣлалось оно. Мнѣ стало казаться все равно: останусь-ли я купцомъ и вѣдняномъ, буду-ли чиновникомъ и губернаторомъ Курскимъ — высшая цѣль моего честолюбія! — все равно, только-бы учиться! Между тѣмъ средства мои были чрезвычайно стѣснены. Я не могъ и подумать нанять себѣ учителей. Жалованья моего едва доставало мнѣ на одежду, на небольшое удѣленіе отцу, и едва могъ я тратить вездѣшку на книги. Дѣла хозяйскія не давали мнѣ досуга днемъ и вечера и ночи сдѣлались лучшими часами моей жизни. Мои они были, и ихъ никому не отдавалъ я. Иногда свѣчька моя погасала съ утреннею зарею, и я едва уснувши три, четыре часа, шелъ въ конторъ къ моему хозяину, или проработавши въ конторѣ его до ночи, дома засаживался съ радостью за свои уроки. Вскорѣ увидѣлъ я всю недостаточность, всю нелѣпость образованія своего до того времени. Мнѣ надобно было пересоздавать всю мои идеи, весь запасъ читаннаго мною съ самаго дѣтства. Изученіе языковъ вовсю шло въ новый міръ

чтенія. Настойчивое размышленіе показало мнѣ недостатокъ системъ и образа обыкновеннаго ученія. Я рѣшился самъ для себя написать Русскую Грамматику и Русскую Исторію. Грамматика Академіи и *Исторія Государства Россійскаго* не удовлетворяли меня, когда я сравнивалъ первую съ ясною, точною грамматикою Латинскою, а вторую съ Тацитомъ по слогу, съ Лѣтописями по положенію фактовъ. Изученіе Латинскаго и Греческаго языка, переводы съ Нѣмецкаго, Французскаго, переработка Русской Грамматики, критическій разборъ Русской Исторіи — вотъ что составляло теперь мои занятія. Я отказался отъ легкаго чтенія, и не писалъ уже ни стиховъ, ни прозы. Нарочно налагалъ я на себя самыя тяжкія работы: выучивалъ по триста вокабулъ въ вечеръ; выписалъ всѣ глаголы изъ Геймова Словаря, переспрягалъ каждый отдѣльно, и составилъ новыя таблицы Русскихъ спряженій (въ 1822 году, почтенный П. П. Свиньинъ представилъ ихъ въ Россійскую Академію, и мнѣ выдана была за нихъ въ награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мнѣ неистощимы; все было такъ легко, такъ подручно, а впереди все такъ свѣтилось и блестѣло!... Въ 1817 году осмѣлился я, при самомъ учтивомъ письмѣ, послать къ Издателю *Русскаго Вѣстника* мое описаніе проѣзда и пребыванія въ Курскѣ Императора Александра, и—не умѣю вамъ пересказать съ какимъ упоеніемъ увидѣлъ я на сѣрыхъ листочкахъ Вѣстника, четкимъ курсивомъ напечатанныя, подъ статьею слова: *Н. Полевой*! Весь Курскъ былъ изумленъ краснорѣчивымъ описаніемъ того, что еще живо

трепетало въ сердцѣ каждаго, что составляло предметъ всѣхъ разговоровъ. Съ изумленіемъ узналъ мой хозяинъ, что въ его конторѣ скрывается *геніяльный* молодой человѣкъ, какъ говорили ему и Губернаторъ, и все, что было почетнаго въ Курскѣ. Съ радостью услышалъ о томъ и отецъ мой. Бывшій тогда губернаторъ Курскій, А. С. Кожуховъ сдѣлался моимъ заступникомъ и Меценатомъ; я былъ приглашенъ на его вечера, балы, получилъ свободный входъ въ кабинетъ его, передъ которыми на вытяжкѣ стояли всѣ другіе, и старые и чиновные люди. Но между тѣмъ торжество мое внутренно тревожило меня—увы! я видѣлъ, что вся статья была переправлена, перечерчена Издателемъ Русскаго Вѣстника, и я долженъ былъ сознаться самому себѣ, что переправки его были справедливы. Слѣдовательно, я еще *плохой писатель*, думалъ я. Что-же дѣлать? — «Учиться!» было мнѣ безпристрастнымъ отвѣтомъ въ душѣ моей, и когда въ 1818 году, я отправилъ уже въ Вѣстникъ Европы, одну за другою, двѣ статьи: замѣчанія на статью о Волосѣ и переводъ Шатобріанова описанія Маккензіева путешествія по Сѣверной Америкѣ, съ радостью увидѣлъ я, что Редакторъ Вѣстника Европы не переправлялъ ихъ ни сколько. Весь 1819 годъ занимался я дѣлами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывалъ своихъ ученыхъ занятій. Къ покровительству Губернатора присоединилось знакомство съ просвѣщеннымъ архипастыремъ, Епископомъ Евгеніемъ, послѣ того, когда я прочиталъ свое стихотвореніе въ собраніи Библейскаго Общества, 6-го Января 1819 года, и оно было осыпано похвалами все-

го собранія. Въ Февралѣ 1820 года, я на всегда оставилъ Курскъ. Отецъ мой рѣшился сдѣлать послѣднее усиліе для поправленія своихъ обстоятельствъ, и, собравши всѣ, какія были у насъ средства, завести водочный заводъ въ Москвѣ. Меня отправилъ онъ для приуготовленій, и пока въ Декабрѣ пріѣхалъ самъ, мнѣ была полная свобода дѣлить время между дѣломъ и *бездѣльемъ*. Впрочемъ и отецъ мой уже не считалъ *бездѣльемъ* моихъ занятій, когда увидѣлъ, что они вездѣ доставляютъ мнѣ знакомство и уваженіе, и съ тѣмъ вмѣстѣ не отвлекаютъ отъ дѣлъ. — Лѣто 1821 года прожилъ я по дѣламъ въ Петербургѣ. Здѣсь въ первый разъ увидѣлъ я Грибоѣдова и Жуковскаго. П. П. Свиньинъ встрѣтилъ меня, какъ друга, съ распростертыми объятіями: онъ видѣлъ во мнѣ *кулика*-самоучку, и былъ отъ меня въ восторгѣ. Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ оказали мнѣ самое радушное вниманіе. Грѣхъ было-бы мнѣ забыть тѣхъ, кто ласковымъ привѣтомъ отогрѣвалъ мою душу, среди тогдашнихъ моихъ обстоятельствъ — они были тяжелы, и наука, ученье были для меня и моего добраго Ксенофонта единственнымъ средствомъ забвенія среди печальной существенности. Отецъ мой видимо таялъ — болѣзнь смертельная снѣдала его. Онъ благословилъ насъ, и уѣхалъ въ Курскъ въ Мартѣ 1822 года. въ Маѣ я спѣшилъ къ нему. Казалось, весна еще оживила его. Съ радостною надеждою простился я съ нимъ, а 26-го Августа добродѣтельный старецъ уже не существовалъ въ мірѣ, оставя мнѣ и братьямъ моимъ только честное имя, отцовское благословеніе на смертномъ одрѣ, и

надежду на трудъ, который, рано или поздно, не останется безъ награды... Я сдѣлался старшимъ, заступилъ мѣсто отца въ нашемъ многочисленномъ семействѣ, а мнѣ было только 26-ть лѣтъ — но тѣмъ было лучше. Юность не знаетъ безнадежности; она не видитъ вокругъ себя мрачныхъ безднъ бытія, и когда горе встрѣчается съ нею, она готова спросить у него: «не брать ли ты радости?»

Пора кончить. Готовъ просить прощенія у читателей въ моей говорливости. Кому любопытенъ можетъ быть мой разсказъ? Признаюсь, я и не думалъ излагать здѣсь моего жизнеописанія, но къ слову пришлось, и видимо, что старость подаетъ мнѣ клюку свою, если разсказъ о *прошедшемъ*, о *бывалымъ* увлекаетъ меня невольно. Впрочемъ, онъ ознакомитъ не много читателей *Очерковъ* съ самымъ сочинителемъ ихъ, а такого знакомства я во все не боюсь, и почту истинной наградой, если разсказъ мой послужитъ утѣшеніемъ какому нибудь юному собрату, который такъ же тернистою тропою идетъ по пути жизни, какъ шелъ по ней я, опираясь на костыль Труда, освѣжаясь тихимъ лепетомъ Надежды, и съ Вѣрою въ Провидѣніе. Сколько разъ, въ часы безотрадной грусти, на берегахъ Дона и Ангары, Тускори и Москвы, повторялъ я слова нашего поэта-утѣшителя:

. . . Довѣренность къ Творцу!
Чтобъ ни было — Невредимой

Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно въ слѣдъ!
Прочь низкой, прочь злова!
Духъ водрый на дорогѣ вѣдъ
До самой двери гроба....

ОЧЕРКИ

РУССКОЙ ЛИТТЕРАТУРЫ.

Сочиненія Державина. 4 *тома. Спб.* 1831 *года, съ т. А. Смирдина,* in 8, *VIII,* 342, 362, 230 *и* 308 *стр., съ портретомъ и виньетами.*

Начиная чтеніе свое объ Альфіери, Е. Легуве (одинъ изъ новыхъ литтераторовъ Французскихъ, достойный другихъ юныхъ сподвижниковъ) такъ говорилъ слушателямъ курса его въ Парижскомъ Атенеѣ:

«Какое наслажденіе: взять человѣка, подобнаго Альфіери, Байрону, Дидеро, запереться съ этимъ человѣкомъ на нѣсколько времени, перечитать все, что осталось отъ него—записки, письма, сочиненія, сообразить одни съ другими всѣ сіи памятники его жизни, и возсоздать изъ нихъ для себя живое созданіе! Первые дни такого занятія тягостны, раздражаютъ васъ: ошибаетесь, возвращаетесь на прежнее, почитаете прихоть характеристическою чертою; но, мало по малу, великій человѣкъ, изучаемый вами, обозначается передъ вами въ совершенной точности; образъ его дополняется, очерки души останавливаются, и наконецъ нравственный исполинъ, угасшій навсегда геній, возсоздается, дѣлается современникомъ души вашей; у васъ стало

однимъ другомъ болѣе. Такъ нѣсколько времени старался я себя *обольщать*, и мнѣ кажется, что я знаю теперь этого великаго человѣка, какъ будто-бы онъ самъ высказалъ мнѣ свою душу, свою мысль, свой геній. Сознаюсь только, что образъ его, столь живо впечатлѣнный въ умѣ моемъ, я не буду умѣть передать вамъ. Слова измѣнятъ мнѣ, безъ сомнѣнія, въ усиліи моемъ: на нѣсколькихъ страницахъ сжать всѣ характеристическія черты генія, столь фантастическаго, столь прихотливаго, столь независимаго! Не критику его твореній, но образъ его самого, и въ разборѣ его созданій человѣка хотѣлось бы мнѣ показать вамъ вполнѣ.»

Мы выписали слова Лѣтуве, ибо они совершенно выражаютъ то, что мы сдѣлали съ Державинымъ, приготовляясь говорить объ немъ нашимъ читателямъ, по случаю новаго изданія его твореній.

Къ прискорбію нашему, мы не имѣли счастія видѣть въ живыхъ этого великаго человѣка. . . Безсмертно удивлялись мы созданіямъ его въ то время, когда, шестнадцать лѣтъ тому назадъ, увидѣли великій! Можетъ-быть, теперь, въ бесѣдѣ его, смотря на него, изучая въ лицѣ его таинственныя слѣдствія его генія, мы могли-бы дополнить нашъ очеркъ. Но, можетъ быть, это и особенная методa наша для сужденія о Державинѣ. На дряхломъ челѣ старца, въ чертахъ, проложенныхъ лѣтами и суетою міра, среди божественныхъ нѣгъ, доставшихся ему отъ настоящей его родины — неба, потерялся-бы, можетъ быть, для насъ восторгъ, какой движетъ душу теперь, когда мы возсоздаемъ себѣ образъ поэта изъ его твореній, никогда не видавши его.

самого. Онъ успѣлъ совершить полный кругъ жизни; онъ весь высказался намъ.... Болѣе достойно сожалѣнія, что донынѣ извѣстны намъ не всѣ подробности его жизни, политической и частной. При новомъ изданіи сочиненій Державина нѣтъ ни записокъ, которыя хранятся у его родныхъ (см. *Предисловіе*, стр. VII), ни примѣчаній, ни поясненій. Нѣкоторыя сочиненія Державина—«*потому-ли, что писаны въ прозѣ, или по инымъ причинамъ*» (ibid. стр. VII), также и теперь остались намъ неизвѣстными. Не знаемъ этихъ *иныхъ причинъ*, но жалѣемъ, что съ Державинымъ поступаютъ столь небрежно, что объ немъ все еще думаютъ, какъ будто о чиновникѣ, о Превосходительномъ современникѣ.... Какъ-бы то ни было, намъ остается довольствоваться тѣмъ, что есть, что издано, краткими жизнеописаніями, и особенно книжкою, за которую не льзя не поблагодарить Г-на Остолопова (*Ключь къ Сочиненіямъ Державина*. Спб. 1822 г.). *

Уже время говорить о Державинѣ. Мы не можемъ быть довольны безотчетною похвалою, которую передали намъ современники, похвалою косноязычною, которая славила въ немъ только *Пѣвца Фелицы*, любовалась догматизмомъ его *Оды Богъ*, величала Державина *Вашимъ Превосходительствомъ*, и говорила съ удивленіемъ о томъ, какъ Екатерина жаловала Державина за его стихи. Не можемъ мы быть довольны и

* Это собственныя замѣчанія Державина: посему, выписывая ихъ въ статьѣ нашей, мы вездѣ ставили ихъ прямо отъ лица Державина.

возгласами «тонкаго цѣнителя твореній Державина» (*Предисловіе*, стр. VII), который на одинъ ладъ говорилъ похвалы Державину, Озерову, Дмитріеву, какъ будто они всѣ трое были одинаковы. Съ другой стороны, мѣлкое самолюбіе нашего времени, дерзкое болѣзнь самаго невѣжества, уже осмѣливается равнодушно говорить о Державинѣ; краденый восторгъ (и не восторгъ, а какое-то ложное поэтическое упоеніе) современнаго стихотворства дерзаютъ иногда ставить на ряду съ могущимъ вдохновеніемъ потомка Багримова; не зная различія эпохъ, направленій, образованій духа человѣческаго, хотятъ судить Державина по уложенію Англинскаго, Греческаго, Нѣмецкаго суда. Не безпрестанно ли также, въ печатныхъ курсахъ, лекціяхъ, книгахъ, видимъ мы имя Державина, какъ поэта, на ряду съ Ломоносовымъ, и въ Исторіи Литературы едва отличенное, наравнѣ съ другими, послѣ конфуснаго списка его службы, и библіографической росписи его сочиненій?

Не дерзаемъ сказать, что мы успѣемъ вполнѣ *оцѣнить* Державина; но крайней мѣрѣ, мы постараемся изобразить его, *какъ человѣка*, и *какъ поэта*, уединимся въ его творенія, стряхнемъ съ нихъ все тлѣнное, все вещественное, и преклонимъ колѣна только предъ тѣмъ таинственнымъ алтаремъ, гдѣ вѣчнымъ огнемъ горитъ безсмертный геній Державина, сквозь туманъ слабостей и страстей вѣка его, и—онъ былъ *человѣкъ*— сквозь мракъ его собственныхъ страстей и слабостей. Для сего надобно намъ предварительно изобразить жизнь Державина, разобрать характеръ его, какъ Рус-

сиаго чиновника XVIII-го вѣка, и какъ гражданина всѣхъ вѣковъ, взглянуть на вѣкъ его, и наконецъ, разсмотрѣть самыя его творенія.

Около *девяноста* лѣтъ тому, 1743 года Іюля 3 дня, въ Казани, у невогатаго офицера Романа *Державина* родился сынъ, и его назвали *Гавріиломъ*. Отецъ безпрестанно находился на службѣ. Семейство Державина постоянно оставалось въ Казани, гдѣ была у него небольшая деревня. Мальчикъ оказывался весьма умный и острый. Лѣтъ пяти, онъ уже бойко читалъ и бѣгло писалъ. Вскорѣ повезли его въ Оренбургъ, и придставили, какъ недоросля, на смотръ старику Неплюеву. Какъ дворянина, надобно было его послѣ сего воспитывать. Но чѣмъ и гдѣ? Какой-то ссыльный Нѣмецъ, Осипъ Розе, завелъ въ Оренбургѣ школу, и дворяне тамошніе отдавали ему дѣтей. Отдали и Державина. Но Розе самъ ничего не зналъ, заставлялъ учениковъ только читать, писать, твердить вокабулы. Державинъ дѣлалъ все это, выучился кое-какъ по-Нѣмецки, по-Французски, а больше читалъ Русскія книги, и списывать Суздальскія картинки, страстно любя рисованье. Девять лѣтъ было Державину, когда отецъ его вышелъ въ отставку полковникомъ, и рѣшился отвести дѣтей (ихъ было двое у него: нашъ поэтъ, и еще другой сынъ, умершій въ 1770 году), въ Кадетскій Корпусъ. Ему хотѣлось сдѣлать ихъ артиллеристами, или инженерами. Но Елисавета, и съ нею всѣ *милостивцы* его были тогда въ Москвѣ. Поѣздку отложили до новаго года, а въ Ноябрѣ полковникъ Державинъ умеръ. Сосѣди начали терзать, разворять бѣдную вдову

тяжбами. Для умилостивленія, возила она къ судьямъ и благодѣтелямъ дѣтей своихъ, плакала, просила. «Съ тѣхъ поръ,» говорилъ Державинъ въ старости, «врѣзалось въ сердце мое ужаснѣйшее отвращеніе отъ людей неправосудныхъ и притѣснителей сиротъ.» Между тѣмъ школьникъ Лебедевъ и отставной прапорщикъ Полетаевъ, на мѣдныя деньги учили Державина Ариѳметикѣ и Геометріи. Мать удѣляла для сего послѣднія крохи. Державинъ чертилъ планы, слагалъ, вычиталъ, рисовалъ, игралъ на скрыпкѣ самоучкою, и съ жадностью читалъ Оды Ломоносова, Трагедіи Сумарокова, переводъ Телемака, Аргениду, Маркиза Глаголя, выпрашивая книги у кого могъ, былъ остеръ, ловокъ, уменъ, горячъ, и вскорѣ осмѣлился самъ *писать*. Любопытно послушать разсказъ Державина о началѣ его писанья, когда уже поступилъ онъ въ Гимназію, учрежденную, въ 1758 году, въ Казани. За годъ до того, мать его, съ помощію добрыхъ родственниковъ, съѣздила въ Петербургъ, записала дѣтей своихъ въ Гвардію, и взяла назадъ въ Казань, *для окончанія наукъ*. «Но познанія въ Гимназіи пріобрѣтали мы малыя; я отличался остротою и воображеніемъ, и въ сіе время стала открываться во мнѣ способность къ стихотворству, отъ чтенія книгъ. Сколь ни тѣсенъ былъ путь, по которому склонность устремляла меня, молодаго стихотворца, безъ всякаго руководителя, однакожь началъ я денно и нощно трудиться въ составленіи стиховъ, и въ сочиненіи романовъ и сказокъ, въ подраженіе читаннымъ мною образцамъ. Но какъ все сіе писано было безъ наставника, безъ правилъ, то и было

все то одно смѣшное маранье, котораго молодой сочинитель никому, даже товарищамъ своимъ не показывалъ; а все раздиралъ и предавалъ огню; нѣкоторые только маленькіе стишки были извѣстны друзьямъ моимъ, со мною воспитывавшимся.» Директоромъ Казанской Гимназіи былъ тогда весельчакъ и острякъ Веревкинъ, Риваролъ своего времени, неутомимый переводчикъ, и сочинитель комедіи: «*Такъ и должно.*» Онъ бранилъ Державина, называлъ *тупицею*, но думалъ, что изъ него выйдетъ *хорошій математикъ*, повезъ его геометрическое черченіе въ Петербургъ, показалъ тамъ Шувалову, и возвратясь въ Казань поздравилъ Державина съ записскою кондукторомъ въ инженерную службу. Державинъ обрадовался, надѣлъ мундиръ Инженернаго Корпуса, и вдругъ, со всѣмъ неожиданно, получилъ ордеръ и паспортъ изъ Лейбъ-Гвардейской канцеляріи Преображенскаго полка: Шуваловъ сдѣлалъ ему *милость*, по рекомендаціи Веревкина, и за хорошее черченье геометрическихъ фигуръ, опредѣлилъ его въ гвардію. Въ Мартѣ 1762 г. Державинъ явился въ Петербургъ. Любопытно, что онъ стоялъ на часахъ во дворцѣ въ самый день восшествія Екатерины II-й, Іюня 28 дня, 1762 года. Думалъ-ли кто изъ людей, тогда столь великихъ и знаменитыхъ, что 20-ти лѣтній солдатъ, отдающій имъ честь ружьемъ, будетъ бардомъ вѣка Екатерины, и переживетъ ихъ въ вѣкахъ! Екатерина начала царствовать, а будущій бардъ ея смиренно возвратился въ свои казармы; можетъ быть, написалъ ей *оду*, и спряталъ въ свой ящикъ, какъ негодное маранье. «Вступя въ дѣйствительную службу, жилъ я въ

казармѣ, между многими женатыми и холостыми. По тѣснотѣ, неудобно было мнѣ заниматься ни рисованіемъ, ни музыкою. Оставивъ сіи искуства, занимался я безпрестанно, когда другіе спали, чтеніемъ книгъ, кои въ Петербургѣ удобнѣе было достать, также писаньемъ для разныхъ людей писемъ, а иногда стиховъ на разные случаи, единственно для себя. Правила поэзіи почерпалъ я изъ сочиненій Тредьяковскаго, а въ выраженіяхъ и слогѣ старался подражать Ломоносову, но, не имѣя подобнаго его таланта, въ томъ не успѣвалъ.» Во время коронаціи Екатерины (въ Сентябрѣ, 1762 г.), въ Москвѣ, Державинъ, пришедшій туда съ другими гвардейцами, узналъ, что Шуваловъ ѣдетъ въ чужіе краи. Онъ явился къ Шувалову, и просилъ взять его съ собою. Шуваловъ распросилъ молодаго солдата, и согласился. Но родня Державина не хотѣла потакать шалостямъ. «Служить, братъ, служить надобно,» говорили ему, «а не шататься по чужимъ землямъ!» Державинъ съ горемъ согласился на благоразумный совѣтъ; Шуваловъ уѣхалъ безъ него, а Державинъ, какъ будто въ утѣшеніе, пожалованъ капраломъ, и продолжалъ жить въ своей Петербургской казармѣ, читалъ, писалъ, накопилъ кучу писанныхъ бумагъ, и въ 1770 году сжегъ ее всю, безъ сожалѣнія. Онъ ѣхалъ тогда изъ Москвы; близъ Петербурга остановили его, и какъ въ Москвѣ была тогда чума, то надобно было окурить *пресмѣшную кучу бумагъ*, которою набитъ былъ сундукъ молодаго капрала (*прусаго имѣнія со мною почти не было*). «По пылкости моего характера, соскучившись ждать окуренія и пересмотра, я сжегъ свои бумаги, и

тотчасъ былъ пропущенъ.» Двадцати восьми лѣтъ, 1772 года, Января 1 д. получилъ Державинъ чинъ офицерскій.

Тутъ было ему уже болѣе свободы читать и писать. Онъ переводилъ съ Нѣмецкаго, подражалъ Гагедорну, Клейсту, Захаріи, Галлеру, работалъ неутомимо, прослылъ «грамотнымъ человѣкомъ,» взвѣсилъ Сумарокова безыменною эпиграммою, познакомился съ Херасковымъ, президентомъ Бергъ-Коллегіи, Домашневымъ, директоромъ Академіи Наукъ, Хемницеромъ, служившимъ при Горномъ Кадетскомъ Корпусѣ, и проч. Но современныя славы затмѣвали его. Новиковъ, издавая *Словарь Русскихъ писателей*, не зналъ даже имени Державина, внося въ списокъ свой «*Жукова Петра*, Капитанъ-Курьера,» и прочую нищую братью, превозносея Сумарокова, критикуя Петрова, и проч. и проч.— «Будучи офицеромъ гвардіи, когда дозволяло время, не оставлялъ я упражняться въ любимомъ своемъ искусствѣ, руководствуясь правилами изъ книгъ Русскихъ и *иностранныхъ*; переводы свои, большею частію, предавалъ я огню, никому не открываясь въ своемъ упражненіи, и иногда только читалъ вездѣлки друзьямъ своимъ.» Отважно принялся Державинъ за Клопштока, и перевелъ двѣ пѣсни его Мессіяды, «которыя читавшими оныя были одобрены.» Домашневъ взялъ ихъ къ себѣ, желая хорошенько прочитать, и потерялъ. Державинъ не сталъ продолжать труда своего. Между тѣмъ друзья его отдали нѣкоторыя изъ его литературныхъ упражненій тогдашнимъ журналистамъ. Державинъ изумился, но не обрадовался, увидя въ печати свой пе-

реводъ Овидіевой Героиды (въ 1772 г. *Посланіе Вивлиды къ Кавну*), и нѣсколько Одъ.

Тридцать лѣтъ было Державину, когда новое поприще жизни вдругъ открылось ему. Бибиковъ отправился усмирять Пугачева, и взялъ съ собою подпоручика Державина. Въ 1777 г. его произвели за службу въ бомбардирскіе капитанъ-поручики, и хотѣли выпустить въ армію полковникомъ. Но *недоброжелательство какой-то знатной особы* остановило успѣхъ службы. Державинъ съ досадою увидѣлъ себя перемѣщеннымъ въ статскую службу, въ чинъ коллежскаго совѣтника, и принужденнымъ служить у строгаго, суроваго князя Вяземскаго, который не терпѣлъ ни поэзіи, ни поэтовъ. До 1782 года, Державинъ, дѣловой человѣкъ, экзекуторъ Сената, совѣтникъ Экспедиціи государственныхъ доходовъ, пять лѣтъ находился въ одномъ чинѣ. Гдѣ-же его поэзія? Половина жизни его пролетѣла. . .

Но здѣсь, 1782-*мъ годомъ*, почти сороковымъ отъ рожденія Державина, можно окончить первый періодъ его жизни. Подражатель Сумарокова и Ломоносова, ученикъ Тредьяковскаго и Готшеда, стыдящійся страсти своей къ поэзіи, безжалостно предающій сожженію свои опыты, онъ пишетъ въ гимназіи, въ казармѣ, робко является въ общество свѣтское, за честь, за счастіе почитаетъ знакомство съ современными литераторами. Но душа его уже отзывается сама себѣ. Бывши въ походахъ съ Бибиковымъ, онъ писалъ стихи безпрестанно. Въ годъ перехода своего въ статскую службу, рѣшился наконецъ Державинъ *печатать* свои

стихи, и издалъ брошюрку, назвавъ ее: *Четалагайскія оды*; потомъ отдѣльно напечаталъ онъ эпистолу Екатеринѣ, и эпистолу Шувалову, на возвращеніе его изъ чужихъ краевъ (въ 1779 г.). Имя автора не было объявлено, и его знали весьма немногіе.

Любопытно было-бы прочитать *Четалагайскія оды* (такъ названныя по горѣ *Четалагай*, при которой долго жилъ Державинъ, въ походѣ противъ Пугачева), и большую часть которыхъ составляли переводы стихотвореній Фридриха II-го. Все, что ни писалъ Державинъ, казалось ему ничтожно и нелѣпо. Въ 1778 году онъ женился. Любезная, милая подруга, страстно любившая поэзію, сдѣлалась новымъ вдохновеніемъ нашего поэта. Дружба Н. А. Львова, умнаго, остраго человѣка, В. В. Капниста, напитаннаго ученіемъ Классиковъ, Хемницера, добродушнаго цѣнителя произведеній робкаго друга, уваженіе Е. Р. Дашковой, готовой ободрять всякое, даже маленькое дарованіе, все это побуждало Державина, между заботами службы, улетать въ міръ фантазіи. «Всѣхъ прежнихъ своихъ произведеній я не одобрялъ, потому, что хотѣлъ въ нихъ подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ мой не былъ внушаемъ одинаковымъ геніемъ. Я хотѣлъ парить, и не могъ постоянно выдерживать красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно Россійскому Пиндару велелѣпія и пышности. Для того, въ 1779 году, *избралъ я совершенно особый путь*, будучи предводимъ наставленіями Батте, и совѣтами Львова, Капниста и Хемницера.»

Какой былъ этотъ *особый путь?* Мы узнаемъ его.

Изъ стихотвореній Державина, писанныхъ до 1781 года, до насъ дошли: *Успокоенное невѣріе* (преложеніе псальма, см. Сочиненія Державина, пов. изд. т. I, 42), пис. въ 1771 году; *На побѣды Екатерины* (1772 г.); *Вельможа* (1773 г.); *На кончину Бибикова* (1774 г.); *Монументъ Петру Великому* и *Петру Великому* (1776 г.); *На освященіе Каменно-островскаго инвалиднаго дома* (1778 г.); *Ключь* (Хераскову) и *На смерть Мещерскаго* (1779 г.); *Псаломъ* (Соч. Держ. т. II, стр. 40); *На отсутствіе Екатерины въ Бѣлоруссію*; *Къ первому сосѣду* (1780 г.). *Вельможа* былъ помѣщенъ въ *Чесалавайскихъ одахъ*. Но намъ извѣстенъ онъ уже перередѣланный Державинымъ въ 1794 г., *въ другомъ видѣ, съ прибавленіемъ многихъ новыхъ мыслей*. Все, что ни писалъ Державинъ, казалось ему, писано было *нечистымъ, неяснымъ словомъ*. И подъ новыми пьесами не подписывалъ онъ имени, но тихонько отдавалъ однакожь печатать ихъ Брайко, издававшему тогда *С. Петербургскій Вѣстникъ*. Брайко пересказывалъ ему потомъ мнѣнія и сужденія читателей. Державинъ самъ себѣ не вѣрилъ, слыша, что его *похваливаютъ*, писалъ, слѣдуя своему *особому пути*, ждалъ, что будетъ. Въ 1780 году, бывши у заутрени въ дворцовой церкви, въ *свѣтлое воскресенье*, онъ создалъ себѣ первую идею *Оды Богу*, «по обдумывая, и принимаясь нѣсколько разъ писать, не могъ, по разсѣянности въ столицѣ, положить чувствованій своихъ на бумагу.» Въ 1781 г. онъ создалъ *Фелицу*. Довольный собою на сей разъ, Державинъ показалъ это сочиненіе Львову, Капнисту и Хемницеру. «Они были также не-

сьма довольны, но не совѣтовали выдавать въ свѣтъ, опасаясь, чтобы нѣкоторые вельможи не приняли чего нибудь на свой счетъ, и не сдѣлались врагами сочинителя.» Державинъ сиряталъ свое твореніе; но показывалъ его иногда кое-кому. Дашкова сдѣлалась въ это время президентомъ вновь учрежденной Россійской Академіи, и достала себѣ списокъ Фелицы. Екатерина расположила съ нею планъ *Собесѣдника любителей Русскаго слова*, и Дашкова, не сирося ни Екатерины, ни Державина, начала первый листъ Собесѣдника *Фелицею**.

---

* Вотъ какъ самъ Державинъ говоритъ о появленіи въ свѣтъ своей Фелицы (добродушіе разсказа прелестно, и особливо при извѣстности лицъ, о которыхъ идетъ рѣчь, этотъ разсказъ дѣлается историческимъ фактомъ): «Въ 1782 году нанималъ я домъ на Литейной, у Петра Васильевича Неплюева, вмѣстѣ съ О. П. Козодавлевымъ; случилась мнѣ надобность пойдти въ свое бюро, для сысканія одной бумаги, въ присутствіи Козодавлева, который, увидя мое сочиненіе, прочелъ, и неотступною просьбою, подъ обѣщаніемъ никому постороннему не показывать, выпросилъ прочесть тѣтки своей, Аннѣ Осиповнѣ Пушкиной, любившей поэзію, а особливо мои сочиненія. По пріязни къ нему, не могъ я въ томъ отказать, и въ вечеру того-же дня получилъ обратно. Но черезъ нѣсколько дней, противъ всякаго чаянія, услышалъ я, что ода моя открыто читана въ домѣ И. И. Шувалова, въ присутствіи обѣдавшаго у него всего министерства. Шуваловъ, призвавъ меня къ себѣ, въ великомъ смятеніи, сказалъ мнѣ: «Какъ намъ быть и что дѣлать? Оду вашу требуетъ къ себѣ князь Григорій Александровичъ (Потемкинъ): отсылать-ли ее къ нему такъ, какъ она есть, или выкинутъ нѣкоторыя

По должности своей, Державинъ былъ у Вяземскаго, когда ему сказали, что пришелъ почтальонъ, и его спрашиваетъ. Онъ выходитъ; почтальонъ вручаетъ ему пакетъ, съ надписью: « *Изъ Оренбурга, отъ Царевны*

мѣста, которыя его образуютъ?» Я удивился, и спросилъ его, какъ онъ о ней знаетъ. Онъ отвѣчалъ: у меня она есть.—«Отъ кого?»—спросилъ я. Тогда признался онъ, что получилъ отъ Козодавлева, подъ великимъ секретомъ, но по случаю бывшаго за столомъ разговора о поэзіи, и при замѣчаніи, что нѣтъ еще у насъ такой легкой, каковою славится Франція, любя автора, не могъ вытерпѣть, чтобы къ чести его не прочесть предъ всѣми сіе первое такого рода на Русскомъ языкѣ твореніе. Онъ его чрезвычайно хвалилъ, но при всемъ томъ опасается, чтобы князь Потемкинъ не разсердился. Я спросилъ: «Кто же Потемкину сказывалъ?»—Андрей Петровичъ (Шуваловъ).—Я отвѣчалъ: «Ежели сочиненіе сіе уже извѣстно стало, то когда вы его не пошлете, или что нибудь изъ него выкинете, князь въ самомъ дѣлѣ можетъ почесть, что оно на счетъ его написано; но какъ оно не что иное есть, какъ общее изображеніе страстей человѣческихъ, писанное безъ всякаго намѣренія, то я подписываю на немъ свое имя, и прошу отослать къ требователю.» Отозвавшись такимъ образомъ, хотя показалъ я видъ бодрости, однакожъ безпокоился, чтобы столь сильный человѣкъ, каковъ Потемкинъ, не принялъ нѣкоторыхъ стиховъ на свой счетъ, и не надѣлалъ мнѣ какихъ непріятностей. Я открылъ сіе происшествіе другу своему Н. А. Львову, который былъ вхожъ и коротокъ, бывшему тогда еще графомъ, Алекс. Андреев. Безбородко, и просилъ его развѣдать, какъ онъ думаетъ о моемъ сочиненіи, и если можно, предварить о немъ съ лучшей сколько возможно стороны Государыню, дабы не

Киргизъ-Кайсацкой, Державину.» Развернувъ, онъ увидѣлъ золотую табакерку, осыпанную брильянтами, и въ ней 500 червонцевъ. Въ изумленіи, въ смятеніи, возвратился Державинъ къ Вяземскому, показалъ нежиданный подарокъ и спрашивалъ: позволитъ-ли онъ принять? Вяземскій «сперва грозно взглянулъ на меня, но увидя табакерку послѣдней Французской работы,» догадался отъ кого подарокъ, посмотрѣлъ, улыбнулся, и сказалъ: «*Вижу, братецъ, вижу. Хорошо! Для чего такой подарокъ не принять. Да, за что-бы это?* прибавилъ онъ, «*съ видомъ нѣкотораго неудовольствія.*» Державинъ отвѣчалъ, что самъ не знаетъ, а развѣ за сочиненіе, которое ея сіятельство, княгиня Екатерина Романовна, сама собою, напечатала въ Совесѣдникѣ.— Дашкова привела Державина въ совершенный восторгъ, разсказавъ ему, что въ день своего доклада, воскре-

---

понести ея гнѣва. Безбородко былъ въ вышеупомянутой компаніи. Львовъ, будто ненарочно, читая нѣкоторые стихи, вызывалъ тѣмъ графа на объясненіе его мыслей; свой однакожъ, хотя отозвался съ похвалою, но говорилъ-ли что Государынѣ, неизвѣстно, а, кажется, по обстоятельствамъ, что не вошелъ въ сіе дѣло. Вскорѣ послѣ того, когда открылась Россійская Академія, княгиня Дашкова, будучи при Дворѣ въ уваженіи, сдѣлана директоромъ оной, а Козодавлевъ совѣтникомъ Академіи. Онъ показалъ мою пьесу Княгинѣ; она ей понравилась. Предпріявъ издавать тогда періодическое изданіе, подъ названіемъ: Совесѣдникъ, приказала она, не сказавъ никому ни слова, напечатать оную на первомъ листѣ, и поднесла на апробацію Государынѣ (см. Сынъ Отеч. т. LXX, 242—243).

сенье, оставила она у Государыни первые листы *Собесѣдника*, и была призвана рано по утру, въ понедѣльникъ. Со слезами спросила у нея Екатерина: «Кто Сочинитель, который написалъ Фелицу, и который такъ подробно меня знаетъ*?»

Здѣсь начался второй періодъ жизни и поэзіи Державина. Его немедленно представили ко Двору, благодарить за Высочайшую милость. «Во время представленія, Государыня остановилась противъ меня, и осмотрѣла меня съ особливымъ, проницательнымъ взоромъ, что было, не только мнѣ, но и многимъ замѣтно.»

Шумно заговорили въ Петербургѣ и во всей Россіи о Фелицѣ и Державинѣ. Поэты писали ему стихи, посланія; подражателей явилась толпа. Державина искали въ свѣтскихъ, лучшихъ обществахъ; въ тотъ-же годъ дали ему чинъ статскаго совѣтника. Изъявивъ чувства свои въ *Благодарности Фелицѣ*, онъ написалъ въ 1783 г. *Видѣніе Мурзы*, и началъ *Безсмертіе души*, «но болѣе двухъ первыхъ строфъ написать не могъ.» Время летѣло, и Фелица сиротѣла одинокая; поэтъ не присоединялъ новыхъ лавровыхъ вѣнковъ на свою голову. Дашкова уговаривала его въ это время написать *что нибудь въ похвалу Потемкина*. Державинъ зналъ необходимость поклониться сильному временщику. «Но

(*) См. Ключъ къ Соч. Державина, стр. 26. Въ Сынѣ Отеч. сказано иначе: «который такъ меня тонко знаетъ» (см. XXX, стр. 245). О доставленіи подарка Императрицы, Державинъ замѣчаетъ, что онъ былъ ему врученъ весьма деликатно.

какъ я былъ съ нимъ тогда незнакомъ, и не хотѣлъ показаться подлымъ ласкателемъ, то и написалъ стихи въ шутливомъ тонѣ. Въ нихъ видны были многія черты дѣлъ и характера Потемкина, а заключеніе сдѣлано на общее достоинство вельможъ, каковы они должны быть.» Стихи эти были: *Рѣшемысль* (Соч. Державина т. II, 267) — холодная аллегорія, взятая изъ сказки *Февей*, сочиненной Екатериною. Потемкину могли понравиться двѣ, три строфы; какъ-то:

Бывали прежде дни такіе,
Что люди самые честные
Страшилися близь трона быть,
Любимцевъ царскихъ увѣгали,
И не могли тѣхъ змѣй любить
Которыя ихъ кровь сосали;

Но то-ли значило: *хвалить*, когда другіе заставляли Аполлона стоять на колѣняхъ передъ временщикомъ! Потемкинъ не сказалъ ни слова. Довольно было и того, что онъ молчалъ. Между тѣмъ слава Фелицы возбудила злобу и зависть. Боялись смѣлости, съ какою дерзнулъ *Коллежскій Совѣтникъ* подойдти къ трону шутя; искали намѣковъ на знатнѣйшихъ вельможъ, перетолковывали; другіе, слыша, какъ эти намѣки заставляли *говорить* о людяхъ, заклейменныхъ Державинымъ, досадовали, почему онъ не намѣкнулъ на нихъ; дѣльные люди дивились, какъ можно было за такой вздоръ давать чины и червонцы, какъ можно было препоручать дѣла стихотворцу*; другіе боялись эпи-

* «Нѣкоторыя въ то время извѣстныя особы почитали упражняющихся въ поэзіи людьми лѣнивыми, и къ дѣламъ неспособными,» говоритъ Державинъ.

граммъ и одъ Державина болѣе доносовъ. Сама Екатерина говорила, что Мурза слишкомъ хвалитъ ее. Напрасно поэтъ увѣрялъ, что онъ поетъ только тогда,

Когда отъ бремя дѣлъ случится,
И мнѣ свободный часъ имѣть;

Напрасно писалъ онъ Екатеринѣ:

Возможно-ль, кроткая Царевна!
И ты къ Мурзѣ чтобъ своему
Была сурова столь и гнѣвна,
И стрѣлы къ сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
Къ себѣ и ты недовѣряла?
Довольно безъ тебя людей,
Довольно безъ тебя поэту,
За кажду мысль, за каждый стихъ
Отвѣтствовать лихому свѣту
И отъ сатиръ щититься злыхъ!
Довольно золотыхъ кумировъ,
Безъ чувствъ мои что пѣсни чли;
Довольно кадіевъ, факировъ,
Которы въ зависти сочли
Тебѣ ихъ неприличной лестью;—
Довольно нажилъ я враговъ!
Иной отнесъ себѣ къ безчестью,
Что не дерутъ его усовъ;
Иному показалось вольно,
Что онъ насѣдкой не сидитъ;
Иному — очень своевольно
Съ тобой Мурза что говоритъ;

Иной вмѣнялъ мнѣ въ преступленье,
Что я посланницей небесъ
Тебя выть мыслилъ въ восхищеньѣ,
И лилъ въ восторгѣ токи слезъ.
И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,
А тотъ соленыхъ огурцовъ....

Ничто не помогало. Фонъ-Визинъ давно говорилъ: «Между людьми такъ ведется, что если на тебя не разсердятся, такъ тебя разсердятъ.» Поэтъ *разсердился*, и—подалъ просьбу объ отставкѣ. «Какая дерзость!» закричали дѣловые. Друзья боялись за Державина, и онъ — холодно былъ уволенъ отъ службы. Но Екатерина понимала пѣвца своего лучше, нежели онъ понималъ ее и самого себя, слушала пересказы объ немъ, но не сердилась, улыбалась, велѣла дать ему слѣдующій чинъ, и черезъ три мѣсяца послѣ отставки приказала опредѣлить его куда нибудь губернаторомъ. Выбрали — *Олонецкую губернію*. И вотъ нашъ поэтъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, уѣхалъ въ глушь лѣсовъ сѣверныхъ, оставя ненависть за собою въ столицѣ, рѣшившись непремѣнно бросить стихотворство, приняться *за дѣла*, показать, что и онъ умѣетъ заниматься дѣломъ. «Я увидѣлъ тогда, что многіе знатные люди стихотворства моего не жалуютъ, а меня гонятъ, и на нѣсколько лѣтъ совсѣмъ оставилъ Поэзію.» Въ Петрозаводскѣ ожидали его страшныя непріятности. Генералъ-губернаторъ Тутолминъ встрѣтилъ поэта насмѣшкою; далъ ему разумѣть, что онъ изгнанный мурза; послалъ его открывать уѣздный городъ Кемь, и на Бѣломъ морѣ, въ жестокую бурю, Державинъ едва не по-

гивъ. Поэтъ представилъ проэктъ свой о прокормленіи Лапландцевъ. Вздумалъ кормить Лапландцевъ! Не забавно-ли? Разсерженный поэтъ засѣлъ за бюро свое, сочинилъ длинное опроверженіе системы канцелярскаго порядка, составленной Тутолминымъ, и — получилъ повелѣніе ѣхать въ Тамбовъ и губернаторствовать тамъ. Постановленіе о больницахъ Приказа Общественнаго Призрѣнія, проэктъ о судоходствѣ въ Тамбовской губерніи, топографическое описаніе сей губерніи — вотъ, что писалъ тамъ Державинъ. Не прошло и двухъ лѣтъ отъ рѣшенія быть дѣловымъ человѣкомъ. Горячій нравъ и пылкость поэта не сладили съ хитростью и ябедою. Напрасно писалъ онъ Дашковой, незабывавшей его и въ Тамбовѣ (см. стихи *На смерть Румянцовой*):

Меня ничто вредить не можетъ,
Я злобу твердостью сотру;
Враговъ моихъ червь кости сгложетъ,
А я поэтъ — и не умру!

«Можно быть поэтомъ и безпокойнымъ шалуномъ» — подумали наконецъ въ Петербургѣ, видя безпрестанныя ссоры Державина съ другими. Его смѣнили, и отдали подъ судъ. Онъ пріѣхалъ въ Москву, и почти три года жилъ въ Москвѣ и Петербургѣ, *подъ отвѣтомъ*.

Сдержалъ-ли онъ свое слово, и точно-ли *оставилъ Поэзію на нѣсколько лѣтъ?* Да, въ нѣкоторомъ отношеніи. Онъ кончилъ свою *Оду Богъ* въ 1784 г., когда былъ въ отставкѣ, но поступивъ въ службу писалъ проэкты и бумаги. «Когда-же увидѣлъ я, что все это не помогло, и меня все гонятъ и бранятъ, то, по при-

бытіи изъ Тамбова, въ 1789 году, принялся паки за перо, съ большею ревностію.» Онъ и не оставлялъ его, своего золотаго пера, никогда — только не хотѣлъ писать *ничего важнаго*: переложилъ на Тутолмина псаломъ (*Уповающему на силу свою*), составлялъ сценическіе прологи въ Тамбовѣ, и псальмами отводилъ потомъ душу въ Москвѣ и Петербургѣ. Но тутъ явились его: *Ода на каварство*, *На счастье*, *Осень* (во время осады Очакова), и въ 1789 году *Изображеніе Фелицы*. Въ началѣ 1791 года, графъ Зубовъ привезъ извѣстіе о *взятіи Измаила*. Державинъ вдохновился, изобразилъ новое торжество Россіи въ стихахъ, и представилъ Екатеринѣ. «Сія ода принята была Императрицею весьма хорошо.» Къ нему прислали табакерку, осыпанную бриллиантами. Люди, считавшіе Державина уже погибшимъ, изумились, зашевелились. Ѳедоръ Эминъ написалъ злую критику и читалъ самому Державину, «Я полагалъ, что это было чье нибудь намѣреніе разсердить меня, и сдѣлать смѣшнымъ, т. е. такъ-же поступить, какъ прежде бывало съ старинными стихотворцами, которыхъ зазовутъ къ себѣ бояра, и напустя на нихъ кого нибудь, взвѣсятъ, а тѣ, для потѣхи, между собою бранятся.» Вскорѣ пріѣхалъ въ Петербургъ *великолѣпный Князь Тавриды*, сказалъ Державину всемогущее свое: *спасибо*, за его стихи, и Державинъ воскресъ духомъ. Въ *Апрѣлѣ* 1791 года, Потемкинъ давалъ неслыханный балъ свой въ Таврическомъ дворцѣ, и велѣлъ описать это торжество: въ *Декабрѣ* 1791 г. Державина оправдали. Впрочемъ, все дѣло его состояло въ пустыхъ сплетняхъ. Екатерина призвала Дер-

жавина къ себѣ, опредѣлила статсъ-секретаремъ своимъ, и велѣла ему писать все, что угодно, только показывать напередъ все ей самой.

Здѣсь начался новый періодъ жизни Державина. Современники увидѣли въ немъ вельможу, литераторы покровителя, явились льстецы и прислужники. Смерть Потемкина отгрянула на струнахъ лиры его безсмертнымъ *Водопадомъ*, и — Державинъ умолкъ снова. Напрасно умный Храповицкій говорилъ ему, что *теперь-то и надобно писать*. Нельзя было сказать *еще яснѣе*. «Нѣтъ! я обязанъ трудиться, заниматься дѣлами»—отвѣчалъ новый *статсъ-секретарь*, указывая на кипу бумагъ, накопившуюся по дѣлу бывшаго Иркутскаго генералъ-губернатора Яковія, и другія книги.

Ты умный мнѣ даешь совѣтъ,
Чтобы владычицѣ Киргизской

Я пѣсни пѣлъ,
И лирой ей хвалы гремѣлъ.

Такъ, такъ! За средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Безцѣнны перстни, камешки
Я вралъ съ нея бы за бездѣлья,

И былъ гудкомъ
Давно мурза съ большимъ усомъ.

Но, ежели наложенъ долгъ
Мнѣ отъ судебъ и вышня трона,
Чтобъ не лучистый милый богъ
Съ высотъ лазурна Геликона

Меня вынюхалъ,
Но я экстракты-въ сочинялъ,

Былъ чтецъ и пономарь Ѳемиды,
И ей служилъ за алтаремъ,
Какъ омофоромъ отъ обиды
Однихъ покрывъ, другихъ мечемъ

Своимъ страшитъ,
И счастье всѣмъ она даритъ;

То какъ Яковія оставить,
Котораго весь міръ тѣснитъ?
Какъ Лог. . . ва дать оправить,
Который золотомъ гремитъ?

Боговъ пѣвецъ
Не будетъ никогда подлецъ!

Вся эта пьеса весьма замѣчательна, и превосходно выражаетъ Державина. Вотъ заключеніе ея:

Ты самъ со временемъ осудишь
Меня за мглистый ѳиміамъ,
За правду-жь чтить меня ты будешь:
Она любезна всѣмъ вѣкамъ.

Послѣ *Водопада*, въ 1791 г. Державинъ написалъ стихи Н. В. Рѣпнину: *Память Герою*, и *На Шведскій миръ*; въ 1792 г. *На рожденіе Ольги Павловны*, *Калліопа*, *Умѣренность*, и началъ было стихи на Революцію (*Колесница*), но бросилъ неконченные; въ 1793 году написаны имъ: *Горѣлки*, вышеприведенные стихи *Храповицкому*, *На панихиду Людовика XVI-го*, *Львову*, *Ласточка*, *Преложеніе псальма* (пѣснь врачная

Порфирородной Четъ), *Буря*. Въ 1793 году *уволили* его отъ статсъ-секретарства, и сдѣлали сенаторомъ. Пьеса *Горѣлки* стоитъ упоминанія. Придворные, замѣтивъ однажды, что Екатерина была грустна и задумчива, хотѣли развеселить ее; это было 15 Іюля 1793 г., въ Царскосельскомъ саду; начали играть въ горѣлки. Державинъ пришелъ съ бумагами. Его уговорили бѣгать вмѣстѣ съ другими. Пятидесятилѣтній поэтъ побѣжалъ, упалъ и вывихнулъ себѣ руку. «По причинѣ болѣзни, долго не могъ я показаться у Двора, отъ котораго впослѣдствіи и еще болѣе отдалился, будучи сдѣланъ, 8-го Сентября того-же года, сенаторомъ.»—«Хотя и видѣлъ я»—говоритъ Державинъ—«неожидаемый успѣхъ своихъ дарованій, но ихъ, такъ сказать, не обработывалъ, и авторомъ никогда быть не готовился, а упражнялся въ поэзіи только иногда, *между дѣлъ по службѣ*, и между разбирательства Третейскихъ Судовъ и управленія многихъ опекъ, въ коихъ, безъ всякой корысти, защищалъ бѣдныхъ и несвѣдущихъ въ законахъ отъ корыстолюбцевъ и ябедниковъ. По сей причинѣ небрегъ я и о сочиненныхъ мною пьесахъ, и никогда оныхъ не собиралъ. Но супруга моя, любя поэзію, и имѣя къ ней отъ природы вкусъ, тихонько отъ меня переписывала ихъ въ одну тетрадь.»

При должности сенатора Державину было довольно досуга. Онъ передѣлалъ тогда своего *Вельможу*, и кончилъ *Безсмертіе души*. Бюстъ его, сдѣланный Рашетомъ, внушилъ ему прелестное созданіе: *Мой истуканъ*. Вотъ, что написано было имъ до кончины Екатерины: *Меркурію* (при пожалованіи въ президенты

Коммерцъ-Коллегіи, въ 1794 году), *Провидѣніе*, *Красавицу*, *На взятіе Варшавы*, *На смерть Ольги Павловны*, *Флотъ*, *Приглашеніе къ обѣду*, *Къ Лирѣ*, *Соловей*, *Павлинъ*, *Бовинъ здравія*, *Кончина благотворителя* (Бецкаго), *На покореніе Дербента*, *Гремислава*, *Аонейскому витязю*, *На кончину Орлова*. «Императрица неоднократно изъявляла мнѣ желаніе, чтобы я болѣе упражнялся въ стихотворствѣ, и какъ, *по нѣкоторымъ обстоятельствамъ*, не могъ я ничего вновь произвести, то и принялся за собранныя супругою моею стихотворенія.» (Она скончалась 1794 г. 15 Іюля. Державинъ вступилъ во второй бракъ въ послѣдствіи). *Приказавъ переписать оныя, какъ можно чище, и украсивъ виньетами*, онъ поднесъ рукопись Екатеринѣ. При ней приложено было безсмертное *посвященіе*, вновь написанное. Въ 1797 году Державинъ создалъ свой *Памятникъ*. Любопытно, что онъ хотѣлъ было вновь начать аллегорическія пѣсни Екатеринѣ, подъ именемъ *Гремиславы* (стихи къ Нарышкину), «отъ того, что имя Фелицы сдѣлалось уже слишкомъ обыкновеннымъ у всѣхъ стихотворцевъ, хотя выдумано было авторомъ единственно для того, чтобы удобнѣе было писать свободно и шутливо. Начата сія Ода словами, часто произносимыми Императрицею: *Живи, и жить давай другимъ*, къ которымъ прибавилъ я и свое правило: *Но только не на счетъ другаго*.»

Положеніе Державина при Дворѣ казалось милостивою холодностью. Екатерина скончалась. Едва вступилъ на престолъ Императоръ Павелъ, Державинъ опредѣленъ былъ правителемъ Канцеляріи Государственна-

го Совѣта. Чрезъ нѣсколько дней смѣнили его, и велѣли опять по прежнему быть сенаторомъ. Смиренно и тихо занялся должностью своею Державинъ. Уже старость начинала тяготѣть надъ нимъ: ему было слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ. Въ 1798 году оплакалъ онъ кончину Шувалова, и на досугахъ переводилъ оды Горація, перелагалъ псальмы. Время было грозное: вся Европа колебалась въ основаніи. Храповицкій, въ это время уже отставной вельможа вѣка Екатерины, совѣтовалъ ему даже выкинуть изъ своихъ сочиненій похвалы нѣкоторымъ вельможамъ. Отвѣтъ Державина былъ прелестенъ: тутъ мало поэзіи, но видна душа человѣка (*Соч. Держ. т. I.* стр. 246);

Храповицкій! дружбы знаки
Вижу я къ себѣ твои:
Ты ошибки, лесть и враки
Кажешь праведно мои.
Но съ тобой не соглашуся
Я лишь въ томъ, что я орелъ.

А по твоему коль станетъ,
Ты мнѣ путы развяжи:
Гдѣ свободно громъ мой грянетъ,
Ты мнѣ небо покажи?
Гдѣ я въ поприще пущуся
И препонъ бы неимѣлъ?

Гдѣ чертогъ найду я правды?
Гдѣ увижу солнце въ тьмѣ?
Покажи мнѣ тѣ отрады,
Хоть близь трона въ вышинѣ,
Чтобъ гдѣ правду допускали
И любили бы ее?

Страха связанныхъ цѣпями
И рожденнымъ подъ жезломъ,
Можно-ль орлими крылами
Къ солнцу намъ паритъ умомъ!
А хотя-бъ и возлетали,
Чувствуемъ ярмо свое.

Должны мы всегда стараться,
Чтобы сильнымъ угождать,
Ихъ любимцамъ поклоняться,
Словомъ, взглядомъ ихъ ласкать.
Рабъ и похвалить не можетъ:
Рабъ лишь можетъ только льстить!

Извини-жь, мой другъ, какъ лестно
Я кого гдѣ воспѣвалъ,
Днесь скрывать мнѣ тѣхъ безчестно,
Разъ кого я выхвалялъ.
За слова меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ!

Но великія событія новаго царствованія воспламенили прежній духъ поэта. Рожденіе Великаго Князя Михаила Павловича, принятіе Императоромъ гроссмейстерства Мальтійскаго ордена, были предметами его пѣснопѣній. Наконецъ сбылось и то, о чемъ предвѣщалъ Державинъ въ 1793 году—*заревѣли громы*,

На крыліяхъ орловъ несомы!

Суворовъ *пошелъ спасать Царей*. Пѣвецъ Измаила загремѣлъ пѣснію, когда

На Галла сталъ ногой Суворовъ—
И горы треснули подъ нимъ!

Порывиста, бурна была была сія пѣснь Державина. Павелъ благосклонно внялъ Пѣвцу Фелицы. Въ 1799-мъ году, Онъ послалъ его для разбора затруднительныхъ дѣлъ умершаго Зорича; потомъ опять въ Бѣлоруссію въ 1800 году, пожаловавъ ему тогда же чинъ дѣйствит. тайнаго совѣтника, и большой крестъ Св. Іоанна Іерусалимскаго; въ Августѣ 1800 года Державина опредѣлили опять президентомъ Коммерцъ-Коллегіи, и — онъ опять принялся *за дѣла*.

Восшелъ на престолъ Александръ, и съ новыми надеждами устремились къ нему сердца новаго поколѣнія. Державинъ былъ немедленно уволенъ отъ своихъ должностей, но радостно привѣтствовалъ юнаго Монарха звуками своей лиры. При учрежденіи Министерствъ, Державину дали Министерство Юстиціи. Онъ пробылъ въ семъ званіи *только годъ*, чувствовалъ, что его политическое поприще уже *кончилось*, и 1803 г. Октября 7-го, по прошенію, былъ вовсе уволенъ отъ службы, на шестьдесятъ первомъ году, посвятивъ ей болѣе сорока лѣтъ.

Здѣсь наступилъ послѣдній періодъ жизни и поэзіи Державина. Еще *тринадцать лѣтъ* существовалъ онъ, жилъ большею частію въ сельскомъ уединеніи своемъ, на берегахъ Волхова, иногда въ Петербургѣ, частнымъ человѣкомъ, посвящая все время поэзіи и бесѣдѣ друзей. Всѣ уважали, чтили въ немъ великое дарованіе его; ласковость, радушіе его привлекали сердца; къ нему шли, какъ къ меценату и покровителю. Старецъ радовался всякому новому успѣху, не старѣлъ сердцемъ и душею. Всѣ великія событія Александрова царствованія застав-

ляли его браться дрожащею рукою за лиру: война 1806 и 1807 года, патріотическій порывъ Россіи въ 1807 году, сопровождались его пѣніемъ. Въ одѣ Платову даже воскресъ его прежній геній. Въ 1804 году, онъ собралъ свои мнимо-*анакреонтическія* стихотворенія, и издалъ отдѣльно. Въ 1808 году, онъ напечаталъ въ первый разъ полное собраніе своихъ сочиненій, оставивъ при первой части посвященіе Екатеринѣ, и посвятивъ вторую Александру.

Въ послѣднемъ періодѣ — уже грустно смотрѣть на Державина. Цѣлый вѣкъ ошибавшись въ своемъ геніи, онъ всего болѣе ошибался въ послѣдніе годы своей жизни. Цѣлый вѣкъ непонимаемый своими современниками, онъ вовсе былъ непонятъ въ послѣдніе годы. Никакого впечатлѣнія не произвели двѣ большія театральныя пьесы, помѣщенныя имъ въ 4-мъ томѣ сочиненій: *Добрыня* и *Пожарскій*. Старецъ думалъ, что можетъ принудить современниковъ къ сознанію его дарованій и въ семъ родѣ. Въ 1809 г. Академія Россійская предложила задачу: *написать траведію*. Державинъ предсталъ къ состязанію, съ пьесою жалкою, дурно написанною, уродливо Классическою: *Иродъ и Маріамна*, гдѣ подражалъ отъ надутости плана и выраженію старыхъ трагедій. Академія отвергла трагедію Державина, и увѣнчала твореніе Хераскова: *Зареида* и *Ростиславъ* — созданіе ни чуть не лучше *Ирода* и *Маріамны*. Державинъ не выдержалъ, напечаталъ отвергнутую трагедію, и — объявилъ при томъ свое имя.

Новое поколѣніе отсюду тѣснило уже старое, съ его идеями, мнѣніями и понятіями. Обольщаясь ново-

модною мишурою, оно не умѣло оцѣнять послѣднихъ искръ угасавшаго генія, безотчетно благоговѣло къ его прежней славѣ, и только изъ этого благоговѣнія не хотѣло разрушать утѣшительныхъ мечтаній старца. Улыбаясь слушали все, что онъ писалъ вновь, и хвалили. Съ 1803-го года по самую кончину Державинъ испыталъ многіе роды стихотвореній: Драму, Оду, Элегію, преложеніе Псалтири, переводъ Горацієвыхъ Одъ, Идиллію, переводы изъ Шиллера, изъ Ж. Б. Руссо, бралъ предметы изъ Сѣверной Поэзіи, Русской старины. Наконецъ, когда въ 1811 году составилось литературное общество, подъ названіемъ: *Бесѣда любителей Русскаго слова*, Державинъ, давшій въ своемъ Петербургскомъ домѣ залу для собраній Бесѣды, пожертвовавшій значительную библіотеку, взялся писать Разсужденіе объ Одѣ. Когда сошлись наконецъ грудь съ грудью Наполеонъ и Россія, Державинъ пѣлъ начало войны, паденіе орла надъ головою Кутузова, ужасы битвъ, гибель полчищъ Наполеона. Каждая новая вѣсть заставляла струны лиры его трепетать, и душу его искать въ нихъ прежняго голоса. Послѣ 1812 года и отъѣзда Государя изъ Санктпетербурга, битва при Люценѣ, побѣда при Лейпцигѣ, отъѣздъ Императрицы, отъѣздъ Великихъ Князей, смерть Кутузова, взятіе Парижа, срѣтеніе Государя, Государыни, Гвардіи, годичное торжество взятія Парижа — все ознаменовывалось стихами Державина. Рукоплесканія загремѣли еще разъ дряхлому поэту, при звукахъ пѣсни его на возвращеніе Александра: *Ты возвратился, Благодатный!* Она была народною, вмѣстѣ съ немногими другими: *Хвала, хвала*

тебѣ, верой — За горами за долами — Что такъ рано солнце встало, и проч.

Намъ неизвѣстны послѣдніе дни поэта. Знаемъ только, что онъ удалился тогда въ свою Званку. Тамъ издавна мечталъ онъ о прежней жизни, въ тихіе лѣтніе вечера, на западѣ вѣка, и говорилъ просвѣщенному архипастырю и другу своему Евгенію, бывшему до 1808 года викаріемъ Новогородскимъ и епископомъ Старорусскимъ:

Чего въ мой дремлющій тогда не входитъ умъ?
Мимолетящи суть всѣ времени мечтанья:
Преходятъ годы, дни, ревъ морь и бурей шумъ,
И всѣхъ зефировъ повѣванья!...

Такъ! самыхъ свѣтлыхъ звѣздъ блескъ меркнетъ отъ нощей.
Что жизнь ничтожная? Моя скудѣльна лира!
Увы! и даже прахъ спахнетъ моихъ костей
Сатурнъ крылами съ тлѣнна міра!

Иль, нѣтъ, Евгеній! Ты, бывъ нѣкогда моихъ
Свидѣтель пѣсенъ здѣсь, взойдешь на холмъ тотъ страшный,
Который, тощихъ нѣдръ и сводовъ внутрь своихъ,
Вождя, волхва гробъ кроетъ мрачный;

Отъ коего, какъ громъ катается надъ нимъ,
Съ булатныхъ, ржавыхъ вратъ, и сбруи мѣдной гулы
Такъ слышны подъ землей, какъ грохотомъ глухимъ
Въ лѣсахъ, трясясь, звучатъ стрѣлъ тулы.

Такъ! развѣ ты, отецъ, святымъ твоимъ жезломъ
Ударивъ о доски, заросши мхомъ, желѣзны,
И свитыхъ вкругъ моей могилы змѣй гнѣздомъ,
Прогонишь блѣдну зависть въ бездны.

Не зря на колесо веселыхъ, мрачныхъ дней,
На возвышеніе, на пониженье счастья,
Единой правдою меня въ умахъ людей,
Чрезъ Клио оживишь согласья....

Еще за нѣсколько дней до кончины, смотря на *Рѣку временъ*, извѣстную историческую карту, Державинъ написалъ на аспидной доскѣ нѣсколько строкъ. Вотъ сіи *послѣдніе* звуки лиры безсмертнаго пѣснопѣвца:

Рѣка временъ въ своемъ стремленьи
Уноситъ всѣ дѣла людей,
И топитъ въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрезъ звуки лиры и трубы,
То вѣчности жерломъ пожрется
И общей не уйдетъ судьбы....

Далѣе еще двѣ строки, но ихъ нельзя разобрать*. Іюля 9-го дня, 1816 года, ровно 73-хъ лѣтъ и 5-ти дней, скончался *Державинъ*. Онъ завѣщалъ похоронить себя въ Варлаамскомъ Хутынскомъ монастырѣ, гдѣ неоднократно гостилъ прежде у друга своего, епископа Евгенія, пріѣзжая изъ Званки, и часто, любуясь величе-

* Дощечка съ этими стихами хранится нынѣ въ С. Петербургской Императорской публичной Библіотекѣ.

ственнымъ видомъ на окрестности, говаривалъ ему: «Здѣсь такъ хорошо, что иногда приходитъ мнѣ желаніе навсегда здѣсь остаться.» Монастырь сей стоитъ на 10-й верстѣ отъ Новгорода. Прежде почти мимо его пролегала Московская дорога. Суетливая забота мчалась и мчится изъ столицы въ столицу, не внемля звону съ колоколенъ Хутыня, напоминающихъ древнюю славу Новгорода, чудо Святаго, отъ котораго ужаснулся и бѣжалъ Грозный Іоаннъ, бросивъ жезлъ свой, понынѣ хранимый въ ризницѣ, и—память барда Русскаго, *Державина!* Скромный гранитный камень лежитъ на могилѣ его, съ черною, мраморною урною; позолоченная рѣшетка окружаетъ могилу. Въ надгробной надписи исчислены всѣ чины, всѣ ордена *Державина.* На что это? На что ему даже эпитафія? Напишите: *Державинъ*, и—вы все сказали.

Родъ Державина пресѣкся съ нимъ. Онъ не оставилъ послѣ себя дѣтей. Братъ его, младшій, какъ мы выше сказали, умеръ за 46 лѣтъ до его смерти.

При новомъ изданіи сочиненій, Державинъ изображенъ въ прическѣ, звѣздахъ и шитомъ мундирѣ сенаторскомъ. Хотите-ли видѣть его изображеннаго достойнымъ образомъ? Посмотрите на портретъ Державина, написанный Тончи (онъ сгравированъ при *Собраніи Русскихъ Стихотвореній*, изданныхъ Жуковскимъ въ 1811 году). Потомокъ Багрима, среди снѣговъ родимой стороны, въ шапкѣ и Русской одеждѣ—мысль истинно-поэтическая!

Кромѣ *Чесмалавайскихъ одъ*, и множества отдѣльно изданныхъ сочиненій Державина, Анакреонтическихъ

стихотвореній, изданныхъ въ 1804 году, и трагедіи, первое собраніе сочиненій его напечатано было въ 1798 г., по списку, отданному въ типографію отъ Шувалова, въ одномъ томѣ*. Въ 1808 году, Державинъ издалъ ихъ въ 4-хъ томахъ. Первый томъ напечатанъ точно такъ, какъ былъ онъ представленъ Екатеринѣ въ 1795 году; во 2-мъ помѣщены стихотворенія его послѣ 1795 года; въ 3-мъ Анакреонтическія сочиненія; въ 4-мъ драматическія сочиненія, и описаніе праздника Потемкина. Въ 1816 году Державинъ напечаталъ 5-й томъ—сочиненія свои послѣ 1808 года. Въ 1817 году изданы были избранныя его стихотворенія, подъ названіемъ: *Лира Державина.* Намъ не случалось видѣть сего выбора. Впрочемъ, изъ Державина не должно выбирать. Надобно читать все, что онъ писалъ, иначе никогда его не узнаете: онъ не изъ числа поэтовъ на выдержку. Новое изданіе сочиненій его великолѣпно, но порядокъ, въ какомъ они расположены, намъ не нравится. Что это за раздѣленіе на пьесы *духовныя*, *философическія*, *торжественныя!* Хронологическій порядокъ былъ-бы всего лучше, ибо сочиненій Державина нельзя дѣлить на роды.

---

* «И. И. Шуваловъ, бывшій, по образованію Автора въ Казанской Гимназіи, его Кураторомъ, желалъ, чтобы плодъ его попеченій о распространеніи просвѣщенія въ имперіи былъ и въ сочиненіяхъ Державина извѣстенъ свѣту.» Эти слова, которыя можно бы почесть насмѣшкою, повторяются многими съ удивительнымъ добродушіемъ. Неужели въ самомъ дѣлѣ Шуваловъ думалъ, что Казанская Гимназія помогла генію Державина, и что геній Державина свидѣтельствовалъ за эту Гимназію?

Жаль, что нѣтъ варіянтовъ; жаль, что и не все собрано.... Не говоримъ о примѣчаніяхъ, которыхъ, говорятъ, оставилъ Державинъ двѣ большія тетради, и только малую часть издалъ г-нъ Остолоповъ. Проза его также остается неизвѣстною. Намъ мало нужды въ его *дѣловыхъ бумагахъ*: проэктахъ объ устройствѣ Евреевъ, о патріотическомъ банкѣ, о межеваньѣ, о продовольствіи столицъ, объ опекахъ, о Крымской соли, о третейскомъ судѣ. Но Державинъ описалъ, говорятъ, подробно бунтъ Пугачева—какъ это любопытно! И почему этого не издать?

Едва-ли кому нибудь при жизни писали стиховъ, посланій, и прочаго, болѣе Державина. Кончину его почтили современники признательными приношеніями въ прозѣ и стихахъ. Всѣ сіи стихи доказываютъ однакожь только одно: доброе намѣреніе писавшихъ оные.—Злоба, въ свою очередь, оскорбляла Державина при жизни гнусными пасквилями, сатирами, пародіями. Но ни при жизни, ни по смерти его, никто не оцѣнялъ его творепій вполнѣ и критически. Неужели останавливало тоже чувство, по которому наслѣдникъ богача не считаетъ богатствъ, ему доставшихся, боясь оказаться менѣе богатымъ, нежели полагаетъ онъ? Не упоминаемъ о критикахъ Мерзлякова, и характеристикѣ, написанной княземъ Вяземскимъ. Первый вытягивалъ творенія Державина на Классическую мѣрку; второй написалъ нѣсколько легкихъ страницъ, исполненныхъ ошибками и противорѣчіями....

Внимательно разсмотрѣвъ жизнь Державина, взглянувъ на его политическое поприще, постараемся теперь

изъ этого двойственнаго бытія, вельможи и человѣка, чиновника и поэта, составить себѣ понятіе о *характерѣ* Державина.

Державинъ былъ поэтъ; характеръ его былъ поэтическій, въ самомъ обширномъ смыслѣ, *поэтическій-преимущественно*. Кромѣ Пушкина, не было у насъ другаго, столь *исключительно поэтическиго* характера, со времени преобразованія Россіи, ни прежде, ни послѣ Державина. Въ душахъ всѣхъ другихъ поэтовъ Русскихъ поэзія только отсвѣчивалась, не свѣтила самобытно, не наполняла собою, не сжигала, такъ сказать, всего бытія ихъ. Отъ того направленія ихъ были, либо слишкомъ частны, односторонны, либо слишкомъ развлеченны и разнообразны. Сила души, устремленная на многое вдругъ, несоединенная въ одну точку, разливалась на все окружавшее ихъ, и черезъ то развлекала, разрушала *собственно-поэтическое* стремленіе. Такъ Ломоносовъ былъ поэтъ въ жизни, невѣроятной и романической, но собственно-поэзія была только слабою стихіею обширнаго міра души его. Онъ былъ столь-же *ученый человѣкъ*, сколько *стихотворецъ*. У Крылова, Дмитріева, фонъ-Визина, поэзія была вдохновеніемъ ума, а не непобѣдимымъ стремленіемъ выразить себя въ поэтическихъ созданіяхъ. У Жуковскаго она навѣяна уныніемъ души, и удивительною пріемчивостью чужихъ впечатлѣній. Грусть души Жуковскаго, и происшедшее отъ того стремленіе за предѣлы міра; къ чему-то неразгаданному, тайному, отзываются въ самыхъ торжественныхъ его пѣснопѣніяхъ. Батюшковъ вдохновлялся противоположностью своего бытія съ пламенными думами

сердца и души: его сочиненія были, какъ будто желаніе забыть на время въ наслажденіяхъ поэзіи неисполненныя мечты жизни. Негодованіе сдѣлалось музою Грибоѣдова, иногда только вспыхивавшею божественнымъ огнемъ поэтическаго восторга. Кантемиръ и Хемницеръ, одинъ, какъ вельможа, смѣло шутя, другой робко и осторожно подсмѣиваясь надъ людьми, не были истинными поэтами. Такъ являются намъ всѣ другіе Русскіе стихотворцы, съ тѣхъ поръ, какъ поэзія разродилась въ Россіи съ бытомъ общественнымъ, перестала быть необходимымъ народнымъ пѣніемъ, свободно, невольно выливавшимся изъ души, при звукахъ простой музыки. Не говоримъ о Сумароковыхъ, Херасковыхъ, Петровыхъ, Княжнипыхъ, которые не писали-бы, если-бы не читали написаннаго прежде ихъ другими. Но разсмотрите всѣхъ остальныхъ, старыхъ и новыхъ поэтовъ нашихъ — Козлова, Баратынскаго, Языкова, Богдановича, Озерова, кн. Долгорукова, и вы увѣдитесь въ частномъ, одностороннемъ, случайномъ, такъ сказать, ихъ стремленіи.

Не таковы *Державинъ* и *Пушкинъ*, у которыхъ поэзія необходимость жизни, вся душа, все бытіе ихъ. Пушкинъ смѣло могъ сказать о музѣ своей:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила.
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка,
По звонкимъ скважинамъ пустаго тростника,
Уже наигрывалъ я слабыми перстами,
И гимны важные, внушенные богами,

И пѣсни мирныя Фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера, въ нѣмой тѣни дубовъ,
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной,
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ!

Такъ и Державинъ говорилъ о самомъ себѣ, въ полномъ сочувствіи своего генія:

Кто велъ меня на Геликонъ,
И управлялъ мои шаги?
Не Музъ витійственныхъ содомъ —
Природа, нужда и враги.

«Поэзія требуетъ всего человѣка,» сказалъ (помнится) Батюшковъ: это голосъ души. Внѣ поэзіи, Державинъ и Пушкинъ уничтожаются; съ нею они исполины нравственнаго и вещественнаго міра. Да, только тотъ истинный поэтъ, кто *весь поэтъ*. Существуя вполнѣ развитою жизнію въ душахъ только преимущественныхъ поэтовъ, поэзія въ тоже время есть удѣлъ всѣхъ: въ душѣ каждаго изъ насъ хранится искра ея, и нѣтъ сердца, которое никогда не отзывалось-бы на божественные ея звуки. Отъ того простолюдинъ поетъ пѣсню, грамотный человѣкъ пишетъ стихи, и кто не поетъ, не пишетъ, тотъ чувствуетъ сильнѣе біеніе сердца при гармоніи поэтической. Проницая собою самыя высшія истины ума, самые великіе подвиги разума, поэзія согрѣваетъ душу философа и украшаетъ подвиги законода-

теля и героя; но, собственно, она не есть *ни умъ, ни разумъ*. Потому ничѣмъ не могутъ выразить сущности поэзіи, кромѣ названія оной *безотчетнымъ восторгомъ*, вдохновеніемъ. Читайте изъясненія самихъ поэтовъ, писавшихъ о теоріи своего Искуства. Сказавши намъ о вещественныхъ формахъ поэтическихъ созданій, они начинаютъ говорить темно, неопредѣленно о таинѣ души, непонятной для нихъ самихъ. Въ это святилище воспрещенъ входъ холодному уму и испытующему разуму человѣческому. Сами поэты вступаютъ въ него въ рѣдкія минуты вдохновенія, и вышедъ оттуда ничего не помнятъ, ничего не знаютъ, что тамъ съ ними было. Видя передъ собою созданія сихъ таинственныхъ мгновеній, поэтъ спрашиваетъ у самого себя:

Мигъ вожделѣнный насталъ: оконченъ мой трудъ многолѣтній.
Что-жь непонятная грусть тайно тревожитъ меня?
Или, свой подвигъ свершивъ, я стою, какъ поденьщикъ ненужный,
Плату пріявшій свою, чуждый работѣ другой?

Поэтъ родится: сдѣлаться имъ, выучиться быть поэтомъ—не льзя. Отличенный небеснымъ знаменіемъ поэзіи, онъ является въ міръ съ гармоническими звуками, съ поэтическимъ взглядомъ, съ особеннымъ устройствомъ души. Горе ему, если міръ обхватитъ его желѣзными своими когтями, и не дастъ ему разцвѣсти поэтическою жизнію; еще болѣе горе, если онъ не пойметъ самого себя! Среди людей, онъ будетъ странное, уродливое созданіе, жертва страстей своихъ и чужихъ;

жизнь его будетъ борьба между небомъ и землею. Безсмертный миѳъ слѣпца Омира, испрашивающаго милостыни, ведомаго отрокомъ — вотъ истое изображеніе поэта въ борьбѣ съ міромъ! Напрасно, подобно Данте и Мильтону, онъ вмѣшается въ политическія событія; напрасно любовь, какъ Камоэнсу, улыбнется ему на зарѣ жизни; напрасно, какъ Тассъ, онъ призванъ ко двору властителей; какъ Шиллеръ, или Байронъ, хочетъ подчинить себя тихому счастію семейной жизни: тревожный, безпокойный, снѣдаемый внутреннимъ огнемъ, поэтъ никогда не уживется съ людьми, не помирится съ условіями жизни ихъ! Но если онъ покорился имъ, увлекся ими, тогда — Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа — за чѣмъ при рожденіи своемъ похищалъ онъ небесный огнь и оживлялъ имъ бременное свое существо!

Въ такомъ-то, исключительно-поэтическомъ характерѣ разгадка дикой, чудной поэзіи, и противоположной тому прозы жизни Державина.

Будемъ-ли мы правы, обвиняя людей за ихъ сочувствіе къ созданіямъ поэзіи, и несогласіе съ самими поэтами въ то-же время? Какъ: они пламенно любятъ поэзію, и не терпятъ поэтовъ? При разсмотрѣніи прилежномъ, мы — оправдаемъ людей...

Созданіе необыкновенное, выходецъ изъ идеальнаго міра, поэтъ бываетъ гордъ, самоувѣренъ, раздражителенъ; дитя передъ общимъ разумѣніемъ, онъ подавляется умомъ, который превосходитъ его, и удивляется разуму, который искусно занимается людскими дѣлами. Не почитайте его самого безумцемъ: и внѣ области

поэзіи у него есть минуты, идеи, мысли, которыя, какъ молнія, прорѣзываютъ мракъ, гдѣ недоумѣваютъ умъ и разумъ человѣческій. Но не ему быть постояннымъ, тихимъ свѣтильникомъ, при которомъ люди занимаются работою жизни. Поэтъ можетъ бросить великую идею, богатую послѣдствіями мысль на всѣ предметы въ мірѣ, но не ему развивать свою идею, не ему приводить въ исполненіе свою мысль. — Люди тонутъ въ болотистой дорогѣ. Приходитъ поэтъ, взглядываетъ, и говоритъ: «Долой вотъ эту гору, и дорога будетъ прямая, и вы перестанете тонуть въ болотѣ!» Люди изумляются, но изумленіе ихъ скоро проходитъ; они лѣзутъ на гору, соображаютъ, думаютъ, начинаютъ копать, рыть, сто лѣтъ будутъ они срывать гору, и наконецъ сроютъ ее. Но дайте эту работу уму поэта: онъ подумаетъ, что можно подорвать гору вдругъ, забывши, что недостанетъ на это средствъ, и если-бы достало, то обломками можетъ завалить всѣ окрестности.

Для жизни общественной, для дольнаго міра, гдѣ духъ человѣка связывается предѣлами вещества, мало одного чистаго ума, мало одних только идей. Согласіе духа и вещества требуетъ *приложеній*, и сіи то приложенія составляютъ законы и условія человѣческаго общества. Раздѣляясь на безчисленное множество отношеній и приличій, они связываютъ всякое частное своеволіе. Эгоизмъ употребляетъ ихъ во зло но однакожъ нѣтъ никакого условія, которое не шло-бы изъ источника добра и блага, и не вело-бы, положительно или отрицательно, ко благу. Человѣкъ, разрушающій ихъ, не долженъ жаловаться, что люди немирны съ нимъ,

что они стоятъ за себя, и гонятъ отъ себя, и его и всякаго не подходящаго къ ихъ уровню, кто-бы онъ ни былъ, изъ ада, или изъ эдема пришелецъ. Если онъ пересилитъ ихъ въ открытой борьбѣ, ему покорятся. Здѣсь тотъ-же отвѣтъ, какой пиратъ сдѣлалъ Александру Македонскому. Усилія генія, если у него недостаетъ силъ и средствъ, заставятъ его только сознаться въ своемъ безсиліи и безвремяньи. И такое состояніе геніяльнаго человѣка совсѣмъ не клевета на провидѣніе, которое взираетъ свыше на зло и добро, и одною, мгновенною бурею очищаетъ душную атмосферу вѣковъ, сжигая все испорченное, но не нарушая для частнаго явленія вѣчныхъ законовъ своихъ.

Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья,
Взрываетъ, какъ бразды, земныя племена,
Въ нихъ жизни свѣжія всѣваетъ сѣмена,
И обновленныя быстрѣе разцвѣтаютъ:
Какъ бури въ зной поля, бѣды ихъ возраждаютъ*...

Въ такомъ отношеніи находятся міръ и общество къ поэту. Блаженъ, если онъ умѣетъ сознать, что *царство его не отъ міра сего*, по слову божественной мудрости; если онъ оцѣнитъ блаженство своего душевнаго уединенія, къ которому придутъ преклониться, если не современники, то потомство; блаженъ, если судьба счастливо помиритъ для него вещественность съ духомъ, какъ помирила ихъ для Гете, или когда онъ будетъ умѣть

* Жуковскій, Посланіе къ Императору Александру.

ужиться съ міромъ, какъ В. Скоттъ, или умѣть удалиться отъ него, какъ Шекспиръ! Но подобное отношеніе поэта есть исключеніе, и исключеніе рѣдкое. Обыкновенная участь его — борьба, тяжкая, нескончаемая, непримиримая борьба, и всего болѣе самая пѣснь его бываетъ воплемъ отчаянія, вдохновеніемъ скорби, и міръ, привыкнувшій къ этому, слушаетъ такую пѣснь съ благосклонною улыбкою, какъ дикіе Американцы смертную пѣсню плѣнника, осужденнаго ими на смерть....

Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта!
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на заѣзжаго фигляра: если онъ
Глубоко выразитъ сердечный, тяжкій стонъ,
И выстраданный стихъ, пронзительно унылой,
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой,
Она въ ладони бьетъ, и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой.
Постигнетъ-ли пѣвца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье—
«Тѣмъ лучше»—говорятъ любители искуствъ—
«Тѣмъ лучше! Наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
«И намъ ихъ передастъ»...

Что-же слѣдуетъ? Вступая въ міръ, поэтъ нерѣдко начинаетъ терять, уступать, промѣнивать свое высокое назначеніе, покоряясь отношеніямъ общества, увлекаясь вещественными условіями. Нѣтъ такого яда, такого смрада, къ которому не льзя было-бы наконецъ пріучиться: они не перестаютъ разрушать нашего бытія, но не мертвятъ уже человѣка вдругъ. Если-же поэтъ—какъ

почти всегда бываетъ—родомъ, званіемъ, состояніемъ ниже другихъ, самыхъ обыкновенныхъ людей, чувствуетъ свое превосходство надъ ними, и среди борьбы съ міромъ ему улыбнется случай, счастье начнетъ осыпать его своими дарами, приближать его къ сильнымъ міра? Блескъ, сила, мірская дѣятельность увлекательны, упоительны. Поэту легче бороться съ несчастіемъ, нежели съ счастьемъ. Тогда поэзія гаснетъ въ душѣ поэта, міръ увлекаетъ его, и—забавно и горестно смотрѣть, какъ тогда поэтъ почитаетъ себя *свѣтскимъ*, или *дѣловымъ* человѣкомъ, думаетъ, что геній уравнялъ его во всѣхъ вещественныхъ отношеніяхъ съ другими! То, чѣмъ онъ долженъ-бы выситься, онъ прячетъ отъ людей, стыдится своего богатства, и добровольно мѣняетъ его на богатство тлѣнное, мірское. Нерѣдко гибнетъ поэтъ въ своемъ обольщеніи, гибнетъ совершенно, поддается ничтожнымъ приличіямъ и отношеніямъ, покоряется людямъ, которые забавляются, торгуютъ имъ, какъ заморскою диковинкою... Иногда на цѣлыя эпохи налегаетъ подобное униженіе духа, и цѣлыя поколѣнія поэтовъ раболѣпствуютъ міру. Таковъ былъ періодъ Французской Поэзіи, отъ Людовика XIV-го до Людовика XVI-го. Поэты, во все это бремя, не стыдились переднихъ, не гнушались послѣднимъ мѣстечкомъ за столами вельможъ, и горделиво хотѣли даже означить для потомства свое бѣдное бытіе, назвавъ вѣкъ свой по имени Людовика XIV-го, и воспѣвая побѣды Людовика въ его обозѣ....

Къ счастію, не всѣ вѣка таковы, и въ каждомъ вѣкѣ яркія исключенія освѣщаютъ мрачную картину заб-

венія высокаго достоинства самихъ себя. Этого мало: въ жизни каждаго поэта не всегда продолжается очарованіе; никакая сильная душа не выдерживаетъ постоянно тяжкихъ условій міра, и сквозь мракъ цѣлой жизни свегкаютъ поэтическія, святыя минуты вдохновенія, высокаго самопознанія поэтовъ!

Вотъ общія черты *жизни Державина*. Сообразимъ ея подробности.

Сказать, что родясь поздпѣе или раньше, Державинъ выигралъ-бы болѣе, не льзя. Мы не знаемъ таинственнаго закона провидѣнія, по которому вдругъ является въ міръ великое созданіе, Богъ знаетъ гдѣ, Богъ знаетъ какъ. Скажите: почему Монбланъ сталъ именно близъ Женевы, а Дунай изогнулся не въ Сѣверное, но въ Черное море? Послѣ сего всегда неизъяснимо будетъ для насъ: почему, именно въ 1564 году, въ городишкѣ Стратфордѣ, у ничтожнаго торгаша шерстью, надобно было родиться сыну, *Вилліаму Шекспиру*, а на берегахъ Булака, въ 1743 году, у бѣднаго офицера, сыну, *Гавріилу Державину?*

Только *восмнадцать* лѣтъ прошло тогда отъ смерти исполина, преобразовавшаго Россію. *Державинъ-поэтъ* родился готовый на исполненіе своего призванія. Но съ самаго дня рожденія началась борьба его съ міромъ. Купи свое величіе, геній: міръ не уступаетъ его даромъ! Неодолимый жаръ познанія палитъ душу отрока. Живопись, Музыка, Поэзія движутъ его воображеніе; онъ видитъ грубыя черты, слышитъ безобразные звуки, и ищетъ въ нихъ того, что еще неразгаданно является

ему въ душѣ его. Онъ испытываетъ уже всѣ роды Словесности, прозу и стихи; онъ увлекается звуками лиры Ломоносова, и, преимущественно *лирическій поэтъ*, робко идетъ вслѣдъ за Холмогорскимъ рыбакомъ. Ода, лира, становятся его цѣлью. Но между тѣмъ міръ сжимаетъ его въ тѣснотѣ жизни: бѣдный сирота, восмнадцати лѣтъ солдатъ, восемь лѣтъ проводитъ онъ въ казармѣ и на караулѣ, въ нуждѣ, въ трудѣ, изсушающихъ душу, алчетъ познаній, и не удовлетворяется тѣмъ, что находитъ, испытываетъ свою лиру, прислушивается къ звукамъ отечественныхъ и чужеземныхъ пѣвцовъ. Что встрѣтилъ онъ тогда въ Россіи? Что могли передать ему чужеземцы?

Никогда Поэзія не была чужда снѣгамъ и лѣсамъ Сѣвера. Въ Оссіановскихъ пѣсняхъ, въ созданіяхъ Скальдовъ, въ мрачныхъ миѳахъ Одина и Валгалы, въ кровавыхъ пѣсняхъ Регнера и бѣшеныхъ кликахъ Берсеркеровъ отзывался Сѣверъ на призывъ неба, выражаемый въ человѣкѣ поэтическимъ чувствомъ. Этотъ желѣзный звонъ души человѣческой слился въ Руси съ Восточнымъ, роскошнымъ голосомъ Славянъ, съ огромными ихъ изображеніями, и наконецъ съ религіозными легендами Греціи. Прекрасны, самобытны были во все это время пѣсни первоначальной Руси, повѣсти объ Олегахъ, Святославахъ, Владиміирахъ, Рогнѣдахъ, Игоряхъ. Мрачная ночь Монгольскаго ига задушила сей поэтическій голосъ древней Руси. Только скорбь начала одушевлять пѣсни народа, отчаявшагося въ воскресеніи самобытности. Грубыя страсти, мѣлкія отношенія завладѣли пѣснопѣніемъ, простымъ,

безыскуственнымъ, сопровождаемымъ звуками грубыхъ музыкальныхъ инструментовъ. Робко являлась народная пѣсня въ терема и чертоги Царей и людей знатныхъ; на нее смотрѣли, какъ на грубую забаву черни. Западная, схоластическая поэзія, черезъ Кіевъ, прокралась съ погремушкою риѳмы, съ Аполлиномъ, Венусомъ, Эрміемъ, духовными мистеріями, ложнымъ риѳмомъ, риторическимъ восторгомъ. Эту Поэзію засталъ въ Россіи Петръ; она привѣтствовала Полтавскаго побѣдителя варварскими стихами:

Петръ каменемъ вѣры Христовой названный,
Виватъ Царь, Государь, Богомъ увѣнчанный!

Преобразитель Россіи, Русскимъ штыкомъ очистившій для нея мѣсто въ Европѣ, бросилъ высшія сословія Русскихъ въ тогдашнюю Европейскую форму. Чувствуя, что не вѣки жить ему, а надобно совершить вѣковые подвиги, онъ спѣшилъ выхватить у Европы плоды просвѣщенія и образованности; польза вещественная, сила вещественная, были главнымъ предметомъ заботъ его. Поэтическую сторону человѣка онъ почиталъ только *средствомъ* для блага вещественнаго. Поэзія не дерзала явиться среди стука сѣкиръ, созидавшихъ флоты и города, среди грома оружія, утверждавшаго предѣлы и величіе Россіи. Такъ сильно, такъ велико было начало новой жизни, данное Петромъ Россіи, такъ далеко провелъ онъ Россію на поприщѣ Европейскомъ, что Россія долго послѣ него жила только его жизнію, шла только по направленію, имъ данному. Но Петра уже не было; не умѣли руковод-

ствоваться его геніемъ, перенимая у Европы, и перенимали все, и хорошее и дурное. Подражаніе совершенно замѣнило самобытность. Слѣдовали безъ разбора тому, что видѣли въ Европѣ, и когда первыя потребности были удовлетворены, безусловно отразилось на Россіи и поэтическое стремленіе духа Европейскаго; Литература новая начала создаваться по образцу не-Русскому, чуждому. Переводили, передѣлывали, подражали, а *не творили*. Классицизмъ вѣка Людовика XV-го, со всѣми его привычками, правилами, съ его Эпопеею, Драмою, Лирикою, обладалъ тогда Европой, и перешелъ въ Россію, замѣнивъ Латинскую Западную Схоластику. Пока проказничалъ Тредьяковскій и готовился Сумароковъ — явился необыкновенный человѣкъ: *Ломоносовъ*, Петръ въ своемъ родѣ. Говорятъ, что онъ перенялъ складъ поэзіи своей у Нѣмцевъ. Но, что дѣлали тогда Нѣмцы? Подражали Классическимъ Французамъ, такъ, какъ и Англичане не смѣли тогда преклониться предъ великимъ своимъ Шекспиромъ, и отвергали даже пріобрѣтенную ими, могущую самобытность литературную. Начало первой Оды Ломоносова взято было изъ Оды Буало. Но Ломоносовъ, соединивъ съ Классицизмомъ Схоластику, вставлялъ цѣликомъ въ Оды свои мѣста изъ Цицерона, какъ въ слова и рѣчи свои вклеивалъ мѣста изъ Плинія. Подражаніе и Классицизмъ были сущностью всей Русской Литературы: схоластически обработывалъ Ломоносовъ языкъ Русскій; Лафонтенъ внушилъ Богдановичу шутливую поэму; Расинъ, Корнель, Вольтеръ вдохновляли Сумарокова, Тассъ и Генріада Хераскова; Княжнинъ

и другіе пошли еще далѣе: они просто переставляли Русскія имена вмѣсто иностранныхъ, и выдавали переводы за оригиналы.

Въ такомъ-то мірѣ явился поэтъ Державинъ. Онъ увлекся въ началѣ другими, впалъ во всѣ тогдашнія ошибки и недостатки: переводилъ Горація и Овидія, не понимая духа Древнихъ; надувалъ торжественную трубу; искалъ правилъ у Тредьяковскаго и Батте — такъ ошибался онъ въ поэзіи своей. Еще важнѣе была ошибка въ жизни. Едва успѣвши выйти изъ предѣловъ тѣснаго, затруднительнаго своего существованія, состоя въ рангѣ бригадирскомъ до сорока почти лѣтъ, Державинъ думалъ, что здѣсь было настоящее его назначеніе; думая такъ, онъ *служилъ*, и почиталъ Поэзію мимолетнымъ занятіемъ. Это было еще извинительно Державину въ тогдашнемъ его положеніи.

Да, онъ видѣнъ уже и въ это время — въ негодованіи, какое возбуждаютъ въ душѣ его пороки, несправедливость и гордость; видѣнъ въ томъ быстромъ рѣшеніи, съ какимъ, будучи 20-ти лѣтъ, хотѣлъ онъ все бросить, и осмѣлился явиться къ Шувалову, прося взять его въ чужіе краи; видѣнъ въ пренебреженіи ко всему, что писалъ онъ тогда, въ робости, недовѣрчивости къ самому себѣ, въ хладнокровномъ презрѣніи, съ какимъ истреблялъ, жегъ онъ свои созданія; видѣнъ и въ смѣлости, съ какою брался онъ за переводъ Мессіады. Наконецъ, самобытный умъ его видѣнъ въ самомъ названіи стихотвореній своихъ *Четалавайскими*, и въ томъ, что *тогда* успѣлъ онъ создать. Къ этой первой эпохѣ жизни Державина относятся: *Вельможа*,

На смерть Князя Мещерскаго, *Ключь*, первая идея *Оды Богъ*, стихи *Къ первому сосѣду*. Вспомните, что все это писано *за шестьдесятъ лѣтъ*, и не изумятъ-ли послѣ сего васъ стихи Державина своею самобытностію, своею смѣлостію? Кто изъ современниковъ могъ внушить ему слѣдующіе звуки?

Гдѣ столъ былъ ѣствъ, тамъ — гробъ стоитъ;
Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробные тамъ воютъ лики,
И—блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ!

Глядитъ на всѣхъ — и на царей,
Кому въ державу тѣсны міры;
Глядитъ на пышныхъ богачей,
Что въ златѣ и сребрѣ кумиры;

Глядитъ на прелесть и красы,
Глядитъ на разумъ возвышенный,
Глядитъ на силы дерзновенны,
И — точитъ лезвее косы!

Стихи дурны — нѣтъ сомнѣнія, но *мысль*, *образы*.... Какъ вѣденъ противъ Державина Горацій, съ своею, также *Блѣдною* смертію! Не Ломоносовъ, и не Батте могли подсказать ему и стихи его: *Къ сосѣду* (въ 1780 году). Читая ихъ, не вѣрите, что они написаны *за* 50 *лѣтъ*:

Въ вертепѣ мраморномъ, прохладномъ,
Въ которомъ льется водоскатъ,
На ложѣ розъ благоуханномъ,
Средь лѣни, нѣги и отрадъ,

Любовью распаленный страстной,
Съ младой, веселою, прекрасной
И нѣжной нимфой ты сидишь;
Она поетъ, ты страстью таешь,
То съ ней въ весельи утопаешь,
То, утомленъ весельемъ, спишь.
Ты спишь, и сонъ тебѣ мечтаетъ,
Что въ вѣкъ благополученъ ты;
Что само небо разсыпаетъ
Блаженства вкругъ тебя цвѣты;
Что парка дней твоихъ не коситъ;
Что откупъ вновь тебѣ приноситъ
Сибирски горы серебра*,
И дождь златой къ тебѣ летѣл....
Блаженъ, кто по утру проснется
Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера!

---

* Стихи сіи были писаны Державинымъ къ знаменитому богачу и откупщику, М. С. Голикову. Роскошный, великодушный богачъ этотъ содержалъ на откупѣ Сибирь, Москву, Петербургъ, обладалъ милльонами, жилъ вельможески, изумлялъ своими пирами, весельемъ, и умеръ не оставивъ дѣтей. Послѣ него дѣла найдены въ разстройствѣ, но и остатками обогатились всѣ его родственники. Одинъ изъ нихъ, И. Л. Голиковъ, участвовалъ въ открытіи Америки съ Шелиховымъ. Державинъ предугадалъ участь богача-откупщика, говоря ему:

Блаженство то лишь непорочно,
Раскаянья за коимъ нѣтъ!

Послѣдніе годы Сосѣда были отравлены болѣзнями, горестями, неблагодарностью знатныхъ и измѣною близкихъ людей....

Блаженъ, кто можетъ веселиться
Безпегерывно въ жизни сей!
Но рѣдкому пловцу случится
Безбѣдно плавать средь морей:
Тамъ бурны дышатъ непогоды,
Горамъ подобно гонятъ воды,
И съ пѣною песокъ мутятъ...

Непостоянство доля смертныхъ,
Въ премѣнахъ вкуса счастье ихъ;
Среди утѣхъ своихъ несмѣтныхъ,
Желаемъ мы утѣхъ иныхъ;
Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанутъ граціи трепать....

Въ торжественныхъ тогдашнихъ стихахъ Державина видѣнъ еще надутый подражатель Ломоносову. Но любовь, дружба, геній обитали съ Державинымъ, и онъ, недовольный ничѣмъ, мыслилъ уже *о совершенно особомъ пути*.

Слѣдствіемъ сей безпокойной мысли была — *Фелица*. Трудно сыскать другую поэтическую, столь самобытную, смѣлую идею, какова идея сего безсмертнаго творенія. Вотъ ея основаніе: Державинъ велъ родъ свой отъ какого-то Татарскаго мурзы *Багрима*. Мурза этотъ выѣхалъ изъ Золотой Орды при Василіи Темномъ, крестился, сдѣлался подданнымъ Московскаго Князя, и отъ него произошли Нарѣковы, Акинфіевы, а отъ одного изъ потомковъ его, называвшагося: *Держава*, *Державины*. Таково начало мысли поэта.

Уже двадцать почти лѣтъ Екатерина возсѣдала на тронѣ Россіи, начала и успѣла въ сіе время развить новый періодъ государственной жизни послѣ Петра Великаго. Сей періодъ былъ отличенъ противъ періода, продолжавшагося отъ Петра до нея. Если царствованіе Петра можно назвать *великимъ*, царствованіе Екатерины безпрекословно назовемъ *славнымъ*. Сіи названія обозначаютъ для насъ дѣла Петра и дѣла Екатерины. *Слава* была символомъ Екатерины. Къ ней было устремлено все. Петръ поражаетъ насъ величіемъ подвиговъ, Екатерина славою предпріятій. Онъ строилъ флотъ — она послала флотъ Русскій въ Средиземное море; онъ самъ составлялъ въ уединеніи своемъ законы — она призвала всю Россію писать ихъ, вмѣстѣ съ нею; онъ построилъ города — она воздвигла въ нихъ дворцы и чертоги. Гремя оружіемъ въ предѣлахъ Оттоманскихъ, отнимая цѣлыя царства у Стамбула, Екатерина не боясь слышала Шведскіе выстрѣлы подъ самымъ Петербургомъ, крѣпкою рукою задушила безумную ярость Пугачева, ослѣпила всю Европу блескомъ побѣдъ и великолѣпія, уничтожила Польшу, коснулась скипетромъ береговъ Америки, разсыпала милльоны между подданными. Окруженная роскошью, вкусомъ, великолѣпіемъ, умомъ Европы, людьми, каковы были: Таврическій, Задунайскій, Рымникскій, Безбородко, Вяземскій, Орловъ, Шуваловъ, Бецкій, Панинъ, Екатерина казалась полубогинею. Ея путешествіе въ Крымъ, когда Римскій Императоръ и Польскій Король встрѣтили ее среди избраннаго Европейскаго общества, среди толпившихся на срѣтеніе изумленныхъ ея поддан-

ныхъ, среди грома и пышности, и когда она, съ улыбкою говоря сопутникамъ о взятіи Царяграда, указывая на безмѣрныя свои области, прибавляла: *мое маленькое хозяйство идетъ очень порядочно* — вотъ характеристика двора и вѣка Екатерины. Державинъ видѣлъ въ ней богиню Сѣвера, какъ видѣли всѣ другіе.

Могла-ли Екатерина не понять, чего лишится ея царствованіе, если Поэзія, Искусства, Науки не приваютъ своего голоса, своей славы къ громамъ побѣдъ и блеску дворскаго великолѣпія? Она понимала это очень хорошо Немедленно по вступленіи на престолъ, учреждаетъ она Корпуса, Училища, Воспитательные Домы, даетъ Академіи Наукъ новыя права и преимущества; потомъ устроиваетъ Переводный Департаментъ, Экономическое Общество, новую Академію для Словесности, Коммисію Училищъ; позволяетъ всѣмъ заводить типографіи, ѣздить свободно въ чужіе краи. Ученые странствуютъ по ея велѣнію въ Сибири, въ Крыму, на Кавказѣ; въ Европѣ покупаютъ для нея рѣдкости и художественныя произведенія; царь ума, Фернейскій старикъ, осыпанъ ея подарками; она переписывается, шутитъ съ нимъ; призываетъ ко двору своему Дидеро; Фальконетъ воздвигаетъ по ея волѣ великолѣпный памятникъ Петру, и бросаетъ цѣлую гору подъ его подножіе. Этого мало: она сама посѣщаетъ Ломоносова въ его мастерской, и тотъ со слезами падаетъ къ ногамъ ея; она сама занимается словесностью, въ избранномъ кругѣ своемъ: пишетъ Исторію, издаетъ сказки, располагаетъ планы журналовъ, сочиняетъ комедіи, переводитъ книги.

Все это должно было имѣть сильное вліяніе на Словесность. Но что ни дѣлали въ Россіи, все было не самородное Русское, и должно было усилить вліяніе самыхъ формъ Классицизма Европейскаго. Вѣкъ Екатерины былъ для Россіи блестящимъ вѣкомъ Людовика XIV-го и медицисовъ. По ихъ образцу устроилось и Русское меценатство литературной іерархіи. Литераторы искали покровительства вельможъ, и не приближались къ трону. Имъ указанъ былъ предѣлъ, далѣе котораго нельзя было переступать въ отношеніи установленнаго порядка. Потемкинъ называлъ фонъ-Визина *Денисомъ*, и возилъ Петрова въ обозѣ при себѣ. Уровень покровительства *(протекціи)* и Классицизма сглаживалъ все. Поэтъ, какъ за дѣло по должности, принимался за торжественную оду, и ему давали опредѣленный подарокъ. Надобно-ли было написать трагедію — передѣлывали что нибудь Французское, подносили милостивцу, и отдавали потомъ на театръ, увѣренные въ успѣхѣ, если могли понравиться избранному обществу судей.

Благоговѣя предъ славою Екатерины, Державинъ первый захотѣлъ говорить съ нею, какъ съ человѣкомъ, а не съ государынею, первый рѣшился подойти прямо къ ея трону, а не къ передней какого нибудь вельможи, и не съ одою, но съ голосомъ души, выраженнымъ, не по правиламъ риторики и схоластики, но по чистому чувству блага и добра. Онъ хотѣлъ высказать при томъ все негодованіе противъ порока, облеченнаго пышностью и величіемъ. Вся душа его просилась на волю. Екатерина написала тогда сказку

о Царевичѣ Хлорѣ. Сказка эта, назначенная для юнаго Великаго Князя, весьма проста. Царевичу Хлору, похищенному Киргизъ-Кайсацкимъ Ханомъ, велятъ отыскать *розу безъ шиповъ*. Дочь Хана, царевна Фелица, руководствуетъ Хлора. Слѣдуютъ аллегоріи пороковъ и добродѣтелей. Сынъ Фелицы, Разсудокъ, ведетъ Хлора за руку. Хлоръ находитъ розу. Соединивъ мысль о Татарскомъ своемъ происхожденіи съ идеею Екатерины, Державинъ написалъ посланіе отъ Мурзы къ Фелицѣ, и назвалъ его: *Ода премудрой Киргизъ-Кайсацкой царевнѣ Фелицѣ, писанная нѣкоторымъ Татарскимъ Мурзою, издавна въ Москвѣ поселившимся, а живущимъ по дѣламъ въ С. Петербургѣ; переводъ съ Арабскаго языка.* *

Современники могли восхищаться въ Фелицѣ тонкою похвалою Екатеринѣ, умнымъ вымысломъ, и живыми портретами вельможъ и современниковъ; ихъ могли ослѣпить и успѣхъ Державина, и шумъ, какой произвело его созданіе. Но мы, для которыхъ все это исчезло, которые видѣли, читали и узнали послѣ сего такъ много, не можемъ однакожъ не изумляться Фелицѣ: благородная, гордая, шутливая, язвительная, богатая словами, Фелица Державина всегда останется въ числѣ вѣковѣчныхъ памятниковъ языка Русскаго, души поэтической, возвышенной, сердца пламеннаго. Ничего подобнаго не можемъ мы сыскать ни въ нашей словесности, ни въ литературахъ иноземныхъ.

---

* Таково было первоначальное названіе Фелицы. Какъ можно было не возстановить его при новомъ изданіи Сочиненій Державина!

Не знаемъ, что сдѣлалъ бы съ Державинымъ Людовикъ XIV-й, но Екатерина поняла поэта, и поняла совершенно. Также поэтически изъявила она благодарность свою пѣвцу, какъ онъ поэтически явился передъ ея трономъ.

Что если бы Державинъ тогда угадалъ свое назначеніе? Чего еще не доставало ему? Онъ провелъ совершенно новую дорогу; нашелъ свой *совершенно особый путь*; имя его гремѣло по Россіи; толпа влеклась за его созданіемъ; любовь, дружба, уединеніе, тихій бытъ семейства и поэзія могли занять его душу.

Но здѣсь большой свѣтъ увлекъ его, принялъ его къ себѣ, ввелъ въ свою область. Неуравненный ничѣмъ другимъ, видя вокругъ себя, или *знатный*, или *дѣловый народъ*, чувствуя, что на него смотрятъ, какъ на рѣдкость—*поэта въ обществѣ*,—гордый своимъ внутреннимъ достоинствомъ, и уничтожаемый другими, какъ человѣкъ, который *стихи только писать можетъ*, представленный ко двору, но недопущенный въ очарованные дворскіе чертоги — Державинъ стыдился самого себя, своей славы. Это умѣли растолковать и схватить злоба и зависть, успѣли растревожить его пламенную душу, употребили во зло его пылкій характеръ, и Державинъ, оскорбленный, подалъ въ отставку отъ дѣлъ. Екатерина видѣла, и ошибку честолюбія чиновника, и ошибку самолюбія поэта, который пишетъ дѣловыя бумаги и забываетъ стихи, и то, какой блескъ можетъ придать Россіи геній Державина. Но ей не льзя было, безъ нарушенія заведеннаго ею чиноначалія, приблизить Державина прямо къ себѣ. Она велѣла дать ему

губернаторство. Новая ошибка Державина: онъ думаетъ, что въ немъ *сознаютъ дѣловаго человѣка, дорожатъ имъ*, и онъ клянется бросить поэзію, не довѣряетъ генію своему. Трехъ-лѣтнимъ опытомъ увѣряется онъ въ ошибкѣ, и видитъ себя изгнаннаго, униженнаго, забвеннаго Дворомъ и Екатериною. Тогда голосъ души говоритъ ему снова, сильно, непобѣдимо. Свѣтъ оттолкнулъ Державина-чиновника къ Державину-поэту, и пѣвецъ Фелицы снова берется за лиру, и каждое новое его творѣніе есть доказательство его генія, самобытнаго, неистощимаго, разнообразнаго. Оды: *На счастье*, *На коварство*, *На взятіе Измаила*, *Изображеніе Фелицы*, *Богъ*, *Осень*—какія созданія, какое воображеніе, богатое и великолѣпное, какъ Екатерина, суровое, какъ Русская зима! Потемкинъ, стоя выше всѣхъ, не могъ завидовать Державину; напротивъ, покровительство дѣлало славу Потемкина, и—одно слово временщика возвратило Державину все. Екатерина захотѣла оградить пѣвца своего отъ всѣхъ отношеній; мѣлкія приличія уступили дарованію; она приблизила Державина къ себѣ, и дала ему знать, чего требуетъ отъ него, въ награду за все это.

Не ужели геній Державина еще разъ ошибется? Да, онъ снова холодѣетъ, пишетъ мерзлую оду побѣдителю при Мачинѣ, посвящаетъ памяти Потемкина одно изъ прекраснѣйшихъ созданій своихъ (*Водопадъ*), опять принимается *за дѣла*, не слушаетъ словъ Храповицкаго, не понимаетъ, что Храповицкій говоритъ ему отъ имени Екатерины, и видитъ снова удаленіе свое отъ дво-

ра. Между тѣмъ, онъ уже знатный человѣкъ. Ему кажется, что теперь уже не доказательство дѣльности, но долгъ и совѣсть обязываютъ его заниматься, не поэзіею, но дѣлами. Удаленіе отъ двора тотчасъ оживило геній Державина. Онъ воспѣваетъ *Безсмертіе души*, *Паденіе Варшавы*, и негодованіе его оживляется въ *Вельможѣ*. Но, съ горестію чувствуетъ Державинъ, что время свободнаго пареніяего проходитъ, что онъ «не можетъ ничего вновь произвести,» и всю жизнь, всю поэзію свою думаетъ онъ сосредоточить въ прежнемъ, въ славѣ Екатерины; заботится о томъ, что произвелъ нѣкогда, чѣмъ небрегъ до того времени, чего никогда даже не собиралъ. Прошедшее замѣняетъ ему настоящее. Изображеніе жизни человѣческой! Не такъ-ли мы вступаемъ съ мечтами и надеждами на путь жизни, пренебрегаемъ ея радостями, не заботимся о томъ, что свывается, осуществляется для насъ? Впередъ, впередъ, къ далекой цѣли истиннаго счастія!... И годы пролетаютъ, холодѣютъ мечты, воспоминанія смѣняютъ надежды, и мы начинаемъ ставить въ разсчетъ болѣе былое, нежели будущее, говорить сами себѣ: «И того было довольно! Развѣ не исполненъ долгъ?» Послушайте разговоръ двухъ старыхъ друзей: всего болѣе состоитъ онъ изъ воспоминаній. Восторгъ, внушенный Державину славою Екатерины, кажется ему залогомъ его славы, потому, что ея безсмертіе не раздѣлится съ пѣснями Державина. «Изъ того, что сдѣлано, поймутъ, что могъ-бы я еще сдѣлать; изъ того, что сказано, угадаютъ, что могъ-бы я еще сказать.»— «Такъ»—думаетъ онъ, чувствуя усталость своего генія, видя, что на плечахъ

его лежатъ слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ—«меня не забудутъ и за то,

Что первый я дерзнулъ въ забавномъ Русскомъ слогѣ,
О добродѣтеляхъ Фелицы возвѣстить,
Въ сердечной простотѣ бесѣдовать о Богѣ,
И истину царямъ съ улыбкой говорить!

Съ этою мыслью повергъ Державинъ передъ трономъ Екатерины свои творенія, и говорилъ ей: «*Монархиня!*

«Что смѣлая рука Поэзіи писала,
Какъ Бога, Истину, Фелицу во плоти,
И добродѣтели твои изображала—
Дерзаю къ твоему престолу принести.
Не по достоинству изящнѣйшаго слога,
Но по усердію къ тебѣ души моей,
Какъ жертву чистую, возженную для Бога,
Ты пріими ее, и въ кротости твоей,
Пріими, и освяти твоимъ благоволеньемъ,
И музѣ будь моей покровомъ и щитомъ,
Какъ мнѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ;
Да веселясь она, и съ бодрственнымъ челомъ,
Пройдетъ сквозь тму вѣковъ, и станетъ средь потомковъ,
Суда ихъ не страшась, хвалы тебѣ вѣщать!
И алчный червь когда, средь гробовыхъ обломковъ,
Оставшій будетъ прахъ костей моихъ глодать,
Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима,
Мой вросшій въ землю домъ никто не посѣтитъ,
Но—лира гдѣ моя, въ пыли, лишь будетъ зрима,
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прогремитъ—
Подъ именемъ твоимъ громка она пребудетъ:

Ты славою—твоимъ я эхомъ буду жить.
Героевъ и пѣвцовъ вселенна не забудетъ—
Въ могилѣ буду я, но—буду говорить!....

Но еще разъ суждено было Державину испытать приближеніе къ трону, и удаленіе отъ него еще разъ возбудило гремящіе, сильные звуки въ струнахъ его лиры, какъ будто генію его надобно было до конца жизни сознавать себя только тогда, когда неправильное его направленіе было ему показуемо жизнію. Событія царствованія Павла были ознаменованы послѣдними самобытными пѣснями Державина, и послѣдними дѣйствіями его на политическомъ поприщѣ. Министерство его при Александрѣ было только неудачнымъ опытомъ сблизить старый вѣкъ съ новымъ, и вся остальная поэзія Державина, всѣ многоразличные порывы его на разные роды стихотвореній, были такими-же опытами.

О *послѣднихъ* твореніяхъ Державина, и вообще о томъ, что писалъ онъ послѣ смерти Екатерины, судятъ слишкомъ строго. Намъ кажется, это несправедливо. Державинъ дорожилъ своими дѣловыми и государственными способностями, но онъ не былъ рожденъ государственнымъ человѣкомъ. Чувствуя самобытность своего генія, онъ созналъ его, и все, что произвелъ онъ, вдохновенный симъ сознаніемъ, почиталъ онъ, почитали и другіе великими его твореніями. Въ тоже время Державинъ не хотѣлъ отстать отъ другихъ и въ поэзіи, какъ не хотѣлъ уступить другимъ на политическомъ поприщѣ. Преложенія псальмовъ, оды въ родѣ Ломоносова, подражанія Горацію, Анакреону—все, что дѣлали

его современники, дѣлалъ и Державинъ. Величіе его самобытныхъ твореній уничтожало сіи подражанія, въ глазахъ его самого и другихъ. Излишекъ самобытности вредилъ ему въ этомъ случаѣ: самобытность эта, и сила генія, были причиною, что всякое *подражаніе* его ознаменовывалось печатью величія и изящества, коихъ тщетно будемъ искать у всѣхъ другихъ Русскихъ поэтовъ, кромѣ Пушкина. Горацієвская, Ломоносовская, Анакреоновская ода, псаломъ, Русская пѣсня, драма дѣлались *созданіемъ Державина*, носили на себѣ слѣды его генія. Таковы и послѣднія его сочиненія, коими никакъ не должно пренебрегать: это горящіе уголья костра, на которомъ сгорѣлъ фениксъ. Въ сравненіи съ произведеніями зрѣлыхъ лѣтъ Державина, произведеніями, когда онъ, крѣпкій тѣлесными силами, еще не видѣлъ конца ни своимъ великимъ идеямъ, ни своему поприщу—они, конечно, недостаточны. Но за то сила слова, опытность, роскошь подробностей ихъ изумительны. Въ духовныхъ пьесахъ, Державинъ говоритъ, какъ библейскій патріархъ; въ торжественныхъ — это бардъ сѣдовласый, играющій дрожащими, но опытными перстами; въ шуточныхъ, нѣжныхъ пьесахъ, это Русскій пѣвецъ, наслышавшійся о старинѣ, бывалый при дворахъ царей, плѣняющій родными звуками. Но мы будемъ еще говорить о твореніяхъ Державина; теперь докончимъ изображеніе его, какъ человѣка и поэта.

Державинъ явился *въ свое время*, ибо онъ, никѣмъ неруководимый, могъ понять самобытность свою за шестьдесятъ лѣтъ до нашего времени. Увлеченный условіями общества, и ошибочною идеею жизни, онъ

не истощилъ всего своего генія; но потому, что *успѣлъ сдѣлать*, онъ является намъ геніемъ первостепеннымъ. Характеръ его, какъ его поэзія, былъ сильный пламенный, пылкій, раздражительный, увлекавшійся, дѣтски добродушный и благородный. Недовѣрчивый къ своему генію, когда увлекала его жизнь, недовѣрчивый къ жизни, и вѣрящій въ генія своего, когда жизнь обманывала, онъ оставилъ слѣды сей тревоги, сей борьбы генія съ жизнью въ своихъ твореніяхъ. Все увлекало его; всегда онъ былъ восторженъ, принимаясь за свою лиру: вещественное, ничтожное исчезало тогда въ глазахъ его. Онъ жилъ въ идеяхъ, проображаемыхъ веществомъ; онъ вдохновлялся Екатериною, какъ изображеніемъ божества на землѣ. Послѣ такаго чувства всегда слѣдуетъ уныніе, и это уныніе видно во всѣхъ твореніяхъ Державина. Паденіе величія, того, что восхищало Державина, производило въ душѣ его впечатлѣніе еще болѣе сильное. Этому обязаны мы *Водопадомъ*, и здѣсь видны благородство, независимость его духа, какія выражены въ стихахъ его къ Храповицкому. Мы увѣрены, что его надоумили написать *Памятникъ вѣрою*, и что это напоминаніе произвело *Водопадъ* — пьесу, посвященную умершему баловню счастія, котораго спѣшили всѣ забыть, устремляясь къ новымъ звѣздамъ силы и могущества. Еще примѣръ подобный; когда Рымникскій скончался, всѣми оставленный, Державинъ съ горестью шелъ за гробомъ его, не страшась толковъ, и возвратясь домой услышалъ своего ученаго снигиря, напѣвающаго маршъ. Это растерзало сердце его, и онъ написалъ прелестную пьесу свою:

Что ты заводишь пѣсню военну,
Флейтѣ подобно, милый снигирь!
Съ кѣмъ мы пойдемъ войной на геэнну,
Кто теперь вождъ нашъ, кто богатырь?
Сильный гдѣ, храбрый, быстрый Суворовъ?
Сѣверны громы въ гробѣ лежатъ!

Кто передъ ратью будетъ, пылая,
Ѣздить на клячѣ, ѣсть сухари;
Въ стужѣ и въ зноѣ мечъ закаляя,
Спать на соломѣ, бдѣть до зари;
Тысячи воинствъ, стѣнъ и затворовъ,
Съ горстью Россіянъ всѣ повѣждать?

Быть вездѣ первымъ въ мужествѣ строгомъ,
Шутками зависть, злобу штыкомъ,
Рокъ низлагать молитвой и Богомъ,
Скиптры давая, зваться рабомъ,
Доблестей бывъ страдалецъ единыхъ,
Жить для царей, себя изнурять?

Эти стихи не могли привлечь въ то время благосклонной улыбки, но что ему было за дѣло до того: онъ благоговѣлъ передъ паматью героя, имъ прославленнаго! Такъ память Шувалова всегда была священна нашему поэту. Но не одна благодарность — все великое и прекрасное увлекало Державина. Такъ, напримѣръ, онъ почтилъ стихами память Хвостова и Давыдова, юныхъ героевъ, погибшихъ несчастно *, и, какъ

* Жаль, что забвенію преданы донынѣ имена сихъ отличныхъ морскихъ офицеровъ. Неужели не сыщется ни одинъ

юный пѣвецъ, оживлялся всякою славою отечества, до самой своей кончины. Вѣрный дружбѣ, онъ не зналъ зависти и радовался каждому успѣху. Прочтите стихи его къ Карамзину и Озерову, дышащіе искреннимъ радостнымъ участіемъ къ юнымъ тогда дарованіямъ сихъ литераторовъ.

Да, Державинъ можетъ служить новымъ свидѣтельствомъ, что душа истиннаго поэта, затмѣваясь иногда тучами страстей, всегда свѣтится лучами солнца, изъ-за тучь видимаго; что назначеніе поэта всегда проявится, какъ-бы ни стѣсняла его жизнь, какъ-бы ни ошибался онъ въ самомъ себѣ, проявится и въ маломъ, и въ томъ, что онъ успѣетъ сдѣлать; что всегда жизнь поэта представляетъ намъ урокъ высокій, поучительный не менѣе его поэзіи, и что вполнѣ тогда только узнаемъ мы поэта, когда разсматриваемъ *какъ* и *когда* онъ жилъ. Не-

---

товарищъ, знавшій ихъ и могущій разсказать намъ о Хвостовѣ и Давыдовѣ? Они въ молодыхъ лѣтахъ уѣхали въ Россійскую Америку; возвратясь, снова были туда отправлены, и отважно сдѣлали оттуда нападеніе на Японію. Не они были виноваты въ этомъ нападеніи. Но честь подвига ихъ погибла въ несправедливомъ обвиненіи — подвига славнаго, заставившаго Японію трепетать. Читайте для удостовѣренія въ этомъ записки Головнина и Рикорда. Обвиненіе очищено было подвигами ихъ въ войнѣ Финляндской, гдѣ показали они изумительную храбрость. По возвращеніи въ Петербургъ, Хвостовъ и Давыдовъ утонули вмѣстѣ въ Невѣ, отважно думая переѣзжать по Исакіевскому мосту, когда ночью онъ былъ разведенъ, и проходилъ сквозь него корабль. Странная, замѣчательная судьба!

редъ гробницею Державина, смѣло преклонись, пылкій юноша: ты не постыдишь себя, преклоняясь передъ нимъ, какъ предъ человѣкомъ и поэтомъ —

Боговъ пѣвецъ
Не будетъ никогда подлецъ *!

Скажи это смѣло, и внимай голосу Державина:

Необычайнымъ я пареньемъ
Отъ тлѣнна міра отдѣлюсь,
Съ душой безсмертною и пѣньемъ,
Какъ лебедь, въ воздухъ поднимусь!

Въ двоякомъ образѣ нетлѣнный,
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;
Надъ завистью превознесенный,
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.

Да, такъ! Хоть родомъ я неславенъ,
Но, будучи любимецъ музъ,
Другимъ вельможамъ я не равенъ,
И самой смертью предпочтусь!

Не заключитъ меня гробница,
Средь звѣздъ не превращусь я въ прахъ,
Но, будто нѣкая цѣвница,
Съ небесъ раздамся въ голосахъ!...

Внимательно разсматривая Державина, какъ поэта, и судя его потому, что онъ *успѣлъ сдѣлать*, мы убѣждаемся, что Державинъ былъ совершенно самобытенъ и неподражаемъ; что не получивъ почти никакихъ пособій образованія, онъ получилъ отъ природы всѣ средства генія, разсыпалъ самородныя, вѣковыя сокро-

* Соч. Державина, т. 1, стр. 231.

вища въ нашей поэзіи и нашемъ языкѣ, и, наконецъ, что по самой безпристрастной, строгой оцѣнкѣ, поставить должно его въ число первостепенныхъ, великихъ поэтовъ міра — не одной Россіи.

Не разбирая когда что писано, въ послѣднемъ изданіи сочиненій Державина находимъ мы 332 пьесы лирическія, 4 сценическіе пролога, 3 драматическія сочиненія, и описаніе праздника Потемкина. Присовокупивъ къ этому трагедію, отдѣльно изданную, мы исчислимъ все, что извѣстно намъ изъ сочиненій Державина.

По самому содержанію пьесъ выходитъ, что Державинъ былъ *лирическій поэтъ*. Но это названіе можетъ быть чрезвычайно многообъемлюще.

Лирическая поэзія такъ-же разнообразна, какъ и другіе роды поэзіи. Послѣ того, когда мы узнали многое неизвѣстное Древнимъ, самыя названія лирическихъ стихотвореній сдѣлались недостаточны. Что выражаетъ Греческое слово: *Ода?—Пѣснь?* Но какое различіе между лирическою пѣснью Грека, Араба, Шотландца, Германца! Неужели все это назовемъ *Одою?* Не справедливѣе-ли будетъ удерживать названія, принятыя у разныхъ народовъ для означенія различныхъ стихотвореній? Сказавъ: *Псаломъ*, *Мистерія*, *Лей*, *Моаллака*, *Слово* (какъ оно принято Пѣвцомъ Игоря), *Канцона*, мы выражаемъ положительно сущность стихотвореній, называемыхъ сими именами.

Такъ для лирическихъ пьесъ Державина рѣшительно не годится названіе *Оды*, если примемъ сіе названіе въ томъ смыслѣ, какой придавали ему Клас-

сики. Оды торжественныя Пиндара, Классическихъ Нѣмцовъ, Французовъ, Англичанъ, Русскія оды Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Майкова, Николева, Петрова (и кто не писалъ у насъ *Одъ* и *Басенъ*?), обозначаютъ положительно сущность и образъ собственно — оды. Торжественныя пѣснопѣнія Державина, его *торжественныя оды*, представляютъ намъ совсѣмъ другую сущность, совсѣмъ другой образъ.

Также несвойственно (о чемъ мы уже упоминали выше) названіе нѣкоторыхъ пьесъ Державина *анакреонтическими* одами. И этихъ одъ сущность и форма извѣстны изъ тысячи примѣровъ, и какъ ни примѣриваемъ мы ихъ на мнимо-анакреонтическія оды Державина—онѣ никакъ не сходятся, будучи разнородными созданіями. «Если-бы Анакреонъ родился на берегахъ Невы, то употребилъ-бы всѣ краски Державина, а Державинъ при дворѣ роскошнаго Иппарха говорилъ-бы языкомъ мудреца Ѳеосскаго,» сказалъ князь Вяземскій. Догадка эта можетъ быть справедлива, но объясняетъ-ли она сущность созданій Державина, и показываетъ-ли, что они чѣмъ нибудь *похожи* на Анакреоновы?

Названіе: *Философическая ода*, кажется намъ, ошибкою, если не употреблять его единственно для означенія холодныхъ разсужденій, какія высказывали въ стихахъ своихъ Классическіе стихотворцы. Они брали извѣстную тему (напримѣръ: *Добродѣтель*, *Суета*, *Грѣхъ*, *Красота*) и риторически разлагали ее въ строфы и стихи. Неужели поэтъ Горацій былъ *философъ* въ своихъ одахъ? Такой же философъ былъ Державинъ.

Вотъ три рода стихотвореній лирическихъ—Торжественная, Анакреонтическая, Философическая Ода—которые до сихъ поръ находили у Державина, и которыхъ мы вовсе не находимъ.

Не говоря о сочиненіяхъ, въ какія увлекли Державина примѣры современниковъ и предшественниковъ, какъ-то: преложенія Псальмовъ, подражанія Горацію и Анакреону, и гдѣ едва мелькаетъ геній его, по нашему мнѣнію, можно раздѣлить лирическія его пьесы на пѣснопѣнія торжественныя, духовныя, сатирическія, элегическія, эротическія и вакхическія. Всѣ почти это *не оды*, но иныя имѣютъ форму Посланія, другія Элегіи, иныя Пѣсни, нѣкоторыя суть небольшія Поэмы.

Къ *Духовнымъ* можно отнести пьесы: *Богъ* и *Безсмертіе души*.

Къ *Торжественнымъ*, пьесы: Взятіе Измаила, Взятіе Варшавы, На Мальтійскій орденъ, На побѣды въ Италіи, Переходъ черезъ Альпійскія горы.

Къ *Сатирическимъ*, пьесы: Счастіе, Умѣренность, Вельможа, Фонарь.

Къ *Элегическимъ*, пьесы: Водопадъ, На смерть Мещерскаго, Урна, Память другу, Снигирь, Развалины.

Къ *Эротическимъ*, пьесы: Геркулесъ, Соловей во снѣ, Гостю, Парашѣ, Русскія дѣвушки, Цыганская пляска, Нинѣ.

Къ *Вакхическимъ*, пьесы: Разныя вина, Философія, Заздравный орелъ, Хмѣль, Мореходецъ, Махіавель, Кружка.

Но все это раздѣленіе недостаточно однакожъ, ибо многія пьесы Державина не подойдутъ ни къ одному изъ сихъ родовъ. Таковы: *Походъ Озирида*, *Персей и Андромеда*, *На рожденіе Порфиророднаго отрока*, *Вѣнчаніе Леля*, или *Павлинъ*, *Облако*, *Громъ*, *Къ самому себѣ* — изъ коихъ первыя суть Торжественныя, вторыя Сатирическія, но живописная форма дѣлаетъ ихъ чѣмъ-то особеннымъ.— Такъ ни къ одному роду не подходятъ небольшія поэмы его: *Изображеніе Фелицы*, *Видѣніе Музы*, *Утро*, *Цѣленіе Саула*, *Мой истуканъ*, *Зловоръ*, *Фризга*, *Царь-Дѣвица*, или пьесы: *Радуга*, *Ласточка*, *Соловей*, *Колесница*, *Хариты*. Не менѣе разнообразны и смѣшаны самыя формы стихотвореній: *На взятіе Измаила*, *На взятіе Варшавы*, *Водопадъ*, *Вельможа*, суть поэмы лирическія, а не Оды; *Фелица*, *Платову*, *Первому сосѣду*—Посланія.

Все это заставило насъ сказать въ самомъ началѣ, что сочиненій Державина никакъ не льзя дѣлить на роды, и въ изданіи ихъ всего вѣрнѣе принять порядокъ *хронологическій*. Тогда получили-бы мы поэтическую лѣтопись внутренней жизни его, и могли видѣть, какъ и что дѣлало впечатлѣніе на пламенную душу поэта, вмѣсто того, что какія-бы ни приняли мы дѣленія, всегда будемъ путаться въ нихъ.

Князь Вяземскій говоритъ: « Желательно, чтобы искусная рука, водимая вкусомъ и безпристрастіемъ, собрала избранныя творенія Державина. Съ сею книжкою могли-бы мы смѣло вызвать на единоборство славнѣйшихъ Лириковъ всѣхъ вѣковъ, всѣхъ народовъ, не опасаясь побѣдителя. » Не можемъ согласиться съ

сею мыслію, ибо, какъ мы уже сказали, Державинъ поэтъ *не на выдержку*. Поэзію его можно уподобить долинѣ цвѣтущей и дикой, съ снѣжными вершинами горъ и дремучими лѣсами окрестъ ея. Нѣсколько деревъ, нѣсколько цвѣтовъ, вынесенныхъ изъ сей долины, не покажутъ вамъ ея дикой, высокой прелести.

И такъ намъ остается идти въ эту очаровательную долину, осмотрѣть ея величественную общность, ея изумительныя подробности, и не думать о классификаціяхъ тамъ, гдѣ природа разбивала красоты не по снурку и уровню. Надобно обозначить сущность поэзіи Державина, и отличія его отъ другихъ поэтовъ — остальное будетъ понятно изъ этого.

Восторгъ самодовольный, жаръ души, сила и живопись слова — вотъ отличительныя свойства созданій Державина. Неистощимая яркость изображеній не допускала его возноситься выше земли. Не ищите въ Державинѣ тайнъ неразгаданныхъ, не ищите стремленія къ тому, чего человѣкъ не понимаетъ, но что онъ чувствуетъ и сознаетъ въ самомъ себѣ. Державинъ изумляетъ васъ полнотою, съ какою онъ весь проникается каждымъ предметомъ, и возсоздаетъ сей предметъ въ самомъ себѣ и своемъ твореніи. Геній Державина носитъ всѣ отпечатки Русскаго характера: увлекаемость, самодовольство, силу. Въ душу его не проникаютъ, ни испытующая отвлеченность Германца, ни отчаянная безнадежность Британца. Также недоступна ему веселая беззаботность Француза: въ самомъ весельи, это разгульность Русская, которая не веселится, но хочетъ забываться.

Возьмите для примѣра оду *Богъ*.

Въ полнотѣ восторга, поэтъ взываетъ къ Богу, исчисляетъ Его свойства — Превѣчный, безъ мѣста и причины, Непостижимый, Всенаполняющій — *Богъ!* — Измѣрить, исчислить Тебя невозможно — Ты Безконечный! Все въ Тебѣ — жизнь и смерть, и все ничто предъ Тобою — и что-же я? — Но я всмь, и я уже нѣчто — связь неба и земли. Твое созданіе я, и чрезъ смерть возвращаюсь въ Твое безсмертіе! Безсильный начертать и тѣнь Твою — возвышаюсь къ Тебѣ, и проливаю слезы благодарности.

Вотъ скелетъ — такъ сказать — тѣхъ идей, на которыхъ основана ода *Богъ*. Облеченная поэтическими формами, усыпанная алмазами и перлами слова, показывающая удивительное самодовольство, совершенное соединеніе поэта съ идеею — она удовлетворяетъ полнотою, и вы не замѣтите, какъ недостаточно, неудовлетворительно ея основаніе.

Возьмемъ другой примѣръ, торжественную оду, напримѣръ: *На взятіе Измаила*.

Огнедышащей горѣ уподобляется подвигъ Русскихъ подъ Измаиломъ. — И гдѣ Русскій не таковъ? Вождь рекъ — и Измаилъ палъ! Какъ волны потекли Русскіе на его твердыни — подъ знаменіемъ вѣры и любви къ царицѣ. — Ужасное зрѣлище! Вообрази себѣ бурю — вообрази послѣдній день міра — се изображеніе подвига Русскихъ! Опустошеніе всюду — осада Тира ничто предъ взятіемъ Измаила. Увѣрьтесь, языки! что велика судьба Руси! — Слѣдуетъ изображеніе прежнихъ бѣдствій Руси, и нынѣшней ея славы,

и будущей судьбы ея. Обращеніе къ Царицѣ Руси — щадить силу народа Русскаго. «Цари Россіи!» восклицаетъ поэтъ:

Умѣйте дать ему вы льготу,
Къ дѣламъ великимъ духъ, охоту,
И правотой сердца плѣнить.
Вы можете его рукою,
Всегда, войной и не войною,
Весь міръ себя заставить чтить.
Война, какъ сѣверно сіянье,
Лишь удивляетъ чернь одну:
Какъ свѣтлой радуги блистанье,
Всякъ мудрый любитъ тишину...

Желаніе мира — утѣшеніе потерявшимъ милыхъ въ Измаильскомъ подвигѣ — безсмертіе падшимъ!

Прочтите это твореніе Державина, посмотрите, какъ великолѣпны его картины, какъ гордъ, самоувѣренъ въ немъ поэтъ, и ничто, никакое преувеличеніе не покажется вамъ излишнимъ въ этой поэмѣ, состоящей почти изъ 400 стиховъ, и по самому объему выходящей изъ числа одъ.

Но хотите-ли убѣдиться въ означенныхъ нами качествахъ Державина еще болѣе? Прочтите его безсмертную элегію: *Водопадъ*. Эта поэма, заключающая въ себѣ до 450 стиховъ, докажетъ вамъ, что Державинъ, совершенно увлекаясь предметомъ, совершенно возсоздавалъ его въ самомъ себѣ, выражалъ со всею силою души высокой и пламенной, и радужными образами разцвѣчалъ всѣ свои идеи. Тутъ вся прошедшая жизнь поэта мелькала мимо его, сливались воспоминанія, завывался родъ

творенія; голосъ поэта переходилъ по всѣмъ изгибамъ сердца его, и являлся самобытнымъ и неподражаемымъ въ высочайшей степени.

Въ сей-то самобытности, въ этомъ самодовольствѣ, пересоздающемъ въ самого себя все, чему ни коснется оно—величіе, очарованіе Державина. Такъ творцы Арабскихъ Моаллакъ изумляютъ насъ самодовольною полнотою бытія, заключая въ палящихъ степяхъ своихъ всю вселенную, и всю природу ихъ выражая въ своемъ пѣснопѣніи! Эта вѣра въ геній свой у Державина изумительна. Это вѣра вождя Израиля, останавливающая солнце: и природа повинуется ему — «и ста солнце противъ Гаваона, и ста солнце среди небеси, и не идяше на западъ — и не бысть день таковый, ниже прежде, ниже послѣди, еже послушати Богу тако гласа человѣча.»

Послѣ сего, ничто не кажется вамъ безмѣрнымъ и неумѣстнымъ. Говоритъ-ли поэтъ Русскому Царю —

Какъ Богъ, въ подобьи исполина,
Шагни — и свѣта половина
Другая будетъ подъ Тобой!

Исчисляетъ-ли онъ величіе и ничтожество человѣка —

Черта начальна Божества,
Я тѣломъ въ прахѣ истлѣваю,
Умомъ громамъ повелѣваю —
Я Царь — я рабъ — я червь — я Богъ;

Уподобляетъ-ли взятіе Измаила дню разрушенія вселенной —

Представь послѣдній день природы,
Что пролилася звѣздъ рѣка;

На огнь пошли стѣною воды,
Бугры взнялись за облака;
Что вихри тучи къ тучамъ мчали;
Что мракъ лишь молньи освѣщали,
Что громъ потрясъ всемірну ось,
Что солнце, мглою покровенно,
Ядро казалось раскаленно —
Се видъ, какъ вшелъ въ Измаилъ Россъ!

Говоритъ-ли, что при слухѣ о смерти Потемкина —

Екатерина возрыдала —
Полсвѣта потряслось за ней!

Изображаетъ-ли побѣды Екатерины орломъ, сгибающимъ рога луны въ небѣ и сжимающимъ львиный зѣвъ на землѣ —

На сребролунно государство
Простри крылатый, сизый громъ,
Въ желѣзнокаменное царство
Брось молньи — и поставь вверхъ дномъ;
Орелъ Царевнинъ-бы ногою
Въ верху рога луны сгибалъ,
Тогдажь-бы на землѣ другою
У гладна льва онъ зѣвъ сжималъ —

вы всему вѣрите, вы увлечены: поэтъ отнялъ волю вашу волшебнымъ жезломъ своей фантазіи. Присовокупите къ этому родные отпечатки Русскаго характера, и вы угадаете тайну преобладанія поэта. Да, это не Гете, не Байронъ: это потомокъ Багрима, это нашъ бардъ снѣговъ и сѣверныхъ сіяній, лѣсовъ дремучихъ и рѣкъ исполинскихъ, юность коего лелѣяла Волга, могилу коего омываютъ струи Волхова!

Замѣтьте особенно повсюдную унылость души, это веселіе забывчивости, это разгулье Русское, прорывающіяся сквозь восторгъ и радость, сквозь громы и бури генія: это изъ Русскаго сердца выхвачено! Въ торжественной пѣсни, въ эротической пьесѣ Державина найдете вы сіи родныя сердцу черты. Найдете и добродушіе насмѣшки, и Русскій *юморъ*, и родную шутку въ образахъ. Посмотрите, напримѣръ, на изображеніе Европы въ 1789 году:

Въ тѣ дни, какъ всюду, скороходомъ,
Предъ Русскимъ ты вѣжишь народомъ
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,
На Таврѣ ѣздишь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу въ фижмы наряжаешь,
Хохолъ Варшавѣ раздуваешь,
Коптишь Голландцамъ колбасы,

Прочтите каррикатуры въ Фелицѣ, прочтите *Истуканъ*, *На умѣренность*, наконецъ описанія Русской пляски, Русскихъ дѣвушекъ, Цыганской пляски, *Заздравнаго орла*, *Кружку* — Русское ваше сердце зашевелится, если оно не лишено вовсе способности шевелиться. Только Крыловъ умѣлъ такъ по Русски шутить, только Пушкинъ такъ по Русски писать.

Этотъ *Руссизмъ*, эта національность Державина до сихъ поръ были упускаемы изъ вида. Говоря о лирикѣ Державинѣ, всѣ забывали въ немъ *Русскаго пѣвца*. Сочиненія Державина исполнены Русскаго духа, кото-

раго *видомъ не видать, слыхомъ не слыхать* у другихъ *мнимо*-Русскихъ поэтовъ нашихъ. Прочтите для удостовѣренія пьесы его: *Царь дѣвица*, *Новгородскій волхвъ Злогоръ*. Но всегда замѣчательнѣе въ семъ отношеніи его *Добрыня*, сочиненіе заброшенное и забытое: это странная опера, но подробности въ ней превосходны, а лирическія мѣста изумляютъ Русскимъ духомъ. Одинъ хоръ Русскихъ дѣвъ, въ началѣ IV-го дѣйствія, можетъ выкупить всю пьесу. Вотъ онъ:

Что по гриднѣ князь,
Что по свѣтлой князь,

Наше солнышко, Владиміръ князь похаживаетъ;

Что соколій глазъ,
Молодецкій глазъ,

Какъ на пташечекъ, младыхъ дѣвицъ посматриваетъ;

Что у ласточки,
У касаточки,

Алу, бѣлу грудь, сизы крылья подсматриваетъ;

Парчевой кафтанъ,
Сапоги сафьянъ,

Золоту казну и соболи показываетъ;

Веселымъ лицомъ,
Въ обинякъ словцомъ,

Мысли дѣвичьи и душу ихъ извѣдываетъ.

«Не мани насъ, князь,
Не гадай насъ, князь,

Красно солнышко!» Боярышни возговорятъ.

«Не златой казнѣ,
Но твоей красѣ
Очи и сердца свои давно всѣ продали.
Ты взгляни на насъ,
Ты вздохни хоть разъ,
Дай въ залогъ перстень любой тебѣ, ту выбери!

Еслибы Державинъ былъ болѣе знакомъ съ Русскою стариною, еслибы онъ не увлекался ложнымъ объ ней понятіемъ, по которому Карамзинъ полагалъ необходимымъ *скрашивать* родное наше, *даже въ самой исторіи* — можетъ быть ему суждено-бъ было начать періодъ истинно *національной поэзіи* нашей. Теперь — этотъ долгъ за Пушкинымъ. При Державинѣ не наставало еще время Русской литературной самобытности.

Какъ поэтъ-живописецъ, Державинъ станетъ наряду съ величайшими поэтами міра. Онъ весь въ картинахъ: это Русскій снѣгъ, горящій лучами солнца. Изъ приведенныхъ нами примѣровъ можно уже видѣть сіе чудное свойство, свойство особенное жителей сѣвера. Вальтеръ Скоттъ поэзіи—гремитъ-ли онъ негодованіемъ противъ порока—это картина утра въ домѣ вельможи; оплакиваетъ-ли смерть Потемкина—вся природа, всѣ думы его облекаются въ образы, и все собрано имъ—и Кончезерскій водопадъ, и двѣ копѣйки, которыя кладутъ у Русскихъ на глаза покойника; говоритъ-ли о суетѣ міра— это сама смерть: она смотритъ на величіе міра, и—*точитъ лезвее косы!* Тщетно захотѣли-бы мы исчислить всѣ картины, всѣ образы, начертанные Державинымъ—они безчисленны. Пьесы самыя

ничтожныя исполнены ими. Смотрите полныя картины его въ *Водопадѣ*, *Утрѣ*, *Изображеніи Фелицы*, *Вельможѣ*, *Видѣніи Мурзы*—и на всю жизнь это свойство оставалось въ поэзіи Державина. Онъ пережилъ восторгъ свой, пережилъ величіе думъ, но до самой кончины былъ поэтъ-живописецъ неподражаемый. Прочтите его: *На смерть Мещерскаго*, *Изображеніе Фелицы*, прочтите потомъ писанное имъ чрезъ двѣнадцать лѣтъ: *Жизнь Званская*, *Походъ Озирида*—Державинъ не состарѣлся. Прелесть очерковъ, въ пьесахъ: Облако, Громъ, Ключъ, Ласточка, Соловей, Павлинъ, Колесница, Радуга, Флотъ, Персей и Андромеда—истинное очарованіе! Приведемъ здѣсь примѣръ, изъ пьесы менѣе другихъ извѣстной:

Изъ опаловаго неба,
Со Олимпа высоты,
Вижу: идетъ юна Геба—
Лучезарны красоты!
Изъ сосуда льетъ златаго,
Въ чашу злату снѣдь орлу.

Зовлетъ молній царь пернатыхъ,
Пукъ держа въ когтяхъ громовъ;
Вѣтръ съ раменъ его крылатыхъ
Вругъ шумитъ межъ облаковъ;
Чернопламенныя очи
Мещетъ Геба на него....

И это писалъ Державинъ, когда ему было *около* 70 *лѣтъ*. А его *Развалины*, эта пѣснь лебедя на опустѣломъ дворцѣ Фелицы? Его Борей, *съ бѣлыми власами и сѣдою бородой?* Онъ потрясаетъ небесами, сжи-

мается рукой облака, сыплетъ пушистые инеи, воздымаетъ мятели, налагаетъ льдистыя цѣпи, оковываетъ быстрыя воды, и — природа содрагается *отъ лихаго старика*, земля претворяется въ камень отъ хладной руки его, звѣри бѣгутъ въ норы, рыбы кроются въ глубины, хоры птичекъ не смѣютъ пѣть, пчелы прячутся въ дуплы, Русалки засыпаютъ со скуки въ пещерахъ и камышахъ, Лѣшіе собираются согрѣвать руки около огней. И среди этой смерти природы — Порфиродное Дитя, дѣтскими ручьками пріемлющее уже порфиру; и растворенный чертогъ небесъ, и геніи, летящіе съ дарами — съ громами побѣдъ, обиліемъ, богатствомъ, спокойствіемъ, миромъ, красотою душевною и тѣлесною, и геній *послѣдній*, говорящій новорожденному:

Будь страстей своихъ владѣтель,
Будь на тронѣ человѣкъ!

И Россія, колѣнопреклоненная передъ колыбелью, пріемлющая отрока на руки, и со слезами лобызающая его въ перси, очи и уста — вотъ онъ, вотъ нашъ Державинъ, геній снѣговъ и льдистой нашей родины, не знавшій самъ себѣ цѣны! Не съ выборомъ его одъ должны мы вызывать его соперниковъ иноземныхъ, не съ Классическою мѣркою подходить къ его твореніямъ — нѣтъ! Мы должны обозрѣвать его вполнѣ, изучать во всей его дикости, разнообразіи; съ высоты его генія смотрѣть должно на другихъ поэтовъ, чтобы понять все его величіе, и безмѣрное разстояніе, въ какомъ стоятъ отъ него предшественники, современники и наслѣдники его въ поэзіи. Онъ разнообразенъ, какъ природа — зачѣмъ смотрите вы только на нѣсколько

его твореній? Говоритъ-ли онъ смуглой дщери Египта:

Какъ ночь—съ ланитъ сверкай зарями,
Какъ вихорь—прахъ плащемъ сметай,
Какъ птица—подлетай крылами,
И въ длани съ визгомъ ударяй!
Жги души, огнь бросай въ сердца
Отъ смуглаго лица!

Въ бесѣдѣ-ли друзей, за круговою чашею, за черно-тинтовымъ, злато-Кипрскимъ виномъ, подымаетъ бокалъ свой, и восклицаетъ:

Вотъ красно-розово вино:
За здравье выпьемъ женъ румяныхъ;
Какъ сердцу сладостно оно,
Намъ съ поцѣлуемъ устъ багряныхъ!

Приглашаетъ-ли гостя своего:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ
Диванѣ, мягкомъ, отдохни,
Въ семъ тонкомъ пологу перловомъ
И въ зеркалахъ вокругъ усни...,

Увѣряя его, что радъ будетъ прелестнымъ снамъ своего гостя, и даже любовнымъ сплетнямъ его—

Любовныя пріятны шашни,
И поцѣлуй въ сей жизни кладъ!

Идетъ-ли по Альпамъ, и указываетъ на Суворова перстомъ Рурика—

Се мой—гласитъ онъ—воевода,
Воспитанный въ огняхъ, во льдахъ,
Вождь бурь полночнаго народа,
Девятый валъ въ морскихъ валахъ,

Звѣзда, прешедша міра тропы,
Которой слѣдъ огня черты . . .

Видитъ-ли его въ подземномъ бою съ врагами, и въ трепетѣ восклицаетъ:

. . . Сошлися къ бою,
Чело съ челомъ, глаза горятъ;
Не громы-ль съ громами дерутся?
Мечами о мечи сѣкутся,
Вкругъ сыплютъ огнь . . . *хохочетъ адъ!*

Описываетъ-ли пиръ вельможи Екатерининa, гдѣ

Богатая Сибирь, наклонившись надъ столами,
Разсыпала по нимъ и злато, и сребро;
Восточный, западный, сѣдые океаны,
Трясяся челами, держали рѣдкихъ рывъ;
Чернокудрявый лѣсъ и бѣловласы степи,
Украйна, Холмогоръ, несли тельцовъ и дичь;
Вѣнчанна классами хлѣбъ Волга подавала,
Съ плодами сладкими принесъ кошницу Тавръ;
Рифей, нагнувшися, въ топазны, аметистны
Лилъ кубки медъ златой, древъ искрометный сокъ!

Одушевляется-ли онъ увѣренностью въ безсмертіе души, видитъ въ себѣ отблескъ Бога, сознаетъ вѣчный духъ, *мудрый*, *сильный*, *сущій*, и говоритъ въ восторгѣ:

Сей духъ въ пророкахъ предвѣщаетъ,
Паритъ въ поэтахъ въ высоту,
Въ витіяхъ сонмы убѣждаетъ,
Съ народовъ гонитъ слѣпоту;
Сей духъ и въ узахъ не боится
Тиранамъ правду говорить:

Чего безсмертному страшиться?
Онъ будетъ и за гробомъ жить!

Онъ всюду могущъ, богатъ, звученъ, самобытенъ, великъ и въ самомъ паденіи, поучителенъ въ самыхъ ошибкахъ, необходимъ историку, изучающему Россію XVIII-го вѣка, поэту, соревнующему славѣ его, юношѣ, который тревожится вдохновеніемъ, ужасается прозы нашей жизни и пустоты нашей поэзіи, старцу, который живетъ воспоминаніями...

Не имѣли-ль мы послѣ сего права изумляться противоположности жизни Державина съ его поэзіею, и думать, что онъ не можетъ быть ни изъясненъ, ни понятъ, если мы не знаемъ предварительно его характера, какъ человѣка и поэта, и не знаемъ вѣка его? Разсматривая жизнь, характеръ, вѣкъ Державина, мы разрѣшили себѣ всѣ сіи загадки въ противоположности поэзіи и жизни, въ соединеніи міра небеснаго и міра земнаго въ поэтѣ, въ тяготѣніи человѣка къ землѣ, въ порывѣ души его къ небу. И неуже-ли вы думаете, что Державинъ понималъ самъ себя, понималъ, какъ онъ творитъ? Нимало! Заглянемъ въ душу его, прочтемъ его *литературныя признанія*, какъ мы прочли его записки для поясненія его жизни.

Державинъ оставилъ намъ большое *Разсужденіе о Лирической поэзіи* (см. *Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей Русскаго слова*, кн. 2, 6, 14). Не думаете-ли вы найдти здѣсь тайны поэзіи его? Совсѣмъ нѣтъ: это бѣдная компиляція, выбранная изъ жалкихъ эстетикъ, разсужденіе о внѣшнихъ, риторическихъ приправахъ пѣснопѣній! Да, вы за кулисами, видите подмостки, ве-

гевки, лѣстницы, и дивитесь тому, какъ могла составиться сими грубыми средствами великолѣпная сцена, ослѣпляющая васъ.

Послѣ краткаго вступленія и краткой исторіи Оды, Державинъ исчисляетъ 24 *качества*, или *достоинства* одъ. Вотъ они:

«Вдохновеніе, смѣлый приступъ, высокость, безпорядокъ, единство, разнообразіе, краткость, правдоподобіе, новость чувствъ и выраженій, олицетвореніе и оживленіе, блестящія картины, отступленія, или уклоненія, переноски, обороты, околичности, сомнѣнія и вопрошенія, противоположности, заимствованія, иносказанія, сравненія и уподобленія, усилія и прочія витійственныя украшенія, нравоученіе, сладкогласіе, вкусъ.»

Какая смѣсь понятій! Прибавьте, что Державинъ приводитъ при томъ самые нелѣпые стихи Хераскова, Боброва, восхищается ими, и съ грустію говоритъ: «Знаю, сколь трудно соединить плавность Хераскова съ силою стиховъ Петрова. . . .»

Намъ извѣстна еще драгоцѣнность: это планы нѣкоторыхъ пьесъ Державина. Г-нъ Остолоповъ передалъ намъ такіе планы *шести* пьесъ (См. *Ключъ къ соч. Держ.*, стр. 34, 44, 48, 54, 76, 80): *Изображеніе Фелицы*, *Счастіе*, *На умѣренность*, *Водопадъ*, *На Мальтійскій орденъ*, *Авгинейскому витязю*. — Какая проза! Какой поучительный урокъ ничтожества человѣческаго въ величіи!

Но, и въ самомъ ничтожествѣ есть точки, съ которыхъ начинается величіе человѣка. *Отъ великаго до смѣшнаго одинъ шагъ*—сказалъ Наполеонъ.— «Что вы смотрите на тронъ мой?»—говорилъ онъ еще—«Если на

немъ нѣтъ меня—это скамейка, обитая бархатомъ!» — Такъ въ человѣкѣ смѣшаны жизнь и смерть, небо и земля, ничтожество и безсмертіе.

Самая жизнь Державина доказываетъ, что онъ не получилъ никакого образованія, и пренебрегалъ своимъ геніемъ. Сынъ природы — ей одной онъ былъ всѣмъ обязанъ, какъ ей всѣмъ были обязаны подлекарь Шиллеръ, сынъ торговца шерстью Шекспиръ, солдатъ Сервантесъ. Мы вѣримъ разсказамъ, что Державинъ худо зналъ стопосложеніе, почиталъ дактилемъ все, что не хорей и не ямбъ, и гармонію самыхъ стиховъ своихъ изучалъ, читая ихъ вслухъ самому себѣ, и стуча въ это время пальцомъ по столу; наконецъ, на самомъ снимкѣ, приложенномъ къ новому изданію его сочиненій, находимъ мы ошибки противъ правописанія; говорятъ, что притомъ Державинъ дурно читалъ стихи свои, не умѣлъ говорить красно и былъ неловокъ. Тѣмъ величественнѣе этомъ огонь во льдахъ, тѣмъ драгоцѣннѣе доказательство, что геній выше всѣхъ вещественныхъ цѣпей. Изъ глупой сказки, онъ создаетъ *Гамлета* и *Лира*, и велитъ надписать на гробницѣ: «Другъ! именемъ Бога молю — не трогай праха, здѣсь заключеннаго*!

Такъ и въ прозаической сторонѣ Державина, на этомъ оборотѣ медали, хотите-ли видѣть клеймо его генія? Забудьте его удивленіе къ Хераскову, и увѣренность, что къ достоинствамъ оды принадлежатъ: замысловіе, сравненіе, нравоученіе — послушайте, когда говорятъ его *душа*, его *геній*:

---

* Надпись на гробницѣ Шекспира.

«Лирическая Поэзія показывается отъ самыхъ пеленъ міра. Она есть самая древняя у всѣхъ народовъ: это отливъ разгоряченнаго духа, отголосокъ растроганныхъ чувствъ, упоеніе, изліяніе восторженнаго сердца. Человѣкъ, изъ праха возникшій, восхищенный чудесами мірозданія, первый гласъ радости своей, удивленія и благодарности, долженъ былъ произнести лирическимъ восклицаніемъ. Все его окружающее: солнце, звѣзды, моря, горы, лѣса и рѣки, напояли живымъ чувствомъ, и исторгали гласы его. Вотъ источникъ оды. Она не есть одно подражаніе природѣ, но вдохновеніе оной. Она не наука — огонь, жаръ, чувство...

«Высокость оды есть полетъ воображенія, который возноситъ поэта выше понятія обыкновенныхъ людей, и заставляетъ его, сильными выраженіями своими, то живо чувствовать, чего они не знали, и что имъ прежде въ мысль не приходило. Прямая высокость состоитъ въ силѣ духа, или истинѣ, обитающей въ Богѣ...

«Принадлежности оды составляютъ изящество и существо прямой оды, ежели истекаютъ только отъ истиннаго вдохновенія. Безъ вышняго сего дара, не красотами онѣ бываютъ, а раскрашенными, неоживленными призраками. Всякій наборъ пустыхъ, гремучихъ словъ, скропанный по школьнымъ однимъ правиламъ, или нанизанность надутыхъ, неодушевленныхъ подобій, всякій, говорю, длинный разсказъ, холодное поученіе, газетныя подробности, неточная оболочка рѣченіями мыслей, припужденное, безстрастное восклицаніе, нагроможденная высокость, или тяжело-ползущее пареніе, никому непонятное глубокомысліе, или, луч-

ше сказать, безсмысленна, и слухъ раздирающая музыка, стыдятъ и унижаютъ лиру. Звуки ея тогда, какъ стрѣлы тупыя отъ стѣнъ, отскакиваютъ, и какъ стукъ въ свинцовый тимпанъ до сердца не доходятъ. По истинѣ: *вдохновеніе* есть одинъ источникъ всѣхъ вышеписанныхъ лирическихъ принадлежностей, душа всѣхъ ея красотъ и достоинствъ: все, все, и самое сладкогласіе отъ него происходитъ — даже вкусъ, хотя даетъ ему дружескіе свои совѣты, и онъ изъ него принимаетъ ихъ, но не прежде, какъ тогда уже, когда успокоится, а во время пылкаго его паренія едва только издали смѣетъ приближаться къ нему и надзирать за нимъ. Если поэтъ за первымъ, безъ всякаго разсужденія, выстро послѣдуетъ, а за вторымъ, не торопясь, съ благоразуміемъ, и за справою уже сего послѣдняго, а не прежде, выдаетъ въ свѣтъ свои сочиненія, то, безъ всякаго сомнѣнія, рано или поздно, получаетъ плески. Чувствуй — и будутъ чувствовать. Проливай слезы — и будутъ плакать! Отъ восклицанія токмо сердца раздаются громы. *Вдохновеніе*, *вдохновеніе* — повторяю, а не что иное наполняетъ душу лирика огнемъ небеснымъ: оно напрягаетъ всѣ его силы, окрыляетъ, возноситъ, и исторгаетъ, такъ сказать, ея бытіе изъ пеленъ плоти, или изъ всѣхъ земныхъ предѣловъ — дабы лучше выразить и изъяснить изступленное ея положеніе. Отъ вдохновенія происходятъ бурные порывы, пламенные восторги, высокія, божественныя мысли, выспреннія паренія, многосодержащія изрѣченія, таинственныя предвѣщанія, живыя лицеподобія, отважные переносы, и прочія риторическія украшенія, о ко-

ихъ было мною говорено. Отъ него, подъ струнами вѣнценоснаго Іудейскаго лирика и царя скакали холмы, двигалась земля, преклонялось небо предъ лицемъ Вседержителя, солнце становилось престоломъ, а луна подножіемъ ногъ Его; отъ него Орфей водилъ лѣса и рѣки за собою, Омиръ помаваніемъ Юпитеровой главы колебалъ вселенную....»

Вотъ онъ, вотъ молнія среди мрака, поэтъ, которому готовы мы воскликнуть, какъ восклицалъ въ отвѣтъ ему знаменитый его современникъ:

. . . Тебя-ль не узнаю —
Орлій издавна знакомъ мнѣ полетъ *!

Посмотрите и въ самыхъ планахъ Державина, въ этой прозаической подмосткѣ, устроенной для созиданія великолѣпныхъ, вѣковыхъ его зданій, посмотрите на добродушіе, младенческое добросердечіе, простоту генія. Выписываемъ здѣсь планъ стиховъ Державина: *Счастіе*, этого прелестнаго, неподражаемаго, Русскаго созданія.

«Писано это въ Москвѣ, въ 1789 году. Въ первомъ изданіи прибавлено было: *на масляницѣ*, потому, что описывая разныя проказы того времени, авторъ хотѣлъ скрыть прямое свое намѣреніе. Онъ, по притѣсненію нѣкоторыхъ вельможъ, былъ тогда отлученъ отъ Тамбовскаго губернаторства, и находился подъ отвѣтомъ въ Московскомъ Сенатѣ. Авторъ, въ свое утѣшеніе, и для забавы, хотѣлъ посмѣяться ироническимъ слогомъ, надъ всѣмъ тѣмъ, что дѣлается въ

* И. И. Дмитріевъ, въ отвѣтъ на стихи Державина: *Осень*.

семъ развратномъ и непостоянномъ свѣтѣ. Для лучшаго вразумленія читателей, нужнымъ почитается пояснить каждую строфу:

«Въ 1-й и 2-й описываются дѣянія счастія.

«Въ 3-й обороты онаго, извѣстные по исторіи, которые и въ настоящее время точь въ точь случались.

«Въ 4-й просвѣщеніе Россіи, когда уже грубое суевѣріе о домовыхъ и кикиморахъ исчезло, а на мѣсто онаго появились магнетизмъ, исканіе философскаго камня, и проч. Тутъ-же сказано и о томъ, что въ тогдашнее время много показалось *кавалеровъ* и *бригадировъ*, выпускаемыхъ изъ капитановъ гвардіи въ отставку.

«Въ 5-й и 6-й успѣхи Россійскаго оружія и политика; также самая вѣрная картина тогдашняго дипломатическаго состоянія Европейскихъ державъ, относительно къ вниманію, обращаемому на нихъ Императрицею.

«Въ 7-й и 8-й изображеніе внутренняго положенія Россіи, ея нравовъ, правосудія въ ней и разныхъ увеселеній. Показано, что *Ерихонцы*, т. е. подьячіе, богатѣютъ, что нравы, по смѣшенію нашему съ иностранцами, распестрились; полосатые-же фраки были тогда въ модѣ.

«Въ 9-й и 10-й описаніе упражненій Екатерины. Въ 11-й и 12-й отношеніе Императрицы къ военнымъ и гражданскимъ дѣламъ: что она безъ суда никого не наказываетъ; что вѣситъ силы чужихъ державъ; что защищаетъ безсильныхъ отъ сильныхъ; что поражаетъ оружіемъ желѣзное царство Шведовъ и лунное Турковъ, а свое успокоиваетъ, учреждая дровяные и сѣнные магазины, и согрѣваетъ въ морозы, нарочно устроенными на публичныхъ мѣстахъ каминами.

«Въ 13-й, дѣлаетъ авторъ обращеніе на себя, и проситъ счастіе, чтобы оно было къ нему благопріятно, и изъ пещинки сдѣлало-бы его жемчужиною.

«Въ 14-й, подъ своимъ лицомъ, авторъ описываетъ нѣкоторыхъ сотоварищей по службѣ, которые бѣгали у вельможъ по паркету и никого не уважали.

Въ 15-й и 16-й, авторъ вспоминаетъ аллегоріею молодость свою, и счастливые успѣхи въ любви.

«Въ 18-й и 19-й изображается своенравіе счастія, и увѣренность автора, что оно всесильно все перемѣнять: *зудокъ въ скрыпку и хохолъ въ локонъ*; что рѣдко благопріятствуетъ достойнымъ людямъ, а подобно воздушному, Монгольфіеромъ изобрѣтенному шару, упадаетъ куда случится.

«Въ послѣдней, 22-й строфѣ, объясняется состояніе души автора, полагающаго, что его спокойствіе не зависитъ отъ непостояннаго счастія, ни отъ вельможъ, любимцевъ онаго *.»

Мы увлеклись за предѣлы журнальной рецензіи, говоря о Державинѣ. Но чувствуемъ, пересматривая все нами написанное, что мы не могли выразить всего Державина. Будемъ довольны и тѣмъ, если нашъ опытъ возбудитъ вниманіе людей, болѣе насъ опытныхъ, болѣе

* См. *Ключъ къ Соч. Держ.* стр. 44—47. Мы пользовались по возможности сею любопытною книжкою г-на Остолопова, но за всѣмъ тѣмъ посовѣтуемъ прочитать ее особенно: это *исповѣдь* Державина, и множества подробностей въ ней заключающихся, мы не могли вмѣстить въ предѣлы нашей статьи. Для примѣра, укажемъ на стр. 19, 58, 63, 79, 91, весьма замѣчательныя.

нашего одаренныхъ вкусомъ и способностью критики, болѣе нашего обладающихъ познаніями, необходимыми для оцѣнки генія. Довольны будемъ мы и тѣмъ, если изобразивъ жизнь и характеръ Державина, обозрѣвъ созданія его, мы увѣдимъ нѣкоторыхъ изъ соотечественниковъ нашихъ, что судимый по уложенію Русскаго генія, не по старой Классической, и не по Романтичиской современной мѣркѣ, Державинъ становится вѣковымъ поэтомъ. Не пѣвецъ Фелицы, не сочинитель только Оды Богъ является намъ въ Державинѣ, но истинный представитель генія Россіи, дикаго, неконченнаго, неразвитаго, но — могущаго, какъ земля Русская, крѣпкаго, какъ душа Руская, богатаго, какъ языкъ Русскій!

Державина должно отдѣлить отъ всѣхъ его современниковъ и послѣдователей. При измѣреніи окрестныхъ полей, Этна и Везувій не входятъ въ межеванье землемѣрское. По этому, и потому еще, что онъ былъ лирикъ, Державинъ не могъ сдѣлать эпохи, ни въ словесности, ни въ языкѣ Русскомъ. Геній его, уединенный выродокъ изъ вѣковъ, не могъ быть подлаженъ подъ голоса другихъ: онъ пѣлъ дивную пѣснь — ему внимали, не понимая сей пѣсни. Мы прислушиваемся къ общему, старому и новому пѣнію, и забываемъ божественные звуки пѣвца одинокаго. Съ грамматическими вѣсками подходимъ мы къ сокровищницѣ пѣснопѣній Державина, и не знаемъ, какъ приняться за нихъ, потому, что вѣски наши мѣлки и недостаточны. Здѣсь, какъ при безчисленныхъ сокровищахъ пѣвцовъ Индіи, Аравіи, Шошландіи, должна быть другая мѣра — *душа*

мѣра, по Русской поговоркѣ. Спросите-же душу вашу— не школьную теорію Эстетики—спросите духъ человѣчества, и сей могущій духъ, не знавшій Батте, Бутерверковъ, Сульцеровъ, Астовъ, при созданіи твореній Пиндара и Омира, Данте и Шекспира, Гете и Байрона, Калидаза и Тарафы, скажетъ вамъ имя *Державина*, не какъ Рускаго пѣвца XVIII-го вѣка, но какъ роднаго сына своего, обреченнаго не исторіи Русской Литературы, но безсмертію.

Простое чувство бываетъ всегда лучшимъ судьею, если постоянно и одинаково судитъ о великомъ, когда пролетѣла цѣна его новости. Между тѣмъ, какъ литературные судьи наши дѣлятъ исторію Русской Литературы на періоды, и эти періоды лопаются въ глазахъ ихъ, будто мыльные пузыри; опредѣляютъ степени славы, и кумиры, поставленные ими на сихъ степеняхъ, размываетъ и безобразитъ ѣдкое время; считаютъ образцомъ, то прозу того, то стихи другаго, и эти образцы безпрестанно старѣютъ — исполинскій образъ Державина стоитъ уединенно, воздвигнутый приговоромъ Руси, среди дремучей, дикой дебри его поэзіи. Теоретики и критики подходятъ къ нему, но испуганные его самобытностью, бѣгутъ прочь*. Дымъ куре-

* Угодно-ли послушать критическаго сужденія въ этомъ особенномъ родѣ? Вотъ оно: «Всеобъемлющій Ломоносовъ, отважный Петровъ, и неподражаемый Державинъ, обогатили словесность нашу высокими, можетъ быть, единственными произведеніями, но не побѣдили своенравнаго языка.» Петровъ, Ломоносовъ (какъ поэтъ) рядомъ съ Державинымъ!! И какъ же *неподражаемый*, обогатившій насъ *единственными*

ній передъ нимъ погасъ; тропа, къ нему ведущая, заросла быліемъ подражаній чужеземцамъ, и мѣлкою травою, засѣянною по теоріи чуждыхъ Эстетикъ. Юно-

---

произведеніями, могъ быть *побѣжденъ нашимъ языкомъ?* «Всѣ удивлялись поэтамъ, а стихи ихъ читали немногіе. Свѣтская и затѣйливая муза Дмитріева наконецъ получила доступъ во всѣ кабинеты. Съ нею начали бесѣдовать, и заимсные литераторы, и безприсяжные щеголи, и полу-Французженки женщины. До времёнъ Жуковскаго и Батюшкова, языкъ упрямился, мѣра и риѳма часто смѣялись надъ стихотворцемъ, и повѣждали его.» — И такъ — вотъ мѣра, въ которую пригоняется геній: *чтеніе свѣтскихъ людей, свѣтскость, затѣйливость музы, доступъ въ кабинеты безприсяжныхъ щеголей, полу-Французженокъ женщинъ, гладкость риѳмы!!* Слушайте послѣ сего характеристику поэзіи Жуковскаго, написанную тѣмъже критикомъ: «*Глубокія чувства*, смѣлая мечтательность, *богатство*, или лучше сказать, *роскошь самыхъ свѣжихъ картинъ природы*, составляютъ красоты поэзіи Жуковскаго. Всего чаще любитъ онъ предаваться всей стремительности отважнаго своего воображенія, которое, въ прихотливомъ своемъ полетѣ, избираетъ путь нерѣдко странный; однакожь самое своенравіе его насъ плѣняетъ, потому, что никогда у него сила воображенія не измѣняетъ дѣятельности. Въ рисовкѣ картинъ природы Жуковскій *не имѣетъ, и едва-ли будетъ имѣть соперника.*» Опровергать все это нѣтъ надобности: это было писано за 10 лѣтъ, въ 1822 году. Въ эти десять лѣтъ, вѣроятно, подросли въ сужденіяхъ своихъ, и публика, и самъ почтенный критикъ. Но, однакожь, *такъ* думали, говорили, даже *печатали* нѣкогда! Читая сужденія критика, не скажетъ-ли всякій, что онъ, по видимому, вовсе не читалъ, ни Жуковскаго, ни Державина? Такимъ критикамъ можно-ли было оцѣнить Державина!

ша! если ты, въ часы восхожденія солнца восторга надъ головою твоею, слышишь чудные, дивные звуки, несущіеся къ тебѣ изъ дебри—знай, что ты слышишь голосъ исполинскаго образа Державина: онъ, какъ Мемнонъ восходящему солнцу, отзывается твоему вдохновенію. Туда, къ его истукану, въ дикую дебрь его поэзіи, иди, и у подножія его образа внимай его звукамъ, вдохновляйся ими, и вѣдай, что нѣкогда потомство воздвигнетъ храмъ сему сыну Сѣвера, сему знаменію Русскаго генія. Тамъ читай исторію Державина, предугадывай, чѣмъ онъ могъ быть, потому, что онъ былъ, и забывъ всѣ его частныя отношенія, и вѣка, и человѣка, умѣй сравниться съ его духомъ, умѣй лучше Державина разгадать самого себя. Тогда сердце твое затрепещетъ при мысли, что можетъ быть, и твой образъ потомство поставитъ рядомъ съ образомъ безсмертнаго потомка Багримова...

Державину воздвигаютъ памятникъ въ мѣстѣ его родины. Если-бы художникъ осмѣлился при семъ случаѣ бросить всѣ академическія идеи, всѣ затверженные имъ въ школѣ этюды и эскизы... Державинъ, сѣдящій, какъ изображенъ онъ Тончіемъ, въ сѣверной одеждѣ, безъ всякихъ знаковъ мірскихъ, прешедшихъ почестей, и лира у ногъ, вдохновеніе на лицѣ, безъ Греческихъ геніевъ, безъ изысканной драпировки, внимающій невидимому генію, какъ будто повторяющій намъ:

Въ могилѣ буду я, но буду говорить!

Вотъ какого памятника желали-бы мы Державину, вотъ въ какомъ памятникѣ мы узнали-бы его!

Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго. *Двѣ части. Спб.* 1831 *г. въ т. Главнаго Штаба Е. И. В., in* 12, 277 *и* 261 *стр. съ карт. и виньетами.*

Прелесть неизъяснимая, понятная только жившему сердцемъ и душею человѣку — соображать прошедшія свои чувствованія, повѣрять минувшія свои ощущенія. При ясномъ полднѣ мужества, усладительно вспомнить тихое, свѣтлое утро юности; при сумрачномъ вечерѣ старости уноситься думою въ прешедшій полдень жизни. Задумчивая, но немучительная грусть напоминаетъ вамъ темныя минуты бытія; веселье тихое возобновляетъ въ памяти вашей свѣтлыя точки. Такова двойная прелесть воспоминанія, съ какою *перечитываемъ* мы, что *читали* нѣкогда, въ юности нашей; таково очарованіе, котораго никогда не потеряютъ для насъ, поколѣнія XIX вѣка, сочиненія Жуковскаго. Въ силѣ юнаго духа, безпечные жильцы міра, люди одного дня, увлекательно предававшіеся первымъ порывамъ радости и первымъ думамъ печали были мы, когда Жуковскій явился на поприщѣ Русской словесности *пѣвцомъ въ станѣ Русскихъ воиновъ*, унылымъ балладникомъ, разскащикомъ о снахъ Свѣтланы и таинственныхъ звукахъ Арминіевой арфы. Кто изъ насъ, читая Эпилогъ стихотвореній Жуковскаго, не повторилъ, вмѣстѣ съ нимъ:

И *для меня* въ то время было
Жизнь и поэзія одно?

Теперь, прошло по *полувѣку* человѣческому для юнѣйшаго изъ насъ; поэту юности нашей совершилось уже *пятдесять* лѣтъ. Дай Богъ, чтобы онъ прожилъ еще долго, для чести отчизны, для того великаго дѣла, которое взялъ онъ на себя предъ лицомъ отечества, давъ обѣтъ споспѣшествовать воспитанію будущаго Царя Россіи, Царя нашихъ дѣтей, залога благоденствія отчизны въ грядущихъ поколѣніяхъ! Но время поэзіи уже пролетѣло для Жуковскаго, пролетѣло навсегда. Восемь лѣтъ тому, онъ спрашивалъ *дарователя пѣснопѣній*, *венія чистой красоты*, возлагая на алтарь его *все*, *что сохранилъ отъ милыхъ*, *темныхъ и ясныхъ*, *минувшихъ дней*, *отъ времени прекраснаго— цвѣты уединенной мечты* и *цвѣты лучшей жизни*, спрашивалъ его о возвратѣ вдохновенія, и говорилъ:

Бывалыхъ нѣтъ въ душѣ видѣній
И голосъ арфы замолчалъ.
Его желаннаго возврата
Дождаться-ль мнѣ когда опять?
Или навѣкъ его утрата,
И вѣчно арфѣ не звучать?

Теперь Жуковскій издалъ то, что навѣяно было на душу его въ сіи послѣднія восемь лѣтъ. Онъ издалъ не все. Въ послѣднее время мы слыхали знакомые звуки арфы его: изрѣдка долетали они до насъ, то въ думѣ поэта надъ безднами моря, то въ прежнихъ вдохновительныхъ мечтаніяхъ о лучшемъ мірѣ. Но и сіи мимолетные напѣвы, и нынѣ изданныя, бывшія неизвѣстными намъ доселѣ пѣснопѣнія Жуковскаго, доказываютъ, что удѣлъ поэзіи его совершенъ. Змѣя Време-

ни свилась въ кругъ для его вдохновенія, и являетъ его только символъ ума. Летучія думы исчезли. *Май жизни цвѣтетъ однажды, и не разцвѣтаетъ въ другой разъ* — сказалъ подобный Жуковскому таинникъ Музъ.

Итакъ — подвигъ Жуковскаго, какъ поэта, совершенъ, и сужденія современниковъ дѣлаются для него сужденіемъ потомства. Да, позволитъ-же намъ поэтъ нашей юности предрѣчь ему безпристрастнымъ сужденіемъ голосъ будущаго. Безпристрастенъ, оживленъ любовью къ Музѣ Жуковскаго, согрѣтъ пламенемъ чистой души его, будетъ нашъ голосъ. Люди современнаго поколѣнія могутъ отдавать себѣ вѣрный отчетъ въ твореніяхъ Жуковскаго: въ наше время годами проживаютъ десятки лѣтъ. Духъ испытательности, сынъ дивнаго вѣка нашего, сорвалъ съ глазъ нашихъ всѣ повязки, развилъ въ душахъ нашихъ новыя, неизвѣстныя отцамъ нашимъ струны. Онъ оживилъ намъ міръ старины въ поэтическихъ идеяхъ романовъ В. Скотта, Де-Виньи, Гюго, Манцони; съ воплемъ Байроновскаго отчаянія разрушилъ онъ прелесть дѣтскихъ предразсудковъ; съ разсказами Купера заселилъ живыми существами дикія дебри Америки, и съ созданіями Гете раскрылъ всю внутренность души человѣческой анатомическимъ ножемъ своимъ. Но буря испытательности безплодно утомляетъ силы свои надъ тѣмъ, что вѣчно, что неизмѣнно отъ сложенія міра. Она безсильно реветъ вокругъ созданій истины, блага и изящества. Срывай она ветхіе лоскутья внѣшняго, разбрасывай обломки подгнившаго: міръ истинной поэзіи недосту-

пенъ ея разрушенію; пламенный мечъ души человѣческой отразитъ духа гибели. «Не умерла, но спитъ дѣва!» говоритъ человѣкъ, когда сей духъ указываетъ ему на безчувственную, или дикую, какъ дитя разрушенія, поэзію нашего времени — «спитъ, и летаютъ вокругъ нея прекрасныя видѣнія міра лучшаго, совершенствованія земнаго, надеждъ грядущаго, сквозь смутныя сновидѣнія, тревожащія ее въ наше время!» прибавимъ мы. Жуковскій былъ однимъ изъ самыхъ прекрасныхъ видѣній божественной дѣвы. И пока не погаснетъ огонь поэзіи въ сердцѣ человѣка (а онъ не погаснетъ никогда), имя Жуковскаго будетъ памятно сердцу нашему! Опыты, пережитые нами, только просвѣтляютъ нашъ умственный взоръ. Мы дивились Жуковскому нѣкогда, какъ дѣти; теперь онъ кончилъ свое пѣніе, а мы, задумчиво слушая улетающіе звуки его лиры, чувствуя себя опытнѣе прежняго въ жизни, тѣмъ справедливѣе можемъ оцѣнять его достоинства и заслуги его Русской Поэзіи, не дожидаясь, чтобы современность отлетѣла на историческій выстрѣлъ (какъ сказалъ одинъ поэтъ). Удаляемъ всѣ личныя, мѣлкія отношенія современности. Духъ испытательности вдругъ закрываетъ передъ нами множество страницъ лѣтописи грядущаго, и указываетъ намъ на ту именно страницу, на которой потомство перомъ критики напишетъ свое опредѣленіе.

Читатели видѣли въ Телеграфѣ мнѣніе уважаемаго нами Рецензента, сказанное имъ по поводу изданія *Баллядъ и повѣстей* Жуковскаго (см. Тел. 1831 г. № 23, стр. 314-323). Мы согласны въ нѣкоторыхъ ча-

стяхъ съ почтеннымъ Рецензентомъ, но за то никакъ не согласимся въ другихъ, и вообще думаемъ, что разсмотрѣніе одностороннее не даетъ полнаго понятія о предметѣ. Несоглашенія съ упомянутою рецензіею хотимъ мы объяснить въ нашей статьѣ, и кромѣ того разсмотрѣть вполнѣ Жуковскаго, какъ литтератора Русскаго. Здѣсь откроются средства объяснить его поэзію. Предметъ вообще весьма любопытный: Жуковскій стоитъ на концѣ того перехода поэзіи и прозы Русской, который, начавшись послѣ временъ Ломоносова Карамзинымъ, продолжался до временъ Пушкина и нынѣшней прозы нашего времени. Жуковскій составляетъ въ Россіи переходъ къ Романтизму, какъ Карамзинъ составлялъ переходъ отъ Латино-Французской эпохи къ чисто-Французской эпохѣ XVIII-го вѣка, а Ломоносовъ отъ чисто-Схоластической къ Латино-Французской. Имя Жуковскаго было знаменемъ, подъ которое собиралась толпа его современниковъ; не будучи геніемъ самобытнымъ, подобно Державину (или надеждѣ будущаго, Пушкину), не будучи самостоятельнымъ проявителемъ своего духа, подобно Крылову, Жуковскій принадлежитъ собственно къ тому разряду дѣятелей, каковы были, только въ болѣе обширномъ размѣрѣ, Ломоносовъ и Карамзинъ. Это двигатели, необходимые при образованіи, подобномъ Русскому. Ломоносовъ былъ собственно ученый, Карамзинъ литтераторъ, Жуковскій поэтъ. Отъ того и объемъ его дѣятельности былъ менѣе Ломоносова и Карамзина. Здѣсь и отличіе его отъ нихъ, и мѣсто его въ исторіи Русской литтературы.

Не странно-ли, что на періодъ, продолжавшійся сто лѣтъ, мы насчитали четыре раздѣленія: окончаніе *Схоластическаго*, *Латино-Французское*, *Французское XVIII-го вѣка* и начало *Романтическаго*? Не странно-ли также, что этимъ раздѣленіямъ мы придаемъ чужія названія? Но хоть и странно, да, такъ было, и такъ долженствовало быть.

Говоря о сочиненіяхъ Державина, мы отчасти уже означили ходъ Русской литтературы, отъ начала преобразованія Россіи Петромъ Великимъ. Мы говорили о томъ, что застала Россія, новая гостья на пиръ Европы, введенная въ него рукою Петра. Сказавъ о причинахъ несамобытности нашей литтературы, и означивъ главныя черты Русской литтературы вѣка Екатерины, здѣсь постараемся мы изобразить нѣкоторыя дополнительныя подробности, и переходъ отъ вѣка Екатерины къ нашему времени.

Все это *такъ долженствовало* быть, потому, что такъ было въ Европѣ, а мы снимали сколокъ съ Европы.

Трудно хронологически указать точку, на которой оканчивается тотъ или другой періодъ. Мы знаемъ, что конецъ прежняго и начало новаго идутъ всегда издалека. Но межи необходимы на предѣлахъ, для памяти и соображеній человѣка. Такъ пограничные столпы дѣлятъ между людьми землю, хотя далеко изъ одной страны въ другую переливаются шумныя рѣки, переносится свободный воздухъ, и перелетаютъ вольныя пташки. Тридцати-лѣтняя война и Вестфальскій миръ могутъ быть почтены пограничною межею Среднихъ Временъ— это *половина XVII-го вѣка*. Что послѣдовало за тѣмъ?

Упадшая Ѳеократія Католицизма, развалины Феодальной политики, образованіе новой системы просвѣщенія и образованности, изъ схоластики религіозной и ученой, и переходъ ихъ въ условный вкусъ при дворѣ Людовика XIV-го — *при дворѣ* именно, а не во Франціи. Отъ того забвеніе желѣзныхъ броней рыцарскихъ подъ шитыми кафтанами придворными, забвеніе великихъ развитій Средняго вѣка въ искуствахъ и поэзіи, и замѣна ихъ выдощенными формами Классическихъ приличій. Вотъ что отразилось на Европѣ, вотъ что отразилось на Россіи, и на тогдашнихъ представителяхъ ея литтературы, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Петровѣ, Херасковѣ, Богдановичѣ, Костровѣ, Княжнинѣ, Нелединскомъ, Елагинѣ, даже на Хемницерѣ, Фонъ-Визинѣ и Державинѣ. Замѣтьте, что этому образованію не подъ силу была самобытность Греціи, и блѣдная Латинская литтература, вѣкъ Августа, столь сходный съ вѣкомъ Людовика, казались достойными образцами во Франціи, Англіи, Германіи и Россіи. Поддѣльное образованіе это (которое для Россіи назвали мы *Латино-Французскимъ*) носило въ самомъ себѣ зародышъ смерти, и должно было умереть отъ недостатка силъ. Кромѣ того, противъ него возстали самобытность каждаго народа, величіе Среднихъ Вѣковъ, и духъ философической Критики.

Какъ-вы ни силенъ былъ человѣкъ, но если запереть его въ тѣсномъ пространствѣ, онъ задохнется отъ собственнаго дыханія. Такъ и Классицизмъ Латино-Французскій. Грудь его заболѣла отъ надутыхъ воплей Мельпомены; челюсти его устали отъ принужденной

улыбки Таліи; ода его вынарядилась въ громкихъ словахъ; эпопея лопнула отъ излишняго напряженія, будучи сшита изъ ветхихъ клочковъ Латинской одежды. Посмотрите, какъ самъ по себѣ выраждался Классицизмъ, отъ Людовика XIV-го до конца XVIII-го вѣка: началось Корнелемъ, Расиномъ, Мольеромъ, Малербомъ, Лафонтеномъ, Севиньи; окончилось Кампистрономъ, Кребильономъ, Данжуромъ, Шолье, Ж. Б. Руссо, Фонтенелемъ, Демутье.

Между тѣмъ, крѣпко стала противъ него и самобытность каждаго народа. Напрасно Попе, Драйденъ, Аддиссонъ затягивали въ корсетъ Классицизма Англію — она не забывала своего Шекспира, не вѣрила, что Мильтонъ Классикъ, и едва туманныя пѣснопѣнія Макферсона коснулись ея слуха, какъ она затрепетала отъ восторга, и вся Европа сочувствовала ей. Оставалось Англіи разорвать легкія оковы чужеземныя проявленіемъ новыхъ, самобытныхъ геніевъ. Испанія подчинилась Классицизму, подобно другимъ, но не могла забыть своего Лопеца де-Вегу, своихъ Сервантеса и Кальдерона, своихъ романсовъ и Мавританскихъ преданій. Данте, Петрарка, Аріостъ удерживали власть свою въ Италіи, не смотря на Классицизмъ потомковъ. Но Германіи, этой плавильной печи Европейскихъ идей, надобно было вступиться за права истинной поэзіи Европейцовъ. Когда Кантъ началъ разрушать ложную Философію, Гердеръ воспитывалъ Гете, Виландъ, Клопштокъ развивались въ своихъ отдѣльныхъ созданіяхъ, Лессингъ началъ опровергать самую теорію Французовъ, и — возсталъ Гете! Подъ его хоругвію возстала самобытная

Поэзія Германская. Всеобъемлющій Омиръ Среднихъ Вѣковъ, Шекспиръ былъ изученъ, понятъ Германцами. Явились Жанъ-Поль, Шиллеръ, Гофманъ, Вернеръ. Самобытность Германская проявилась вполнѣ.

Все это достигало во Францію, гдѣ между тѣмъ страшный раздоръ частей колебалъ въ основаніи все условное, все Классическое, въ Политикѣ, Философіи, Литтературѣ. Философія обратилась тамъ въ насмѣшку ума надъ всѣми вѣрованіями человѣческими; науки сдѣлались достояніемъ всѣхъ, обнаженныя схоластическихъ тайнъ своихъ въ Энциклопедіи. Честолюбіе Французовъ не признавало еще ничего изъ областей чужеземныхъ выше Французскаго, но оно понимало слабость свою, похищало тихонько у сосѣдей, передѣлывало, и подсмѣивалось надъ обкраденными подлинниками. Когда Вольтеръ взялъ нѣчто у Шекспира, когда Вертеръ былъ переведенъ на Французскій языкъ — періодъ Людовика XIV-го совершился. Стоило только Макферсону и Шекспиру явиться, хотя въ дурныхъ переводахъ, чтобы все обратилось на передѣлку ихъ. Собственно-Классическое едва могло дышать, и давно жило только заимствованіями и суевѣрною привязанностью къ старымъ формамъ. Вотъ что мы называемъ *Литтературою Французскою XVIII-го вѣка*, которая перешла въ Россію послѣ литтературы вѣка Екатерины, или Латино-Французской. Это литтература Делилей, Дюсисовъ, Жуи, Арно, Же, Легуве, и прочей Классической мѣлочи.

Сущность сего періода литтературы въ Россіи была та самая, какою мы видимъ ее во Франціи.

Замѣтимъ прежде всего, что литтература была тогда въ Россіи не исключительнымъ занятіемъ двора, духовныхъ училищъ и ученыхъ обществъ: она перешла вообще въ дворянское званіе. Сильнѣйшимъ дѣйствователемъ въ началѣ сего времени явился Новиковъ. Онъ воспиталъ, такъ сказать, Карамзина. Знакомый въ юности съ возраждавшеюся Германіею, другъ пламеннаго, несчастнаго Ленца, Карамзинъ, а за нимъ и его послѣдователи, представили намъ однакожъ именно періодъ Французской литературы XVIII-го столѣтія. Лишенная великихъ геніемъ первоначальныхъ, сія литтература удивляла систематическою, условною правильностью формъ, занимала и передѣлывала по своему чужое: это былъ свѣтскій, любезный человѣкъ, потомокъ грубаго, но славнаго предка, получившій свѣтское образованіе, имѣющій обо всемъ свои невѣрныя, но положительныя понятія, немножко философъ, немножко вольнодумецъ, остроумный насмѣшникъ, щегольски одѣтый, знающій множество пріятныхъ искуствъ, всегда напрысканный духами, довольно путешествовавшій, много видѣвшій и все по своему понимающій. Прочитайте *Письма Русскаго Путешественника*: Карамзинъ говоритъ о Шекспирѣ, о Кантѣ, о Гете, но онъ видитъ только внѣшность ихъ, и собственно—онъ щеголеватый Французъ душею. Переберите его *Московскій Журналъ*, его *Вѣстникъ Европы*: Картонъ, Сакунтала — онъ знаетъ ихъ и переводитъ, но онъ восхищается Херасковымъ, на колѣняхъ передъ Анахарсисомъ; онъ передѣлываетъ языкъ и впадаетъ въ нестерпимые галлицизмы. Взгляните на другихъ предста-

вителей сего времени: такъ-же, какъ Карамзину, имъ извѣстно кое-что кромѣ Французскаго, но они собственно-Французы. Не говоримъ о В. В. Измайловѣ, В. Л. Пушкинѣ — отчаянныхъ Карамзинистахъ: разсмотрите Озерова — это Дюсисъ Русскій, переводящій цѣлыя явленія изъ Дюсиса, когда въ тоже время Гнѣдичъ переводитъ Дюсисова *Лира* прозою и Вольтерова Танкреда стихами; Лобановъ, какъ умѣетъ, передаетъ Расина; И. И. Дмитріевъ переводитъ Лафонтена; Мерзляковъ читаетъ Лагарпа, и на Французскій образецъ переводитъ Древнихъ, а Милоновъ дѣлается на Французскій же образецъ сатирикомъ. Тогда не было различія между переводомъ и сочиненіемъ; не было слова о народности; никто не прислушивался къ родному голосу; національное смѣшивали съ простонароднымъ, не позволяли Русской повѣсти явиться, пока не завивали у нея локоновъ a la *Флоріанъ*, или a la *Мармонтель*, и Русской пѣснѣ, пока она не выучивалась дѣлать рулады Итальянскія, или Французскія.

Вообще ничего не можетъ быть безцвѣтнѣе и несамобытнѣе сего времени въ Русской литтературѣ, времени перехода отъ кафтановъ къ фракамъ, отъ Корнеля къ Дюсисамъ, отъ пудры къ стрижкѣ волосъ a la Titus Отъ этого періода ничего не осталось для насъ, кромѣ языка. Доведенный до послѣдней крайности галлицизмами словъ и мыслей, устыдившійся строптивыхъ укоризнъ защитника старины своей, нашъ языкъ перелился тогда въ новыя формы. Лучшій, единственный тогдашній памятникъ его, но и со всѣми признаками

тогдашняго образованія, остается для насъ въ *Исторіи государства Россійскаго*.

Періодъ Классицизма Французской литтературы XVIII-го вѣка пропалъ въ развалинахъ, отъ которыхъ мечь Наполеона началъ очищать Французскую землю. Подъ этими развалинами нашли еле-дышащее тѣло Классицизма, нарядили его въ Академическій кафтанъ, не велѣли ему стонать, и онъ запѣлъ по немногу, заглушаемый барабаннымъ боемъ и пушечною пальбою, раздававшимися по всей Европѣ. Чадо его, Классицизмъ Французско-Русскій, былъ за то въ полной силѣ. Подкрѣпляемый именами Карамзина, И. И. Дмитріева, Озерова, Мерзлякова, и толпою ихъ послѣдователей, онъ гордился тѣмъ, что умѣлъ распространить изящную литтературу въ Россіи, умѣлъ узнать «языкъ свѣтскихъ обществъ», и выучился говорить имъ, умѣлъ получить доступъ въ будуары свѣтскихъ дамъ и кабинеты щеголей, и—рѣшился даже облагородить грубую отечественную исторію гармоническимъ, складнымъ разсказомъ. Имени И. И. Дмитріева не произносили иначе, какъ *Дмитріевъ-Лафонтенъ*, а Мерзлякова *Лагарпъ-Мерзляковъ*, и думали, что хвалятъ сихъ писателей, называя ихъ чужими именами. Въ театрахъ Русскихъ горько плакали, когда Клитемнестра, плохими стихами, высказывала любовь свою къ Ифигеніи, и трепетали, когда Яковлевъ размахивалъ рукою, кидая перчатку, и восклицалъ: «Тебя вызываю на бой, о гордый Орбасанъ!» Вѣкъ Екатерины прошелъ уже тогда совершенно. Тихая, благотворная держава Александра успокоила Россію миромъ. Дѣятельно, съ чистыми фи-

лантропическими, надеждами встрѣтили Россія и Царь ея *XIX-й вѣкъ*, и Державинъ, какъ будто высказалъ общее мнѣніе народа, говоря при восшествіи Александра:

Вѣкъ новый, Царь младый, прекрасный,
Сошелъ къ намъ днесь весны стезей!

Казалось, тогда забыли о пожарѣ, едва залитомъ на Западѣ, и вовсе не думали о новомъ разгарѣ пламени. Прошедшія политическія бури внушили всѣмъ какое-то особенное стремленіе къ тишинѣ, кротости, человѣколюбію, геройству добра. Прочитайте статьи Карамзина, въ *Вѣстникѣ Европы*, о Наполеонѣ: въ Наполеонѣ видѣли тогда что-то въ родѣ древняго Плутархова героя. Благотворныя учрежденія, касательно просвѣщенія и образованности, безпрерывно истекали въ Россіи отъ трона юнаго Царя. Подлѣ него стоялъ незабвенный Муравьевъ, воспитатель, потомъ министръ Александра: учрежденіе университетовъ, умѣренная цензура, благоволеніе Царя къ литтературѣ, отличное отъ прежняго дворянскаго меценатства, все радовало и веселило сердца. Карамзинъ былъ тогда назначенъ въ исторіографы. Сперва Державинъ, потомъ И. И. Дмитріевъ занимали важное званіе министра юстиціи. Образованіе министерствъ вообще открывало юношеству образованному новый путь къ почестямъ, кромѣ военной службы; учрежденіе университетовъ казалось средствомъ для высшаго образованія.

Разсматривая періодъ Французской литтературы XVIII-го вѣка въ Россіи, надобно сказать, что онъ вообще отличался какимъ-то самодовольнымъ, беззавот-

нымъ спокойствіемъ. Начало XIX-го вѣка было тишиною передъ новыми бурями въ Европѣ, и литтературное состояніе Россіи въ это время можно уподобить балу, на который собрались свѣтскіе люди, не думая о завтрашнемъ днѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, разсмотрите все, что тогда писали, и вспомните, что тогда говорили и дѣлали.

Теорія казалась совершенно опредѣленною; правила казались неоспоримо вѣрными; слогъ, составляя все, къ чему старались достигнуть, былъ точенъ, вылощенъ, гладокъ. Одобреніе дамы считалось высокою, лучшею наградою; критика не существовала, или походила на свѣтскія, учтивыя, легкія замѣчанія. Установлены были авторитеты и славы, и все новое должно было примыкать къ нимъ и спрашиваться у нихъ. Главныя свойства этого холоднаго времени составляли уклончивое самолюбіе и свѣтское образованіе, которыя ничего не знали и знать не хотѣли.

Литтературный міръ этотъ слышалъ, напримѣръ, о Шекспирѣ, о Кантѣ, зналъ ихъ по Летурнеру и Виллерсу, но умѣлъ какъ-то приводить ихъ въ мѣлкій уровень собственныхъ понятій. Другой образецъ Крыловъ показалъ тогда первый образецъ истинно Русскаго языка въ своихъ басняхъ. Но этого не замѣчали, судили его по Лафонтену, прощали ему *мужичество* его, сравнивали переводы его съ переводами И. И. Дмитріева, и рѣшали, что послѣдній выражается лучше и вѣрнѣе переводитъ, слѣдовательно, онъ выше Крылова. Споръ жаркій завязался о Русскомъ языкѣ, но ни та, ни другая сторона не опредѣлили надлежащимъ образомъ

предмета, и не знали чего хотятъ и о чемъ спорятъ. Прочтите возраженія противъ книги А. С. Шишкова, особливо возраженія Макарова, считавшагося великимъ остроумцемъ: намъ жалко читать ихъ! Подшиваловъ зналъ хорошо Нѣмецкій языкъ, и что-же онъ дѣлалъ? Переводилъ Мейснеровы сказки. Самъ Карамзинъ не могъ напереводиться Мармонтеля и Жанлисъ. Посмотрите на тогдашнія журнальныя извѣстія о важнѣйшихъ произведеніяхъ Нѣмецкой Словесности: не говоря уже о другихъ, это переводныя, краткія статейки изъ иностранныхъ журналовъ. Самыя великія явленія Европы оставались неизвѣстными, и никто объ этомъ не безпокоился. Когда внѣдрилась на театръ романтическая драма — Коцебу игралъ первую ролю. Романы его, А. Лафонтена, Радклифъ, Дюкре-Дюмениля и Коттень, были лучшимъ чтеніемъ образованной публики, съ прибавкою Фоблаза, Орлеанской Дѣвственницы и Пиго-Лебреня. Переводъ съ Французскаго оды Горація дѣлалъ сильное впечатлѣніе, и все это было усыпано эпиграммами, мадригалами, акростихами, баснями, тріолетами, романсами, рондо, дистихами, которые писали на розовыхъ листочкамъ, засыпали цвѣтнымъ пескомъ, и подносили дамамъ, которымъ покланялись безъ любви и вѣры.

Но, между тѣмъ — *она двигалась*, говоря съ Галилеемъ, и пока раздушенный выродокъ Французской литтературы давалъ пирушку дремлющей Русской душѣ и крѣпко спавшему Рускому уму, Европа снова закипѣла грозною политическою бурею, приготовляв-

шею въ Европейской литературѣ совершенный переворотъ.

Въ это время явился на сцену отечественной литературы *Жуковскій*. Онъ родился въ 1783 году, получилъ первоначальное образованіе въ родительскомъ домѣ, и потомъ учился въ Москвѣ, въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ. Тихій, кроткій, задумчивый характеръ, свѣтлая душа, нѣжное сердце, влекли его въ уединеніе, и онъ рѣшился не искать отличій по службѣ, но посвятить себя дружбѣ, семейной жизни и уединенной бесѣдѣ съ Музами.

Въ *Утренней Зарѣ* помѣщены были первые его опыты, а потомъ въ *Вѣстникѣ Европы*. Въ 1808 году онъ взялъ на себя изданіе сего, единственнаго тогда въ Россіи литературнаго журнала; въ 1810 и въ 1811 годахъ издавалъ онъ его съ М. Т. Каченовскимъ; потомъ опять жилъ въ уединеніи, и такъ протекла жизнь Жуковскаго до грознаго 1812 года.

Въ семъ первомъ періодѣ жизни Жуковскаго видимъ сначала однообразные его опыты. Почти вся проза его принадлежитъ къ сему времени; онъ писалъ Русскія пѣсни, разборы Русскихъ сочиненій и переводовъ, переводилъ статьи и повѣсти для журнала. Изъ разнообразныхъ опытовъ его въ стихахъ упомянемъ о переводѣ *Сельскаго кладбища* Грея, объ отрывкѣ Делилева диѳирамба, и Русскихъ басняхъ, въ которыхъ хотѣлъ онъ, кажется, говорить простонароднымъ языкомъ, но испугался суда современниковъ и пересталъ. Въ 1806 году, когда брань съ Запада приближалась на мгновеніе съ предѣламъ Россіи, Жуковскій издалъ ли-

рическое сочиненіе свое: *Пѣснь Барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей.* Вообще въ это время Жуковскій писалъ много, хотя большая часть напечатаннаго имъ тогда не вошла потомъ въ собраніе его сочиненій. Еще болѣе осталось у него неизданнаго и истреблено въ рукописи.

Вскорѣ образовала для себя поэзія Жуковскаго то направленіе, какое осталось отличіемъ Музы его навсегда, увлекло за нимъ толпу подражателей, и проложило путь къ новому преобразованію Русской литтературы.

Душѣ Жуковскаго не могло нравиться тогдашнее литтературное направленіе. Увлеченный общимъ повѣрьемъ, онъ преклонялся предъ тогдашними авторитетами, подобно имъ читалъ и переводилъ Горація, Нарни, Мильвуа, писалъ басни, пробовалъ торжественную лиру, и образованіемъ не превосходилъ своихъ современниковъ: это увидимъ мы изъ разбора его прозы. Но душа его была глубоко проникнута унынiемъ — не тою щегольскою *меланхоліею*, какая одушевляла тогда многихъ — нѣтъ! таинственною тоскою души, грустью, которая не плачетъ въ элегіи классической, не отдыхаетъ за мадригаломъ, но отъ земли подъемлется къ небу, возбуждаетъ въ душѣ непонятное ей самой стремленіе за могилу, какъ въ отчизну родимую. Эта грусть по небѣ подобна Швейцарской тоскѣ по родинѣ. Если бы мы осмѣлились урадывать душу поэта, то мы назвали-бы чувство, дышащее въ его созданіяхъ, грустью любви, любви безнадежной, погибшей, доспрашивающейся отвѣта у всей природы, и горестно выра-

жающей безмолвіе природы и людей на вздохъ сердца и души. Къ счастію Жуковскаго, онъ съ дѣтства узналъ новую Нѣмецкую литтературу, и она была ему ближе Французской. Нѣмцы сблизили его съ Англичанами. Впрочемъ, не должно полагать, чтобы Жуковскій глубоко проникалъ тогда въ сущность Германской и Англійской Поэзіи. Онъ самъ признается, что Гамлета почитаетъ чудовищнымъ, уродливымъ произведеніемъ (см. Телеграфъ, 1827, № 1 стр. 25). Также не могъ онъ постигнуть глубины Гете, и даже вдохновителя и любимца своего Шиллера. Нѣтъ! Германія и Англія всеобъемлющи въ своей поэзіи, и эта *всеобъемлемость* производитъ то, что каждое, самое частное направленіе находитъ въ нихъ для себя полное удовлетвореніе. Чувство, одушевлявшее Жуковскаго, было то неопредѣленное и неглубокое чувство, которое одушевляетъ юношу-мечтателя. Онъ безотчетенъ въ своихъ идеяхъ; онъ страстный любовникъ, возводящій къ идеалу созданіе несовершенное, но не человѣкъ, открывающій въ самомъ несовершенномъ созданіи божественный идеалъ, который можетъ видѣть только взоръ всеобъемлющей, высокой любви, и открывать только пламенникъ сердца, на которомъ сгараютъ всѣ отношенія земныя и страстныя. Многіе-ли, напримѣръ, поймутъ высокую прелесть Арабской поэмы о любви Мечжнуна: онъ отказывается отъ руки Леилы, когда любовь къ ней между тѣмъ лишила его ума: вотъ степень высокаго чувства, стоящаго выше земной безнадежности и тоски; это переселеніе души въ чувство сердца, которому все равно, обладаетъ-ли онъ земнымъ образомъ своего

идеала, или судьба навѣкъ разорвала сердце его, бросивъ ему половину, чтобы дожить съ нею на землѣ, а другую перенести за предѣлы гроба, къ трону Вѣчной Любви, предъ которымъ нѣтъ отношеній, нѣтъ степеней—одна вѣчная любовь, и ничего внѣ ея—нѣтъ даже раздѣльнаго существованія мысли отъ мыслящаго, и отъ того, о чемъ онъ мыслитъ! На землѣ, только высочайшій фанатизмъ и высокое сумасшествіе могутъ выразить, и то одну темную сторону такого идеала не земныхъ чувствъ! Для свѣтлой стороны его — недостанетъ лучей земнаго солнца. Каждый самый великій поэтъ понимаетъ только часть сего чувства, составляетъ только букву, такъ сказать — и только одинъ Шекспиръ читалъ склады сей таинственной азбуки неба.

Но, и малая часть подобнаго стремленія, разцвѣтшая въ душѣ Жуковскаго, достаточна была для того, чтобы сердца современниковъ сильно отозвались на нее. Въ сердцахъ человѣческихъ разсыпаны искры неба, и при электрическомъ сотрясеніи одного, сіи искры раскаляются, отражая собою изображеніе того огня, отъ котораго упали онѣ въ сердца человѣческія, отражая его, какъ солнце отражается въ малой каплѣ водъ, по выраженію Державина.

Жуковскій, юноша по лѣтамъ въ отношеніи къ Карамзину и его товарищамъ литтературнымъ, вскорѣ составилъ окрестъ себя новое литтературное общничество. Семейство Тургеневыхъ, Батюшковъ, князь Вяземскій, и другіе, представили собою новое поколѣніе литтераторовъ, къ которому пристало много и старыхъ, а потомъ примкнула обширная толпа болѣе юныхъ,

Кромѣ *Батюткова*, кажется, не вспомнить однакожъ литтературная Исторія наша ни объ одномъ товарищѣ и послѣдователѣ Жуковскаго.

Созданія Жуковскаго, самыя первоначальныя, врѣзанныя въ душу его преимущественнымъ чувствомъ, выраженнымъ потомъ во всей его поэзіи, были увлекательны и прекрасны. Ихъ можно назвать мечтаніями влюбленнаго юноши, который изъясняетъ любовь свою чужестранкѣ на родномъ ея языкѣ, говоритъ невѣрно, ошибочно, но пламенно. Языкъ, образъ выраженія Жуковскаго, взяты были имъ у Нѣмцовъ. Восхищенные современники думали, что Нѣмцы внушили Жуковскому самую душу его созданій, и съ жадностью бросились въ новый, мечтательный міръ изъ прозаическаго классицизма. Ни Жуковскій, и никто изъ товарищей и послѣдователей его не подозрѣвали, что они пустились въ океанъ безпредѣльный. Оптическій обманъ представлялъ имъ берега вблизи. Срывая вѣтки деревъ въ безмѣрномъ саду Гете и Шиллера, они думали, что переносятъ въ Русскую поэзію цѣлый садъ этотъ. Къ сожалѣнію, вздумали приложить и къ Нѣмецкой литтературѣ то, что прилагали прежде къ Французской: начали передѣлывать Нѣмцовъ на Русскіе нравы, или переводить ихъ прямо. Жуковскій подалъ примѣръ тому и другому, когда пролетѣло его первое вдохновеніе, подарившее насъ стихами: *Ручей*, *Къ Нинѣ*, *Къ Филалету*, *Къ Тургеневу*, *Свѣтлана*, *Эолова арфа*, и нѣсколькими мѣлкими пьесами. Все остальное у него *переводы съ Нѣмецкаго* и *подражанія Нѣмцамъ*. Не говоримъ о лирическихъ пьесахъ, писанныхъ имъ на

разные современные случаи, и особливо въ отечественную войну.

Когда настало незабвенное время 1812 года, Жуковскій спѣшилъ въ дружины воинскія. Тамъ, передъ огнями Тарутина,

Стоялъ онъ съ лирой боевой,
И мщенье пѣлъ для ратныхъ братій!

Съ изгнаніемъ непріятеля возобновились мирныя занятія Жуковскаго. Но геній собственной поэзіи его, блеснувшій на минуту, тогда уже изчезъ. Все, что ни писалъ онъ послѣ, были, какъ сказали мы выше, переводы съ Нѣмецкаго, или лирическія, на случай сочиненныя пьесы. Видно, что каждому изъ насъ суждено однажды только въ жизни вспыхнуть огнемъ собственной души, освѣтить дорогу другимъ, и самому остаться на одномъ, назначенномъ судьбою мѣстѣ.

Отличіе отъ всѣхъ другихъ поэтовъ — гармоническій языкъ — такъ сказать, *музыка языка*, навсегда запечатлѣло стихи Жуковскаго, и ознаменовало все, что ни писалъ онъ, ознаменовало и прозу его, съ самыхъ почти первыхъ опытовъ до описанія Рафаэлевой Мадонны — образца современной Русской прозы. Но когда вдохновеніе, даровавшее поэзіи Жуковскаго особенное направленіе, отличившее его отъ другихъ, пролетѣло, онъ не пошелъ далѣе въ развитіи идей. Письма его, писанныя въ 1821 году изъ Германіи (и напечатанныя въ Полярной Звѣздѣ и Телеграфѣ), доказываютъ, что онъ навсегда остался тѣмъ-же, чѣмъ былъ сначала — задумчивымъ юношею-мечтателемъ, любовни-

комъ всего прекраснаго въ мірѣ, безотчетно мечтающимъ о небѣ, и недоступнымъ высокому міру фантазіи, какой развили для насъ, питомицы Шекспира и Философіи, Германская и Англійская новѣйшія Музы.

Такъ — когда прошли громы политическихъ бурь, и подъ сѣнію мира Европа начала переворотъ мнѣній литтературныхъ; когда Англійская словесность вознеслась на небосклонъ Европы, съ созданіями Байрона, В. Скотта, Мура; когда Франція сбрасывала и сбросила наконецъ съ себя послѣднія цѣпи Классицизма; когда изыскательность умовъ разродилась въ спорахъ о Классицизмѣ и Романтизмѣ, призвала на судъ Югъ, Сѣверъ Европы и Азію; когда наконецъ и въ Россіи рѣшительно начали возставать противъ Классицизма, начали изучать Германскихъ философовъ, познакомились ближе съ истинною теоріею Изящнаго, сблизились съ источниками Англійскими, Германскими, и стали понимать надлежащимъ образомъ собственную свою народность— Жуковскій остался тѣмъ-же, чѣмъ былъ за 20 лѣтъ: это первоначальная идея міра не-Классическо-Французскаго; гармоническая душа, въ которой отразился первый отблескъ Германскаго новѣйшаго Романтизма; поэтическая мечтательность, продолженная цѣлый вѣкъ.

Значительную часть стихотвореній Жуковскаго составляютъ переводы Нѣмецкихъ балладъ: *Людмила*, *Гаральдъ*, *Мщеніе*, *Рыцарь Тогенбургъ*, *Ивиковы журавли*, *Лѣсной Царь*, *Кассандра*, *Три пѣсни*, *Графъ Гапсбургскій*, *Торжество побѣдителей*, *Алонзо*, *Поликратовъ перстень*, *Жалобы Цереры*, *Ленора*, *Судъ Божій*, *Кубокъ*, *Перчатка* — все это взято съ

Немецкаго. Кромѣ того, Жуковскій перевелъ еще нѣсколько различныхъ пьесъ Гете, Уланда, Шиллера. Когда начали говорить о Русскихъ гекзаметрахъ, это новое пріобрѣтеніе Русскаго языка увлекло Жуковскаго, и *опытами Русскаго гекзаметра* можно назвать его переводы изъ Овидія, Виргилія, Клопштока и Гебеля — но никакъ не болѣе. Когда Англійская Словесность возымѣла сильное вліяніе на Европу, Жуковскій перевелъ прекрасную Байронову элегію — такъ можно назвать *Шильонскаго узника* — нѣсколько балладъ Саутея и В. Скотта, и прелестный эпизодъ изъ сказки Т. Мура. Главнѣйшій трудъ въ переводахъ Жуковскаго, безспорно, составляетъ *Орлеанская Дѣва*, о которомъ мы поговоримъ въ послѣдствіи.

Спрашиваемъ, разсматривая все это, сдѣланное въ теченіе 20 лѣтъ: чѣмъ Жуковскій стоялъ на высшей чредѣ писателей Русскихъ; можете-ли понять, какой огромный переворотъ идей произошелъ между тѣмъ въ Европѣ, и въ самой Россіи? Нимало. — Одна мысль, одна идея занимаетъ нашего поэта: ее беретъ онъ, безъ разбора, изъ Уланда, Шиллера, Гете, Байрона, Гебеля; одинаково употребляетъ онъ гекзаметръ для Овидія, Клопштока и Гебеля; угрюмую балладу равно сыскиваетъ онъ у Бюргера и Саутея; онъ даже передѣлываетъ ее на Русскіе нравы, и потомъ снова переводитъ ее въ сходственность съ подлинникомъ (*Людмила*, *Ленора*); онъ утѣшается, пересчитывая свои привычныя думы, и снова повторяетъ ихъ въ *Отчетѣ о лунѣ*. Какъ за двадцать лѣтъ не зналъ онъ національности Русской, издавая *Марьину рощу*, и стараясь

обрусить *Ленору*, такъ и теперь не знаетъ ея, пересказывая на Русскій ладъ сказку Перро *о спящей Царевнѣ*.

Да не почтутъ словъ нашихъ осужденіемъ дарованій Жуковскаго. Нѣтъ! мы сами благоговѣемъ передъ младенческою чистотою этой души, ровною струею переливавшейся черезъ страшную долину событій съ 1803-го до 1833-го года, переливавшейся постоянно съ гармоническимъ журчаніемъ, не смотря на то, по какимъ-бы скаламъ, падавшимъ въ нее со всѣхъ сторонъ, ни текла струя думъ поэта. Мы хотимъ только обозначить характеръ современнаго намъ литтератора, опредѣлить мѣсто его на Русскомъ Парнассѣ, какъ оно опредѣлено уже въ сердечномъ сочувствіи каждаго изъ насъ къ прелести стиховъ его.

Жуковскій, безспорно, былъ первымъ поэтомъ Русской словесности въ краткій періодъ послѣ Классицизма, до появленія Пушкина, представителя новаго, *нашего* періода. Его сочиненія и переводы сначала были чисто Карамзинскаго времени, и вскорѣ явили отливъ другаго неба. Грядущему поколѣнію слѣдовало довершать то, что Жуковскій началъ. Не льзя довольно налюбоваться тѣмъ, съ какою жадностью бросилась за нимъ толпа современниковъ, этотъ муравейникъ людей, которые не пошевелятся, если не указать имъ дороги съ распутья, на которомъ они остановились, послѣ того, когда шедшій впереди ихъ утомился и отсталъ отъ нихъ. Никто изъ товарищей и послѣдователей Жуковскаго не сравнялся съ нимъ — повторяемъ снова. Мы упоминали о Батюшковѣ, котораго долго

считали представителемъ новаго Классицизма, такъ, какъ Жуковскаго почитали полнымъ представителемъ современнаго Европейскаго Романтизма. Но Жуковскій, по нашему мнѣнію, былъ представителемъ только одной изъ идей его, и міръ новаго Романтизма проходилъ и проходитъ мимо его такъ, что онъ едва успѣваетъ схватить и разложить одинъ изъ лучей, какими этотъ Романтизмъ осіялъ Европу. Что касается до *новѣйшаго Классицизма* — признаемся, мы не понимаемъ сихъ словъ. Что хотятъ этимъ выразить? Неуже-ли Батюшкова надобно почитать однимъ изъ жалкихъ классиковъ, какіе являлись во Франціи со временъ Революціи? Нѣтъ! *Умирающій Тассъ* доказываетъ, что Батюшковъ могъ глубоко чувствовать. Проза его показываетъ въ тоже время, что онъ могъ быть отличнымъ прозаикомъ. Чего ему не доставало? Въ прозѣ: идей; въ стихахъ: глубины восторга. Звуки его были прелестны. Къ сожалѣнію, онъ слишкомъ увлеченъ былъ мѣлкою Французскою школою и цвѣтистыми мѣлочами Италіи, и — онъ понималъ это. Грустная участь души пламенной, чувствующей свое безсиліе! Не тотъ совершенно несчастливъ, кто несчастливъ только, но тотъ, кто знаетъ, кто увѣжденъ въ своемъ несчастіи. Никогда безъ сердечнаго участія не могу я читать стиховъ Батюшкова: *Воспоминанія*. Участь поэта мелькаетъ передо мною грознымъ привидѣніемъ, при словахъ его:

Я чувствую: мой даръ въ поэзіи погасъ,
И Муза пламенный свѣтильникъ потушила;
Печальна Опытность открыла
Пустыню новую для глазъ —
Туда влечетъ меня осиротѣлый геній...

Для потомства могутъ изчезнуть прекрасныя черты души, дополняющія намъ изображеніе Жуковскаго, какъ человѣка и поэта. Имя Жуковскаго, неизмѣннаго друга Батюшкова, дѣлившаго съ нимъ наслажденія поэзіи въ юности, и потомъ хранителя его въ бѣдствіи, драгоцѣнно для насъ, въ нашъ вѣкъ холоднаго эгоизма и безчувствія. Самое благоговѣніе къ дарованіямъ Карамзина, постоянное, неизмѣнное, показываетъ поэтическую сторону души Жуковскаго. Съ любовью встрѣтилъ и привѣтствовалъ онъ и юное дарованіе Пушкина, когда Пушкинъ былъ только пѣвцомъ *Руслана и Людмилы*. Еще современники не знали Пушкина, но Жуковскій призналъ уже его первенство, и назвалъ себя его *побѣжденнымъ учителемъ*. Современники умѣютъ оцѣнять и то пламенное усердіе, которое уже столько лѣтъ оказываетъ своему назначенію воспитатель будущаго Царя Россіи. Множество разнородныхъ занятій Жуковскаго по сему предмету могло-бы показать его заслуги въ семъ случаѣ. Мы сами слышали отъ Н. И. Греча о глубокомысленныхъ грамматическихъ замѣчаніяхъ, какія въ рукописи передалъ ему Жуковскій...

Выше сказали уже мы, что первыя сочиненія и переводы Жуковскаго были помѣщены въ *Утренней Зарѣ* и *Вѣстникѣ Европы*. Потомъ многія стихотворенія его были издаваемы отдѣльными брошюрками. Въ 1815-мъ году выданы были *Стихотворенія* его, въ 2-хъ томахъ; 2-е изданіе вышло въ 1818-мъ году, въ 3-хъ томахъ; къ этому присоединили тогда томъ его прозы. Въ 1824-мъ году Жуковскій напечаталъ 3-е изданіе своихъ стихотвореній. Здѣсь въ первый разъ появился

его переводъ *Орлеанской Дѣвы* (Прологъ изъ него былъ прежде напечатанъ въ собраніи переводовъ съ Нѣмецкаго, съ приложеніемъ подлинниковъ, котораго Жуковскій издалъ 6-ть книжекъ, подъ заглавіемъ: *Для немногихъ*, и которое никогда не поступало въ продажу). Проза его была перепечатана вновь въ 1826-мъ году. Нынѣ отдѣльно изданы *Баллады и повѣсти* Жуковскаго, въ стихахъ. Выборъ переводовъ въ прозѣ изданъ былъ въ Москвѣ, въ 1816-мъ году (*Переводы въ прозѣ*, 5 частей, in-12). Второе изданіе напечатано въ 3-хъ томахъ in-8, въ 1827-мъ году. Нѣсколько мѣлкихъ пьесъ, написанныхъ послѣ изданія сочиненій, разсѣяно по журналамъ и альманахамъ.

Бываютъ въ Природѣ и Человѣчествѣ сходства противоположностей: видимъ предметы, сходные между собою тѣмъ, что они нисколько одинъ на другой не походятъ. Такова въ Русской поэзіи сходственность противоположности *Державина* и *Жуковскаго*. Хотитѣли видѣть противоположность рѣшительную, къ какой способенъ человѣкъ, противоположность мыслей, характера, слова, языка, вѣка, направленія? Прочитайте Державина, и послѣ него читайте Жуковскаго.

Совершенное недовольство собою, міромъ, людьми, недовольство тихое, унылое, и отъ того стремленіе за предѣлы міра; умилительная надежда на счастіе *тамъ*, обманувшее *здѣсь*; молитва сердца, любящаго, утомленнаго борьбою, но не кровавяго, не разтерзаннаго; стремленіе къ грусти о прошедшемъ, къ безнадежной унылости въ будущемъ; нѣжная, сострадательная дружба къ скорби ближняго; любимое мѣсто про-

гулки на кладбищѣ, какъ на полѣ, засѣяннымъ успокоенными въ упованіи, утѣшенными смертью сердцами; мысль возвести въ идеалы ужасы кладбища и смерти, облечь ихъ въ изящные образы, показать въ кончинѣ человѣка не страшное привидѣніе, но тихаго ангела мира и спокойствія. Отъ всего этого, съ одной стороны, *привычка* къ суевѣрной легендѣ, какъ будто привычка къ страшнымъ разсказамъ, которые слыхали мы въ дѣтствѣ; съ другой, *отвычка*, такъ сказать, отъ всего земнаго, насъ окружающаго, отчужденіе отъ всего, что занимаетъ и увлекаетъ другихъ; перенесеніе единственной мысли, единственной идеи своей ко всѣмъ предметамъ — мысли тихой, успокоивающей, мечтательной, отрадной самою грустію, радующей душу какимъ-то прощеніемъ несправедливой Судьбѣ—вотъ основаніе поэзіи *Жуковскаго*.

Взгляните, напротивъ, на гордаго, самодовольнаго *Державина*. Онъ счастливъ всѣмъ окружающимъ его, ибо онъ доволенъ собою. Міръ блеститъ для него яркими цвѣтами его собственной фантазіи, исполняетъ его восторгомъ, вдохновляетъ только негодованіемъ, если онъ видитъ случайное нестройство частей, оживляетъ радостью во всемъ, на что ни глядитъ поэтъ очарованными своими глазами. Поэзія населяетъ ему всю природу своими образами. Звуки лиры поэта самозвучны, разнообразны, торжественны. Самая смерть есть для него торжественный урокъ, порука за блаженство замогильное, великолѣпный прощальный праздникъ Царя Природы, Человѣка, договоръ съ Судьбою, которая здѣсь заплатила уже человѣку задатокъ будущаго безсмертія въ безсмертіи земномъ.

Отъ того происходитъ, если не ошибаемся, разнообразіе въ сущности созданій Державина и однообразіе стиха его. Однообразіе мысли Жуковскаго, какъ будто хочетъ, напротивъ, замѣниться разнообразіемъ формы стиховъ. Ни одинъ Русскій поэтъ не писалъ у насъ метрами столь многоразличными: многія изъ нихъ до Жуковскаго были вовсе безъ употребленія, а Жуковскій ввелъ ихъ въ моду. Онъ отдѣлываетъ каждую ноту своей пѣсни тщательно, вѣрно, столько же дорожитъ *звукомъ*, сколько и *словомъ*. Державину, какъ будто нѣкогда думать о метрѣ: онъ спѣшитъ импровизировать, сыплетъ картины, сравненія, яркіе цвѣты, слова, и только придаетъ ладъ своей пѣсни лирическими аккордами. Жуковскій играетъ на арфѣ: продолжительные переходы звуковъ предшествуютъ словамъ его, и сопровождаютъ его слова, тихо припѣваемыя поэтомъ, только для поясненія того, что хочетъ онъ выразить звуками. Безсоюзіе, остановка, недомолвка— любимые обороты поэзіи Жуковскаго.

Читая созданія Жуковскаго, вы не знаете: гдѣ родился? гдѣ поетъ онъ? Читая Державина, видите, что это Русскій, и всегда видите его самого. Хочетъ-ли онъ передать вамъ чужое, оно превращается въ его собственное. Собственныя созданія Жуковскаго, напротивъ, до такой степени *космополитны*, такъ сказать, въ мірѣ литтературномъ, что едва отличите вы ихъ отъ переводовъ сего поэта. Пѣснь Державина кипитъ шумною рѣкою, и блещетъ яркимъ отраженіемъ солнца; вокругъ нея цвѣтущая природа; вдали слышны радостные клики побѣдъ и пѣсни веселаго Русскаго

хоровода. Пѣснь Жуковскаго журчитъ невримѣтнымъ ручейкомъ, и освѣщается блѣднымъ сіяніемъ мѣсяца. Въ тоже время вы усматриваете длинную тѣнь колокольни кладбища. Часы ударяютъ полночь — это часъ привидѣній — и они вьются вокругъ васъ легкою вереницею тѣней; но не страшитесь ихъ: это добрые духи-утѣшители, вѣстники, что родная душа не разсталась съ вами, что она говоритъ вамъ, и въ шорохѣ листочка, и въ шумѣ вѣтра, и въ унылому, воздушному звукѣ незримой арфы.

Въ поэзіи Державина, среди самыхъ веселыхъ звуковъ радости, вы также слышите унылость: это Русское свойство, свойство Сѣвера, отзывается въ немъ, но его унылость — заздравная чаша, выпитая въ молчаніи среди веселаго пира, за которою слѣдуетъ другая, съ шумною радостью. Не таковъ Жуковскій, задумчивый гость на пиру жизни, пропѣвшій въ свою очередь круговую пѣсню: веселье его — улыбка грусти, ошибка радости, и всѣ гости забыли свою радость — облако унынія облегло ихъ. . .

Разсмотрите три собственныя пьесы Жуковскаго, писанныя имъ въ самой юности: *Вечеръ* (1806 года), *Къ Нинѣ* (1808 г.), *Къ Филалету* (1808 г.): лучше ихъ ничего не писалъ Жуковскій. И здѣсь заключены вся его поэзія, вся его душа, вся жизнь. Все остальное въ его поэзіи есть только дополненіе къ симъ превосходнымъ созданіямъ.

Двадцати трехъ-лѣтній Жуковскій уныло мечтаетъ въ сельскомъ уединеніи (*Ручей*). Картина грустной

природы вокругъ него; тихіе звуки слетаютъ съ струнъ его арфы:

Сижу задумавшись;— въ душѣ моей мечты:
Къ протекшимъ временамъ лечу воспоминаньемъ.
О дней моихъ весна! какъ быстро скрылась ты,
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!

Онъ зоветъ друзей своихъ, зоветъ милыхъ, рано погибшихъ, рано ушедшихъ отъ него стезею жизни, и спрашиваетъ:

Идь всякъ своей тропою,
Лишенный спутниковъ, влача сомнѣній грузъ,
Разочарованный душою,
Тащиться осужденъ до бездны гробовой?

Поэтъ грустно глядитъ на будущую участь свою. Что удѣлъ его? Тихая жизнь, утѣха въ поэзіи, смерть...

Мнѣ рокъ судилъ: брести невидимой стезей,
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы,
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной,
И взоръ склонивъ на пѣнны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать!
О пѣсни, чистый плодъ невинности сердечной!
Блаженъ, кому дано цѣвницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Такъ! пѣть есть мой удѣлъ!.. Но, долго-ль! Какъ узнать?
Ахъ! скоро, можетъ быть, съ Минваною унылой,
Придетъ сюда Альпинъ въ часъ вечера мечтать —
Надъ тихой юноши могилой!

Въ сихъ звукахъ, еще *неопытныхъ*, робкихъ, высказывается уже вамъ будущій пѣвецъ Минваны. Грусть его еще непонятна вамъ. Что могло разтерзать душу юнаго поэта? Внимайте тому, что скажетъ онъ въ посланіи къ далекому другу. Стихи: *Къ Филалету* — произведеніе пламенное, поэтическую исповѣдь сердца двадцати-пяти лѣтняго юноши — эти стихи я не отдамъ — страшусь сказать — за двѣ трети всего, что потомъ писалъ Жуковскій. . . Подобныя созданія, гдѣ воображеніе слито съ сердцемъ и душею, не пишутся — нѣтъ! они сами собою изливаются изъ бытія человѣческаго! «Я умеръ-бы, если-бы не написалъ моего Вертера!» говорилъ Гете.

Поэтъ зоветъ друга своего, своего Филалета, зоветъ прошедшія радости. Здѣсь нѣтъ уже болѣе надежды на тихій даръ поэзіи. Дума сдѣлалась мрачнѣе — для нея все погибло. Уже и прежнее безрадостное бытіе кажется ей счастіемъ. «Придешь-ли ты,» говоритъ поэтъ —

Придешь-ли ты назадъ,
О время прежнее, о время незабвенно?
Или веселіе на вѣки отцвѣло,
И счастіе мое съ прошедшимъ протекло?
Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю,
Но чаще, съ сладостью, конецъ воображаю,
Конецъ всему — души покой,
Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаньямъ,
Конецъ воренію — и съ жизнью, и съ собой!

Кто, жившій нѣкогда сердцемъ, съ жаромъ не повторитъ слѣдующихъ за тѣмъ стиховъ?

. . . Кончины сладкій часъ
Моей любимою мечтою становится;
Унылость тихая въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ:
Зоветъ меня. . . зоветъ. . . Куда зоветъ? Не знаю,
Но я зовущему съ волненіемъ внимаю;
Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной,
Куда насъ всѣхъ влечетъ Судьба неодолима—
Томящейся душѣ невидимая зрима;
Повсюду вѣстники могилы предо мной!

Прелестно исчисленіе этихъ вѣстниковъ—и въ угасающей зарѣ вечера, и въ звукѣ пастушьяго рога, и въ трепетаніи горнаго вѣтра въ дубравѣ, и въ тихомъ журчаніи ручья, и въ дальнихъ туманахъ вечера, и въ звукахъ гармоническаго фортепіано! Поэтъ, какъ будто еще не смѣетъ сказать другу тайной думы своей. «Скажу-ль» говоритъ онъ — и останавливается. . . Ужаснуть-ли ему сердце друга признаніемъ?..

Скажу-ль? Мнѣ ужасовъ могила не являетъ,
И сердце, съ горестнымъ желаньемъ, ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семъ мірѣ тяготился,
Ту жизнь, въ которой я такъ мало насладился,
Которую давно надежда не златитъ...

Онъ спѣшитъ оправдать горькій ропотъ свой; онъ быстро высчитываетъ всю бѣдность своего бытія:

Къ младенчеству-ль душа прискорбная летитъ,
Считаю-ль радости минувшаго... Какъ мало!
Нѣтъ! *счастье къ бытію меня не пріучало!*

Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ думѣ моей для дружбы я созрѣлъ —
И что же! . . предо мной увядшаго могила . . .
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила!
Любовь . . .

Доселѣ тиха, скорбна жалоба поэта — онъ ничего не желаетъ, ничего не хочетъ отъ Судьбы. Но роковое слово произнесено — душа его вспыхнула, и все вдругъ вырвалось изъ нея: страданія, надежды, мечты, желанія — самый ропотъ! Слѣдующіе стихи — это слезы, каплющія на струны арфы юнаго поэта:

Любовь . . . Но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья,
И невозвратное надеждъ уничтоженье!
Изсякшія души наполню-ль пустоту?
Какое счастіе мнѣ въ будущемъ извѣстно?
Грядущее для насъ прошедшимъ лишь прелестно!
Мой другъ, о нѣжный другъ! когда намъ не дано
Въ семъ мірѣ жить для тѣхъ, кѣмъ жизнь для насъ священна,
Кѣмъ добродѣтель намъ и слава драгоцѣнна,
Почто-жъ, увы! почто судьбой запрещено —
За счастье ихъ отдать намъ жизнь сію безплодну?
Почто (дерзну-ль спросить?) отъялъ у насъ Творецъ
Имъ жертвовать собой свободу превосходну?
Съ какимъ-бы торжествомъ я встрѣтилъ мой конецъ,
Когда-бъ всѣхъ благъ земныхъ, всей жизни приношеньемъ,
Я могъ — о сладкій сонъ! *той* счастье искупить,
Съ кѣмъ жребій не судилъ мнѣ жизнь мою дѣлить! . .
Когда-бъ стократными, и скорбью, и мученьемъ,
За каждый мигъ ея блаженства я платилъ,

Тогда-въ, мой другъ, я рай въ семъ мірѣ находилъ,
И дня, какъ дара ждалъ, къ страданью пробуждаясь;
Тогда, надеждою отрадною питаясь,
Что каждый жизни мигъ погибшія моей
Есть жертва тайная для блага милыхъ дней,
Я-въ смерти звать ей смѣлъ — страшился вы могилы!
О незабвенная, другъ милый, вѣчно милый!
Почто, повергнувшись въ слезахъ къ твоимъ ногамъ,
Почто, любзая ихъ горящими устами,
Отъ сердца не могу воскликнуть къ небесамъ:
Все въ жертву за нее! Вся жизнь моя предъ вами!

Почто и небеса не могутъ внять мольбамъ?..

Помните-ли несчастнаго, пламеннаго Руссо, помните-ли, какъ онъ на колѣняхъ читалъ свою Элоизу передъ женщиною-идеаломъ? Если вы не читали этихъ стиховъ Жуковскаго въ дни юности, не смѣя взглянуть на ту, отъ которой никогда не хотѣлось-бы оторваться вашимъ взорамъ, если вы не трепетали въ это время, страшась, чтобы въ голосѣ вашемъ не разгадали окружающіе васъ вашей тайны, и если въ то-же время не боялись вы, чтобы скрывая душу свою не лишить созданіе Жуковскаго поэтическаго очарованія, если вы не желали тогда ей, *ей одной* высказать стихами его все свое сердце, всю душу свою — вы не поймете этихъ стиховъ! Счастливый любовникъ прочтетъ ихъ съ улыбкою эгоизма. Надобно любить, любить —

Какъ въ наши лѣта
Уже не любятъ, какъ одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена —

и тогда только посланіе *къ Филалету* навѣчно врѣжется въ вашу память, какъ первое: *люблю тебя*, какъ первый крикъ вашего младенца, какъ послѣдній взоръ умирающаго вашего друга...

Но характеръ Жуковскаго не переноситъ долго такого чувства, которое видимъ въ стихахъ, приведенныхъ нами. Онъ содрагается силы сказаннаго, снова тихое упыніе замѣняетъ для него все —

О безразсуднаго напрасное моленье!
Гдѣ тотъ, кому дано святое наслажденье —
За милыхъ слезы лить, страдать и погибать?
Ахъ! если-бъ мы могли, въ сей области изгнанья,
Столь утѣшительно презрѣнну жизнь кончать —
Кто-бъ небо оскорбилъ безуміемъ роптанья!

Душа поэта раскрыта теперь передъ вами; вы дружески готовы прижать къ родному сердцу эту робкую, нѣжную душу; узнайте-же ее еще болѣе, въ стихахъ *Къ Нинѣ*. Мысль этой очаровательной пьесы заключается въ нѣсколькихъ стихахъ собственно:

О Нина, о Нина! сей пламень любви
Уже-ли съ послѣднимъ дыханьемъ погаснетъ?
Душа, отлетая въ незнаемый край,
Уже ли во прахѣ то чувство покинетъ,
Которымъ равнялась богамъ на землѣ?..
Ахъ! самое небо мнѣ будетъ изгнаньемъ,
Когда для безсмертья утрачу любовь!
И въ области райской я буду печально
О прежнемъ, погившемъ блаженствѣ мечтать..
Что въ вѣчности будетъ замѣной любви?..
Уже-ль изъ-за гроба отвѣта не будетъ?

Уже-ль переживший одинъ сохранитъ
То чувство, которымъ такъ сладко дѣлился?
А прежній сопутникъ, кѣмъ въ мірѣ онъ жилъ,
Съ которымъ сливался тоской и блаженствомъ,
Изчезнетъ за гробомъ, какъ утренній паръ,
Съ лучемъ, озлатившимъ его, изчезаетъ,
Развѣянный легкимъ зефира крыломъ?
О Нина! я внемлю таинственный голосъ:
«Нѣтъ смерти» — вѣщаетъ — «для нѣжной любви!
Возлюбленный образъ, съ душей неразлучный,
И въ вѣчность за нею изъ міра летитъ —
Ей спутникъ до сладкой минуты свиданья»...

Вотъ вся основная мысль: *Любовь переживаетъ жизнь — Вѣчность есть Любовь вѣчная!* И въ какихъ плѣнительныхъ, чудныхъ картинахъ эта мысль! Кажется, что поэтъ, размножая образы, длитъ эту мысль, плѣняющую его — одно, что осталось ему на землѣ, одно чѣмъ очаровываетъ его небо — ему не хочется разстаться съ нею, онъ лелѣетъ себя подробностями описаній...

И что сказалъ Жуковскій *Филалету* и *Нинѣ*, то отразилось на всей его жизни. Счастливецъ! онъ не разставался съ этою мыслью! Повторимъ, что сказали мы выше: здѣсь заключена вся его поэзія, вся его душа, вся жизнь — все остальное въ поэзіи Жуковскаго есть только дополненіе. . .

Назовемъ-ли это младенчествомъ души? Но кто посмѣетъ? Идея, которая оживляла человѣка въ послѣднюю минуту его бытія, дѣлается Вѣчностію, предъ которою все мимолетное изчезаетъ и благоговѣетъ; идея, оживлявшая человѣка всю жизнь его, да не оскорбится суетнымъ упрекомъ кичливаго ума — жалкаго

слѣпца, если не свѣтитъ ему вдохновеніе — нищаго онъ не богатъ сердцемъ! Все ничтожно до тѣхъ поръ, пока не дошло до извѣстнаго предѣла. Переступивъ за сей предѣлъ, самое безуміе, и всякая страсть, всякая мысль человѣка дѣлаются велики. Все состоитъ въ мірѣ изъ отношеній, и самый міръ великъ только въ отношеніи къ намъ, а что онъ во вселенной? Что его возрастъ и вся будущая его жизнь передъ Вѣчностью?

Съ мыслью, которую мы изложили здѣсь, прочитайте все писанное Жуковскимъ, и васъ изумитъ односторонность его идеи. Но развѣ ее мало было на жизнь человѣка, на то, чтобы пѣвца, ею вдохновеннаго, поставить на высокую чреду поэзіи и жизни? Нѣтъ! и притомъ, въ замѣну односторонняго единства идеи, Жуковскій возсоздалъ ее изъ души своей въ совершенной полнотѣ, и довелъ до такого многообразія подробностей, что она кажется цѣлымъ всеобъемлющимъ міромъ души человѣческой!

Она заключена въ *Свѣтланѣ*, *Эоловой арфѣ*, *Узникѣ*, *Отчетѣ о лунѣ*, пѣсняхъ, романсахъ, всѣхъ *сочиненіяхъ* Жуковскаго. Что такое *Свѣтлана?* Мысль: любовь переживаетъ бѣдствіе для счастья. Дѣвушка груститъ въ разлукѣ съ милымъ; она гадаетъ на святкахъ, и видитъ страшный сонъ: ей кажется, что онъ погибъ, умеръ — онъ является ей въ ужасномъ образѣ мертвеца; но настаетъ ясное утро; дѣвушка просыпается — милый съ нею—

Здѣсь несчастье — лживый сонъ;
Счастье — пробужденье!

Въ *Эоловой арфѣ*, дочь Царя Морвенскаго любитъ безвѣстнаго пѣвца. Они тайно видятся подъ сѣнью вѣковаго дерева. Невольная тоска томитъ Минвану въ часъ свиданья. Пѣвецъ смотритъ на волны моря, и говоритъ подругѣ:

Какъ быстрыя воды
Потокъ свой льютъ —
Такъ быстрые годы
Веселье младое съ любовью несутъ!
— Что-жь сердце уныло?
Пусть воды льются, пусть годы бѣгутъ!
О вѣрный, о милый!
Съ любовію годы и *жизнь* унесутъ . . .
Почто-же уныло
На радость глядѣть?
Все близко, что мило —
Оставимъ годамъ за годами летѣть!
Минутная сладость
Веселаго: *емъсть*, помедли, постой!
Кто знаетъ, что радость
На вѣкъ не умчится съ грядущей зарей!

Пѣвецъ привязываетъ арфу свою на вѣтвяхъ дерева свиданія.

И арфу, унылой
Пѣвецъ привязалъ подъ наклономъ вѣтвей.
«Будь арфа для милой
Залогомъ прекраснымъ минувшаго дней.
И сладкіе звуки
Любви не забудь,
Услада разлуки
И вѣстникъ души неизмѣнныя будь!

Когда-же мой юный,
Увитый печалію цвѣтъ опадетъ,
О вѣрныя струны!
Въ васъ съ прежней любовью душа перейдетъ!
Какъ прежде взыграетъ
Веселіе въ васъ,
И другъ мой узнаетъ
Привычный, зовущій къ свиданію гласъ!
И думай, ихъ пѣнью
Внимая вечерней, Минвана, порой,
Что легкою тѣнью,
Все вѣрный, летаетъ твой другъ надъ тобой;
Что прежнія муки,
Превратнаго страхъ,
И ужасъ разлуки,
Все, съ трепетной жизнью, онъ бросилъ во прахъ!
Что жизнь переживши,
Любовь лишь одна не разсталась съ душой,
Что робко любившій
Безъ робости любитъ — и болѣе тьой!

На утро, разгнѣванный отецъ осудилъ пѣвца на вѣчное изгнаніе. Минвана, въ урочный часъ, не перестаетъ ходить на мѣсто свиданія. Нѣтъ пѣвца. Молчитъ его арфа. Но въ одинъ вечеръ звуки раздаются въ ея струнахъ, какъ будто невидимая рука любви перебираетъ ихъ. «Его нѣтъ болѣе въ здѣшнемъ мірѣ!» Все угадано, все погибло, и — Минвана гибнетъ!

Съ тѣхъ поръ, унывая,
Минвана, лишь вечеръ, ходила на холмъ,
И звукахъ внимая,
Мечтала о миломъ, о свѣтѣ другомъ,
Гдѣ жизнь безъ разлуки,

Гдѣ все не на часъ,
И мнились ей звуки,
Какъ будто летящій отъ родины гласъ. . .

Еще прелестнѣе, еще задумчивѣе мысль *Узника.* Юноша заключенъ въ темницу; рядомъ съ его тюрьмою страдаетъ дѣва, безвѣстная ему, и только ея унылое пѣніе долетаетъ къ нему, въ его мрачную темницу. Ей суждена казнь, а ему отдана свобода. Мысль о ней, о мірѣ, гдѣ ударитъ для него часъ свиданья; взглядъ на далекую звѣздочку, какъ будто призракъ этого міра знакомаго — вотъ жизнь его — и смерть встрѣтилъ онъ, какъ радостнаго вѣстника счастія!

Перебберите романсы и пѣсни, большею частію переведенные Жуковскимъ — одна и таже мысль, одна и таже мечта. Ихъ выражаютъ: *Тоска по милой, Мальвина, Цвѣтокъ, Пловецъ, Вѣрность до гроба, Голосъ съ того свѣта, Утѣшеніе въ слезахъ, Къ мѣсяцу, Весеннее чувство, Утѣшеніе, Сонъ, Счастіе во снѣ, Пѣвецъ*; пѣсни: *Счастливъ тотъ, кому забавы — О, милый другъ! теперь съ тобою радость — Минувшихъ дней очарованье — Надъ прозрачными водами.* Самый выборъ балладъ не показываетъ-ли одного и того-же? *Людмила, Алина и Альсимъ, Пустынникъ, Рыцарь Тогенбургъ, Эльвина и Эдвинъ, Алонзо, Жалоба Цереры, Ленора, Кубокъ* — разныя варіяціи, изъ Бюргера, Монкрифа, Гольдсмита, Шиллера, всѣ на одну тему-тоску любви, тихую радость, жертву любви, свиданіе за гробомъ, За тѣмъ остается у Жуковскаго весьма немного пьесъ исключительныхъ. Замѣтимъ, что большею частію сіи пьесы суть *слабѣйшія*; что и

въ нихъ видѣнъ *общій отзывъ поэзіи Жуковскаго*: онъ выбираетъ изъ *Байрона* унылую элегію; изъ *Мура* пьесу, гдѣ описано стремленіе души отъ земли къ небу; изъ *Овидія* гибель вѣрной любви; изъ *Клопштока* раскаяніе ангела и тоску его по небѣ. Самый выборъ *Орлеанской дѣвы*, пьесы, гдѣ заключена мысль небеснаго вдохновенія, несчастной любви, и отверженія земли для неба — не подтверждаетъ-ли одной основной идеи поэта? Почему не взялъ онъ *Гяура*, *Поклонниковъ огня*, *Вильгельма Телля?* Потому, что все это не родное душѣ его. И на томъ, что беретъ Жуковскій, не отливается-ли однако-жъ унылый, грустный отблескъ его поэзіи, если не въ духѣ, то въ выраженіи?

Этого до сихъ поръ, кажется, не замѣтили Русскіе критики. Всѣ говорятъ, что переводы Жуковскаго вѣрны и прекрасны. Мы согласны въ этомъ, но не ищите въ нихъ различія красокъ, разнообразія тоновъ — они *вѣрны сущностью*, *но не выраженіемъ*. Такъ, переложенныя на арфу, самыя веселыя пѣсни Россини будутъ вѣрны подлиннику, его партитурамъ, но на нихъ будетъ печать звуковъ арфы — уныніе, тихость, грусть. Для убѣжденія въ этомъ, сличите *Орлеанскую дѣву*, и особенно *Шильонскаго узника*, съ подлинниками — совсѣмъ другой цвѣтъ, совсѣмъ другой отливъ хотя сущность вѣрна! Байронъ — дикій, порывистый вольный, ETERNAL SPIRIT OF THE CHAINLESS MIND, дѣлается мрачнымъ, тихимъ, унылымъ пѣвцомъ въ переводѣ Жуковскаго.

Но, скажутъ намъ, Жуковскій былъ *торжественнымъ пѣвцомъ* 1812 года и славныхъ побѣдъ Русскихъ. Такъ, да какимъ пѣвцомъ? Торжественнымъ? Но развѣ вы не читали Державина? Что-жъ такое Жуковскій, Пѣвецъ въ станѣ Русскомъ, и вѣстникъ славы Россіи и Александра? Это грустный, унылый бардъ, не съ гремящею лирою, но съ мелодическою арфою. Онъ участвуетъ въ общемъ весельи, готовъ пасть за отчизну въ битвѣ, но привычная дума всегда на челѣ его; она прорывается, въ его пѣсняхъ, и умирая, онъ скажетъ: *любовь одно со славой!* Это лучшіе куплеты его *Пѣвца въ станѣ Русскихъ воиновъ*:

Кѣмъ мы дышали въ мірѣ семъ,
Съ той нѣтъ и *тамъ* разлуки!
Туда душа перенесетъ
Любовь и образъ милой!
О други! смерть не все возметъ —
Есть жизнь и за могилой!

И когда-же было это писано? Въ виду пылающей Москвы, на бивакѣ, среди войны за отчизну и свободу! Въ *Пѣвцѣ на Кремлѣ* нѣтъ сего чувства, но за то этотъ Пѣвецъ холоденъ, до такой степени, что даже при появленіи своемъ онъ не произвелъ никакого впечатлѣнія.

Не будемъ перебирать вообще торжественныхъ, и на случай писанныхъ стиховъ Жуковскаго. Только тогда онъ оживаетъ въ нихъ, когда можетъ вмѣстить мечту свою о суетѣ міра, указать на лучшій міръ, сказать нравственный урокъ о небѣ, равно Царю и рабу. Кромѣ сихъ мѣстъ, почти все остальное, въ торжествен-

ныхъ и случайныхъ одахъ Жуковскаго, есть слабая сторона его поэзіи. Не будемъ говорить и объ его *описательныхъ* посланіяхъ и пьесахъ. Кромѣ того, что этотъ родъ самъ по себѣ есть натянутое, жалкое состояніе поэзіи, усиліе ума, Жуковскій рѣшительно не на своемъ мѣстѣ въ этомъ родѣ. Что за картины природы изображаетъ онъ? Это природа мрачная, списанная ночью, при лунѣ, робко прорѣзывающей изрѣдка бурныя облака, и списанная при томъ съ кладбища. Въ *Славянкѣ*, въ *Отчетѣ о лунѣ* въ посланіи *къ Воейкову*, въ посланіи *къ Батюшкову*, Жуковскій превосходенъ тогда только, когда увлекается своею задушевною идеею. Вполнѣ проникнутый привычною думою поэта, *Отчетъ о лунѣ* посему самому станетъ въ ряду лучшихъ твореній Жуковскаго, а равно, по сему-же самому и элегія его на смерть Королевы Виртембергской.

При такомъ направленіи, поэзія Жуковскаго, какъ мы уже говорили выше сего, не могла быть народною: и *народности* не ищите у Жуковскаго. Онъ живетъ духомъ не на землѣ, и что ему въ положительныхъ земныхъ формахъ? Его образы мимолетныя тѣни, его думы идеи не-земныя. Назовите это *недостаткомъ*, но этотъ недостатокъ былъ общій наставникамъ Жуковскаго, пѣвцамъ Германіи, или, лучше сказать, Шиллеру, ибо въ Шиллерѣ образецъ Жуковскаго. Чего нѣтъ, того и искать не станемъ. Обратите лучше вниманіе на то, чѣмъ отличается Жуковскій отъ всѣхъ другихъ поэтовъ Русскихъ: это музыкальность стиха его, *пѣвкость*, такъ сказать — мелодическое выраженіе, сладкозвучіе. Не льзя назвать стиховъ Жуковскаго *гармоническими*

гармонія требуетъ диссонанса, противоположностей, фугъ поэтическихъ; ищите гармоніи Русскаго стиха у Пушкина: у него найдете булатный, закаленный въ молніи стихъ, и кипящіе, какъ водопадъ горный, звуки, но не Жуковскаго это стихія. Его звуки мелодія, тихое роптаніе ручейка, легкое вѣянье зефира по струнамъ воздушной арфы. Будучи въ этомъ самобытенъ, Жуковскій никогда не утомляетъ — нѣтъ! онъ очаровываетъ васъ, плѣняетъ дробимостью метра, мѣлкими трелями своихъ звуковъ. Для примѣра, укажемъ на пьесы: *Эолова арфа*, *Свѣтлана*, *Узникъ*, и лирическія мѣста въ *Орлеанской дѣвѣ*. Если не ошибаемся, Жуковскій первый употребилъ дактилическія окончанія въ Русскомъ стихѣ; гекзаметръ былъ для него тоже, не средствомъ избѣгнуть монотоніи шестистопнаго ямба, но музыкальнымъ новымъ аккордомъ; онъ употребилъ такимъ-же средствомъ пяти-стопный ямбическій стихъ, и потому-же писалъ онъ много пьесъ смѣшаннымъ четырехъ и трехъ-стопнымъ ямбомъ. Въ *Шильонскомъ узникѣ* осмѣлился онъ употребить сплошь рифмы мужескія, и умѣлъ не быть однообразнымъ и утомительнымъ. Въ *Замкѣ Смальгольмскомъ* употребленъ, черезъ стихъ, трехъ и четырехъ-стопный анапестъ, и въ нѣкоторыхъ стихахъ двойная рифма, на концѣ и въ срединѣ стиха:

Но желѣзный *шеломъ* былъ изсѣченъ *на немъ*...
Подперщися *мечемъ*, онъ стоялъ предъ *огнемъ*...

Всѣ сіи измѣненія метра показываютъ отличное знаніе Русскаго языка. Проза Жуковскаго подтверждаетъ

это еще болѣе: она также музыкальна, какъ и стихи его. Въ этомъ отношеніи, она станетъ, кажется намъ, выше прозы Карамзина. Мы разумѣемъ здѣсь прозу *Исторіи государства Россійскаго*, ибо, нѣтъ сомнѣнія, что никто уже не будетъ выдавать намъ за образецъ переводовъ, или прежнихъ сочиненій Карамзина, послѣ прозаическихъ сочиненій и переводовъ Жуковскаго. Жуковскій первый, кажется намъ, открылъ тайну разнообразить слогъ своихъ переводовъ, сообразно слогу подлинниковъ. Не оспориваемъ изящества и гармоніи слога *Исторіи государства Россійскаго*; должно однакожъ согласиться, что слишкомъ уже примѣтно въ немъ желаніе гармоніи, видно усиліе искуства, и это усиліе вводитъ Карамзина въ утомительное однообразіе; примѣнившись къ нему, можете даже напередъ указывать на его паденія риторическія, бить такту при чтеніи, и подсказывать всѣ извѣстные обороты и фигуры его.

Къ сожалѣнію, Жуковскій весьма мало писалъ прозою, и мы можемъ указать только на три, или четыре небольшія пьесы его въ прозѣ оригинальной.

Касательно самаго содержанія прозы, должно признаться, что переводы и сочиненія Жуковскаго, кромѣ образцоваго языка, не представляютъ ничего значительнаго.

Въ юныхъ лѣтахъ своихъ, онъ перевелъ *Донъ-Кихота*, съ Флоріанова Французскаго перевода: это опытъ юности. Кромѣ сего, всѣ переводы Жуковскаго суть повѣсти и статьи, какія печаталъ онъ въ *Вѣстникѣ Европы*, когда издавалъ сей журналъ; въ нихъ

найдемъ много милаго, и нѣсколько статей (какъ-то: Письмо Ж. Ж. Руссо, Письма І. Миллера) никогда не потеряютъ своего достоинства; за то многое устарѣло уже для насъ, по идеѣ, по содержанію, по самому разсказу.

Въ прозаическихъ сочиненіяхъ Жуковскаго находимъ одно перло безцѣнное: это *Рафаэлева Мадонна.* Мысль поэтическая облечена здѣсь въ изящную простоту, и эта простота высказала ту прекрасную душу поэта, которая за двадцать лѣтъ прежде отзывалась намъ въ посланіяхъ къ Филалету и Нинѣ. Жуковскій судитъ о произведеніи Рафаэля, какъ поэтъ, какъ человѣкъ съ душею и сердцемъ. Нѣтъ ни одного громкаго выраженія, ни одного ученаго термина, но можно-ли изобразить Рафаэля и его созданіе лучше, *желаніе* — какъ говорится по-Русски? Думаемъ, что не льзя. Каждый разъ, когда читаете это описаніе Жуковскаго — одна мысль: и на землѣ небо доступно человѣку. Духъ любви и мира свѣтитъ и здѣсь надъ головою человѣка!

Онъ лишь въ чистыя мгновенья
Бытія слетаетъ къ намъ,
И приноситъ откровенья
Благодатныя сердцамъ;
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной —
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлетъ онъ порой.
А когда насъ оставляетъ,
Въ даръ любви, у насъ въ виду,

Въ нашемъ небѣ зажигаетъ
Онъ прощальную звѣзду!

Марьина роща, повѣсть *Русская*, написанная Жуковскимъ въ молодости, теряетъ всю цѣну по несообразности формъ. Жуковскій хотѣлъ, кажется, написать *нѣчто* такое, что Марьиной рощѣ придало-бы знаменитость *Лизина пруда*, и изобразилъ мечтательнаго трубадура въ Русскомъ пѣвцѣ небывалаго времени, написалъ что-то въ родѣ страшныхъ легендъ Нѣмецкихъ, рыцарскаго времени. *Три сестры*-прелестный разсказъ о тихой мечтѣ добраго сердца. Двѣ пьесы: *Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?* и *Писатель въ обществѣ*, могутъ быть драгоцѣнны намъ потому, что едва-ли не хотѣлъ въ нихъ сказать Жуковскій думаннаго имъ о своей будущности. Впрочемъ, мысль ни того ни другаго сочиненія не выдерживаетъ строгаго разбора; это милый сонъ, разсѣвающійся при первомъ появленіи дѣйствительности. — *Путешествіе по Саксонской Швейцаріи* есть сборъ краткихъ, дорожныхъ замѣчаній, гдѣ авторъ не думалъ о слогѣ; тоже скажемъ объ *Отрывкѣ изъ письма о Швейцаріи*, но многія мѣста въ томъ и другомъ прекрасны, и силою слова, и поэзіею мысли: таково описаніе прогулки на Klein Winterberg, и замѣтки на Симплонской дорогѣ.

Наконецъ, въ сочиненіяхъ Жуковскаго находимъ три опыта критическіе: статьи — *О критикѣ*, *О баснѣ и басняхъ Крылова*, *О сатирѣ и сатирахъ Кантемира*. Въ первой Жуковскій думалъ изобразить идеалъ критика, и изобразилъ — портретъ добраго, умнаго, просвѣщеннаго человѣка, живущаго въ какой-то лит-

тературной Утопіи. Эту оптическую картину можно положительными примѣрами опровергнуть въ основаніи и подробностяхъ. Впрочемъ, касательно мнѣній Жуковскаго объ ученыхъ основаніяхъ Критики, должно замѣтить, что они принадлежали къ тогдашней Французской школѣ Лагарпа и Батте. Статья: *О баснѣ и Басняхъ Крылова* вовсе неудовлетворительна. Авторъ видитъ въ поэзіи подражаніе природѣ; нравиться воображенію, образуя разсудокъ и сердце — вотъ цѣль поэзіи, по мнѣнію Жуковскаго. Басня выходитъ у него легкій урокъ, облеченный красивымъ разсказомъ. Въ Крыловѣ видитъ Жуковскій искуснаго переводчика Лафонтеновыхъ басенъ, и всю критику свою ограничиваетъ разборомъ нѣсколькихъ выраженій. Тоже находимъ въ статьѣ: *О сатирѣ и сатирахъ Кантемира.* Критикъ выписываетъ нѣсколько мѣстъ изъ Кантемировыхъ сатиръ, и приставляетъ къ нимъ разсужденіе, составленное изъ мнѣній Сульцера, Эшенбурга, Лагарпа. Не ищите тутъ, ни характеристики Кантемира, ни взгляда на то, когда онъ жилъ, ни на то, о чемъ онъ писалъ, ни теоріи Сатиры внѣ рамочекъ теоріи Лагарповой.

Здѣсь видимъ отличіе временности, наложенное на Жуковскаго. Въ теоріи, въ ученомъ своемъ образованіи, онъ выражаетъ характеръ вѣка, изображенный нами выше сего: мы уже сказали, что почти вся проза Жуковскаго относится къ его юности (вся рѣшительно, кромѣ *Рафаэлевой Мадонны*, *Отрывка изъ письма о Швейцаріи*, и *Путешествія по Саксонской Швейцаріи*). Можетъ быть, если-бы Жуковскій

пошелъ тою литтературною тропою, которую начиналъ онъ въ 1808 году, то онъ умѣлъ-бы не отстать отъ другихъ, перегнавшихъ его потомъ въ теоретическихъ идеяхъ и понятіяхъ. Но кто изъ насъ творитъ судьбу свою? Жуковскому суждена была *участь поэта* — онъ выполнилъ ее, и съ именемъ его всегда будетъ соединяться благодарное воспоминаніе соотечественниковъ.

Заключимъ нашу статью *библіографическимъ* извѣстіемъ. Въ изданномъ нынѣ собраніи *Балладъ и Повѣстей* Жуковскаго помѣщены, при *новыхъ* переводахъ (состоящихъ изъ 12-ти балладъ и *трехъ* повѣстей), прежнія его баллады и отрывки. Для имѣющихъ уже полное собраніе Сочиненій и Переводовъ Жуковскаго, всѣ новые переводы его отпечатаны отдѣльно, въ одинакій форматъ съ полнымъ изданіемъ его Сочиненій и Переводовъ. Такимъ образомъ составляютъ они 8-ю часть полнаго собранія: въ *трехъ* помѣщены *Стихотворенія*, въ *одной* всѣ *Сочиненія въ прозѣ*, въ *трехъ* всѣ *Переводы въ прозѣ*, и *въ одной* новыя *Баллады и Повѣсти*.

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ. СОЧИНЕНІЕ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. *СПб.* 1831 *г.* in 8, 142 *стр.*

(Писано въ 1833 году.)

Имя А. С. Пушкина безпрерывно встрѣчалось читателямъ въ листкахъ Телеграфа, съ самаго начала сего изданія. Должно-ли этому удивляться? Нѣтъ, ибо, что замѣчательнѣе Пушкина представляла во все это время Русская Словесность? Но сему, въ теченіе восьми лѣтъ Телеграфъ наблюдалъ постоянно всѣ произведенія Пушкина, и представлялъ читателямъ извѣстія и сужденія о литтературномъ поприщѣ сего славнаго соотечественника. Еще не рѣшено было первенство Пушкина между современными поэтами Русскими, когда Издатель Телеграфа, въ 1825 году, называлъ его *не вторымъ*, *а другимъ* послѣ Жуковскаго, и съ добродушнымъ восторгомъ юноши привѣтствовалъ въ томъ-же году появленіе его *Онѣгина*. Дико возопили тогда противъ похвалъ Пушкину—похвалъ *надеждѣ будущаго*. Теперь спрашиваемъ: не оправдываются-ли сіи надежды? Пушкинъ, рѣшительно, не признанъ-ли *первымъ* изъ современныхъ Русскихъ Поэтовъ? Въ теченіе восьми лѣтъ много отношеній перемѣнялось, но смѣемъ надѣяться, что никто изъ читателей, ни самъ Пушкинъ, не упрекнутъ Телеграфъ въ криводушіи, низкопоклонничествѣ, или завистливой злобѣ къ лавровому вѣнку его, какъ поэта. Пристрастенъ могъ быть къ нему иногда Телеграфъ, или ошибаться въ направленіи его дарованія и смѣло негодовать. Но кто-же, человѣкъ съ душею не лишенною искры неба, не

увлекался иногда пристрастіемъ къ прекрасному? Кто, дорожа рѣдкимъ явленіемъ его въ мірѣ, ничтожномъ, холодномъ, безчувственномъ, не негодовалъ, если видѣлъ, что оно тускнетъ въ какихъ нибудь мѣлкихъ отношеніяхъ свѣта? Положимъ, что послѣднее мнѣніе было бы ошибкою, но подобная ошибка простительна, если только не злонамѣренность и не нечистая совѣсть бываютъ ея причиною. Послѣ всего этого смѣемъ думать, что не боясь подозрѣнія ни въ пристрастіи, ни въ непріязни, Телеграфъ можетъ сказать свое мнѣніе о послѣднемъ большомъ твореніи Пушкина, составляющемъ вѣнецъ всего, что донынѣ создано было нашимъ поэтомъ въ теченіе полужизни его. Да, полужизни человѣческой совершилось уже Пушкину (онъ родился въ 1799-мъ году)! Уже онъ не юноша: онъ мужъ, онъ человѣкъ, достигнувшій зрѣлости лѣтъ и дарованія; время *опытовъ* для него миновалось; время *созданій совершенныхъ*, которыя могутъ показать, чѣмъ запишетъ себя Пушкинъ въ исторіи для потомства, для человѣчества — это грозное время для него настало и мчится быстро! Лови его, поэтъ! лови: оно не ждетъ, и потомъ не воротится никогда... Любопытно теперь, съ послѣдней поэтической высоты, до которой достигъ Пушкинъ, разсматривать его прежніе труды и опредѣлять будущій его полетъ.

Предполагая подробно разсмотрѣть *Бориса Годунова*, мы знаемъ, что подобная статья не можетъ имѣть цѣны журнальной новости нынѣ, когда послѣ появленія Бориса Годунова прошло два года, но мы и не хотѣли придавать сей цѣны нашему разбору, появленіемъ

его раньвременнѣе. Намъ хотѣлось лучше и вѣрнѣе отдать отчетъ самимъ себѣ въ твореніи Пушкина. Намъ хотѣлось также сообразить и мнѣнія публики и критиковъ Русскихъ. Кажется—наговорились, написались довольно и всѣ высказали свои мнѣнія? Мы переберемъ сіи мнѣнія; постараемся представить притомъ нѣсколько своихъ соображеній и вообще о новѣйшей драмѣ. Взглядъ на прежнія сочиненія Пушкина самъ по себѣ необходимъ, ибо безъ того выводъ изъ одного *Годунова* будетъ недостаточенъ для сужденія о Пушкинѣ.

Не по времени только появленія въ свѣтъ, но и по сущности, по *духу*, по взгляду на поэзію, Пушкинъ есть совершенно *современный* намъ поэтъ, сынъ Поэзіи XIX вѣка, начавшейся въ Европѣ въ послѣднія двадцать лѣтъ. Метрическая справка ничего не доказываетъ въ подобномъ случаѣ. Представимъ небольшой примѣръ: М. А. Дмитріевъ, не смотря на изданіе своихъ сочиненій въ 1831-мъ году, относится къ эпохѣ новѣйшаго Французскаго Классицизма, съ маленькою прибавкою Романтизма, чѣмъ отличались Милльвуа, Вауръ-Лорміаны и Делили. И теперь есть у насъ современники Ломоносова, Сумарокова, Карамзина, даже Тредьяковскаго—не по лѣтамъ, но по *духу*, по сущности своихъ созданій, по своему образованію, направленію, даже по языку. По всѣмъ-же этимъ примѣтамъ, Пушкинъ оказывается современникомъ Европы нашего, XIX-го вѣка.

Въ статьяхъ о Державинѣ и Жуковскомъ, мы старались изложить исторію Русской литтературы, и особенно словесности. Выводомъ нашимъ изъ сихъ из-

ложеній было то, что Жуковскій обозначилъ собою въ Россіи переходъ отъ новѣйшаго Классицизма къ Романтизму новѣйшему; что Жуковскій, поэтъ очаровательно-мелодическій, далъ новыя формы нашему стиху, ввелъ, въ поэзію Русскую одну изъ новыхъ идей Романтическихъ — безотчетную мечтательность Шиллера, и что ухвативъ сію односторонную идею, Русскіе литтераторы бросились на Романтиковъ-Нѣмцовъ, какъ прежде крѣпко держались они за Классиковъ-Французовъ. Здѣсь *кончилъ* Жуковскій и *началъ* Пушкинъ. Обратимся къ Европѣ, и постараемся кратко пояснить себѣ, что тамъ дѣлалось въ послѣднія 20, или 30 лѣтъ.

Главнѣйшія, отличительныя черты переворотовъ въ Европейскомъ литтературномъ мірѣ во все сіе время, по нашему мнѣнію, суть слѣдующія:

1. Обобщеніе Нѣмецкой философіи и литтературы въ Европѣ, и особенно во Франціи;

2. Движеніе въ Европу новой, самобытной Англійской словесности;

3. Уничтоженіе Классическихъ теорій, и замѣна ихъ новыми, если угодно, *Романтическими* идеями;

4. Мысль о созданіи самобытныхъ, народныхъ литтературъ, почти повсюду, и объ отысканіи для того національныхъ элементовъ;

5. Общее направленіе къ Лиризму, Роману и Драмѣ, во всѣхъ Европейскихъ словесностяхъ.

Такъ сильно, такъ глубоко было, объединенное отъ остальной Европы, особенное стремленіе Германіи по всѣмъ отраслямъ человѣческаго мысленія и вѣдѣнія,

такъ противоположно было оно всеобщему тогда въ остальной Европѣ Классическому направленію, и условнымъ формамъ прежняго образованія, литтературнаго и ученаго, что невозможно ему было наконецъ не обратить на себя вниманія всей Европы. Невозможно было и общности новаго образованія Германіи не изумить всякаго, кто только узнавалъ его, хоть немного. Невозможно было наконецъ сему новому стремленію не сразиться съ старымъ: эта сшибка значила побѣду Германіи, ибо юное, крѣпкое силами, всегда побѣдитъ дряхлое, изнуренное въ силахъ. Трудно сыскать предметъ въ области ума и вѣдѣнія, котораго не коснулась: вы Германская реформа съ половины XVIII-го и въ началѣ XIX-го вѣка.

Въ *Философіи*, Реализмъ Локка и Матеріализмъ Энциклопедистовъ замѣнили разрушающій ихъ Трансцендентализмъ Канта, неясный, но высокій Идеализмъ Фихте, и умиряющій, новоплатоническій Идентитетъ Шеллинга. Въ *Исторіи*, изслѣдованія Нибура возсоздали истинную лѣтопись Рима, и показали примѣръ истинной Критики и Филологіи Исторической; Гердеръ проявилъ совершенно новую идею Человѣчества, разсматривая ее, какъ основаніе и развитіе идеи Всеобщей Исторіи; Савиньи низпровергъ старое начало въ Исторіи Юриспруденціи, и провелъ живую идею Римскаго Права черезъ лабиринтъ вѣковъ; Крейцеръ отыскалъ основныя идеи вѣчныхъ символовъ въ Миѳологіи Востока, и раскрылъ элементы ихъ въ Миѳологіи Европейской. *Изученіе Древнихъ* перестало ограничи-

ваться избитымъ пересказомъ однихъ и тѣхъ-же словъ, и авторитеты схоластики уступили наконецъ мѣсто истинному изученію Классической Древности. Переставъ смотрѣть на Классическую древность, какъ на *безусловное изящество*, переставъ видѣть въ ней неподражаемые exemplaria Graeca, Германцы умѣли понять и передать надлежащимъ образомъ писанія Древнихъ, и въ тоже время понять необходимость *изученія всѣхъ другихъ литтературъ и народовъ*. Это пояснило имъ необходимость всеобщности для самобытности и самобытности для всеобщности. Такимъ образомъ, когда Шлейермахеры, Фоссы, Гейне изучали и передавали въ истинномъ свѣтѣ Классическую Древность, Тикъ, Гердеръ, Шлегель, Бенда, Штрекк-фуссъ, и другіе, тоже дѣлали съ Испаніею, Италіею, Англіею; глубокія изученія были произведены надъ Сѣверомъ и Востокомъ, и самобытность необыкновенная проявлена въ созданіяхъ Германской литтературы. Здѣсь число именъ и созданій великихъ приводитъ въ невольное изумленіе; разнообразіе въ направленіи духа Германскаго заставляетъ иногда даже сомнѣваться: неужели все это было испытано и перечувствовано въ столь короткое время? Не говоря уже о безсмертныхъ, вѣковыхъ именахъ Гете, Шиллера, Жанъ-Поля, какое множество именъ по всѣмъ частямъ литтературы! Поэзія, Романъ, Исторія освѣщены именами Мюльперовъ, Вернеровъ, Кернеровъ, Бюргеровъ, Тидге, Миллеровъ, Геерновъ, Гофмановъ, и проч. и проч., такъ-же, какъ Философія блеститъ именами Астовъ, Шубертовъ, Стеффенсовъ, Штуцмановъ, а науки и точныя знанія

именами Вернеровъ, Гумбольдтовъ, Гуфеландовъ, Боде, Ольберсовъ, Фрауенгоферовъ, и проч., и проч.

Замѣтимъ здѣсь *три* слѣдующія обстоятельства, важныя для наблюдателя:

1. Въ то время, когда началось движеніе умственнаго міра Германіи, послѣдовало и совершенное отдѣленіе его отъ міра дѣйствительнаго, практическаго. И всегда Германія была чужда практикѣ общественной жизни, и всегда не она обобщала въ Европѣ всѣ вѣковыя идеи. Но здѣсь, какъ будто нарочно, послѣдовало дѣленіе самое рѣзкое, самое рѣшительное. Франція совершенно вдалась въ практику общественности, а Германія совершенно объединила себя отъ сей практики: она была скалою умственнаго бытія Европы, о которую разбивались всѣ волны неслыханныхъ, политическихъ и общественныхъ, переворотовъ. Жители сей скалы, какъ будто во все не знали, что дѣлается въ остальной Европѣ.

2. Необыкновенное умственное усиліе въ теченіе полустолѣтія должно было наконецъ истощить Германію, и отразивши умственную дѣятельность свою на Европу, Германія должна была впасть въ усыпленіе. Если всеобщность способствовала къ проявленію идеи о частной самобытности, въ тоже время самобытность не могла явиться прежде, пока всеобщность не утомитъ духа, не доведетъ его до самаго величайшаго объема идеальности, гдѣ онъ долженъ погибнуть, совершенно отторгнутый отъ земли и дѣйствительности.

3. Смотря съ сей точки зрѣнія, не льзя не удивляться всеобщности, какою обладали Германцы великости

трудовъ, дѣлимости, многообъемлемости знанія ихъ. Все великое сего времени есть что-то *универсальное*, всеобъемлющее: возьмите *Шиллера*, пламеннаго, неземнаго лирическаго поэта: онъ въ тоже время Трагикъ, Историкъ, Философъ, Романистъ. Разсмотрите самую драму его: какое разнообразіе направленій въ *Разбойникахъ*, *Коварствѣ и любви*, *Орлеанской дѣвѣ*, *Мессинской невѣстѣ*, *Валленштейнѣ*, *Вильгельмѣ Телѣ!* И притомъ, онъ переводитъ *Федру* и—*Макбета!* Это волны необозримаго моря, рѣемыя, колеблемыя всѣми возможными вѣтрами. Посмотрите на *Шлегеля*— историка, поэта, критика, переводчика Шекспира и Кальдерона; на *Гердера*— проповѣдника, философа, поэта! Наконецъ, остановитесь особенно на символѣ всего Германскаго образованія, *Гете*, заключившемъ собою, даже и хронологически, періодъ Германской эпохи. Гете всего лучше покажетъ вамъ идею Германіи: онъ *все*—Классицизмъ и Востокъ, Испанія и Англія, Трагедія и Естествознаніе, Романъ и Журналъ, Пѣсня и Критическая статья, Фаустъ и Вильгельмъ Мейстеръ, Вертеръ и Германъ и Доротея, переводчикъ Вольтерова Мугаммеда и стихотвореній Саадія—Гете все заключилъ въ себѣ, все обнялъ и все сказалъ.

Изъ сего міра высочайшей всеобщности, идеальности, *вселенности*, Германія впала въ совершенную частность, практику, народность. Геніи Германіи изчезли; Философія распалась на части; Поэзія запѣла старинную легенду; Музыка заиграла народную пѣсню; изысканія обратились на древности отчизны. Гете и *Уландъ*, Гофманъ и *Шопенгауеръ*, Шеллингъ и *Гегель*,

Шлегель и *Берне*, Шиллеръ и *Грильпарцеръ*, Моцартъ и *Шторъ* — неужелиэто одинъ и тотъ-же міръ, одна и таже Германія? И это случилось въ то время, когда вся Европа, усмиривъ буйную жизнь горящей Франціи, отдыхала въ политической тишинѣ. Жадная новаго, умственнаго бытія, Франція устремилась на наслѣдіе засыпающей дѣятельности Германской, какъ самый расточительный наслѣдникъ.

Тогда, при сей великой субботѣ Германіи, и при началѣ возбужденной дѣятельности Франціи, Англія, двадцать лѣтъ чуждая Европѣ, двадцать лѣтъ подверженная континентальной системѣ во всѣхъ отношеніяхъ, не въ одной торговлѣ и промышленности, явилась въ величіи поэтическаго обновленія, совершившагося уединенно, отдѣльно, среди всемірной войны материка и вѣчныхъ волнъ Океана. Она явилась съ новыми созданіями Муровъ, Водсвортовъ, Сутеевъ, Краббовъ, Монгоммери, Борнсовъ, Колериджей, съ практическою Критикою своихъ *Обозрѣній*, съ своею Политическою Экономіею. Но всего громче сказались Европѣ два поэтическіе отзыва Британніи.

Одинъ весь современность, лира и эпопея современная, вопль безнадежности, кровавая комета новой поэзіи, потрясающій электрическій ударъ. Читатели угадываютъ имя — это *Байрона*.

Другой жилецъ Среднихъ вѣковъ, полнота прозы, философія практики, обновитель жизни прошедшаго, гальваническая сила, отъ соединенія предметовъ, по видимому холодныхъ, разнородныхъ, соединеніе исторіи и сказки въ Романѣ — это *В. Скоттъ*.

И все это повергло́сь въ живую жизнь, въ обобщительную душу Французовъ. Мы не будемъ здѣсь входить въ изложеніе фактовъ того, что произошло чрезъ сіе во Франціи. Отчасти старались уже мы изъяснить современную Исторію Французской литтературы, въ статьѣ о романахъ В. Гюго, о Французскомъ театрѣ, и вообще въ статьяхъ объ иностранной современной словесности, какія помѣщались въ Телеграфѣ разныхъ годовъ. Укажемъ еще здѣсь на статьи критическія и теоретическія, какія были переводимы и почти безпрерывно помѣщаемы въ Телеграфѣ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Читатели видѣли даже мнѣнія самыхъ реформаторовъ Французскихъ—Гюго, Де-Виньи, Издателей *Глобуса*, *Французскаго Обозрѣнія*, и проч. и проч.

Мы обращаемся къ тремъ послѣднимъ выводамъ, выше сего нами означеннымъ, которые полагаемъ мы въ числѣ *главнѣйшихъ отличительныхъ чертъ переворота въ мірѣ современной намъ, Европейской литтературы*.

Первое, что представляется здѣсь, есть—*уничтоженіе Классическихъ теорій и замѣна ихъ новыми идеями*. Въ этомъ согласятся самые упорные, даже *Русскіе* Классики. Читайте хоть Русскіе учебные курсы, хоть Русскіе теоретическія сочиненія. Сочинители ихъ, сами того не замѣчая, подчиняются уже совершенно новому порядку идей. Сквозь Классицизмъ, сквозь ветхую кучу дряхлыхъ именъ, которыми загораживаютъ они входъ Романтизму, видимъ этотъ Романтизмъ самовластнымъ хозяиномъ въ Классическомъ домѣ. Ему еще неловко, неудобно, онъ еще не привыкъ къ по-

вому своему жилью, но погодите: есть старикъ, который все это уладитъ, и о которомъ Карлъ V-й говаривалъ: «Насъ двое—*я* и *время*.»

Второе, что слѣдуетъ изъ перваго: стремленіе осуществить *теорію* въ сообразной съ нею *практикѣ*. Практика сія требуетъ всеобщности познанія, не одного Классицизма, и потомъ возсозданія *національной*, *народной литтературы*, какъ единственнаго средства сдѣлаться самобытными. Не говоримъ о Германіи, гдѣ этимъ кончилось; объ Англіи, гдѣ этимъ началось; о Франціи, гдѣ это является въ неимовѣрной степени—посмотрите на двѣ крайнія стороны Европы: *Швецію* и *Италію*. Тамъ и здѣсь—Романъ и Романтизмъ; школа Классиковъ падаетъ, новыя идеи народности проявляются Тегнерами, Манзони, и многочисленными ихъ спутниками.

Но, отъ чего *третье* отличіе современности: *явное устремленіе повсюду къ Лиризму, Роману и Драмѣ?*

Не принимаемъ положенія В. Гюго, будто нашъ вѣкъ есть вѣкъ *Драматическій*, и поелику вѣкъ старости походитъ на младенчество, потому Лиризмъ, отличіе вѣка младенчества человѣческаго, долженъ отражаться на нашемъ вѣкѣ, старости Человѣчества; не соглашаемся и съ тѣми, кто думаетъ, будто Романъ есть *современная Эпопея*, и поелику Эпопея и Драма всегда преимуществовали и должны преимуществовать, ибо онѣ суть два высшіе отдѣла творчества человѣческаго, то посему преимуществуетъ въ нашемъ вѣкѣ (лишенномъ Эпопеи), подлѣ Драмы, Романъ. Все это кажется намъ односторонно и невѣрно. Мы думаемъ,

что во всѣ вѣка и всегда, всѣ части Поэзіи были равносильны, равно существовали, и должны равно существовать въ душѣ человѣка. Преимущественность того или другаго, въ то или другое время, суть частности, которыхъ мы не принимаемъ за общность. Нашъ вѣкъ столько-же *драматическій*, сколько *эпическій* и *лирическій*. Лиризмъ потому столь силенъ въ наше время, что мы начинаемъ новый періодъ, а въ началѣ новой жизни всегда духъ человѣка изливается въ лирическомъ пѣніи. «*У насъ нѣтъ Эпопеи*»—говорятъ нашъ. Нѣтъ Эпопеи *Классической*—согласны, но есть *Эпопея своя*. Явись только теперь эпическій геній, и онъ проявитъ ее въ великомъ созданіи. И чемъ-же вы почитаете *Фауста*, неужели *Драмою?* А созданія Байрона: его *Гяуръ*, *Осада Коринѳа*, *Манфредъ*, *Корсаръ*, *Лара* (если и назовемъ *Чайльдъ-Гарольда* элегіею, а *Донъ-Жуана* сатирою)? Возьмемъ меньшіе примѣры—*Валленрода* Мицкевичева, *Фритіофъ Сагу* Тегнерову: или они Эпопея, или вовсе никогда не было Эпопеи. И что-же Омирова Иліада? Она была рапсодіями, отдѣльными балладами, какъ Оссіанъ есть сборъ балладъ Шотландскихъ, и какъ въ Испанскихъ Романсахъ является намъ Эпопея высокая. Мы согласны назвать Романъ *Эпопеею изящной прозы*, ибо въ *Прозѣ изящной* есть такія-же раздѣленія, какъ и въ *Поэзіи-собственно*: Лирика—*Ораторство*, Драма—*Исторія*, Эпопеею будетъ *Романъ*. Если наша поэтическая Эпопея является въ смѣшеніи съ драмою (какъ объяснилъ это весьма хорошо В. Гюго, указывая на Мильтона и Данте), естественно, что Эпопея прозы, Романъ, переходитъ въ про-

заическую Драму, Исторію: вотъ источникъ повсюднаго *Историческаго Романа*. Объясненіе сихъ смѣшеній не заключается-ли въ томъ, что мы, утомлённые раздѣльностью родовъ, отдѣленностью Эпопеи и Романа отъ Драмы и Исторіи, слишкомъ дѣйствительныхъ и положительныхъ, стремимся соединить ихъ, тѣмъ болѣе, что раздѣльность сія ставила Эпопею и Романъ, одну на ходули Классицизма, другой на ходули аханья и пошлой любви, а Драму дѣлала, или ничтожною Мелодрамою, или надутою Трагедіею, оставляя Исторіи только сухой разсказъ и риторическія фразы?

Надобно впрочемъ согласиться, что современная намъ литтература, столь быстрое развитіе духа человѣческаго въ новыхъ формахъ, должна быть еще весьма неопредѣленною для насъ, теоретически и практически. Краткое изложеніе наше показываетъ, сколь сильный, неслыханный переворотъ произошелъ въ полвѣка, сколь разнообразенъ, разнороденъ былъ сей переворотъ, сколь многихъ вопросовъ рѣшеніе задалъ онъ грядущему человѣчеству. Но главныя основанія уже и для насъ обозначены ясно.

Сей-то бурный, многообразный періодъ хлынулъ на нашу Русскую литтературу, послѣ Классицизма Французскаго; его-то начало представилъ собою въ поэзіи нашей Жуковскій, и его-то *настоящимъ представителемъ въ Русской Поэзіи* явился Пушкинъ.

Въ Поэзіи Русской, именно — и не болѣе. Пушкинъ поэтъ. Не менѣе того, онъ поэтъ въ полномъ значеніи сего слова, поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ,

душею глубоко раздражительною, восторженною, даромъ слова удивительнымъ.

Говоря о Державинѣ, мы указали на характеръ Пушкина. Осмѣлимся сказать здѣсь, что самая жизнь Пушкина можетъ подтвердить это, если обозрѣть ее философически. Но что могли мы говорить о поэтѣ, уже почіющемъ сномъ вѣчности, того не можемъ говорить о поэтѣ живущемъ, и слѣдственно, должны ограничиться разсмотрѣніемъ только его *литтературной жизни*.

Мы находили въ Державинѣ совершенную противоположность Жуковскому: тоже найдемъ, соображая съ Жуковскимъ Пушкина — это двѣ совершенно параллельныя линіи. Напротивъ, сколько найдемъ точекъ, на коихъ Державинъ и Пушкинъ сходятся совершенно!

Вспомните общія различія: одинъ родился въ 1743-мъ, другой въ 1799-мъ году; одинъ былъ въ вѣкъ Екатерины, въ послѣднюю треть XVIII-то столѣтія; другой въ вѣкъ Александра и Николая, въ первую треть XIX-го столѣтія, а между этими двумя третями Исторія положила бездну, величиною въ тысячу лѣтъ. Державинъ увлекся порывами честолюбія; обстоятельства дали совсѣмъ другое направленіе жизни Пушкина; не забудьте, что о Державинѣ вы говорите, какъ о поэтѣ, кончившемъ совершенно свое поприще; о Пушкинѣ, какъ о поэтѣ едва достигшемъ зрѣлыхъ часовъ генія своего, тѣхъ лѣтъ однакожъ, когда Державинъ едва только начиналъ. Державинъ вошелъ на поприще поэзіи малограмотный, съ одами Ломоносова, теоріею Тредьяковскаго, трагедіями Сумарокова, романами Прево, и че-

рез казармы вступилъ въ свѣтъ и службу; Пушкинъ пришелъ ко времени самаго стремительнаго порыва въ Россію новыхъ идей литтературныхъ, когда голосъ Жуковскаго раздался уже среди холоднаго міра Классицизма и Карамзинизма, когда толпа молодыхъ дарованій была подвигнута симъ голосомъ къ новой дѣятельности души. Пушкинъ вступилъ въ свѣтъ, получивъ съ малолѣтства отличное, однакожъ свѣтское образованіе, былъ отвергнутъ свѣтомъ, и почти до тридцати лѣтъ странствовалъ вдали отъ него, вдохновляемый своимъ геніемъ, порѣваемый, колеблемый всѣми бурями измѣненій міра внѣшняго и страстей міра внутренняго.

Но тотъ и другой, Державинъ и Пушкинъ, *поэты вполнѣ*, съ одинаково-смѣлою, благородною, возвышенною душею, съ одинаково-пламеннымъ сердцемъ, одинаково-превышающіе другихъ современниковъ своимъ геніемъ; у обоихъ поэзія кажется врожденнымъ вдохновеніемъ: у Державина не увили ея ни нужды, ни казармы; у Пушкина (что хуже казармъ и нуждъ) ни свѣтское образованіе, ни большой свѣтъ. Если Державинъ былъ полный представитель Русскаго духа своего времени, то Пушкинъ донынѣ былъ полнымъ представителемъ Русскаго духа нашего времени. Успѣетъ-ли Пушкинъ явиться въ столь-же самобытномъ развитіи созданій, какъ явился Державинъ? Узнаетъ-ли онъ лучше Державина свое высокое назначеніе? Пойдетъ-ли онъ далѣе того, на чемъ Державинъ остановился? Далеко-ли онъ означитъ своею самобытностію развитіе самобытной Русской поэзіи? Вотъ вопросы, для насъ

нерѣшимые. Еще двадцать лѣтъ полнаго бытія, періодъ самой зрѣлой силы можетъ имѣть Пушкинъ въ виду передъ собою. Чего не сдѣлаетъ онъ, и чего не льзя ожидать намъ отъ Пушкина, если только сила его поэтической воли будетъ умѣть отдать себѣ отчетъ!

Все, что донынѣ дѣлалъ Пушкинъ, оправдываетъ, какъ намъ кажется, наши блестящія на него надежды, и ту увѣренность, съ какою смотримъ мы на Пушкина, какъ на залогъ великаго въ будущемъ.

Только новая, односторонняя идея поэзіи Жуковскаго, подкрѣпленная его подражателями и послѣдователями, пѣвунами съ его голоса, и нѣсколько дарованій отдѣльныхъ, замѣчательныхъ, были отличіемъ на поприщѣ литтературы холодной и безцвѣтной, когда явился Пушкинъ. Оцѣните-же дарованія этого поэта, читая *Руслану и Людмилу*. Мысль объ Аріостовской эпопеѣ въ Русскомъ духѣ, мысль создать поэму изъ Русскихъ преданій, самое исполненіе сей мысли стихами плѣнительными, когда поэту не было еще и двадцати лѣтъ — какое начало блестящее, прекрасное, исполненное упованій! Безспорно: въ *Русланѣ и Людмилѣ* нѣтъ ни тѣни народности, и когда потомъ Пушкинъ издалъ сію поэму съ новымъ *введеніемъ* *), то

*) Въ Лукоморьи дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ,
И днемъ и ночью котъ ученый
Тамъ ходитъ по цѣпи кругомъ;
Идетъ на право — пѣснь заводитъ;
На лѣво — сказку говоритъ,

и т. д.

введеніе это решительно убило все, что находили Русскаго въ самой поэмѣ. Руссизмъ поэмы Пушкина была та несчастная, щеголеватая народность, Флоріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ *Илью Муромца*, *Наталью Боярскую дочь* и *Марѳу Посадницу*, Нарѣжный *Славянскіе вечера*, а Жуковскій обрусилъ *Ленору*, *Двѣнадцать спящихъ дѣвъ*, и сочинилъ свою *Марьину рощу*. Но хотите-ли понять превосходство прелестной поэмы Пушкина? Забудьте, что она изображаетъ *Русь*; прочитайте, что тогда писали другіе, и что писали критики тогдашніе, именно о Русланѣ и Людмилѣ. Мы такъ уже удалились отъ 1820 года, когда вышла въ свѣтъ первая поэма Пушкина, такъ разрознились духомъ, направленіемъ, сущностью съ поэзіею, эстетикою и критикою тогдашними, что намъ даже трудно теперь стать на тогдашнюю точку зрѣнія, которая можетъ показать весь блескъ дарованій Пушкина, относительно ко времени изданія *Руслана и Людмилы*.

Какъ много надобно было силы душевной и самобытности дарованія, чтобы не увлечься тогдашнимъ классическимъ громкословіемъ и не замечтаться въ блѣдныхъ подражаніяхъ Жуковскому! Пушкинъ едва носитъ слѣды того и другаго въ самыхъ первоначальныхъ своихъ созданіяхъ. Но тѣмъ сильнѣе уступилъ онъ потомъ вліянію болѣе могущаго, современнаго ему, Европейскаго генія—Байрона.

Байронъ возовладалъ совершенно поэтическою душею Пушкина, и это владычество на много времени лишило нашего поэта собственныхъ его вдохновеній.

Какъ-бы кто ни былъ великъ, но всякій долженъ платить дань своему вѣку. Свѣтское, и съ тѣмъ вмѣстѣ Карамзинское образованіе въ дѣтствѣ, а потомъ подчиненіе Байрону въ юности — вотъ два ига, которыя отразились на всей поэзіи Пушкина, на всѣхъ почти его созданіяхъ донынѣ, а Карамзинизмъ повредилъ даже совершеннѣйшему изъ его изданій — *Борису Годунову*. Особливо прежде не дерзалъ Пушкинъ выходить изъ волшебнаго круга, очерченнаго современнымъ образованіемъ Россіи окрестъ его дарованія, и только въ послѣднее время успѣваетъ онъ вырываться изъ него, и осмѣливается расправлять самобытно свои орлиныя крылья, осмѣливается обнимать духомъ своимъ весь обширный переворотъ современной Европейской литтературы — не въ одномъ Байроновскомъ направленіи сего переворота, какъ прежде односторонно обнималъ его Жуковскій въ идеѣ Шиллера и подражаніи Нѣмецкой и Англійской балладѣ.

Кавказскій Плѣнникъ былъ рѣшительнымъ сколкомъ съ того лица, которое, въ исполинскихъ чертахъ, грознымъ привидѣніемъ пролетѣло въ поэзіи Байрона. Разница та, что Байронова поэзія была самобытна, и хотя односторонно, но обняла весь міръ современныхъ идей, изобразилась въ огромныхъ очеркахъ. Байронъ, создатель *Гяура* и *Абидосской невѣсты*, *Донъ Жуана* и *Чайльдъ Гарольда*, *Манфреда* и *Беппо*, *Христіана* и *Шильонскаго узника*, *Парги* и *Осады Коринѳа*, былъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, тоже для начала XIX-го вѣка, что Омиръ для Греціи, Оссіанъ для Шотландіи, Гете для Германіи, Данте для Италіи XIII-го столѣтія, Шек-

спиръ для Среднихъ вѣковъ. Пушкинъ явился, напротивъ, какъ подражатель пѣвца Британскаго, былъ юнъ, ограниченъ во всѣхъ отношеніяхъ, и особенно по образованію своему и по общественному своему мѣсту.

Отъ того блѣденъ и ничтоженъ его *Кавказскій Плѣнникъ*, нерѣшительны его *Бахчисарайскій фонтанъ* и *Цыганы*, и легокъ *Евгеній Онѣгинъ*, Русскій снимокъ съ лица Донъ Жуанова, такъ-же, какъ Кавказскій Плѣнникъ и Алеко были снимками съ Чайльдъ Гарольдова лица. Все это было вдохновлено Пушкину Байрономъ, и пересказано съ Французскаго перевода прозою—это литографическіе эстампы съ прекраснѣйшихъ произведеній живописи!

Гдѣ-же заслуги Пушкина? Гдѣ признаки сильныхъ его дарованій? Гдѣ слѣды его самобытности и залоговъ будущаго?

Прежде всего, въ той, превышающей всѣхъ другихъ современныхъ поэтовъ Русскихъ степени, на которую сталъ Пушкинъ съ самаго появленія *Руслана и Людмилы*. Несправедливо было-бы мѣрять Пушкина мѣрою Гете и Байрона. Мы старались показать ложность подобной мѣры въ отношеніи Державина. Сравните различіе образованій Германіи, Британіи и Россіи. Посмотрите: *гдѣ* живетъ Пушкинъ, и съ кѣмъ живетъ онъ? Такъ-же, какъ Жуковскаго, окружаетъ его толпа современниковъ, но — это дѣти передъ нимъ! Сличите съ нимъ г-дъ Языкова, Баратынскаго, Хомякова, князя Вяземскаго, Козлова, Подолинскаго, Ѳ. Н. Глинку (какъ поэта), Веневитинова, Муравьева, Дельвига: хотя дарованіямъ всѣхъ ихъ отдаемъ мы пол-

ное сознаніе, но никто изъ нихъ, безъ всякаго сравненія, не станетъ — даже и близко Пушкина — ни идеями, ни полнотою выраженія ихъ, ни прелестью стиха, и рѣшительно ничѣмъ.

Далѣе введеніе новаго элемента, *Байронизма*, въ Русскую поэзію, послѣ мечтательности Жуковскаго, долженствовало быть необходимо для души пылкой, свѣжей, и оно сильно споспѣшествовало конечному паденію Французскаго Классицизма въ Россіи: этимъ мы обязаны Пушкину. Для него, это былъ отрицательный шагъ, назадъ; для Русской поэзіи шагъ положительный, впередъ.

Сообразите послѣ сего, какую заслугу оказалъ Пушкинъ выраженію нашей поэзіи — нашему стиху. Стихъ Русскій гнулся въ рукахъ его, какъ мягкій воскъ въ рукахъ искуснаго ваятеля; онъ пѣлъ у него на всѣ лады, какъ струна на скрыпкѣ Паганини. Нигдѣ не является стихъ Пушкина такимъ мелодическимъ, какъ стихъ Жуковскаго, нигдѣ не достигаетъ онъ высокости стиховъ Державина, но за то въ немъ слышна гармонія, составленная изъ силы Державина, нѣжности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковскаго. Вся Классическая чопорность съ него сбита совершенно. Если Пушкину не суждено влить въ него новой самобытной души, то, по крайней мѣрѣ, вся внѣшность его пересоздана уже вполнѣ и совершенно.

Наконецъ, не смотря на Байронизмъ и чуждую идею, какими своими богатыми подробностями, какими собственными поэтическими частностями блестятъ и красуются творенія Пушкина! Разсмотрите ряды кар-

тинъ, описаній, переходовъ изъ чувства въ чувство, въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ*, *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*, *Цыганахъ* и *Онѣгинѣ*. Замѣтьте и то, что съ каждымъ шагомъ, Пушкинъ становился выше, самобытнѣе, разнообразнѣе, и что единство его генія постепенно прояснялось болѣе и болѣе. Въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ* онъ еще простая элегія; въ *Бахчисарайскомъ фонтанѣ* онъ становится уже поэтическою картиною; въ *Цыганахъ* видна уже мысль. Всего лучше замѣтите вы все это въ *Онѣгинѣ*, прочитавъ одну за другою, сряду, все восемь главъ его. Поэтъ начинаетъ Онѣгина чудною исповѣдью души, какъ будто артистъ звучнымъ, сильнымъ аккордомъ. Но *первая глава* самой поэмы пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена поэзіи; *вторая* впадаетъ въ мелкую сатиру; но въ *третьей* — Татьяна есть уже идея поэтическая; *четвертая* облекаетъ ее еще болѣе уважительными чертами; *пятая* — сонъ Татьяны, довершаетъ поэтическое очарованіе; въ *шестой* поэтъ снова впадаетъ въ прежній тонъ насмѣшки, эпиграмму, и тоже слѣдуетъ въ *седьмой*, но поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ выкупаетъ все, и — наблюдите разницу насмѣшливаго взгляда *первой* и *седьмой* главы: тамъ острякъ — здѣсь поэтъ; тамъ холодная эпиграмма — здѣсь уже голосъ обманутой души, оскорбленнаго сердца, выражаемый поэтически! Это еще болѣе отличаетъ *восьмую* главу, и послѣднее изображеніе Татьяны показываетъ вамъ, какъ измѣнился, какъ возмужалъ поэтъ семью годами, протекшими отъ изданія первой главы *Онѣгина*.

Идея народности проявляется наконецъ Пушки-

нымъ въ *Полтавѣ*. Его *Русланъ*, *Кавказскій Плѣнникъ*, *Алеко*, *Онѣгинъ* были тѣни, которыя можете переносить куда угодно. *Мазепа*, *Кочубей Марія*, *Петръ* — созданія Русскія, мѣстныя; еще не вездѣ видѣнъ вѣрный очеркъ, еще прежняя тѣнь поэзіи Пушкина ложится и на сіи лица, еще не вѣренъ и отчетъ въ главной идеѣ поэмы, но вы видите уже, какъ самобытность поэта, такъ и національность его созданій, и можете предугадывать, что изъ него можетъ быть при дальнѣйшемъ порывѣ впередъ.

Не полонъ былъ-бы объемъ сочиненій Пушкина, и потерялись-бы для насъ примѣты его постепенно большей самобытности, и безпрерывно возраставшей мѣстности и національности его поэзіи, если-бы мы, кромѣ поэмъ, не пересмотрѣли его мѣлкихъ стихотвореній. Не говоримъ о *Нулинѣ* — забавной шуткѣ, о *Братьяхъ разбойникахъ*, гдѣ отзывается Русь сквозь Байроновскую оболочку, но припомните себѣ три части *стихотвореній Пушкина*. Здѣсь болѣе 200 пьесъ характеризируютъ поэтическое поприще его *съ* 1815 *по* 1832 годъ; здѣсь лѣтопись его поэтической жизни, и впечатлѣній, отвсюду втѣснявшихся въ его душу, отъ мирной юности Царскосельскаго Лицея до новой Петербургской жизни, во все время странничества его на Кавказѣ, по степямъ Новороссійскимъ, въ долинахъ Арзерума, и среди суеты столичной, и въ глуши деревни.

Не будемъ говорить о пьесахъ ничтожныхъ, или подсказанныхъ разными случаями, ни о мѣлочахъ, недостойныхъ Пушкина, какъ-то: эпиграммахъ на людей, не стоившихъ даже щелчка, альбомномъ сорѣ, стран-

ныхъ дистихахъ въ *мнимо-древнемъ* родѣ, переводахъ, которые могъ-бы Пушкинъ отдать на драку другимъ, жаждущимъ движенія поэтической воды восторга, хотя-бы чужаго (впрочемъ, изъ *переводовъ* его не льзя не замѣтить нѣкоторыхъ, какъ-то: подражаній Библіи, и особливо *отрывка изъ Вильсоновой траведіи*, т. III, стр. 62: они прекрасны). Мы увѣрены, что со временемъ самъ Пушкинъ выброситъ изъ собранія своихъ сочиненій многое, какъ-то: *Загадку* (т. III, 41), *Собраніе насѣкомыхъ* (стр. III, 203), *Дорожныя жалобы* (т. III, 34), *Посланіе къ Вельможѣ* (т. III, 49) — все это недостойно его!

Обратите вниманіе на другое: на красоту пьесъ — Гробъ Анакреона, Амуръ и Гименей, Торжество Вакха, Мечтателю, Русалка, Домовому, Уединеніе, Прозерпина, Возрожденіе, Черная шаль, Нереида, Дочери Кара-Георгія, Война, Гробъ юноши, Къ Овидію, Ч—ву, Муза, Друзьямъ, Гречанкѣ, Подражаніе-Корану, Вакхическая пѣсня, 19-е Октября, Воспоминаніе, Предчувствіе, Кавказъ, Делибашъ, Отвѣтъ анониму, Бѣсы, Трудъ, Узникъ, Анчаръ — пьесъ, писанныхъ въ разное время и столь разнообразныхъ. Но здѣсь еще не вполнѣ узнаете вы поэта, здѣсь еще онъ не выше Баратынскаго, Языкова, Хомякова. Взгляните на *отличительныя* созданія Пушкина. Такими почитаемъ мы пьесы: *Наполеонъ* (пис. 1821 г.), *Демонъ* (1823 г.), *Къ морю* (1824 г.), *Андрей Шенье*, *Отрывокъ изъ Фауста* (объ 1825 г.), *Ангелъ*, *Поэтъ* (объ 1827 г.), *Чернь* (1828 г.), *Моцартъ* и *Сальери* (1830 г.). Посмотрите, какъ благородно, величественно преклоняется поэтъ

передъ тѣнями двухъ великановъ современныхъ— *Наполеона* и *Байрона*; какъ съ негодованіемъ смотритъ онъ на бездушную *чернь*, непонимающую высокаго изящества поэтическихъ думъ; какъ оправдываетъ онъ завѣтнія *поэта*, въ чаду мірской суеты; какъ изображаетъ участь незаслуженной жертвы Робеспьера! Въ *Демонѣ* — полная картина безумнаго ожесточенія души человѣческой, противъ всего возвѣщающаго ей высокое и прекрасное; въ *Ангелѣ* — глубоко запавшее въ душу самаго отверженнаго духа зерно неба, и полное презрѣніе ко всему не-небесному; наконецъ, въ *Отрывкѣ изъ Фауста* раскрыта темная сторона, тайна, которую съ ужасомъ прочитаетъ въ сердцѣ своемъ каждый человѣкъ; въ *Моцартѣ* и *Сальери* ярко схвачена таинственность созданій генія, приводящая въ отчаяніе обыкновенный умъ, простое дарованіе, всякое «человѣческое» искуство. Вотъ гдѣ обозначилъ себя Пушкинъ, вотъ наши залоги того, что можетъ онъ создать, если сбросивъ оковы условій, приличій пошлыхъ и суеты, скрытый въ самого себя, захочетъ онъ дать полную свободу своему сильному генію!

Почти все приведенныя нами пьесы такъ извѣстны Русскимъ читателямъ, что нѣтъ надобности выписывать ихъ: кто ихъ не читалъ и даже не знаетъ наизусть? Но, можетъ быть, не всякій обращалъ на нихъ полное свое наблюденіе, не всякій понялъ, на примѣръ, то высокое благородство, съ какимъ Пушкинъ привѣтствовалъ тѣнь Наполеона. Еще до сихъ поръ на могилѣ великаго человѣка раздаются вопли близорукаго мщенія; мнимое усердіе къ отечеству до сихъ поръ

вросаетъ еще грязью въ незыблемый потокъ безсмертія до сихъ поръ, и въ стихахъ, и въ прозѣ, и въ исторіи, и въ мнимо-патріотическихъ романахъ. Наполеона представляютъ намъ нашимъ-то Пугачевымъ, или много если Тамерланомъ и Аттилою. А Пушкинъ, въ самыя минуты Наполеоновой кончины, смѣло говорилъ ему, угадывая голосъ потомства и безсмертія Наполеона:

Пріосѣненъ твоею славой,
Почій среди пустынныхъ волнъ!
Великолѣпная могила. . . .
Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмертія горитъ. . .
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!
Хвала! Онъ Русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ!..

Менѣе ли прекрасенъ геній поэта нашего, когда онъ провожаетъ прощаніемъ могучій духъ Байрона, стоитъ въ думѣ на берегу моря, именуетъ Байрона пѣвцомъ морскихъ волнъ, вызываетъ море, символъ Байрона, взволноваться непогодою, и говоритъ ему —

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ:
Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ —
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мрачемъ,
Какъ ты на тѣмъ неукротимъ!

Поэтъ задумчиво сливаетъ потомъ съ памятью Байрона память Наполеона, летитъ мыслью на дикую скалу, пустыню моря, къ одному предмету, могущему поразить душу, гробницѣ славы, гдѣ въ мрачный сонъ погрузились величавыя воспоминанія — гдѣ угасалъ и почилъ среди мученій Наполеонъ... И міръ опустѣлъ въ глазахъ поэта, когда вслѣдъ за тѣмъ изчезаетъ другой властитель нашихъ думъ. . . .

. ? . Куда-бы нынѣ
Я путь безпечный устремилъ?
Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
Мою-бы душу поразилъ,
Одна скала, — гробница славы:
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы —
Тамъ угасалъ Наполеонъ.
- Тамъ онъ почилъ среди мученій...
И въ слѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался геній,
Другой властитель нашихъ думъ —
Изчезъ, оплаканный свободой,
Оставя міру свой вѣнецъ . . .
Міръ опустѣлъ- . . . . .

Не будемъ разбирать *Андрея Шенье*,—полной поэмы, гдѣ блескъ стиховъ и живопись картинъ равны грозному негодованію, потрясающему душу поэта. Но, разберите *Демона*. Вотъ пьеса, гдѣ нѣсколькими стихами выражено все, могущее увлечь юную душу — новость впечатлѣній бытія, взоры дѣвъ, ночное пѣніе соловья, и шумъ мрачной дубравы, чувство свободы, славы, любви, и волненіе вдохновенныхъ искуствъ, осѣ-

нляющее внезапною тоскою часы надеждъ и наслажденій. Какое искуство: противопоставить всему этому тайныя посѣщенія злобнаго генія, печаль встрѣчи съ нимъ, его *чудный* взглядъ, улыбку, язвительную рѣчь, вливающую хладный ядъ въ душу, его *неистощимую* клевету, которою *искушаетъ* онъ Провидѣніе, его презрѣнье вдохновенія, его названіе прекраснаго мечтою, его *невѣріе* въ любовь и свободу! Вспомните наконецъ заключительные стихи этой глубокой философіи поэтической:

. . . .ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ!

Но хотите-ли разгадать тайну этого генія злобы? Микель-Анджеловская картина передъ вами: *ненависть* ко всему небесному, *презрѣніе* ко всему земному — и какъ очаровательно выражена эта тайна различія неба и земли! Если вы не поняли ея — истолкованія не пояснятъ ея для васъ!

Отрывокъ изъ Фауста, Гете могъ-бы вмѣстить въ свое безсмертное созданіе, и его не отличили-бы въ ряду картинъ, составляющихъ эту дивную эпопею пѣвца Германскаго. Въ *Моцартѣ и Сальери* такая-же ужасающая истина, какъ и въ отрывкѣ изъ Фауста. Вспомните только сіи слова Сальери:

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній — не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ —
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго? О Моцартъ, Моцартъ!

И это отчаянія, это борьбу бешенства страсти, это отчаянное негодованіе дарованія, безсильнаго передъ геніемъ:

Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нетъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наслѣдника какъ мнѣ оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ немой херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!
Такъ улетай-же — чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Подробный разборъ красотъ и самыхъ выраженій должно предоставить эстетическому чувству — довольно упомянуть о великомъ и прекрасномъ; не будемъ уподобляться старымъ лагарпамъ, доказывая правилами риторики изящество, прелесть стихотворѣній, о которыхъ мы здѣсь говорили, не станемъ доказывать читателямъ каждаго слова, и подсказывать имъ: «здѣсь восхищайтесь, здѣсь плачьте, здѣсь радуйтесь, здѣсь печальтесь» — тѣмъ болѣе — если угодно вѣрное логическое доказательство — что это увлекло-бы насъ далеко за предѣлы нашей статьи.

Скажемъ о пьесахъ совершенно другаго рода, другаго направленія. *Вступленіе* къ Руслану и Людмилѣ и двѣ пьесы: *Женихъ* и *Утопленникъ*, дополняютъ то, что мы сказали выше сего о проявленіи въ *Полтавѣ* Пушкина самобытной народности. Наташа, съ ея добродушными словами:

Злодѣй давнуть рубитъ:
Ей праву руку рубитъ...
Она глядитъ ему въ лицо —
«А это съ чьей руки кольцо?»

И этотъ бѣдный мужикъ, который боится Земскаго Суда болѣе совѣсти — эта живая картина съ природы: мертвецъ, снова плывущій внизъ за могилой и крестомъ, плывущій долго, и какъ живой, качающійся между волнами рѣки, ночная буря, явленіе утопленника — все это также наше Русское, чисто народное, какъ народны картины Русскихъ сказокъ, изображенныя во вступленіи къ Руслану и Людмилѣ.

Читатели можетъ быть удивятся, что мы не скажемъ здѣсь объ одномъ изъ послѣднихъ сочиненій Пушкина: *Сказка о Царѣ Салтанѣ*. Имѣя на то свои причины, мы упомянемъ объ этомъ въ послѣдствіи. По всему, по времени изданія и по сущности, *Бориса Годунова* должно почесть *окончательнымъ* твореніемъ Пушкина: въ немъ соединены всѣ его достоинства, всѣ недостатки — весь Пушкинъ и вся его поэзія, каковы онъ и она были донынѣ и являются въ *нынѣшнемъ* своемъ состояніи. Сообразимъ-же, приступая къ *Борису Годунову*, предварительно все, что мы говорили здѣсь о Пушкинѣ и его поэзіи!.....

Безъ опредѣленія предмета ничто не будетъ опредѣленно. Что дѣлать съ бѣднымъ умомъ человѣческимъ, если онъ безъ отчета логикѣ шагу порядочно сдѣлать не можетъ, даже разсматривая произведенія поэтическаго восторга! Постараемся, по крайней мѣрѣ, хотя о

томъ, чтобы опредѣленія наши не походили на опредѣленія одного извѣстнаго Словаря, гдѣ находите иногда дефиниціи Поэзіи и Любви, почти такого содержанія: Поэзія—*способность выражаться мѣрною рѣчью, или стихами, и созвучіями, или рифмами, въ украшенныхъ картинами, описаніями, а также и другими вставочными мѣстами, сочиненіяхъ, коихъ обыкновенная рѣчь не допускаетъ*; Любовь — *стремленіе душевное, соединенное съ тѣлеснымъ вожделѣніемъ, заставляющее находить въ одной женщинѣ всѣ совершенства Природы и Человѣка, желать соединиться съ нею законнымъ бракомъ, и производить послѣ себя потомство, или возпроизводить себя въ дѣтяхъ*. Боясь, что слова наши почтутъ несправедливою шуткою, скажемъ, что немного лучше были многія Русскія критическія статьи о Пушкинѣ; доказательства сего, отчасти, представимъ мы далѣе.

Спрашиваемъ: какой поэтъ Пушкинъ *преимущественно?* Точно-ли выражаетъ онъ собою Европейскую литтературную *современность*, главныя черты коей означили мы въ началѣ нашей статьи? Наконецъ, какъ понимаетъ онъ приложеніе новыхъ идей къ *самобытной Русской Поэзіи?*

Главное сходство Пушкина съ Державинымъ: онъ поэтъ *лирическій*. Въ наше время не должно ждать отъ него одъ торжественныхъ, если и самую оду иначе теперь понимаютъ. Державинъ писалъ уже *не оды*-собственно. Но лиризмъ Пушкина видѣнъ во всѣхъ его поэмахъ, и въ самомъ размѣрѣ, какой онъ всего чаще выбиралъ для своихъ созданій. Если лиризмъ сливает-

ся въ нашъ вѣкъ съ эпопеею и съ драмою, этотъ современный намъ характеръ поэзіи есть характеръ поэзіи Пушкина. Но лирическая поэзія — мгновенный пылъ, огонь, вихрь, низшая степень поэтическихъ твореній, ибо она не столь всеобъемлюща, не столь продолжительна, не столь глубока, какъ чистая эпопея и полная драма. Байронъ безспорно ниже Данте и Шекспира. Чѣмъ? Онъ собственно-лирикъ, а Данте эпикъ, Шекспиръ драматикъ. Байронъ молнія — Шекспиръ солнце.

Смѣшаннымъ направленіемъ лиризма, Пушкинъ носитъ уже на себѣ типъ современности. Разсматривая подробно его творенія, окончательно увѣряемся, что Пушкину не чуждо было и есть все, что волновало, двигало, тревожило нашъ разнообразный вѣкъ. Всего болѣе онъ подчинялся могуществу Байрона, но и другія силы Романтизма ярко отражались на немъ: Баллада Испанская, Нѣмецкая, Поэзія Восточная и Библейская, Эпопея и Драма Романтическая, разнообразіе Юга и Сѣвера, вдохновляли его Лиризмъ, стремящійся къ Эпопеѣ и Драмѣ. Все это, выражая характеръ современности, составляя характеръ Пушкина, должно было напослѣдокъ привести его къ Драмѣ и Роману. Но Романъ, какъ прозаическое отдѣленіе, не могъ соотвѣтствовать наклонности дарованія Пушкина, и—опытъ его въ Романѣ былъ во все неудаченъ: мы разумѣемъ здѣсь *Повѣсти* въ прозѣ, изданныя Пушкинымъ подъ именемъ *Бѣлкина*. Другой опытъ романа, видѣнный нами въ одномъ изъ альманаховъ, брошенъ былъ поэтомъ неконченный; онъ лучше сни-

сходительныхъ друзей своихъ и поклонниковъ умѣетъ оцѣнять самого себя. И такъ, подобно современности, неудовлетворяемый однимъ Лиризмомъ, и сильно устремившійся въ Эпопею, потомъ къ Драмѣ, Пушкинъ послѣ нѣсколькихъ поэмъ рѣшается создать Драму. — Но, какая-же Драма займетъ нашего поэта? *Классическая* невозможна; объ ней и говорить нечего. Обратится-ли онъ къ мѣлкой дроби драматической, *мѣщанской трагедіи?* Или захочетъ создать Драму эпическую, Южнаго происхожденія, которая оживляла мистеріи Кальдерона и отозвалась въ нѣкоторыхъ твореніяхъ Шиллера (*Орлеанской дѣвѣ*, *Мессинской невѣстѣ*), въ *Фаустѣ* Гетевомъ, въ фаталическихъ созданіяхъ Мюльнера и мистическихъ твореніяхъ Вернера, *ту* Драму, гдѣ тайны Судьбы выставляются наружу, на сцену, въ дѣйствіи? Или, наконецъ, осуществитъ онъ для отечества Драму Сѣверную, коей высокій типъ представляетъ Шекспиръ, и которую столь справедливо уподобляютъ статуѣ Лаокоона, гдѣ сила Судьбы выражается только змѣями — страстями человѣческими, и борьбою воли человѣка противъ сихъ змѣй, какъ тайныхъ опредѣленій Судьбы жизнью человѣческою? И въ сей Драмѣ изобразитъ-ли онъ кипѣніе страстей и рѣшенія судьбы въ движимости событій, какъ дѣлаютъ это новые Французы; или осуществитъ ихъ въ представленіи огромныхъ характеровъ, каковы Макбеты, Отелло, Лиры, Гамлеты Шекспировы; или, наконецъ, только возсоздастъ вѣрно протекшія событія въ *Историческихъ* драмахъ, подобныхъ драматической хроникѣ Шекспировыхъ Генриховъ и Ричардовъ? И въ семъ отдѣленіи

драмы, будетъ-ли онъ только связывать рамою драмы событія дѣйствительныя, какъ видимъ это въ новыхъ Французскихъ *историческихъ сценахъ*; или будетъ облекать отдѣльнымъ единствомъ полныя части событій, какъ дѣлалъ Шекспиръ, сохраняя притомъ истину исторіи; или наконецъ, удаляясь отъ исторіи, представитъ ихъ въ обманчивомъ свѣтѣ идеаловъ, каковы Гетевъ *Эгмонтъ*, или Шиллеровы *Донъ Карлосъ* и *Валленштейнъ?* — И гдѣ возметъ онъ краски: въ изобрѣтеніяхъ-ли своихъ, или въ исторіи, и если въ исторіи, то въ отечественной-ли?

Желая рѣшить всѣ сіи вопросы, находимъ, что Пушкинъ рѣшился создать *драму* сѣверную, *историческую*; что образцомъ его была *Шекспирова* историческая драма. Онъ хотѣлъ проявить притомъ самобытное, національное, и взялъ предметъ изъ отечественной исторіи. Разборъ драмы Пушкина покажетъ, какъ понимаетъ онъ теорію Драмы, и вѣрно-ли дѣлаетъ приложенія новыхъ идей для самобытности Русской драмы.

Предварительно нѣсколько словъ о новѣйшей Драмѣ. Утвердивъ мнѣніе, что Драма и въ нашъ вѣкъ необходимо должна существовать, какъ существовала она во всѣ другіе, спрашиваютъ: какая должна быть наша Драма?

Намъ кажется, что это вопросъ совершенно безполезный. Отвѣтъ на него заключается въ сущности драмы вообще, въ направленіи дарованій писателя, и въ предметѣ, какой извираетъ онъ для своей драмы. Что намъ за дѣло, увлекается-ли онъ въ мысль о Судьбѣ Древнихъ, въ фатализмъ Германцевъ, въ духовность

мистерій! — Вѣренъ-ли онъ выбранному идеалу созданія? Выполняетъ-ли онъ изящно свою идею въ развитіи частей? Вотъ вопросы, заключающіе въ себѣ рѣшеніе критики. Грилльпарцеръ потому ничтоженъ, что онъ ложно смотритъ на сущность драмы; Мюлльнеръ потому хорошъ, что вѣрно выполняетъ свою основную, хотя и односторонную идею. Орлеанская Дѣва Шиллера тѣмъ недостаточна, что неумѣстная любовь и ничтожныя подробности вредятъ величію сей изящной мистеріи, а Вернеровъ *Лютеръ* прекрасенъ, при всѣхъ частныхъ недостаткахъ, если мы станемъ смотрѣть на него, какъ не на историческую, но на *мистическую* драму. Шекспирова драма хороша тѣмъ, что она полна, огромна, соразмѣрна сама себѣ, вѣрна, отчетлива, глубока.

Но Шекспирова драма не годится для насъ — говорятъ теоретики. — Мы, новѣйшіе, должны приравить къ ней все, чего не зналъ Шекспиръ, и что послѣ него узнало Человѣчество. Но измѣнится-ся отъ этого сущность драмы? Если Человѣчество разочаровалось кое-въ чемъ, если оно пояснило для себя кое-что, Поэзія не измѣнилась въ своихъ основаніяхъ, человѣкъ остался одинъ и тотъ-же, только онъ ходитъ иначе, смотритъ иначе. Это дѣло формъ. И развѣ о подробностяхъ кто нибудь споритъ? Передъ вами всѣ онѣ, всѣ роды, всѣ формы, всѣ выраженія, и свобода дается вамъ совершенная! Творите, какъ Шекспиръ, Гете, Шиллеръ, Вернеръ; изобрѣтайте свое направленіе, особенное, самобытное — мы ни въ чемъ не споримъ!

Надобно согласиться, что новая драма еще не произвела ничего вѣковаго (исключаемъ изъ сего немногіе опыты Германской драмы вѣка Гетева). Безспорно, что еще и нѣкогда ей было произвести, ибо она слишкомъ нова. Но главныя затрудненія едва-ли не состоятъ въ томъ, что 1-е, мы слишкомъ много умничаемъ, не можемъ отстать отъ авторитетовъ, и не столько творимъ, сколько *сочиняемъ*, съ излишнею чопорностью глядя на поэзію; 2-е, что мы увлекаемся крайностями, впадаемъ въ односторонность.

Для примѣра перваго, возьмите Гетева *Эгмонта* и Шиллеровы историческія пьесы. Мало было Гете изобразить Эгмонта, какъ онъ былъ, въ величественной простотѣ исторіи: онъ дѣлаетъ его молодымъ человѣкомъ и героемъ, приставляетъ мечтательную Клару, видѣнія славы и свободы, и отъ того все становится у него на ходули. Такъ идеальность Макса и Германскій либерализмъ Донъ-Карлоса повредили симъ прекраснымъ созданіямъ Шиллера. Напротивъ, какъ простъ, какъ хорошъ Шиллеръ въ *Вильгельмѣ Телѣ* — это истинная жизнь, это живая исторія!

Для примѣра другаго могутъ послужить новые Французы. Желаніе: слишкомъ строго отдавать отчетъ мѣстности, и приводить все въ философскую перспективу — вотъ недостатокъ де-Виньи. Перспектива у него вѣрна, и мѣлочи, можетъ быть, отчетливы, но простоты жизни нѣтъ, и въ огромномъ, правильномъ домѣ его живетъ система, а не человѣкъ. — Стараніе идти на перекоръ старому, личныя отношенія, систематическая мысль смѣшивать смѣшное и высокое, излишній

лиризмъ, желаніе странныхъ противоположностей — вотъ недостатки драмы Гюго.

Совсѣмъ не такъ, кажется, дѣлалъ простякъ Шекспиръ. Онъ невѣжда и геній. Системъ и піитикъ онъ не знаетъ. Ему попадается курьезная, старинная *Исторія о томъ, съ какимъ искуствомъ Амлетъ, бывшій въ послѣдствіи Королемъ Датскимъ, отмстилъ смерть отца своего Горвендилла, убитаго Фенгономъ, его дядею, и о другихъ случаяхъ его жизни.* Орлинымъ взоромъ проникаетъ онъ въ сущность идеи, скрытой въ этой сказкѣ; поэтическія подробности представляются ему сами собою; все освѣтилось глубиною его мысли; тутъ есть все — уродливости генія, великое и малое страстей, безобразное и прекрасное. Но и мысль Гамлетова, и пѣсня Офеліи, и разговоръ могильщиковъ, и монологъ Гамлета — это создано, не сочинено: все это заключалось въ нелѣпой сказкѣ Беллефореста — геній Шекспира только выростилъ вѣковые дубы изъ этихъ ничтожныхъ сѣмянъ. Онъ поливалъ ихъ волшебною водою своей поэзіи; онъ зарилъ ихъ молніями великой думы своей. Что ему за дѣло до системы и философіи? Его система въ душѣ, его философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идеѣ, которую угадалъ его геній. Онъ писалъ, можетъ быть, на какомъ нибудь обрубкѣ за кулисами; онъ не справлялся съ психологическимъ трактатомъ о душѣ человѣка. Мы не таковы: намъ надобна конторка краснаго дерева, удобный вольтеръ, гдѣ могли-бы мы сидѣть и размышлять. Если мы пишемъ Скандинавское событіе, мы справимся прежде у Маллета, что онъ пишетъ; поищемъ поэ-

тическихъ красотъ въ Снорро-Стурлезонѣ; прочтемъ Гете, Шиллера — постараемся блеснуть умомъ. Наша личность не дастъ намъ покоя, пока не опредѣлитъ предварительно картинъ, противоположностей, яркихъ мыслей, *интереса* драмы.

Всего страннѣе такое напряженіе въ *исторической драмѣ*. Тутъ вовсе не должно быть пытки нашему воображенію. Вы читаете исторію: глубокая идея, составляющая собою узелъ цѣлаго ряда событій, поражаетъ васъ—вы отгадали эту основную, тайную идею, *мысль* этого узла. Если вы вѣрно отгадали ее, то подробности, мѣстности, характеръ вѣка, характеры лицъ, даже языкъ ихъ, сами собою разовьются передъ вами; вы погрѣшите, можетъ быть, археологически, хронологически, но отнюдь не эстетически. Надѣлайте намъ такихъ ошибокъ, какихъ надѣлалъ Шекспиръ въ своихъ трагедіяхъ, взятыхъ изъ Римской исторіи, какія вставилъ онъ въ 1-ю часть своего *Генриха IV* — мы не скажемъ вамъ ни слова: вы проникли основную идею по своему; полно и вѣрно развили эту идею; идея ваша глубока и многообъемлюща; объ остальномъ мы не спрашиваемъ, ибо всѣ подробности, когда онѣ будутъ вѣрны основной идеѣ, будутъ непремѣнно истинны.

Положимъ, напротивъ, что вы взяли мѣлкую идею, или, что вы не поняли тайной мысли судьбы въ великихъ событіяхъ. Тогда, изучайте, какъ вамъ угодно, мѣстныя подробности; наставьте противоположныхъ разительныхъ сценъ; будьте расточительны на лица, какъ самый отчаянный романтикъ; придѣлайте множество

вводныхъ, частныхъ мѣстъ; блистайте отдѣльными красотами частей — все явится у васъ невѣрно, неудовлетворительно, ложно.

Мысль: создать *драму историческую*, показываетъ удивительно смѣтливый геній Пушкина, ибо онъ не рѣшился на созданіе драмы, основаніемъ которой былабы мысль, имъ самимъ изобрѣтенная. Болѣе свободный въ развитіи собственной своей идеи, онъ болѣе взялъбы на отчетъ свой, когда при томъ надобно-бы ему создавать и характеры и подробности. Кромѣ того, онъ хотѣлъ явить не только самобытное, но и *національное*, извлечь для сего элементы изъ своего роднаго, *отечественнаго*, а создавая свое собственное, вымышленное, онъ могъ удалиться отъ національнаго. Какой нибудь *Фаустъ*, *Донъ Жуанъ*, *Моцартъ* (если точно, какъ говорятъ, Пушкинъ имѣлъ въ виду сіи сюжеты для драмы) увлекли-бы его въ сферу чуждую, и не могли-бы положить основаній романтической драмы въ Россіи.

Выборъ предмета драмы есть также доказательство проницательнаго генія Пушкина. Мало найдемъ предметовъ столь поэтическихъ, характеровъ столь увлекательныхъ, событій столь разительныхъ, каковы жизнь Бориса Годунова, характеръ его, странная судьба его самого и его семейства. Сообразите притомъ, что на памяти Годунова положено самое счастливое для поэзіи обстоятельство: неточность, нерѣшительность опредѣленія историческаго — вотъ сокровище для дарованія смѣлаго и сильнаго! Прибавьте: яркость, дерзость,

такъ сказать, съ какою судьба совершала свои опредѣленія въ жизни Годунова.

Дѣйствительно: въ юности равъ Грознаго Царя; въ зрѣлости лѣтъ любимецъ и сильный вельможа слабаго сына его, послѣдней отрасли Рюрика; потомъ «первый Царь Русскій по избранію», смѣлый, сильный, могущій властитель, достойный начать собою новое царственное поколѣніе, и вдругъ — низвергаемый, губимый судьбою, въ полгода съ высоты трона бѣдственно нисшедшій въ могилу — и отъ кого и какъ? Отъ бродяги, дерзкаго разстриги, отъ ничтожной толпы его сообщниковъ. И какое-же могущество губитъ Бориса въ этомъ врагѣ? Имя невиннаго отрока, погибшаго за 14 лѣтъ, подъ мечемъ гнуснаго убійцы! Всего непонятнѣе, что безпристрастная исторія не рѣшается еще назвать Бориса *виновникомъ* этого злодѣйства, не смѣетъ положительно очернить памяти великаго человѣка проклятымъ названіемъ цареубійцы. Сколько тутъ поэзіи, и что созданное воображеніемъ посмѣемъ мы поставить рядомъ съ исторіею Бориса! Какія богатыя краски притомъ: Россія, съ своею *царелюбивою*, *православною* Москвою; Польша, съ своими рыцарскими, наѣздническими правами, съ своимъ суевѣрнымъ Королемъ; и подлѣ нея Казаки — буйная, полудикая толпа, слѣдующая за хоругвями дерзкаго искателя престола и приключеній; наконецъ тайная судьба Промысла, рѣшающаго участь двухъ великихъ царствъ, и жертва непостижимыхъ рѣшеній его въ участи семейства Борисова.... Повторимъ мысль не новую: никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзіи жизни дѣйствительной. И если ко-

гда нигдѣ это могло быть справедливо, то, конечно, въ судьбѣ Бориса Годунова.

Теперь — цѣль и выборъ прекрасны. Какъ приступитъ нашъ поэтъ къ возсозданію жизни минувшаго, къ проявленію великой мысли, запавшей въ его воображеніе? Передъ нимъ лежитъ чистое поле романтизма и ничто не стѣсняетъ его. Оцѣнитъ-ли онъ вполнѣ свою идею? Гдѣ поставитъ онъ предѣлы объему своей драмы? Какъ создастъ онъ цѣлое изъ безпрерывнаго ряда событій, и на какія точки обопретъ онъ *единство* своей драмы?

Прочтите листокъ, слѣдующій послѣ заглавнаго листка драмы Пушкина: *„Дразоцѣнной для Россіянъ памяти Н. М. Карамзина сей трудъ, геніемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностію посвящаетъ Александръ Пушкинъ.»*

И такъ, еще разъ суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанію, образованію своихъ юныхъ лѣтъ, предразсудкамъ, авторитетамъ стараго времени! Еще разъ Классицизмъ, породившій Исторію Карамзина, долженъ былъ восторжествовать надъ сильнымъ представителемъ романтизма и Европейской современности XIX-го вѣка въ Россіи! Прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ *Карамзинскаго* Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы Пушкина. Ему не поможетъ уже, ни его великое дарованіе, ни сила языка, какою онъ обладаетъ. Мы увидимъ въ его драмѣ только борьбу сильнаго генія, блѣдный оттѣнокъ великой идеи, и подробности должны быть непремѣнно ложны и сбивчивы, или безцвѣтны.

Не посовитъ и широкая рама романтизма. Ошибки новѣйшихъ драматиковъ отразятся на Пушкинѣ: онъ самъ на себя надѣлъ цѣпи.

Одну изъ неудачныхъ частей *Исторіи государства Россійскаго* составляетъ у Карамзина описаніе царствованій Іоанна Грознаго, Ѳеодора, Бориса, Лже-Димитрія и Шуйскаго. Не говоримъ объ изложеніи: оно краснорѣчиво; не говоримъ о подробностяхъ: онѣ могутъ быть, болѣе или менѣе, вѣрны. Но Карамзинъ безчеловѣчно ошибся въ основныхъ началахъ событій цѣлаго столѣтія, и до такой степени былъ изысканъ въ расположеніи ихъ подробностей, что истина совершенно потухла подъ оптическимъ зеркаломъ его разсказа, и вмѣсто настоящихъ характеровъ и дѣйствій, у него явились какіе-то призраки.

Прежде всего, Карамзинъ не понялъ (или *не хотѣлъ понять* — и тѣмъ хуже!) совершеннаго измѣненія въ духѣ народа, и въ отношеніяхъ Русской Удѣльности, какія начались съ Василія Темнаго и кончились Іоанномъ Грознымъ. Василій Темный наложилъ роковую руку на голову гидры Удѣловъ, въ борьбѣ съ Шемякою; Іоаннъ III-й сжалъ крѣпкою рукою разрозненныя части государственнаго тѣла Россіи; смерть внука Шемякина и присоединеніе Рязани къ Москвѣ Василіемъ довершили исторію Удѣловъ. Князья сдѣлались послѣ послѣ того вельможами, властители боярами, Великій Князь Царемъ; политическая борьба, съ полей междоусобія, перешла въ палаты царскія. Какъ сильна, какъ дѣятельна долженствовала быть сія новая жизнь! Она и была такова. Посмотрите на партіи Глинскихъ, Те-

лениевыхъ, Шуйскихъ, Бельскихъ, Курбскихъ; вслушайтесь въ буйство партій при смертномъ одрѣ Іоанна, уже побѣдителя Казани, уже 7 лѣтъ самовластителя Россіи, мужа въ полной силѣ возраста, супруга добродѣтельной Анастасіи, и вы узнаете, что сдѣлало сильнаго, умнаго, хотя и возмущаемаго страстями Іоанна *Грознымъ*. Онъ ужасенъ возсталъ съ своего смертнаго одра, и также свирѣпо началъ терзать Олигархію, какъ немилосердо дѣдъ и прадѣдъ его терзали удѣльную систему. Но гибель Новгорода, *шесть эпохъ* казней, и двадцать пять лѣтъ желѣзнаго правленія Іоаннова, убило-ль все это крамолу Дворскую? Нѣтъ! въ лицѣ Курбскаго, она смѣялась безсильной ярости Іоанна; въ лицѣ Скуратовыхъ, потворствуя страстямъ владыки, какъ прежде въ лицѣ Адашева владѣя добрыми его свойствами, она унижалась, раболѣпствовала, и—владѣла царствомъ, тяготѣла надъ народомъ. Не смѣла она поднять взоровъ своихъ на царскій тронъ, когда умеръ Грозный, когда 14-ть лѣтъ рукою слабаго Ѳеодора правилъ честолюбивый, отважный членъ сей крамолы, Борисъ Годуновъ. Она позволяла ему богатѣть, славиться, властвовать, но и сама, какъ туча молніями, богатѣла связями, силою, смутами. Борисъ перехитрилъ всѣхъ — онъ попралъ ногами крамолу, онъ сѣлъ на престолъ царскій, но съ сего часа онъ обрекъ себя на погибель. Что онъ станетъ дѣлать: свирѣпствовать, какъ Іоаннъ? унижаться, какъ потомъ унижался Шуйскій? Онъ думаетъ сначала привязать къ себѣ мудростью, кротостью, силою — тщетно! Вокругъ него кипятъ волненія, глухія, тревожныя — и Борисъ

принимаетъ жалкую систему *полумѣръ* (demi-mesures), самую вредную для прочной власти. Тогда настаетъ минута перелома.—Кто дѣйствователь? Дерзскій смѣльчакъ, назвавшійся увѣннымъ сыномъ Грознаго. Это имя могло-ли быть страшнымъ Годунову? Нѣтъ! обвиненіе Годунова въ смерти блаженнаго отрока было такъ неопредѣленно, и народъ никогда не посмѣлъ-бы судить совѣсти счастливаго царя своего. Но Польша видѣла политическое средство кинуть пламя раздора въ Россію. Имѣя свои разсчеты, она подкрѣпляла Самозванца. Побѣды заставили-бы ее умолкнуть. Духовенство — обстоятельство важное — было притомъ на сторонѣ Борисовой. Чего-же трепеталъ онъ? Что заставляло его робѣть, не оставлять Москвы, не являться самому къ народу и войску, при извѣстной своей отважности, и не принимать смѣло внѣшней бури на грудь свою? Кромола: ее трепеталъ Борисъ, не дерзая въ это время рѣшиться ни на грозныя, ни на милостивыя мѣры; крамола заставляла его бояться тѣни, обманывала его, измѣняла ему, возмущала умы, отвлекала отъ Бориса сердца народа. Борисъ ясно видѣлъ, чувствовалъ это, и—не перенесъ: кровь хлынула у него изъ внутренности тѣла, среди великолѣпія двора, когда онъ взиралъ на униженіе передъ собою тѣхъ, отъ кого должны были погибнуть онъ самъ, и семейство его. Тогда началось и обнаружилось необузданное своеволіе олигархіи: въ немъ погибли жена, сынъ Бориса, потомъ погибъ Самозванецъ, наконецъ погибъ и Шуйскій; оно оставило въ Россіи память *Семибоярщины*, предавало Россію Польшѣ, препятствова-

ло побѣдѣ вѣры и народа въ лицѣ Минина и Пожарскаго, и въ самомъ избраніи Михаила Романова, среди кликовъ восторга и радости, таило для себя средства для новыхъ дѣйствій. Но мы всѣ орудія въ рукѣ Провидѣнія, и все послужило потомъ ко благу и счастію Россіи.

Такъ должно смотрѣть на политическую завязку жизни Бориса и рядъ тогдашнихъ событій государственныхъ. Но что-же видѣлъ Карамзинъ? Вовсе необозначивъ измѣненія системы Удѣловъ въ дворскую Аристократію, онъ описываетъ событія, какъ началъ описывать ихъ съ самаго Рурика, исчисляетъ ежегодно происшествія, повѣствуетъ, гдѣ видитъ худо, похваливаетъ, гдѣ кажется ему хорошо — и только! Но ему надобны средства для искуства, и — вотъ Грозный является у него театральнымъ тираномъ, Полоніемъ Сумарокова; самыя нелѣпыя клеветы лѣтописей повторяются, чтобы въ Борисѣ непремѣнно представить убійцу Димитрія Царевича, какъ прежде повторялось все, что клеветалъ на Іоанна Курбскій — цѣпь противорѣчій и ошибокъ составляетъ у него описаніе всѣхъ событій. Для чего это? Для того, чтобы составить разительную картину: мщеніе божіе за кровь невинную. И вотъ всѣ яркія краски истощены, чтобы явить Бориса сначала сильнымъ, могущимъ, мудрымъ, въ I-й главѣ XI-го тома *Исторіи госуд. Россійскаго.* И словно театральный громъ, вдругъ разражается надъ цареубійцею II-я глава того-же тома! Будто такъ бываетъ въ жизни? Будто такъ было и при Борисѣ? Нѣтъ! совсѣмъ не такъ. Риторика, фразы, и сущая пустота и несообразность

открываются при самомъ легкомъ взглядѣ критики на все, что писалъ Карамзинъ о событіяхъ въ Россіи съ 1533-го до 1612-го года...

Какъ могъ Пушкинъ не понять поэзіи той идеи, что Исторія *не смѣетъ утвердительно назвать Бориса цареубійцею?* Что недостовѣрно для исторіи, то достовѣрно для поэзіи. И что могъ извлечь Пушкинъ, изобразя въ драмѣ своей тяжкую судьбу человѣка, который не имѣетъ ни силъ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе, передъ людьми и передъ потомствомъ! Клевета безвѣстная, глухо повторяемая народомъ, тлѣетъ въ душахъ олигарховъ, когда имя *Самозванца* отдается изредка въ слухѣ Бориса (онъ зналъ объ этомъ за пять лѣтъ до явнаго похода Лжедимитрія). Надъ головою его умножаются бѣдствія; крамола дѣйствуетъ—легкій слухъ превращается въ явный говоръ—Борисъ губитъ Романовыхъ, преслѣдуетъ Шуйскихъ—политика Польши обращается въ Россію — и что казалось мечтою, дѣлается всесокрушающею дѣйствительностью. Какое великое развитіе тайнъ судьбы, какое обширное раздолье для изображенія Россіи, Польши, Бориса, Самозванца, Аристократіи, Народа!

Все это утратилъ Пушкинъ, взявъ идею Карамзина. Остроумно замѣтилъ Критикъ *Европейца*, что содержаніе драмы Пушкина составляетъ очищеніе преступленія, наложеннаго на совѣсть Бориса убійствомъ царственнаго отрока. Слѣдовательно, вся драма Пушкина есть только исполненіи приговора, уже подписаннаго Судьбою? Критикъ *Европейца* обращаетъ это въ особенную похвалу Пушкину. Мы поговоримъ далѣе,

можно-ли было на сей идеѣ основать Трагедію. Теперь посмотримъ, какъ развилъ Карамзинскую идею Пушкинъ.

Замѣтьте сначала, въ какую нерѣшительность поставила она нашего поэта. Онъ создаетъ *драму* — всѣ видятъ это и самъ онъ знаетъ, но онъ не смѣетъ назвать ее драмою, и говоритъ просто: *Борисъ Годуновъ*. Это похоже на дѣтскую игру — ребенокъ закрываетъ лицо руками, и думаетъ, что онъ спрятался. Пушкинъ и не дѣлитъ драмы своей на дѣйствія: двадцать два сплошныя явленія заключаютъ въ себѣ событія съ Февраля 1598-го до Іюня 1605-го года, въ теченіе семи слишкомъ лѣтъ, начинаясь избраніемъ Бориса на царство, оканчиваясь смертію сына Борисова, и провозглашеніемъ Царя Димитрія: новая странность! Но въ сторону мѣлочи—будемъ смотрѣть на что нибудь поважнѣе.

Драма начинается разговоромъ бояръ Шуйскаго и Воротынскаго. Шуйскій открываетъ своему собесѣднику, что Борисъ былъ убійцею Димитрія Царевича, и подсмѣивается надъ упорствомъ Бориса принять вѣнецъ царскій. — Объявленіе на Красной Площади: еще разъ собраться народу, и снова идти уговаривать Бориса. — Въ третьей сценѣ является Борисъ, уже принявшій престолъ, и клянется право править Россіею.

Промежутокъ — *пять лѣтъ*. — Вводная сцена: Инокъ лѣтописецъ, и Отрепьевъ, служка его, будущій Самозванецъ, еще робкій, еще не дерзающій на умыселъ, бесѣдуютъ въ кельѣ Чудова монастыря. Сны, вѣщающіе грядущее, тревожатъ юнаго служку. Инокъ подробно разсказываетъ ему повѣсть о убіеніи Царевича, которой

Отрепьевъ *не зналъ до тѣхъ поръ!* Инокъ смѣло называетъ Годунова убійцею.

Остатокъ драмы, отъ сего мѣста, заключаетъ въ себѣ времени два года. Весь сей остатокъ дѣлится на *четыре* части. Двѣ заключительныя сцены составляютъ особенный эпилогъ. Не произвольно выдумываемъ мы сіе раздѣленіе драмы Пушкина — оно является само собою.

Отд. I. *Умыселъ* и *бѣгство Самозванца.* Сцена — Патріарха, которому доносятъ о бѣгствѣ Отрепьева, уже дерзко называвшаго себя Царевичемъ Димитріемъ, спасеннымъ отъ умысла Годунова. Патріархъ не рѣшается однакожъ тревожить Царя извѣстіемъ объ этомъ дѣлѣ. — Сцена во дворцѣ: Борисъ печалится, груститъ, и высказываетъ самъ себѣ упреки своей совѣсти за убіеніе невиннаго Царевича. — Дѣйствіе переносится на Литовскую границу, гдѣ хитрою уловкою Самозванецъ спасается отъ царскихъ приставовъ. Слѣдовательно — Борисъ *уже знаетъ объ немъ*, уже беретъ сильныя предосторожности.

Отд. II. *Слухи объ успѣхахъ Самозванца и страхъ Бориса.* Пиръ въ домѣ Шуйскаго. Хозяинъ, оставшись наединѣ съ Пушкинымъ, искреннимъ другомъ своимъ, разговариваетъ о слухахъ изъ Польши: тамъ уже принимаютъ, чествуютъ Самозванца. Бояре страшатся смятеній, и высказываютъ другъ другу взаимныя жалобы на правленіе Бориса. — Сцена во дворцѣ: Борисъ хочетъ насладиться бесѣдою съ сыномъ и дочерью, но является главный шпіонъ его, Семенъ Годуновъ, съ докладомъ о пирѣ у Шуйскаго, и гонцѣ, пріѣхавшемъ изъ Польши къ Пушкину. Шуйскій предвидѣлъ это —

онъ самъ пришелъ донести ово всемъ. Борисъ ужасается (неуже-ли онъ не зналъ всей мѣры опасности?), и требуетъ удостовѣренія отъ Шуйскаго о томъ, точно-ли Царевичъ былъ убитъ въ Угличѣ? Шуйскій начинаетъ разсказывать ему всѣ подробности, но разсказъ этотъ приводитъ въ трепетъ Бориса. Онъ видитъ, что на него идетъ точно Самозванецъ, и велитъ только усилить предосторожности.

Отд. III. *Дѣйствія Самозванца въ Польшѣ и походъ.* Іезуитъ и Самозванецъ оканчиваютъ какой-то разговоръ; приходъ Русскихъ изгнанниковъ, измѣнниковъ, Казаковъ, Поляковъ, готовыхъ идти съ Самозванцемъ; Самозванецъ принимаетъ ихъ; какой-то поэтъ подноситъ ему стихи. — Вводная сцена на балѣ у Мнишека: Марина обольщаетъ собою Самозванца, и назначаетъ ему свиданіе ночью, въ саду. — Большая вводная сцена сего свиданія: желая узнать его-ли самого, или только *имя* Царевича любитъ въ немъ Марина, Самозванецъ открываетъ ей свою тайну. Нерѣшительное слѣдствіе сего объясненія. Сцена перехода черезъ границу Русскую Самозванца и его сообщниковъ.

Отд. IV. *Успѣхи Самозванца и гибель Бориса. Дѣйствіе въ Москвѣ и разныхъ мѣстахъ Россіи.*—Совѣтъ Бориса; онъ отправляетъ противъ Самозванца войско. Патріархъ совѣтуетъ перенести въ Москву тѣло убіеннаго Царевича, и тѣмъ уличить Самозванца Но это снова смутило совѣсть Бориса. — Битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ — Сцена Юродиваго, который *еще разъ* напоминаетъ Борису о смерти Царевича.—Двѣ

различныя сцены похода Самозванца въ Россіи: представленіе плѣнника предъ Самозванца, и ночлегъ въ лѣсу послѣ разбитія Самозванца, гдѣ онъ показываетъ свое удивительное хладнокровіе. — Разговоръ Басманова съ Борисомъ, изъявляющимъ ему полную довѣренность. Борисъ идетъ послѣ сего принять на аудіенціи гостей Нѣмецкихъ; Басмановъ остается одинъ; слышно смятеніе — Бориса выносятъ умирающаго: онъ велитъ оставить себя наединѣ съ сыномъ, и даетъ ему послѣднія наставленія. — Дѣйствіе въ ставкѣ Басманова: присланные отъ Самозванца уговариваютъ его измѣнить юному Ѳеодору; Басмановъ колеблется...

Эпилогъ. Гонцы Самозванца являются въ Москвѣ, на Лобномъ мѣстѣ, уговариваютъ и возмущаютъ народъ. Толпы буйствуютъ и стремятся низвергнуть Ѳеодора. — Послѣдняя сцена: Ѳеодоръ, сестра и мать его въ заключеніи; бояре идутъ къ нимъ; слышны шумъ и вопль — бояре выходятъ и объявляютъ народу, что Ѳеодоръ и мать его отравили себя ядомъ.

Если разсматривать сцены каждую отдѣльно, то большая часть изъ нихъ прекрасны — нѣкоторыя особливо отдѣланы полно и мастерски. Таковы: инокъ Пименъ и Самозванецъ; монахи на Литовской границѣ; рѣчь Патріарха въ совѣтѣ; Марина и Самозванецъ ночью въ саду; битва подъ Новгородомъ Сѣверскимъ; Юродивый и обѣ сцены эпилога. За то другія слабы, ничтожны. Таковы: самая первая; также сцена, гдѣ Борисъ избирается на царство; та, гдѣ онъ потомъ груститъ; сюда-же отнесемъ пиръ у Шуйскаго и приходъ Шуйскаго къ Борису послѣ того; всего неестественнѣе

сцена кончины Борисовой. Но такой отдѣльный разборъ сценъ будетъ всегда неопредѣлителенъ и ни къ чему не поведетъ. Притомъ, что одному нравится, то неправится другому. Для примѣра, скажемъ, что мы видали многихъ, которые въ восторгѣ отъ сцены Курбскаго при переходѣ черезъ границу, а намъ кажется, напротивъ, что это слишкомъ натянуто, изысканно и не въ духѣ времени. Другіе осуждаютъ сцену сраженія, гдѣ Маржеретъ и Розенъ говорятъ по Французски и по Нѣмецки: намъ кажется, что ничего не можетъ быть выразительнѣе и естественнѣе этой сцены. Не будемъ входить и въ мѣлкую критику выраженій. Весь этотъ разборъ явленій и словъ долженъ слѣдовать за разборомъ основной идеи и развитія ея, и когда сіи двѣ части неудовлетворительны, то красота подробностей плохая помога поэту, а при удовлетворительности ихъ, мы готовы простить всѣ частныя ошибки и погрѣшности.

Не общее-ли мнѣніе всѣхъ есть то, что когда вы прочитаете драму Пушкина, у васъ остается въ памяти множество чего-то хорошаго, прекраснаго, но несвязнаго и въ отрывкахъ, такъ, что ни въ чемъ не можете вы дать себѣ полнаго отчета? Вотъ голосъ простаго чувства всякаго читателя. Входя критически въ подробности, соображая цѣлое и части, идею и исполненіе, Исторію и Драму, вы увѣритесь, что все это совершенно справедливо, и происходитъ:

1-е. Отъ бѣдности идеи, которая не позволила поэту развить, ни характеровъ, ни подробностей, когда драма живетъ только ими.

2-е. Отъ несправедливаго понятія объ Исторической,

или вообще Романтической драмѣ. Судя по драмѣ Пушкина, все отличіе ея отъ Классической драмы состоитъ въ безсвязной пестротѣ явленій, и прыжкахъ отъ одного предмета къ другому. Но это невѣрно. Романтическая драма имѣетъ свои строгія правила, и свой порядокъ дѣйствій, который, какъ замѣчаетъ де-Виньи, можетъ быть, еще тяжеле Классическаго. Мнимая легкость Романтизма есть свобода, данная съ условіемъ — выкупить ее большею отчетливостью.

Мы уже говорили о томъ, какъ много потерялъ Пушкинъ, оставивъ самую поэтическую сторону жизни Годунова — неопредѣленность обвиненія въ смерти Царевича. Забывъ при томъ истинную причину его паденія и успѣховъ Самозванца—вуйную Русскую олигархію, забывъ и политическія отношенія Польши къ Россіи—онъ, естественно, долженъ былъ потеряться въ планѣ и развитіи его. Если съ перваго явленія намъ сказали тайну Бориса, чѣмъ сдѣлалась вся драма Пушкина? Это Le dernier jour d'un condamné *(Послѣдній день приговореннаго къ смерти)!* Вмѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу Человѣка съ Судьбою—мы видимъ только приготовленія его къ казни, и слышимъ только стонъ умирающаго преступника.

И въ этомъ размѣрѣ поэтъ могъ-бы творить обширно, свободно, могущественно, если-бы раздвинулъ предѣлы, далъ болѣе жизни и мѣры дѣйствію. Положимъ, что Пушкинъ создалъ-бы *двѣ* драмы: *одну*, гдѣ показалъ-бы намъ ненасытнаго честолюбца, его стремленіе къ трону, его злодѣйство, цареубійство, ужасъ симъ произведенный, тѣнь Царя въ лицѣ славаго Ѳеодора,

рядомъ съ нимъ добродѣтельную сестру Бориса, и, кончивъ восшествіемъ на престолъ Бориса, въ *другой* драмѣ изобразилъ-бы намъ честолюбца достигшимъ престола, славнымъ, могущимъ, почти тестемъ королевскаго сына, готовымъ благотворить, быть великодушнымъ при удачѣ и въ счастіи. Вдругъ перстъ Судебъ кладетъ на него печать проклятія. Въ то время, когда природа затворяетъ нѣдра изобилію земли, когда казны царской недостаетъ на окупленіе бѣдствій народа, нареченный зять злодѣя умираетъ. Тутъ страсти людскія кипятъ—въ народѣ разбоями и буйствомъ, въ боярствѣ смутою и интригою. И среди ихъ проникаетъ слухъ о Димитріи, уже давно тревожившій душу цареубійцы. Онъ трепещетъ, губитъ тайно близкихъ враговъ, не смѣя однакожъ рѣшиться на грозное мщеніе. Имя *Димитрія* перелетаетъ въ Польшу; честолюбіе вельможъ и политика Польскаго Короля несутъ эту бурю въ Россію. Она падаетъ на голову Бориса, и передъ ней изчезаютъ послѣдняя любовь народа, смиренное лукавство бояръ, счастіе и умъ Годунова — гибель и измѣна на полѣ битвъ—гибель и измѣна въ чертогахъ его, и тогда только страшное сознаніе излетаетъ изъ собственныхъ устъ его — признаніе цареубійства! Намъ кажется, что выразивъ такимъ образомъ въ обширной драмѣ мысль свою, поэтъ явился-бы самобытнымъ создателемъ и изумилъ-бы насъ тѣмъ величіемъ, какое изумляетъ въ самомъ несовершенномъ объемѣ подобной мысли, въ *Мессинской невѣстѣ* Шиллера, или *Очищеніи* (Die Schuld) Мюльнера.

Но что видимъ въ драмѣ Пушкина? Борисъ, лицо

камъ незнакомое, съ робкою совѣстью, съ унылою грустью, съ терзаніемъ души, является вдругъ, мимоходомъ, на минуту, принять вѣнецъ, и пять лѣтъ послѣ того пролетѣло безъ дѣйствія! Другая сцена: Борисъ грустить, какъ неопытный юноша, какъ будто въ 20 лѣтъ правленія, при Ѳеодорѣ и лично, онъ не зналъ ни вѣнца, ни бояръ, ни народа. Онъ приходитъ потомъ еще разъ полюбоваться на дѣтей; что-то разыгрывается въ немъ, но едва успѣлъ ему Шуйскій напомнить о Царевичѣ, Борисъ бѣжитъ со сцены. Опять является онъ, мудрымъ Царемъ, въ думѣ своей — неосторожный Патріархъ напоминаетъ о смерти Царевича, и Борисъ *потѣетъ* и тотчасъ удаляется. Вдругъ видимъ мы его выходящимъ изъ собора, гдѣ прокляли Самозванца: Юродивый ему на встрѣчу, съ прежнимъ извѣстнымъ упрекомъ, и Борисъ не радъ ничему. Но вотъ *послѣдняя* сцена: только что разговорился Борисъ о своихъ великихъ намѣреніяхъ, какъ спѣшитъ за кулисы, и оттуда выносятъ его проговорить 65 стиховъ политическаго завѣщанія сыну. Это-ли Борисъ *историческій?* И вообще: таковъ-ли долженъ быть страшнымъ преступникъ, въ которомъ заключается сущность цѣлой драмы?

Характеръ Самозванца едва-ли вѣрнѣе и естественнѣе Борисова, но, по крайней мѣрѣ, въ немъ есть жизнь, по крайней мѣрѣ, онъ удалъ, буренъ, порывистъ. Мечтатель въ сценѣ съ Пименомъ, онъ ловко отдѣлывается въ корчмѣ, щегольски отличается у Вишневецкаго и Мнишка, страстенъ у фонтана, и точный искатель приключеній въ трехъ сценахъ: переходъ

черезъ границу, допросъ плѣнника, ночлегъ послѣ развитія. Совсѣмъ *не таковъ* былъ Самозванецъ историческій, сколько можемъ мы представить его себѣ; но и созданный Пушкинымъ, въ слѣдствіе мысли его, какъ исполнитель кары за преступленіе Бориса, онъ — можетъ почесться сноснымъ.

При ошибкѣ въ двухъ главныхъ характерахъ, гдѣ-же Польша, гдѣ боярство Русское, гдѣ народъ, гдѣ подробности событій? Все это скрыто за кулисами. Только Шуйскій безпрерывно вертится около Бориса, стережетъ Москву, проговаривается Воротынскому, отпирается отъ этого, пируетъ, неосторожно заговаривается съ Пушкинымъ, доноситъ на него, пугаетъ Бориса, поправляетъ неосторожность Патріарха, берется уговаривать народъ. Такую-же роль играетъ у Самозванца неизбѣжный Пушкинъ (который, по исторіи, только присланъ былъ въ Москву послѣ смерти Бориса, съ письмами Самозванца къ народу). И Шуйскій и Пушкинъ наконецъ изчезаютъ; другіе во все время только безмолвствуютъ, въ совѣтѣ, на пиру, или сказавъ по нѣскольку словъ, мелькаютъ мимо. Мстиславскіе, Романовы, Салтыковы и прочіе, впослѣдствіи столь важныя лица по своему вліянію, не оттѣнены никакими красками. Самый Басмановъ только въ одной сценѣ кажется не тѣнью, а живымъ человѣкомъ. Польшу, Іезуитовъ, пановъ, шляхту Польскую, важное участіе всего этого въ дѣлѣ Самозванца, находимъ только въ двухъ небольшихъ, милолетныхъ явленіяхъ, не представляющихъ собою никакого характерическаго отличія мѣста и времени. Марина отцвѣчена сильно, но

безъ пользы, и мы готовы спросить: что слѣдуетъ изъ яркаго ея очерка?

Будучи столь неудовлетворителенъ въ отношеніи *исторической* правды, Борисъ Годуновъ долженствуетъ быть также неудовлетворителенъ и въ *драматическомъ* изяществѣ, ибо уклоняясь отъ исторіи, поэтъ не замѣнилъ сего уклоненія ничѣмъ фантазическимъ. Нѣтъ единства ни въ дѣйствіи, ни въ развитіи частей, ни въ проявленіи характеровъ; нѣтъ жизни въ подробностяхъ; все совершается за глазами зрителя и читателей; едва дѣйствіе хочетъ развернуться, едва дѣйствующіе знакомятся съ нами, какъ все опять изчезаетъ, и мы не знаемъ ни дѣйствія, ни лицъ, пока они не придутъ вновь и не разскажутъ намъ что сдѣлалось, пока они скрывались отъ насъ за кулисами.

Изъяснять здѣсь, что Романтическая драма основывается на строгомъ единствѣ дѣйствія, не только даетъ обширныя средства развить подробности и характеры въ дѣйствіи, но требуетъ непремѣнно сего развитія, и что она имѣетъ свои вѣрные, неразрушимые законы, было-бы излишне: неужели думаютъ, что допуская въ дѣйствіе даже цѣлую жизнь человѣка, отъ рожденія до смерти его, она становится черезъ то безпорядочнымъ смѣшеніемъ различныхъ явленій? Напротивъ: она гибнетъ безъ единства; она составляетъ изъ цѣлой жизни и изъ толпы дѣйствователей нѣчто *единое цѣлое*. Въ ней нѣтъ только *Классическихъ единствъ* и условій которыя безобразили-бы истину и жизнь; она только составляетъ противоположность Классической драмѣ, тѣмъ, что Классическая говоритъ — Романтическая жи-

ветъ; Классическая разказываетъ—Романтическая дѣйствуетъ; та выставляетъ образчики и прячется — эта разстилаетъ все вполнѣ и сама является на сценѣ. Не думаемъ, чтобы Пушкинъ хотѣлъ нанизать только *историческихъ сценъ*; въ семъ случаѣ, его сочиненіе, сжатое, краткое, еще менѣе выдерживаетъ судъ критики. Нѣтъ! онъ хотѣлъ создать *драму*, и въ этомъ отношеніи должно смотрѣть на его Бориса Годунова.

Вмѣсто всякихъ объясненій Романтической драмы и изложеній теоретическихъ, мы рѣшаемся представить здѣсь практическій примѣръ ея, взятый изъ Шекспира. Его драма: *Король Ричардъ II-й* (King Richard II) имѣетъ нѣкоторое сходство въ положеніи дѣйствующихъ лицъ съ сочиненіемъ Пушкина. Такъ-же какъ Годуновъ, сильный Ричардъ самовластно управляетъ Англіею; бѣдный изгнанникъ возстаетъ противъ него, и въ нѣсколько мѣсяцовъ Ричардъ былъ низвергнутъ и умерщвленъ, а противникъ его началъ царствовать подъ именемъ Генриха IV-го.

Въ порядкѣ событій Шекспиръ слѣдовалъ совершенно исторіи: прочтите Юма, Лингарда. Событія сіи чрезвычайно просты: изумляетесь, не зная драмы Шекспира, и спрашиваете — можно-ли извлечь изъ нихъ что либо драматическое? Но геній поэта умѣлъ изобразить сіи событія въ очаровательныхъ драматическихъ картинахъ, умѣлъ найдти въ нихъ единство, характеры и подробности.

Ричардъ II-й вступилъ на престолъ въ 1377-мъ году, будучи одиннадцати лѣтъ. Англіею управляли дяди Ричарда во время его несовершеннолѣтія, ограничивали

власть его, даже оскорбляли лично его самого. Событія были довольно бурны, пока самъ Ричардъ не вступилъ въ управленіе, въ 1389 году. Народъ любилъ юнаго короля; все казалось тихо и благополучно, но вскорѣ характеръ Ричарда измѣнился: онъ обременилъ народъ, покусился на права его, жестоко мстилъ врагамъ своимъ, безчеловѣчно умертвилъ старика дядю своего, Герцога Глостерскаго. Сынъ другаго дяди его, Герцога Ланкастерскаго, Генрихъ Болингброкъ, былъ обвиненъ въ порицаніи короля. Онъ утверждалъ, что это злобная клевета, и вызывалъ обвинителя своего, Герцога Норфолькскаго, на *Божій судъ*. Когда два соперника, равно опасные королю, сошлись для поединка, король объявилъ имъ обоимъ изгнаніе. Отецъ Болингброка скончался отъ горести; король захватилъ все его наслѣдственное имѣніе. Онъ отправился потомъ укрощать утѣсненную имъ Ирландію, и въ это время Болингброкъ явился въ Англіи, будто-бы за требованіемъ своего наслѣдства. Отвсюду стеклись его сообщники; народъ присталъ къ нему. Правитель Англіи въ отсутствіе Ричарда, Герцогъ Іоркскій, третій дядя короля, принужденъ былъ уступить. Ричардъ, съ притворною почестью принятый Болингброкомъ, по возвращеніи своемъ изъ Ирландіи, былъ объявленъ плѣнникомъ, и когда побѣдитель и плѣнный король прибыли вмѣстѣ въ Лондонъ, сила Болингброка заставила парламентъ возобновить дѣло о убійствѣ Герцога Глостерскаго, обвинить, низвергнуть Ричарда и отдать корону Болингброку. Тутъ открылся заговоръ Герцога Аумерльскаго, сына Герцога Іоркскаго, въ пользу

Ричарда. Казнь была участью заговорщиковъ (кромѣ Герцога Авмерльскаго), Ричардъ, возбуждавшій опасенія, былъ измѣнническиумерщвленъ въ темницѣ.

Что сдѣлалъ поэтъ? Онъ взялъ для своей драмы только два послѣдніе года жизни Ричарда. Вотъ очеркъ его творенія:

Дѣйствіе I. Торжественное обвиненіе между Болингброкомъ и Норфолькомъ, и опредѣленіе поединка.—Сцена между отцомъ Болингброка и Герцогинею Глостерскою.—Поединокъ, во всемъ его величіи, но едва начатъ онъ, король прекращаетъ его, и объявляетъ изгнаніе соперникамъ; тщетно молитъ его о пощадѣ отецъ Болингброка. Трогательное прощанье родныхъ.—Ричардъ готовится въ Ирландію; онъ торжествуетъ, слыша о тяжкой болѣзни Герцога Ланкастерскаго.

Дѣйствіе II. Смертный одръ Герцога Ланкастерскаго. Герцогъ Іоркскій, король и королева являются къ нему; дерзскія насмѣшки Ричарда. Смерть и отнятіе имѣнія Герцога Ланкастерскаго. Король отправляется въ Ирландію.—Сцена—вельможъ, передающихся Болингброку, при первомъ слухѣ о появленіи его въ Англіи. Горесть королевы. Герцогъ Іоркскій идетъ на Болингброка.—Свиданіе и сцена между нимъ, Болингброкомъ и лордами измѣнниками. Безсиліе его противиться Болингброку.—Салисбури, начальникъ Ричардовыхъ войскъ, видитъ, какъ всѣ они разбѣгаются отъ него.

Дѣйствіе III. Сцена между Болингброкомъ и захваченными имъ вельможами Ричарда.—Ричардъ и Герцогъ Авмерльскій являются въ Англіи.—Войско

Болингброка окружаетъ крѣпость Флинтъ, гдѣ скрылся Ричардъ, увидѣвъ, что всѣ войска его разбѣжались. Переговоры съ нимъ, и необходимость короля уступить сопернику. — Сцена королевы при извѣстіи объ этомъ.

Дѣйствіе IV. Парламентъ. Судъ надъ убійцами Герцога Глостерскаго. Герцогъ Іоркскій приноситъ отреченіе Ричарда; споры, явленіе самого Ричарда, его отреченіе личное. — Смятеніе и жалость, имъ возбужденныя. Генрихъ принимаетъ корону.

Дѣйствіе V. Прощаніе Ричарда при разлукѣ съ королевою. — Сцена между Герцогомъ и Герцогинею Іорскими: отецъ открываетъ умыселъ сына противъ Генриха. Раскаяніе и слабость виновнаго. Отецъ спѣшитъ обвинить его, мать просить за него. — Явленіе ихъ передъ королемъ. — Злые прислужники, изъясняющіе слова короля о Ричардѣ: Have I no friend will rid me of this living fear (не уже ли нѣтъ у меня друга, который избавилъ-бы меня отъ этого живаго страха)? — Они бѣгутъ въ темницу Ричарда. — Торжествующій Генрихъ. Къ нему приносятъ гробъ Ричарда. Негодованіе Генриха и упреки его убійцамъ.

Не знаете: чему болѣе удивляться въ этомъ превосходномъ созданіи — искуству-ли, съ какимъ извлечено единство дѣйствія драмы; связи-ли подробностей, величественно, богато раскрытыхъ поэтомъ; вѣрности-ли, съ какою слѣдовалъ поэтъ исторіи (*), или простотѣ его

* Только одно отступленіе сдѣлалъ Шекспиръ: представилъ королеву, супругу Ричарда, но его первая супруга уже умерла въ это время, и онъ былъ только обрученъ съ малолѣтною Изабеллою, Французскою принцессою, а свадьба отложена была до ея совершеннолѣтія.

созданія и глубокому познанію характеровъ, угаданныхъ поэтомъ въ сухой лѣтописи? Нѣсколько словъ о *характерахъ*: они долженствовали быть точно таковы, какъ изобразилъ ихъ Шекспиръ—легкомысленный, гордый, жестокій по прихоти, не по душѣ, потомъ упавшій духомъ Ричардъ; хладнокровный, величественный въ самомъ преступленіи, увлеченный успѣхомъ, смѣсь добра и зла Болингброкъ; слабый, вѣрный обязанности, полагающій добродѣтель въ исполненіи словъ властителя, Герцогъ Іоркскій, не отступающій отъ Ричарда, пока вѣнецъ былъ на головѣ его, потомъ столь-же преданный Генриху; Герцогъ Аумерльскій, пылкій, добрый, но ничтожный; Герцогиня Іоркская — истинная женщина и мать; Королева—трогательная жертва бѣдствій, Норфолькъ, Нортумберландъ, Салисбури, Архіепископъ Кантербурійскій, Экстонъ — каждый съ своимъ рѣзкимъ типомъ, всѣ оттѣненные ярко, сильно, живые, движимые. Историкъ можетъ изучать Шекспирову драму, чтобы послѣ того лучше понимать Юма и лѣтописцовъ Англійскихъ! Какія разительныя положенія, какіе неожиданные переходы страстей и отношеній, какое искуство внушить состраданіе, поселить ужасъ, увлечь читателя и зрителя въ положеніе дѣйствующаго лица... По общему суду критиковъ, это еще не *лучшая* изъ историческихъ драмъ Шекспира.

Впрочемъ, мы не для того выставляемъ здѣсь Шекспира, чтобы по его генію осудить нашего поэта: уродливый мужикъ этотъ, въ продолженіе 20 годовъ написалъ 40 пьесъ, и въ теченіе многихъ лѣтъ ежегодно выставлялъ по драмѣ, а эти драмы были — *Ромео*

и *Юліи*, *Гамлетъ*, *Ричардъ II-й*, и т. п., съ прибавкою еще каждое лѣто по одной комедіи. Но мы говоримъ о Шекспировомъ Ричардѣ для поясненія словъ нашихъ, что *Борисъ Годуновъ* не выдерживаетъ суда критики, разсматриваемый, какъ драматическое созданіе. Примѣръ Шекспира надобенъ былъ намъ для опредѣленія, что и какъ извлекаетъ изъ чего нибудь подобнаго великій драматическій геній.

Для большаго поясненія, мы укажемъ здѣсь еще на твореніе, мало извѣстное Русскимъ читателямъ. Въ бумагахъ Шиллера, послѣ смерти его, найденъ былъ полный планъ трагедіи *Димитрій Самозванецъ*, и нѣсколько сценъ, уже написанныхъ. Намъ кажется, весьма любопытно сличить здѣсь: какую идею, и какъ образовалъ изъ исторіи Бориса и Самозванца Шиллеръ, безъ сомнѣнія, самый «драматическій» геній новой поэзіи.

Завязку его драмы составляетъ *Самозванецъ собственно*. Шиллеръ преображаетъ многое по своему, но— повѣрятъ ли? Въ его драмѣ найдемъ мы болѣе даже исторической правды, нежели въ драмѣ Пушкина. Отъ чего? Поэтъ угадалъ основную идею событій; подробности его поэтически полны, стройны, разительны, великолѣпны, и частныя невѣрности изчезаютъ для насъ въ истинѣ поэзіи. Конечно, не должно искать мѣстности, національности въ Шиллеровомъ созданіи, но судите объ немъ, какъ о поэтическомъ созданіи, и оно невольно изумитъ васъ. Вотъ очеркъ сего сочиненія:

Дѣйствіе I. Сеймъ въ Краковѣ. Самозванецъ про-

ститъ защиты Короля и Рѣчи Посполитой, какъ сынъ Іоанна, у котораго отнялъ престолъ хищникъ, покушавшійся на самую жизнь его въ младенчествѣ. Но провидѣніе спасло Димитрія, и онъ вѣритъ, что Іоаннъ былъ отецъ его. Смятеніе Сейма; раздоръ партій; Сапега, другъ Бориса, разрушаетъ сеймъ своимъ veto. Но король позволяетъ принять участіе въ предпріятіи Димитрія Мнишку и другимъ. Честолюбивая Марина составляетъ душу сообщниковъ Димитрія. Она жаждетъ престола, какъ другіе жаждутъ славы, корысти и приключеній.

Дѣйствіе II. Отдаленный монастырь, гдѣ скрывается отъ свѣта монахиня Марѳа, бывшая супруга Грознаго, мать истиннаго Димитрія. Бѣдный рыбакъ приноситъ въ обитель вѣсти о появленіи Димитрія въ Польшѣ. Изумленіе, радость, ужасъ Марѳы: она готова сомнѣваться въ смерти своего сына; она готова назвать сыномъ чуждаго человѣка, если видитъ въ немъ мстителя своему злодѣю. Является архіерей, присланный отъ Бориса, чтобы потребовать отъ нея обличенія Самозванца. Марѳа отказывается, и изъ глуши обители поражаетъ ужасомъ гордаго Царя на престолѣ. — Сцена перехода Самозванца черезъ границу Россіи: передъ нимъ разстилаются раздольныя Русскія страны; радость войска и грусть Димитрія, при мысли, что война опустошитъ сіи прекрасныя области. Возмущеніе въ деревнѣ, гдѣ жители пристаютъ къ Димитрію.

Къ сожалѣнію, здѣсь оканчиваются неполныя сцены II-го дѣйствія. Остальное Шиллеръ успѣлъ только

изложить краткими замѣтками. Вотъ какъ хотѣлъ онъ продолжать и окончить свою драму:

Станъ Димитрія. Онъ разбитъ, но Борисъ не смѣетъ двинуться на него послѣ побѣды, видя дурное расположеніе войскъ своихъ. Димитрій готовъ предаться отчаянію. Казаки его бунтуютъ. Станъ Бориса. Удаленіе Бориса въ Москву (куда бросился онъ искать подкрѣпленія войску и утушить измѣну) производитъ безпорядки въ его лагерѣ. Салтыковъ измѣняетъ. — Борисъ деспотствуетъ въ Москвѣ. Не смотря на вѣрность многихъ бояръ, онъ страшится общаго бунта. Сцена между имъ и архіереемъ (какая? не извѣстно). Отвсюду приходятъ пагубныя вѣсти; бояре бѣгутъ къ Димитрію, города сдаются, народъ бунтуетъ, войско почти все переходитъ къ Самозванцу.

Сцена между Борисомъ и Ксеніею. «Какъ отецъ (выписываемъ здѣсь вполнѣ собственныя слова Шиллера), Борисъ долженъ возбуждать состраданіе; въ разговорѣ съ дочерью, онъ открываетъ ей всю свою душу. Онъ восшелъ на престолъ преступными средствами, но бывши царемъ, онъ исполнялъ свои великія обязанности—онъ отецъ своего народа, и думаетъ только о благѣ его. Если онъ недовѣрчивъ, строгъ, даже свирѣпъ, то это только для личной своей безопасности. Своимъ умомъ столько-же превышаетъ онъ все его окружающее, сколько и своимъ саномъ. Продолжительное наслажденіе величіемъ, привычка повелѣвать, самовластіе его правленія, такъ увеличили его честолюбіе, что безъ трона онъ не дорожитъ жизнію, не можетъ существовать. Онъ не обольщаетъ себя слѣдствіемъ на-

стоящихъ событій, но хочетъ остаться царемъ до последней минуты, и не унижается, ибо онъ рѣшился умереть. Онъ суевѣрно вѣритъ предчувствіямъ, и что прежде показалось-бы ему незначительно, то представляется теперь значительнымъ и важнымъ. Какое нибудь частное событіе почтетъ онъ голосомъ судьбы, и оно рѣшитъ жребій его. За нѣсколько времени передъ смертью, характеръ его перемѣняется. Спокойно слушаетъ онъ самыя несчастныя вѣсти, стыдится гнѣва, какой оказывалъ прежде, распрашиваетъ у вѣстниковъ всѣ подробности и награждаетъ ихъ. Когда видитъ онъ событіе, по мнѣнію его, предвѣщающее ему окончательное рѣшеніе судьбы его, онъ удаляется молча, хладнокровно, рѣшительно. На минуту является онъ еще въ платьѣ монаха; отправляетъ дочь свою въ монастырь, думая, что сыну его, невинному дитяти, нѣчего опасаться. Онъ принимаетъ ядъ, и скрывается въ свои уединенные чертоги — умереть тихо и одиноко.»

Эти слова Шиллеровы не показываютъ-ли, какъ глубоко, какъ поэтически понималъ и хотѣлъ онъ изобразить Бориса, не смотря на свои ошибки историческія. А если бы зналъ онъ настоящую сущность событій, какую прелесть и силу получила-бы его драма!

Романовъ является съ войскомъ. Онъ любитъ Ксенію, и хочетъ остаться вѣрнымъ потомству Бориса. Онъ спѣшитъ къ войскамъ, собраннымъ противъ Димитрія. Бояре и народъ бунтуютъ въ Москвѣ; Ксенія и Ѳеодоръ въ оковахъ; послы отправлены къ Димитрію.

Измѣны и притворное великодушіе довершаютъ

торжество Димитрія. Онъ посылаетъ за инокинею Марѳою. Тутъ является неизвѣстный человѣкъ — убійца истиннаго Царевича, и открываетъ ему, что онъ самозванецъ. Ужасъ, изумленіе, отчаяніе Димитрія. Въ бѣшенствѣ, онъ убиваетъ страшнаго своего обличителя. Борьба его съ самимъ собою, и рѣшеніе — продолжать прежнюю ролю. Но спокойствіе, счастіе его изчезли: не стало прежняго Димитрія, самоувѣреннаго, сильнаго, пламеннаго. Свиданіе съ Марѳою: съ ужасомъ видитъ она въ немъ отвратительнаго самозванца! Молчаніе и притворство, мрачное, зловѣщее что-то въ самыхъ торжествахъ, какими знаменуется вступленіе Димитрія въ Москву.

Романовъ въ темницѣ. Ксенія успѣваетъ скрыться у Марѳы. Димитрій видитъ ее и влюбляется въ нее. Онъ уже царь, но его помощники чужеземцы; совѣсть терзаетъ его; буйство Поляковъ оскорбляетъ народъ; нарушеніе Димитріемъ обычаевъ производитъ ненависть. Димитрій хотѣлъ-бы отказаться отъ Марины, но это невозможно.—Димитрій видитъ бездну, на которой стоитъ тронъ его. Марина въ Москвѣ. Притворство и коварство взаимное. Ксенія отравлена ядомъ, по повелѣнію Марины. Печаль, отчаяніе Димитрія, но великолѣпная свадьба уже готова. Едва отступивъ отъ брачнаго алтаря, Марина унижаетъ Димитрія своимъ презрѣніемъ, объявляя ему, что ей давно извѣстно было его самозванство, и что не самъ онъ, не любовь его, но только престолъ Московскій обольщали ее. Шуйскій предводительствуетъ между тѣмъ заговоромъ; бунтъ въ Москвѣ; смерть Димитрія (мы не упоминаемъ

здѣсь онъ эпизодъ Романова, и Лодоиски и Казиміра, вставочныхъ лицъ).

Разсматривая этотъ планъ Шиллера, неконченный, необработанный, едва набросанный, согласимся, что какъ поэтъ драматическій, Шиллеръ хотѣлъ создать нѣчто великое и превосходное, что онъ умѣлъ дать дѣятельную жизнь своему созданію. Его Димитрій Самозванецъ сталъ-бы выше Бориса Годунова, созданнаго нашимъ поэтомъ. . .

Но, оставимъ всѣ сравненія, и обратимся къ рѣшительному выводу о сочиненіи Пушкина. Мы сказали, что *Бориса Годунова* должно почесть окончательнымъ твореніемъ Пушкина — до *нынѣшняго времени*; что въ немъ соединены всѣ его достоинства, всѣ недостатки, весь Пушкинъ, и вся его поэзія, каковы онъ и она *были до нынѣ*, и являются въ нынѣшнемъ своемъ состояніи. Когда вышелъ *Борисъ Годуновъ*, мы замѣтили, что онъ есть новый шагъ нашего поэта впередъ; что Пушкинъ, разсматриваемый, *какъ Русскій литтераторъ*, является въ немъ съ новымъ блескомъ, но *какъ Европейскій писатель*, какъ современный драматикъ XIX-го вѣка, онъ далеко не достигаетъ совершенства, коего могъ-бы достигнуть. Мы разсмотрѣли теперь подробно Бориса Годунова, и указали на нѣкоторыя основанія и образцы Романтической драмы — остается повѣрить справедливость прежнихъ выводовъ симъ разсмотрѣніемъ и указаніемъ.....

(Окончанія сей статьи не было.)

ПУШКИНЪ.

(Писано въ 1837 году, черезъ двѣ недѣли послѣ смерти его.)

Умеръ онъ. Пѣсня его умолкла. Погребальный звонъ колокола надъ его гробомъ отозвался въ Русской землѣ печальною вѣстью — «Пушкина нѣтъ!» Свѣтлая Божія весна скоро зазеленѣетъ, и въ тающемъ снѣгѣ Псковскихъ лѣсовъ въ первые обнажитъ холодную, безмолвную могилу великаго Русскаго поэта.

Человѣкъ умеръ. Миръ тебѣ, усопшій братъ! Что же? Каждый день умираютъ люди. Каждый день сердятся суетливые живущіе, что чей нибудь похоронный поѣздъ мѣшаетъ имъ свободно мчаться по широкой улицѣ. Каждый день кто нибудь изъ живущихъ плачетъ надъ чьей нибудь могилою. И каждый годъ зарастаетъ какая нибудь могила «травой забвѣнія»; и каждый годъ рѣдѣютъ около насъ ряды нашихъ спутниковъ, гаснутъ надежды живущаго поколѣнія, темнѣютъ его радости, неконченныя, и мимолетныя, какъ падучая звѣзда. Новый потокъ жизни смѣняетъ потокъ быстро высыхающій, и тѣснитъ гробъ колыбелью. Свѣтъ забывчивъ: онъ скоро забудетъ и Пушкина, какъ забылъ тысячи своихъ, великихъ и малыхъ собратій. Слезы высохнутъ. Улыбка смѣнитъ печаль. Изрѣдка будетъ еще оживляться нѣсколько времени бесѣда современниковъ разсказами о Пушкинѣ, но пройдетъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, и только немногіе изъ насъ, дряхлые старики, будутъ говорить: «Я зналъ его, видалъ, помню.» Юное поколѣніе будетъ прислушивать-

ся къ рѣчамъ этихъ стариковъ. Но еще нѣсколько лѣтъ, и отъ насъ, современниковъ, останется только рядъ могилъ, связка летучихъ замѣтокъ, память добра и зла нашего, темная и безотчетная молва о томъ, что мы *были* и *что* такое мы были.

Въ какое время, эту грозную истину лучше можно сказать человѣку, какъ не теперь, на свѣжей могилѣ Пушкина, когда еще такъ тяжко сердцу, такъ больно душѣ, когда еще слезы невольно вырываются изъ глазъ при печальной вѣсти — «уже нѣтъ Пушкина!»

Удержимъ безразсудный ропотъ. Все добро, все благо въ твоемъ прекрасномъ созданіи, Творецъ жизни и смерти! Кто умеръ, тотъ довольно жилъ. И когда надежды на будущее превращаются въ грусть о минувшемъ, да благоговѣетъ наше разтерзанное сердце передъ Твоею неисповѣдимою волею!

Въ холмистой странѣ могилъ, которыя быстро выростаютъ изъ почвы нашего вѣка, взоръ потомка будетъ искать и отыщетъ могилу твою, нашъ поэтъ! И надъ этою могилою, черезъ годы и столѣтія, всегда равно будетъ горѣть для избранныхъ неугасаемый пламень вдохновенія. Къ ней подойдетъ также холодное любопытство, и на ветхомъ, полуразрушенномъ камнѣ прочтетъ —

Александръ Пушкинъ.
Родился
двадцать шестаго мая, 1799 года.
Скончался
двадцать девятаго января, 1837 года.

«Чья это могила?» спроситъ разсѣянная суетливость.

«Онъ жилъ,» скажутъ знающіе люди, «въ девятнадцатомъ вѣкѣ, и писалъ стихи. Можете прочесть обстоятельное жизнеописаніе его въ новомъ изданіи словаря Русскихъ писателей. Современники называли его первымъ изъ своихъ стихотворцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, стихи его хороши по своему вѣку и времени.»

Вы ошибетесь, *будущіе* знатоки прошедшаго! Вы стоите на могилѣ не стихотворца, но памятнаго человѣка и истиннаго поэта! благоговѣйте передъ славнымъ прахомъ *нашего* Пушкина! Онъ равно современникъ и вашего и нашего вѣка. И жизнь его равно поучительна для всѣхъ вѣковъ.

Онъ былъ поэтъ.

Въ толпѣ поколѣній, которыя тѣснятся по дорогѣ, ведущей отъ колыбели до гроба, спѣша смѣнить пеленки саваномъ, являются иногда пришлецы — странные скитальцы на землѣ, бездомные и сирые. У всякаго изъ насъ есть какое нибудь занятіе въ жизни. У этихъ странниковъ нѣтъ занятія. Они лепечутъ только какіе-то гармоническіе звуки, иногда такъ внятно, что даже толпа людей слышитъ ихъ, приходитъ въ восторгъ, останавливается, и указывая на пришлеца, восклицаетъ: «Поэтъ!» — Гдѣ онъ! — Гдѣ онъ? — Не ужели явился новый поэтъ? — Да, явился новый фигляръ на ваше позорище, новый безумецъ. Бѣгите, бѣгите за нимъ! Послушайте его пѣсенъ! Смотрите — вотъ онъ! — И толпа смотритъ. — «Да онъ какъ всѣ? Онъ какъ всѣ мы?» — Разумѣется,

И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ!

Но чтожъ онъ не поетъ? Онъ, кажется, страдаетъ чѣмъ-то?—И онъ опять запѣлъ.—Какъ это нехорошо, неправильно! Прежде онъ лучше пѣвалъ. Посмотрите, какъ онъ дурачится! А вотъ еще запѣлъ другой: этотъ поетъ лучше, въ этомъ больше надежды. — «Надежды?» ..... Бѣдные люди! на чью могилу споткнулись вы? — Какъ? Это *его* могила? Жаль, жаль поэта! Онъ рано умеръ! — И суетливо проѣзжала впередъ людская жизнь, оставивши за собою потомству могилу вдохновеннаго, могилу, окропленную теплыми слезами немногихъ, у кого сердце билось къ нему сочувствіемъ. Одни только они стоятъ, погруженные въ мрачную думу, надъ его гробомъ!

Не вините толпы, не вините людей: она права, они правы. Поэзія — безуміе, непонятное, странное безуміе — тоска по небесной отчизнѣ. Ее-ли понимать намъ на землѣ?

Не вините людей. Дѣйствительно такъ: сами *поэты* виноваты передъ людьми — факиры-мечтатели, добровольные страдальцы, лунатики, повинующіеся силѣ непостижимаго луча, который падаетъ на нихъ откуда-то свыше, и приводитъ въ вѣщее прозрѣніе. Не думайте, чтобы толпа всегда отвергала этихъ дивныхъ собратій, чтобы она не плакала иногда съ ними, чтобы она не давала имъ иногда гремушки своей дружбы, не дарила ихъ дурацкимъ калпакомъ своей любви. Но съ презрѣніемъ бѣжитъ поэтъ отъ ея объятій и, какъ слезы крокодила, отвергаетъ онъ слезы толпы. Въ

ярости своей за сострадание къ нему, онъ платитъ эпиграммою участію, насмѣшкою любви. Отъ него люди отвергнулись: онъ мучится. Его похвалили: онъ насмѣхается. И вѣчно недовольный собою, другими, жизнью — онъ гибнетъ, гибнетъ, когда его обхватываютъ холодныя объятія свѣта, гибнетъ, когда на него сыплются всѣ дары земнаго счастія, гибнетъ, когда зависть обременяетъ его позоромъ безславія, и когда злое невѣжество терзаетъ его, въ отмщеніе за свое безславіе. Сколько жертвъ сгорѣло этимъ страшнымъ внутреннимъ огнемъ, отъ того, что не было выхода ему изъ души, во мракѣ бѣдности, униженія, суеты! И сколько звѣздъ потухло, отъ того, что высоко избрали себѣ жилище, и не было имъ живительной, необходимой стихіи жизни, на высотѣ, гдѣ носятся только бурныя тучи! Сколько небесныхъ гостей задохлось въ угарѣ свѣта и страстей! Не думайте, чтобы рожденіе, богатство, знатность спасали поэта, чтобы и ничтожество и бѣдность убивали его. Байронъ былъ баронъ и богачъ; любовь и слава лелѣяли его — а онъ спѣшилъ умереть за недостойныя развалины Греціи. Шекспиръ прибѣжалъ за кускомъ хлѣба въ Лондонъ, и ушелъ назадъ, въ бѣдную отчизну свою, отказавшись отъ похвалъ и денегъ, и умоляя только людей—«ради имени Божіяго не трогать костей его». А этотъ непостижимый, желѣзно тѣлый, Гете, который умеръ въ глубокой старости, тайнымъ совѣтникомъ, съ звѣздами на груди и съ улыбкою самодовольствія на устахъ, это удивительное явленіе, олицетворенное равновѣсіе міра духовнаго съ міромъ вещественнымъ? Не вѣрьте ему, не вѣрьте тому,

что онъ говорилъ: онъ началъ «Вертеромъ» и кончилъ «Фаустомъ»! Ломоносовъ, сынъ бѣднаго рыбака, горько жалѣлъ на смертномъ одрѣ о своей жалкой участи, — перваго ученаго и стихотворца въ отечествѣ. Державинъ сдѣлался ребенкомъ въ преклонныхъ лѣтахъ, и самъ не понималъ своихъ вдохновенныхъ страницъ.

Такова участь Поэзіи; таковы поэты, были, суть, будутъ, всегда и вездѣ. Бѣдный юноша! если въ твоемъ взорѣ просвѣчиваетъ вдохновеніе — мнѣ жаль тебя! Бѣдная дѣвушка! если твоя душа хочетъ прижаться къ душѣ поэта — я жалѣю о тебѣ! Прочь отъ этой тлетворной горячки, пожирающей человѣка съ душею полною гармоніи! Хотите ли выкупить нѣсколько мгновеній — правда не земныхъ, такихъ, какихъ другіе люди не знаютъ на землѣ — выкупить, можетъ-быть, годами страданій, слезами, скорбью, какихъ другіе люди также не знаютъ? Безумный Прометей! похищай послѣ того огонь съ неба: онъ будетъ твоимъ губителемъ! Безразсудная Семела! зови къ себѣ Юпитера онъ явится и сожжетъ тебя!

Пушкинъ былъ въ наши дни именно такимъ явленіемъ, такимъ «незваным гостемъ на пиру жизни.» Онъ былъ истинный поэтъ, какими не дѣлаются, а родятся, по добродушному признанію Горація, который на зло своему убѣжденію хотѣлъ *сдѣлаться* поэтомъ.

Не теперь, когда и дерномъ не покрылась еще свѣжая могила чудеснаго пѣвца, не теперь говорить о жизни Пушкина, безпрерывной ошибкѣ, смѣси неба съ землею, рѣшительности генія съ недовѣріемъ че-

ловѣка къ самому себѣ, гордой мечтѣ и бѣдной существенности. Пусть холодный судъ другихъ тяготѣетъ надъ его гробомъ. Мы, которые знали, видѣли его, мы, за него страдавшіе, когда онъ шелъ вопреки своему назначенію, когда онъ сбивался съ своего пути, — падалъ — вставалъ съ новыми силами — опять падалъ — будь онъ въ живыхъ, мы сказали-бы, и даже мы говорили ему при жизни много такого, чего не можемъ сказать теперь. Страдалецъ земнаго бытія! онъ успокоился наконецъ, замолчалъ, кончилъ..... Бурно, огненно, неровно было его земное странствованіе. Увлеченный мечтами юнаго и пламеннаго воображенія, онъ истратилъ первый цвѣтъ жизни на эти безразсудныя мечты. И неужели вы думаете, что онъ не понималъ этой траты, онъ, одаренный такимъ, превышающимъ дарованіемъ, такимъ свѣтлымъ умомъ, онъ, говорившій въ 1825 году:

Служенье Музъ не терпитъ суеты.
Прекрасное должно быть величаво,
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво
И шумныя насъ радуютъ мечты.
Опомнимся, но — поздно! — и уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ!»

И вотъ, въ самомъ разгарѣ жизни, въ пылу своего блестящаго дарованія, Пушкинъ на радость всѣмъ возвращенъ былъ священному служенію Музъ. Рукоплесканіями привѣтствовало его отечество. Прошло два года, и Пушкинъ горестно жаловался, въ плѣнительныхъ стихахъ, которые одинъ изъ великихъ современ-

ныхъ поэтовъ называлъ тогда «лучшимъ его произведеніемъ»:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,
И на немые стогна града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь,
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья:
Въ вездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу, я проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.»

Вспомните, какъ тогда-же доспрашивался Пушкинъ у судьбы своей: зачѣмъ живетъ онъ?

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь обречена?
Цѣли нѣтъ передо мною:
Сердце пусто, празднѣ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ!

И Пушкинъ могъ такъ говорить? Онъ-ли могъ называть умъ свой *празднымъ* и сердце *пустымъ*? Да, и мечта о смерти уже мелькала тогда въ душѣ его:

Младенца-ль милаго ласкаю,
Уже я думаю — «прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю:
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти!»
День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

Съ печальною веселостью, съ горестною усмѣшкою, онъ высказывалъ тоже самое другими словами. Вспомните окончаніе шестой пѣсни «Онѣгина».

Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость?
Гдѣ вѣчная къ ней рифма — *младость*?
Ужель и въ правду наконецъ
Увялъ, увялъ ея вѣнецъ?
Ужель и впрямъ, и въ самомъ дѣлѣ,
Безъ поэтическихъ затѣй,
«Весна моихъ промчалась дней,»
Что я шутя твердилъ доселѣ?
И ей ужель возврата нѣтъ?
Ужель мнѣ скоро *тридцать* лѣтъ?»

И какая-то задумчивая молитва навѣвалась на сердце поэта, вмѣстѣ съ досадою, послѣ этой улыбки. Вотъ она и какъ она прекрасна!

Но ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
Въ мой уголъ чаще прилетай;
Не дай остыть душѣ поэта,
Ожесточиться, очерствѣть,
И наконецъ окаменѣть

Въ мертвящемъ упоеньи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди холопьевъ добровольныхъ,
Среди вседневныхъ модныхъ сценъ,
Учтивыхъ, ласковыхъ измѣнъ,
Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Разсчетовъ душъ и разговоровъ
Въ томъ омутѣ, гдѣ съ вами я
Купаюсь, милые друзья!

Кому-жъ были жертвы поэта? Какому бездушному истукану покланялся онъ? Гдѣ онъ искалъ вдохновеній — онъ, который говорилъ намъ, что всегда и сряду —

.....всѣхъ въ гостиной занимаетъ
Такой безсвязный, пошлый вздоръ!
Все въ нихъ такъ блѣдно, равнодушно —
Они клевещутъ даже скучно.
Въ безплодной сухости рѣчей,
Разспросовъ, сплетней и вѣстей,
Не вспыхнетъ мысли въ цѣлы сутки,
Хоть невзначай, хоть на обумъ,
Не улыбнется томный умъ,
Не дрогнетъ сердце — хоть для шутки,
И даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой.....

Помните ли еще эту горькую шутку, которою кончился «Онѣгинъ» —

«Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полнаго вина,
Кто не дочелъ ея романа..... »

Сквозь слезы проговорена была эта шутка. Да, и вслѣдъ за нею тяжко отозвался грустный поэтъ, увѣряя, будто — блаженъ,

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во время дозрѣлъ,
Кто постепенно жизни холодъ
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ! .....
Но грустно думать, что напрасно
Была намъ молодость дана,
Что измѣняли ей всечасно,
Что обманула насъ она;
Что наши лучшія мечтанья,
Что наши свѣжія желанья
Истлѣли быстрой чередой,
Какъ листья осени гнилой.
Несносно видѣть предъ собою
Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ,
И вслѣдъ за чинною толпою
Идти, не раздѣляя съ ней,
Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Теперь, въ этихъ поэтическихъ запискахъ, въ этой исповѣди души, понимаете ли вы человѣка въ поэтѣ, поэта въ человѣкѣ? Видите ли несчастную вражду ихъ

между собою? Вотъ онъ еще, — грустный отголосокъ души поэта:

Увы! на жизненныхъ враздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ.....
Такъ наше вѣтреное племя
Растетъ, волнуется, кипитъ,
И къ гробу праотцовъ тѣснитъ!
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки, въ добрый часъ,
Изъ міра вытѣснятъ и насъ!.....
«Покамѣстъ, упивайтесь ею,
Сей легкой жизнію, друзья!
Ея ничтожность разумѣю,
И мало къ ней привязанъ я.
Для призраковъ закрылъ я вѣжды.....
Но отдаленныя надежды
Тревожатъ сердце иногда:
Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было-бъ грустно міръ оставить.
Живу, пишу — не для похвалъ,
Но я-бы, кажется, желалъ
Печальный жребій мой прославить,
Чтобъ оно мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хоть единый звукъ.....

Но не здѣсь вполнѣ высказывался великій поэтъ. Вотъ его послѣдній, надгробный голосъ — страшный вопль разтерзаннаго бытія, вопль уже безъ шутки, уже безъ притворной улыбки.... И могли ли мы думать, что

это будетъ послѣдняя, лебединая пѣснь Пушкина?..... Съ невольнымъ содроганіемъ сердца повторяемъ мы теперь эти унылые звуки, вылетающіе къ намъ, какъ-будто изъ-за гроба:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье.
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ, чѣмъ старѣй тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Сулитъ мнѣ *трудъ* и *горе*
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о друзи, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межь горестей, заботъ и треволненья.....
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И можетъ-быть на мой закатъ печальной
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной!

Теперь ни надеждѣ, ни грядущему, уже нѣтъ мѣста. Миръ заключенъ, разсчетъ конченъ, и скрѣпленъ лопатой могильщика. Осталось навѣки одно прошедшее. Чтожъ? Мы теперь, «потомство» его, живые, мы станемъ вокругъ безмолвнаго жилища мертвеца, и начнемъ разыгрывать печальную комедію. Кто намъ помѣшаетъ? За осужденіе намъ уже нѣчего бояться бѣшеной эпиграммы разъяреннаго поэта, а похвалой и крикомъ удивленія, можетъ-быть, мы останемся въ выигрышѣ передъ живыми — можемъ даже причесться въ друзья поэта. Онъ уже не скажетъ теперь:

Ужь эти мнѣ друзья, друзья!
Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я.....

И насъ, пожалуй, почтутъ «чѣмъ-то,» если мы скажемъ, что для Пушкина были мы «что-то».

Нѣтъ! близъ могилы великаго Русскаго поэта, мы не будемъ ни хвалителями, ни осуждателями его. Живымъ пригодятся похвала и лесть — мертвымъ надобна одна истина. Но судъ и рѣшеніе настоящаго предоставимъ мы потомству. Мы еще не потомство для Пушкина, когда не остыли страсти, которыя равно одушевляли его и насъ, когда въ насъ сохраняются личныя впечатлѣнія его жизни и созданій, когда душа стѣснена тяжкою скорбью отъ его потери.

Пушкина-человѣка мы старались изобразить его собственными словами. Вы слышали эти слова? Разгадывайте и узнавайте его въ собственныхъ его признаніяхъ.

Но Пушкинъ-поэтъ?

Даже для того, чтобы современники поняли великость своей потери и справедливость нашей печали, и непочли нашей грусти за тщеславіе, приличіемъ, мы должны говорить о Пушкинѣ, какъ поэтѣ. Мы должны также сохранить для потомства современныя чувства и впечатлѣнія, чтобы они послужили ему повѣркою его выводовъ. Мы должны сказать нашимъ внукамъ, какое дѣйствіе производилъ Пушкинъ надъ нами.

Пушкинъ не принадлежалъ къ тѣмъ вѣковымъ геніямъ, которыхъ появленіе въ мірѣ становится рѣже и рѣже, и быть можетъ, сдѣлается наконецъ совершенно невозможнымъ, какъ появленіе первобытныхъ феноменовъ земной природы, въ раздробленномъ быту нашемъ, при смѣшеніи и сшибкѣ умножающихся стихій

и дѣятелей общества, Гомеръ, Данте, Шекспиръ уже и теперь невозможны. Это миѳологическія лица.

Но тѣмъ ярче и сильнѣе могутъ блистать частные геніи, проявленія одной какой-нибудь стороны человѣческаго духа и одного народа.

Всѣ эти проявленія не могутъ выходить изъ предѣловъ своего назначенія, своего времени, своего мѣста, и они тѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ достопамятнѣе, чѣмъ благопріятнѣе обстоятельства, время и мѣсто.

Въ этомъ положеніи человѣческаго міра, Пушкинъ былъ поэтъ — *великій лирическій поэтъ*, и полный представитель своего современнаго отечества.

Только два такихъ поэта было у насъ до нынѣ, Державинъ и Пушкинъ. Оба они были лирическіе. Мы такъ еще свѣжи и юны, какъ народъ и какъ общество, что другаго рода поэты не могли у насъ явиться. Державинъ былъ представителемъ царствованія Екатерины: его приготовили Ломоносовы, Кантемиры, Сумароковы, Петровы и Классицизмъ. Пушкинъ былъ представителемъ окончанія царствованія Александра и начала царствованія Николая: его приготовили Карамзины, Жуковскіе, Дмитріевы, Батюшковы и Романтизмъ.

Обоихъ захватилъ къ себѣ свѣтъ, и погубилъ ихъ, какъ поэтовъ. Оба увлеклись пылкостью своихъ впечатлѣній въ чуждую для себя сферу, и не могли осуществить всей своей самобытности. Но оба стали выше всѣхъ своихъ сверстниковъ, и оба вполнѣ выразили свой народъ.

Толпа спутниковъ окружала Державина: около него тѣснились Капнисты, Нелединскіе, и подражанія

ему увлекло безчисленное множество, болѣе или менѣе, важныхъ дарованій. Не то ли было съ Пушкинымъ? Выйти изъ своего вѣка и стать впереди его — никто не можетъ. Если вы слышите иногда подобныя слова, то не вѣрьте имъ. Это слова громкія и пустыя. Но сильный умъ, но геній, можетъ заключить въ себѣ всю современную образованность своего народа, можетъ угадать всѣ его тайныя побужденія и потребности, и выразить ихъ; отъ того кажется онъ какимъ-то вдохновеннымъ прорицателемъ всего, что темно и неясно для умовъ обыкновенныхъ.

Въ теченіе двадцати лѣтъ, Пушкинъ пережилъ и перечувствовалъ всею жизнью и всѣми мыслями своего времени и своего народа. Эти остатки Классицизма и восмнадцатаго вѣка въ первыхъ его твореніяхъ; безочетное бѣгство къ новымъ идеямъ; безсистемное юношеское стремленіе къ нововведеніямъ, которыми кипѣли литтературы Англійская, Германская, Французская съ 1815 года; отвращеніе отъ гибельныхъ слѣдствій, коими кончились эти усилія для большей части Запада; потомъ мысль о собственной самобытности, о народности, Сѣверной, Восточной, Русской; опыты создать ее въ литтературѣ; необходимость труда разнообразнаго, переходы къ драмѣ, повѣсти, роману, исторіи, народной сказкѣ, вѣчное неудовлетвореніе тѣмъ, что довольствовало-бы умъ обыкновенный; безпрерывное движеніе впередъ, и неизбѣжныя отъ того усталость, сомнѣніе, недовольство самимъ собою и другими — все это не показываетъ ли генія, рожденнаго въ вѣкъ переходномъ? Таковъ былъ Пушкинъ.

Что-же совершилъ онъ?

Но развѣ не исполинскій подвигъ: представить собою свое время и свой народъ въ области поэзіи? Какимъ благороднымъ чувствомъ современнымъ не билось теплое сердце нашего поэта? Что прекрасное и славное не находило сочувствія въ его душѣ? Хотите ли исчислить все, что высокаго и задушевнаго успѣлъ перемыслить и сказать Пушкинъ въ жизнь свою? Перберите все, что врѣзалось невольно въ сердце ваше отъ его неподражаемыхъ стиховъ.

Да, неподражаемыхъ. Когда мы всѣ умремъ, когда простынутъ наши сердца, и новыя времена, новые подвиги, новыя впечатлѣнія овладѣютъ чувствами Русскими, и далеко оставятъ за собою понятія и происшествія, одушевлявшія Пушкина, и тогда еще онъ будетъ великій писатель.

Пока былъ онъ живъ, пока онъ являлся между нами, мы забывали Пушкина настоящаго, и смотрѣли въ настоящемъ только на Пушкина будущаго. Но самое это требованіе цѣлаго и могущественнаго народа отъ «одного» человѣка, эта боязнь всѣхъ за одного, это общее ожиданіе, что поэтъ, новымъ, бурнымъ переливомъ генія черезъ скалы и утесы, удовлетворитъ каждой новой потребности нашихъ умовъ и сердецъ — вотъ мѣра генія Пушкина. Къ нему, и только къ нему одному относились наши требованія и ожиданія: только за него одного мы трепетали и боялись. Другіе писали, или, когда угодно, пѣли, но кто препятствовалъ имъ писать и пѣть, какъ имъ угодно и что угодно? Спокойно могутъ и теперь, послѣ Пушкина,

всѣ другіе пѣть и писать, потому, что въ Русскомъ поэтическомъ мірѣ, кромѣ его одного, мы ни за кого не боимся, и ни отъ кого ничего не надѣемся.

Таково было мѣсто Пушкина-поэта въ современной Россіи. Оглянитесь кругомъ: нѣтъ «другаго Пушкина» среди пятидесяти мильоновъ нашего славнаго, умнаго Русскаго народа! Русская почва плодородна на великое. Пушкины явятся снова. Еще лучше, еще прекраснѣе будутъ они, но среди насъ, живущихъ нынѣ — нѣтъ другаго Пушкина. Это говоримъ мы, современники его, и это подтвердитъ потомство.

И какъ на могилѣ такого человѣка — когда мы знаемъ притомъ избытокъ силъ, хранившихся въ его пламенной душѣ и яркомъ умѣ, когда жизнь его была несчастною ошибкою и кончилась разрушеніемъ надеждъ нашихъ — какъ намъ не сокрушаться сердцемъ не плакать — не за него, а за себя. . . .

Это невозможно. Пусть же немногія слова, которыя теперь вырываются невольно изъ сердца, пусть они покажутъ, что если мы не умѣемъ высказать вполнѣ чувства нашего, то по крайней мѣрѣ, мы хотѣли высказать его. Чувство добра и чувство горестной утраты Русской литтературы въ Пушкинѣ близки къ нашей душѣ.

Слова скорѣи пролетаютъ, хотя и шевелятъ сердца, которымъ доступно чувствованіе простое, искреннее, непритворное. Но словъ мало. Неужелли мы оставимъ забвенною единенную могилу нашего чуднаго, единственнаго поэта?

Русскій Царь, великая душа Котораго вмѣщаетъ

въ себѣ всѣ высокія Русскія чувствованія, первая радуется радостью Россіи, и первая за всѣхъ насъ печалится нашими печалями, Русскій Царь показалъ, и Своею отеческою заботливостію о Пушкинѣ въ послѣднія его минуты, и великостью Своихъ благодѣяній къ его вдовѣ и сиротамъ, какъ велика наша потеря. Неуже-ли мы, дѣти Его, братья по общему Отцу сиротамъ Пушкина, не сдѣлаемъ ничего для почтенія памяти поэта? Нашъ долгъ ознаменовать воспоминаніе о Пушкинѣ памятникомъ, достойнымъ его славы и Русской чести. Русскіе люди! воля Царская, безъ всякаго сомнѣнія, разрѣшитъ намъ такую дань благодарности. Никогда еще, ни одно доброе намѣреніе не поспѣвало отъ недостатка одобренія нашего доброго, славнаго Царя! Пусть каждый изъ насъ, кто цѣнилъ геній Пушкина, будетъ участникомъ въ сооруженіи ему надгробнаго памятника. Наши художники вспыхнутъ вдохновеніемъ, когда мы потребуемъ отъ нихъ труда, достойнаго памяти поэта. И въ мраморѣ, или въ бронзѣ, станетъ на могилѣ Пушкина монументъ, свидѣтель того, что современники умѣли его цѣнить. И сильно забьется сердце юноши, при взглядѣ на этотъ мраморъ, эту бронзу. И тихо задумается странникъ, зашедшій въ ветхія стѣны уединенной Святогорской обители, гдѣ почіетъ незабвенный прахъ перваго поэта нашей славной Русской земли, въ наше время!

МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ЛОМОНОСОВЪ. *Сочиненіе Ксенофонта Полеваго. Москва,* 1836. *Два тома.*

Долго съ именемъ Ломоносова соединялось у насъ названіе «поэта». Пушкинъ, истинный поэтъ, первый сказалъ, что Ломоносовъ по лирѣ своей не родня ему. Теперь уже никто не споритъ о томъ, что Ломоносовъ не былъ поэтомъ.

Разумѣется, мы говоримъ о той поэзіи, которую прежде называли у насъ стихотворствомъ, о поэзіи, состоящей въ гармоническомъ словѣ, является ли она въ обширныхъ созданіяхъ Шекспира, или въ рѣзвомъ куплетѣ Беранже, въ эпопеѣ Мильтона, или въ пѣснѣ Пушкина. Все равно, но это та поэзія, жрецомъ которой не былъ Ломоносовъ.

Есть поэзія не столь частная, есть поэзія всемірная, какъ есть всемірныя силы—поэзія человѣка, и эта поэзія можетъ существовать на полѣ битвы, на обсерваторіи астронома, на кораблѣ мореплавателя. Она теплится пламенемъ величія человѣческаго надъ головою избраннаго, сжигаетъ его огнемъ генія. Такіе поэты были Суворовъ, Галилей, Колумбъ. Къ числу такихъ поэтовъ, безспорно, принадлежитъ и нашъ Ломоносовъ.

Слово *геній*, по нашему мнѣнію, тождественно слову *поэтъ*. Безъ генія нѣтъ истинной поэзіи, а гдѣ поэзія, тамъ геній. Геній, въ противоположность уму обыкновенному, безуміе. Умъ — это сборъ множества способностей, гармонически составленныхъ, сло-

женныхъ пирамидою, которой основаніе составляетъ здравый разсудокъ, а вершина можетъ возвышаться въ облака. Умъ слово родовое, собирательное. Умъ можетъ объяснить вѣкомъ, мѣстностью. Рожденный на землѣ, онъ уживчивъ съ людьми и понятенъ людямъ. Рѣдко умъ не бываетъ оцѣненъ людьми. И совсѣмъ не то бываетъ съ геніемъ, и не такъ живетъ онъ въ мірѣ, невыразимый на людскомъ языкѣ, безъ сравненія на землѣ, непонятный по своему проявленію, почти всегда страдалецъ, почти всегда неузнанный людьми и вѣкомъ. Моисей, нисшедшій съ горы Синайской, закрытый покрываломъ, потому, что люди не переносятъ свѣта небеснаго на лицѣ его, геній — тревожная дума о небѣ — онъ громъ, устрашающій раскатомъ своимъ слабаго смертнаго — ему нѣтъ мѣста здѣсь, между нами, ему нѣтъ уголка въ жилищахъ человѣковъ. Есть правда, мѣсто, гдѣ и онъ торжествуетъ, гдѣ и онъ окруженъ общимъ уваженіемъ, но это мѣсто — могила.

Вотъ почему будетъ всегда непонятна людямъ и необъяснима ни какою теоріею причина появленія геніяльнаго человѣка. Отъ чего и какъ западаетъ искра божественнаго огня въ душу избраннаго и проявляется его геніемъ? Если бы мы могли отвѣчать на это мы разрѣшили-бы многое во вселенной.

Но когда главная основа вопроса такимъ образомъ остается недоступною, остальное понятно вполнѣ, потому, что остальное происходитъ на землѣ, передъ глазами нашими. Подверженный условіямъ жизни человѣческой, человѣкъ, какъ всѣ другіе люди — геній вступаетъ въ міръ, и всегда начинаетъ борьбу, тяжкую,

невыносимую имъ, какъ человѣкомъ. Онъ борется съ самимъ собою: ему надобно прежде всего понять себя. Ему надобно потомъ собрать средства для исполненія своего призванія. Ему надобно наконецъ исполнить трудъ жизни. Но онъ человѣкъ — онъ созданіе бѣдное, слабое, условное. Людямъ должно постигнуть, оцѣнить его, уступить ему свой эгоизмъ, примирить съ нимъ свои общественныя отношенія, покориться его волѣ — все это почти невозможно. А мѣстность и вѣкъ, изъ которыхъ не могутъ выступить ни люди, ни геній, безъ труда, почти нечеловѣческаго? Новая невозможность!

Не отъ того ли геній и бываетъ всегда явленіе частное, временное, случайное, своенравіе судьбы по своему явленію, стѣсненное условіями жизни, нерѣдко погибающее въ началѣ, почти всегда не достигающее вполнѣ, даже частнаго своего предназначенія, и падающее среди своего необъятнаго поприща.

Если онъ герой — сколько вычетовъ на вѣроятность гибели его, отъ первой пули въ первой битвѣ! Если онъ поетъ — звуки лиры его дики непривычному уху посредственности. Если онъ живописецъ — идеалъ его не достижимъ понятію людскому. Если онъ философъ — на языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ выразить его идеи. Если онъ ученый человѣкъ — масса необходимыхъ для него предметовъ изученія давитъ его. Повѣда генія губитъ власть обыкновеннаго ума. Паденіе его — это кликъ свободы для людей обыкновенныхъ.

Но, за то, какъ поучительна жизнь генія, лучшаго

созданія Божія на землѣ! Какіе подвиги совершаетъ онъ, неполный, рано упадшій, далеко невысказанный! Какіе вѣковые уроки даетъ трудъ всякаго генія — царя, героя, поэта, художника, и того генія, котораго нельзя назвать ни тѣмъ, ни другихъ именемъ, генія, представляющаго какой-то сложное явленіе въ мірѣ, подобіе какой-то лиры, на которой всѣ струны трепещутъ всѣми страстями, всѣми вдохновеніями земли и неба, поэзіи и науки, ума и сердца, внѣшняго впечатлѣнія и внутренней творимости!

Жизнь генія всегда бываетъ поэма, въ какомъ-бы вѣкѣ и состояніи онъ ни явился. Царь — это Александръ, плачущій о побѣдахъ отца, задвигающій море плотиною, жертва ненасытнаго желанія, когда ему покорна половина Азіи и всего извѣстнаго міра. Герой — это Аннибалъ, перешедшій изъ знойной Африки черезъ снѣга Альповъ, торжествовать въ Канской битвѣ, видѣть потомъ гибель Карѳагена подъ Замою, и умереть въ чужой землѣ бѣглецомъ — это Наполеонъ, чуть не убитый подъ Тулономъ и Арколою, чтобы потомъ на снѣгахъ Русскихъ отразить пламень пожара Кремлевскаго, и умереть на скалѣ Африканской. Поэтъ — это Шекспиръ, сынъ шерстобита, бѣгущій въ Лондонъ стеречь лошадей подлѣ театра, и бѣгущій опять на родину, когда безсмертныя созданія вводятъ его во дворцы владыкъ и вельможъ. Мудрецъ — это Кантъ, едва постижимый другими, объемлющій вселенную, но не понимающій возраженія своихъ противниковъ, не выходившій никогда за черту своего городка, едва переступающій за порогъ своего кабинета.

Мы сказали, что есть геніи, которыхъ не опредѣляетъ собственно ни какое рѣзкое назначеніе въ мірѣ: геніи соединенныхъ цѣлей, нерѣдко чрезвычайно многоразличныхъ, люди, въ которыхъ, именно, самое это многообразное соединеніе есть назначеніе жизни. Если это художникъ — онъ не живописецъ, не ваятель, не зодчій только; если это властитель народа — онъ не воинъ, не законодатель, не покровитель просвѣщенія только. Они все вмѣстѣ. Такіе геніи-художники были Микель-Анджело и Леонардо Винчи: одинъ — создатель вмѣстѣ статуи Моисея, картины Страшнаго Суда и Петропавловскаго купола; другой—создатель Тайной Вечери, зодчій, инженеръ, литейщикъ, стихотворецъ, рыцарь. Таковъ былъ Макіавель — государственный человѣкъ, комикъ, сатирикъ, философъ, историкъ, воинъ.

И большею частью, или въ началѣ юной жизни того или другаго народа, или въ бурномъ переходѣ, смѣшеніи государственныхъ и народныхъ стихій, являются люди геніяльные сего рода. Явленіе ихъ почти невозможно, или почти безплодно для другихъ, и гибельно для нихъ самихъ, когда всѣ стихіи политическаго и нравственнаго бытія даннаго народа въ равновѣсіи, когда его общественное образованіе, его жизнь, установлены и окрѣпли въ необходимыхъ формахъ.

Здѣсь съ любовью обращается взоръ нашъ на наше отечество. Лѣтописи его, украшенныя именами столькихъ великихъ людей, являютъ намъ примѣръ генія, едва объемлемаго понятіемъ. Если по великости размѣра можемъ судить о великости назначенія человѣ-

ка, и великости судьбы народа, въ которомъ онъ явился — какое исполинское назначеніе было Петру: Русскія сердца угадаютъ, что объ немъ хотѣли мы говорить — и что за громадная судьба открывается при имени Петра для Россіи! Сближеніе Европы и Азіи, Востока и Запада, явленіе новой стихіи въ мірѣ человѣчества — такова судьба Россіи. А провозвѣстникъ этой судьбы, это чудное знаменіе новаго міроваго народа, новаго всемірнаго царства, этотъ *Русскій Царь*, плотникъ въ Саардамѣ, адмиралъ на Балтійскомъ морѣ, полководецъ подъ Полтавою, законодатель и токарь, преобразователь народа и хирургъ, этотъ сынъ судебъ... измѣрьте его!

Послѣ Петра, съ новою жизнью народа, съ борьбою всѣхъ его стихій, возмущенныхъ до глубины пересоздателемъ Россіи, свѣжія силы Русской земли являли истинно геніяльныхъ людей, во всѣхъ отрасляхъ, во всѣхъ званіяхъ общества. Такъ были у насъ: Суворовъ, геній войны, Кулибинъ, геній механики, Шелиховъ, Русской Колумбъ, Державинъ, геній поэзіи великой и вдохновенной. Такъ и теперь Россія кипитъ самобытными яркими дарованіями, словно тучная земля ключами подземными. Все это однакожъ, огромныя, но частныя явленія. Было только *однажды* явленіе въ Россіи, тотчасъ послѣ Петра, явленіе генія многосложнаго, изумительнаго своимъ разнообразіемъ, брошеннаго судьбою въ самыя низшія званія народа, вышедшаго изъ нихъ своею неповѣдимою волею, блеснувшаго потомъ на самыхъ высшихъ ступеняхъ современной образованности — явленіе генія бо-

ровавшагося съ жизнью, съ людьми, съ природою, съ самимъ собою, вѣчно устремленнаго въ томительное многоразличіе, вѣчно недовольнаго собою: этимъ явленіемъ былъ Ломоносовъ, имя у насъ народное, имя типовое.

Что такое былъ Ломоносовъ? Онъ не только стихотворецъ, не только художникъ, не только ученый, не только писатель: въ его пламенной душѣ кипѣло все, и подъ сосредоточенными лучами впечатлѣній, отвсюду летѣвшихъ въ его душу, все сгарало въ ней, какъ алмазъ горитъ и углится подъ лучами соединенныхъ зеркалъ.

Что собственно сдѣлалъ Ломоносовъ? Мы не будемъ повторять слишкомъ хвастливой надписи къ портрету, по которой Ломоносовъ «ввелъ въ Россію чистый слогъ стиховъ и прозы, вмѣстилъ въ себѣ Цицерона и Виргилія, богатымъ словомъ открылъ храмъ натуры», и показалъ «примѣръ остроты Россіянъ въ наукахъ». Нѣтъ! благоговѣніе къ памяти Ломоносова не повѣдитъ въ насъ чувства истины. Свѣтлый признакъ орлинаго зрѣнія видѣнъ во всемъ, за что ни принимался Ломоносовъ, и возвышеніе надъ всѣмъ современнымъ видно во всемъ, что онъ ни начиналъ, но ни одной вѣковой черты не осталось отъ слѣда его для памяти потомства. Самая тревога, съ какою порывался геній его всюду, показываетъ, что онъ искалъ и не находилъ нигдѣ своего отдѣльнаго назначенія. Онъ и не могъ найдти его отдѣльно, потому, что назначеніемъ его была самая эта смутная тревога души, этотъ

порывъ ко всему, это начинаніе всего. Никто лучше Ломоносова не постигалъ Петра, никто не умѣлъ досихъ поръ говорить объ немъ такъ краснорѣчиво, то есть, такъ истинно, какъ Ломоносовъ. И какъ крѣпко и дружески обнялъ-бы его Петръ, если-бы Ломоносовъ явился при немъ! Не далъ имъ Богъ знать другъ друга — Царю Россіи порадоваться на Холмогорскаго мужика! Уже три года Петръ былъ въ могилѣ, когда невыносимая воля души увлекла Ломоносова изъ полудикой его родины, туда, гдѣ, казалось ему, мальется она, жадная, всѣмъ, чего не постигалъ Ломоносовъ-человѣкъ, чего требовалъ Ломоносовъ-геній.

Имя Ломоносова извѣстно всѣмъ. Общіе очерки жизни его знаемъ мы всѣ. Но до сихъ поръ никто еще не обращалъ особеннаго старанія собрать вполнѣ все, что только осталось отъ великаго человѣка, соединить все, что только уцѣлѣло въ памяти людской объ немъ, его жизни, его характеръ. Мы далеко не вѣдаемъ даже всѣхъ его сочиненій, предпріятій, замысловъ. Въ полномъ собраніи сочиненій Ломоносова, перепечатанныхъ безъ перемѣны два раза, съ перваго изданія, вышедшаго въ 1778 году, помѣщено почти одно то, что онъ издалъ при жизни. Сочинитель жизнеописанія, приложеннаго при полномъ собраніи — не знаемъ кто, только не Поповскій, какъ думалъ Мерзляковъ, потому, что Поповскій умеръ прежде Ломоносова — сочинитель этого жизнеописанія, написаннаго просто, но умно и съ чувствомъ, говоритъ, что всѣ оставшіяся послѣ Ломоносова бумаги «выпросилъ свѣтлѣй-

шій князь Григорій Григорьевичъ Орловъ у вдовы его себѣ, велѣлъ собрать Григорью Васильевичу Козицкому, и занереть въ особомъ покоѣ своего дома». Кто же «отперъ» потомъ этотъ покой? Гдѣ бумаги Ломоносова? Если холодное равнодушіе выбросило ихъ въ послѣдствіи, вмѣстѣ съ старинною пылью архива, если ихъ погубило тлѣніе, или разбросало въ бѣлый свѣтъ мѣлочное любопытство..... Мысль горестная! Отъ времени до времени видимъ кое-гдѣ по рукамъ отрывки. У П. П. Свиньина была, помнится, цѣлая кипа бумагъ Ломоносова: гдѣ онѣ, и что въ нихъ такое было?

Къ третьему изданію сочиненій Ломоносова приложены письма его къ Шувалову. Издатель долгомъ почелъ оговориться: «Хотя сіи письма и не заключаютъ въ себѣ много касающагося до наукъ, и не обращаютъ содержаніемъ своимъ любопытства каждаго читателя, но поелику все, что произошло изъ пера г. Ломоносова не можетъ не быть драгоцѣнно, то сей причины ради, они въ семъ собраніи и напечатаны, тѣмъ наипаче, что открываютъ нѣкоторыя обстоятельства жизни сего великаго писателя.» Признаться: за десятокъ такихъ писемъ охотно-бы уступили мы какую нибудь неизвѣстную оду Ломоносова. Тутъ горитъ его душа и сердце, тутъ дышитъ Ломоносовъ человѣкъ: тутъ письмо его о Рихманѣ, умершемъ «прекрасною смертію», и опасеніе, «чтобы сей случай не былъ перетолкованъ противъ приращенія науки». Въ одномъ изъ подозрѣнныхъ драгоцѣнныхъ писемъ, онъ жалуется Шувалову на стараніе помирить

его съ Сумароковымъ, и говоритъ: «Не токмо у сто-«ла знатныхъ господъ, или какихъ земныхъ владѣте-«лей, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Гос-«пода Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ не «отниметъ». Оно было напечатано въ альманахѣ «Урания». Проэктъ рѣчи его на открытіе Санктпетербургскаго университета былъ помѣщенъ въ одномъ изъ Русскихъ журналовъ. Но всего этого такъ мало, все это такъ недостаточно, все, что окружало его, такъ неизвѣстно намъ въ подробностяхъ своего быта, что геній Ломоносова мы едва только можемъ угадывать по его извѣстнымъ сочиненіямъ и трудамъ, а жизнь его по легкимъ намѣкамъ, и характеръ по неполнымъ очеркамъ.

А какая драгоцѣнная жизнь, какая поэма въ борьбѣ этого генія, какой изумительный характеръ въ самомъ паденіи! Урокъ назидательный, глубокій, разсказъ народный, чисто Русскій. Ломоносовъ типъ Русскаго, типъ своего времени, типъ генія своего народа.

На сѣверѣ, въ сокровищницѣ снѣговъ и Русской жизни должно было явиться Ломоносову. Не то, чтобы сѣверъ Россіи былъ просвѣщеннѣе, или образованнѣе юга, но онъ всегда былъ въ частной жизни самобытнѣе средней и южной Россіи, былъ дѣятельнѣе и живѣе на впечатлѣнія. Здѣсь громадные образы дикой природы; здѣсь созерцательная жизнь въ полугодовомъ зимнемъ уединеніи; здѣсь первое сближеніе съ чужеземцами, въ Архангельскомъ портѣ и Холмогорахъ; здѣсь зрѣлище безконечнаго, льдистаго моря. Сюда ни было вдавлено непосредственное вліяніе ни Монгола ни Поляка; политическія измѣненія не бросали здѣсь

характеровъ въ одно общее горнило, гдѣ изъ частностей плавилось государственное образованіе Россіи. Степная жизнь подъ благодатнымъ небомъ не раждала здѣсь безпечнаго казачества. Трудъ былъ и остался удѣломъ сѣвера, умнаго, дѣятельнаго, крѣпкаго тѣломъ, промышленнаго сѣвера, гдѣ въ первые явились Нордманны и Англичане, торговля и промышленность, гдѣ основались два Новгорода, Псковъ, Архангельскъ, Ярославль, Владиміръ; откуда Русские прошли въ Сибирь, откуда ладьи ушкуйниковъ раззоряли Татарскіе улусы на берегахъ Ахтубы, а ладьи мореходовъ ходили въ «Мурманское» море, на «Грумантъ» (Шпицбергенъ) и на Новую Землю.

Здѣсь, у рыбака Холмогорскаго, Василья Ломоносова, въ деревнѣ Денисовской, въ 1711 году родился сынъ Михайло. Умный старикъ отецъ былъ человѣкъ дѣльный и смышленый; первый построилъ на чужеземный образецъ галіотъ, и ходилъ на немъ въ Соловки, Колу, Ледовитый Океанъ, до 79° широты, на пустые острова, и тамъ положилъ свою голову. Умный, видный мальчикъ, Михайло скоро сдѣлался отличнымъ чтецомъ книгъ церковныхъ, увидѣлъ грамматику Смотрицкаго и выучилъ ее наизусть; увидѣлъ ариѳметику Магницкаго, и также всю ее взялъ на память. «Дайте мнѣ книгъ! Я хочу все знать!» говорилъ Михайло, и живыя впечатлѣнія отвсюду летѣли въ его душу. Увлекательны мѣлкія подробности о дѣтствѣ Ломоносова, о томъ, какъ выпросилъ онъ грамматику и ариѳметику у сыновей сосѣда, Христофора Дудина, не разставался съ ними никогда, всегда носилъ ихъ съ со-

вою; какъ вдался онъ въ лжеумствованія раскольниковъ; какъ отецъ, съ десятилѣтняго возраста, началъ брать его съ собою въ море. Картины сѣверной природы страстно врѣзывались въ его свѣжее воображеніе. Черезъ много лѣтъ потомъ, ведя героя поэмы своей на льдистый океанъ, Ломоносовъ говорилъ самовидцемъ:

Достигло дневное до полночи свѣтило,
Но въ глубинѣ лица горящаго не скрыло,
Какъ пламенна гора казалось средь валовъ
И простирало блескъ багровый изъ-за льдовъ;
Среди прекчудныя при ясномъ небѣ ночи,
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ въ очи.....

Онъ слышитъ голосъ: «Не угашайте духа!»—Здѣсь тебѣ нѣчего болѣе знать—говорятъ ему. Онъ бросаетъ все — домъ отцовскій, старика отца; онъ идетъ туда, гдѣ «Латинскій языкъ» откроетъ ему тайны премудрости, «гдѣ много книгъ», по словамъ дьячка, его учителя грамотѣ. Какое геніяльное безуміе въ этомъ шестнадцатилѣтнемъ мальчикѣ, когда онъ бѣжитъ по жестокому морозу, въ одномъ нагольномъ тулупѣ, нагоняетъ на семидесятой верстѣ обозъ съ мерзлою рыбою, умоляетъ прикащика взять его съ собою!.....

Михайло въ Москвѣ, въ золотоголовой колыбели Русскаго царства, безъ пріюта, безъ куска хлѣба, и за чѣмъ? Простой разсказъ описателя жизни Ломоносова здѣсь превосходенъ. «Первую ночь по пріѣздѣ въ Москву», говоритъ онъ, «проспалъ Ломоносовъ въ овощевняхъ у рыбнаго ряда. Назавтра такъ рано проснулся онъ, что еще всѣ его товарищи спали. Въ Москвѣ не имѣлъ онъ ни единаго знакомаго человѣка,

а отъ рыбаковъ, которые съ нимъ пріѣхали, не могъ ожидать ни какой помощи; они занимались только продажею рыбы, и совсѣмъ объ немъ не помышляли. Скорбь обладѣла его душою. Онъ началъ горько плакать, палъ на колѣни, обратилъ глаза къ ближней церкви, и усердно молилъ Бога, чтобы Господь призрѣлъ его и помиловалъ. Когда уже совсѣмъ разсвѣтало, пришелъ какой-то господскій прикащикъ, покупать изъ обоза рыбу. Онъ былъ землякъ Ломоносову, и лицо его показалось ему знакомо. Узнавъ, кто онъ такой и какое его намѣреніе, онъ взялъ его къ себѣ въ домъ, и отвелъ ему для житія уголъ между слугами того дома. У прикащика былъ знакомый монахъ, въ Заиконо-Спасскомъ монастырѣ, который часто къ нему хаживалъ, и черезъ два дня послѣ пріѣзда Ломоносова въ Москву, пришелъ повидаться. Прикащикъ представилъ ему молодаго своего земляка, разсказалъ объ его обстоятельствахъ и чрезмѣрной охотѣ къ ученью, и усильно просилъ постараться, чтобы приняли его въ Заиконо-Спасское училище. Монахъ взялъ это на себя, и исполнилъ самымъ дѣломъ. И такъ учинился нашъ Ломоносовъ ученикомъ въ семъ монастырѣ. А какъ не принимали въ сію семинарію положенныхъ въ подушный окладъ, то назвался Ломоносовъ дворяниномъ. Покойный Новгородскій архіерей, Ѳеофанъ Прокоповичъ, узнавъ его потомъ въ Кіевѣ, и полюбя, за отмѣнные въ наукахъ успѣхи, призвалъ къ себѣ и сказалъ ему: «Не бойся ничего — хотя-бы со звономъ въ большой Московскій, соборный колоколъ стали тебя публиковать самозванцемъ, — я твой защитникъ! »

Уцѣлѣли еще росписки, подъ которыя Ломоносовъ получалъ семинарское жалованье, по 3 рубля 50 коп. въ треть. Онъ вступилъ въ семинарію въ 1729 году; за Латинскую азбуку «посадилъ его іеромонахъ Медостъ Ипполитовичъ; читать и писать по Латыни училъ тогда Димитрій Сѣченовъ, бывшій потомъ архіепископомъ; въ 1730 году перевели его въ Латинскій грамматическій классъ іеромонаха Германа Канашевича; въ 1731 году началъ преподавать ему Латинскій синтаксисъ бѣлецъ Тарасій Постниковъ; въ 1732 году Латинскую и Россійскую поэзію преподавалъ ему іеромонахъ Ѳеофилактъ Квѣтницкій; въ 1734 году слушалъ онъ Риторику у іеромонаха Порфирія Крайскаго.»

«Нѣтъ!» писалъ Ломоносовъ къ Шувалову, черезъ двадцать лѣтъ послѣ того—«не изъ тѣхъ я людей, которые только лишь себѣ путь къ счастію ученіемъ отворятъ, въ тотъ часъ къ дальнѣйшему происхожденію другія дороги примутъ и способы изыщутъ, а науки оставятъ, имѣя у себя *патроновъ*, которые у нихъ наукъ мало, или совсѣмъ ничего не спрашиваютъ. Не ради тщеславія, но ради моего оправданія, позвольте мнѣ сказать, что отецъ мой по натурѣ былъ добрый человѣкъ, но въ крайнемъ невѣжествѣ воспитанный, а злая и завистливая мачиха всячески старалась произвесть гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Отъ того многократно принужденъ я былъ читать и учиться, чему только могъ, въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, и терпѣлъ стужу и голодъ, пока ушелъ въ Спасскія школы.... Тамъ обучаясь, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія

отъ наукъ, прельщальныя стремленія, которыя въ тогдашнія мои лѣта почти непреодолѣнную имѣли силу. Съ одной стороны отецъ, у котораго дѣтей кромѣ меня не было, говорилъ, что бывши я единственный сынъ, оставилъ его, оставилъ все довольство, которое онъ кровавымъ потомъ нажилъ, и которое послѣ его смерти чужіе расхитятъ. Съ другой стороны несказанная бѣдность: имѣя одинъ алтынъ жалованья въ день, нельзя было имѣть пропитанія въ день болѣе, какъ на денежку хлѣба и денежку квасу, а прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Съ одной стороны пишутъ, что зная достатки моего отца, хорошіе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, что еще въ бытность мою дома предлагали; съ другой школьники, малые ребята, кричатъ и перстами указываютъ: «Смотри, какой болванъ, лѣтъ въ двадцать пришелъ Латини учиться! Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ, а наукъ не оставилъ.»

«Обучался Ломоносовъ» говоритъ жизнеописатель его, «съ великою охотою, и оказалъ примѣрные успѣхи. По прошествіи перваго полугодія, перевели его изъ нижняго класса во второй, и въ томъ-же году изъ втораго въ третій классъ. Черезъ годъ сталъ онъ такъ силенъ въ Латинскомъ языкѣ, что могъ уже сочинять на немъ небольшіе стихи. Тогда началъ учиться по Гречески, а въ свободные часы, вмѣсто того, чтобы подобно другимъ семинаристамъ, проводить ихъ въ резвости, рылся въ монастырской библіотекѣ. Находя въ ней церковныя книги, утвердился онъ въ языкѣ Славянскомъ. Сверхъ лѣтописей, сочиненій церковныхъ отцовъ и разныхъ богословскихъ книгъ, пона-

лось въ руки его весьма малое число философскихъ, физическихъ и математическихъ книгъ, и Заиконо-Спасская библіотека не могла насытить жадности его къ наукамъ. Прибѣгнулъ онъ съ усильною просьбою къ архимандриту послать его на одинъ годъ въ Кіевъ, учиться Философіи, Физикѣ и Математикѣ. Но, противъ чаянія своего, въ Кіевѣ нашелъ пустыя только словопренія Аристотелевой философіи, и не имѣя притомъ случаевъ успѣть въ Физикѣ и Математикѣ, пробылъ тамъ менѣе года, упражняясь наиболѣе въ чтеніи древнихъ лѣтописцевъ, и книгъ, писанныхъ на Славянскомъ, Греческомъ и Латинскомъ языкахъ. Вскорѣ по возвращеніи въ Спасское училище, прислано было требованіе изъ Санктпетербургской Академіи Наукъ о присылкѣ нѣсколькихъ семинаристовъ, разумѣющихъ по Латыни, для изученія Физики и Математики у академическихъ профессоровъ. Ломоносовъ возрадовался давно желанному случаю, неотступно просилъ архимандрита послать его туда, и въ Маѣ 1735 года, ради отличныхъ успѣховъ въ ученіи, архимандритъ Стефанъ и префектъ Антоній отправили Ломоносова въ Санктпетербургъ. Тамъ, вмѣстѣ съ другими учениками, опредѣлили его въ состоявшую подъ вѣдомствомъ Академіи гимназію, чему особливо способствовалъ архіепископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ. Онъ слушалъ начальныя основанія Философіи и Математики, прилежалъ къ тому съ крайнею охотою, и отмѣнную оказалъ склонность къ опытной Физикѣ, Химіи и Минералогіи. Учась два года начальнымъ основаніямъ упомянутыхъ знаній, и утвердясь въ Матема-

тикъ, Ломоносовъ, съ товарищемъ своимъ Виноградовымъ, назначены были къ отправленію въ Германію.»

Какъ жаль, что здѣсь прерываются почти всѣ эти любопытныя подробности о жизни Ломоносова. Мы знаемъ далѣе, что Ломоносовъ отправился съ рекомендаціями къ Христіану Вольфу, тогдашнему авторитету Германіи и Европы, его превосходительству барону Римской имперіи; три года жилъ въ Марбургѣ; провелъ годъ въ металлургической и горнозаводской практикѣ въ Фрейбергѣ; превосходно выучился Нѣмецкому языку; посѣтилъ Гарцовскіе рудники, и весною 1741 года воротился въ Марбургъ къ Вольфу.

Здѣсь привольно развился разгульный Русскій характеръ Ломоносова. Бурсацкая жизнь Нѣмецкихъ студентовъ, ихъ университетстія гулянки, школьная Freundschaft, все это было что-то учено-поэтическое, и увлекло Ломоносова. «Руси есть веселье пити», говаривали Русскіе еще въ десятомъ вѣкѣ. Русское веселье подружилось съ Нѣмецкимъ разгульемъ. Послѣ лекцій Вольфа, Ломоносовъ шелъ изъ класса въ погребокъ, гдѣ не знали еще тогда чертовской фантасмагоріи Гофмана, не пѣли застольныхъ пѣсенъ Шиллера, но пили и гуляли славно и весело. Вотъ Ломоносовъ еще влюбленъ, въ миленькую Нѣмочку, дочь своего хозяина, портнаго — Ломоносовъ Нѣмецкій студентъ, женатъ, отецъ, семьянинъ. Четырехъ сотъ рублей, которые выдавали ему на содержаніе, и которые казались ему неизчерпаемымъ богатствомъ, далеко недостаетъ. Ужасающая бѣдность опять терзаетъ его, и уже не такъ, какъ прежде, когда онъ

жилъ одною головою; существованіе двухъ милыхъ ему существъ связано съ его жизнью..... Что дѣлать? Оставить жену и дочь на волю Божію, бѣжать опять, бѣжать безъ гроша въ карманѣ, опять только съ надеждой на Провидѣніе, которое изъ Холмогорской рыбачьей хижины перевело Ломоносова въ коллегіумъ великаго Европейскаго философа Вольфа. Ломоносовъ такъ и дѣлаетъ. Онъ бѣжитъ, проситъ милостыни дорогою, и на третій день пѣшеходства попадается въ руки Прусскаго вербовщика. Тутъ, за круговымъ стаканомъ вина, Ломоносову пришиваютъ красный воротникъ, и на другой день «палка Прусскаго вахмистра запечатлѣла у него уста.»

Горькая дума должна была терзать эту безразсудную, горячую душу. «Не унывай только, и не думай ни о чемъ; жизнь наша тебѣ слюбится; дѣтина ты добрый!» говорятъ ему товарищи. — Богъ спасетъ меня! думаетъ Ломоносовъ: неужели для того велъ Онъ до выпѣ меня путемъ столь необыкновеннымъ, чтобы я умеръ Прусскимъ солдатомъ? Неужели Русскій не перехитритъ Нѣмца? — Ломоносовъ идетъ съ товарищами въ крѣпость Везель; ночью вылѣзаетъ въ окно, ползетъ по валу; сынъ бурной стихіи, онъ переплываетъ два рва, пробирается черезъ контръ-эскарпъ, покрытый ходъ, палисадъ, гласисъ. Измученный, въ мокромъ платьѣ, бѣжитъ онъ опрометью цѣлую Нѣмецкую милю. Пушечный выстрѣлъ изъ крѣпости даетъ знать о дезертерѣ. Но Ломоносовъ уже перешелъ за Вестфальскую границу, упалъ едва дыша, развѣсилъ платье сушиться, проспалъ мертвымъ сномъ

до полудня и пустился въ дальнѣйшій путь. Въ Амстердамъ его приняли ласково, и вотъ онъ въ Россіи, въ Петербургѣ, въ Академіи, «гдѣ вскорѣ по пріѣздѣ пожаловали его адъюнктомъ (въ 1741 году). Черезъ пять лѣтъ, онъ профессоръ Физики и Химіи.

Что Ломоносовъ, достигъ ли ты цѣли своей жизни? Нашелъ ли то, чего ты искалъ, перечитывая Грамматику Смотрицкаго и выучивая Ариѳметику Магницкаго въ хижинѣ отцовской, а потомъ бѣжавши за обозомъ съ рыбою въ Москву, учась Латини въ восмьнадцать лѣтъ, диспутуясь въ Кіевѣ, сидя въ университетской Аудиторіи Вольфа, спускаясь въ Гарцовскіе рудники съ Генкелемъ и Крамеромъ? Вотъ, ты, семнадцати лѣтъ безграмотный Холмогорскій рыбакъ, тридцати лѣтъ адъюнктъ Академіи, перечиталъ громады книгъ, изучилъ Грековъ и Латиновъ, Нѣмцевъ и Французовъ, отличный ученый человѣкъ, надежда академіи нашей!

Ломоносовъ не оставилъ намъ своей исповѣди, но мы знаемъ, что онъ не былъ доволенъ, ни тѣмъ, что нашелъ въ Академической гимназіи, ни тѣмъ, что встрѣтилъ въ аудиторіяхъ Марбурга и школъ Фрейбергской, какъ не былъ доволенъ классами Заиконоспасской академіи и Кіевскими словопреніями.

Довольство самимъ собою, это умѣнье—укладываться въ опредѣленныя формы, это мастерство копить по немногу, муравьиное свойство людскаго совершенствованія — все это участь ума, насущнаго хлѣба человѣчества, и недостаточно всего этого на пиръ, какой задаетъ человѣку геній, въ одинъ день вздержи-

вай запасы годовъ, и безпрерывно потомъ голодали. Могло-ль радовать Ломоносова то, что можетъ быть, восхищало другихъ въ уставѣ Заиконо-Спасской Академіи: «Аще-же которые люботрудніи отроцы сего предрагаго сокровища (то есть, мудрости), по грамматической хитрости и прочихъ наукъ свободныхъ, аки изъ недръ земли злато, изъ различныхъ діалектовъ и писаній потщатся изыскивати прилѣжно, онымъ, за ихъ въ наукахъ тщаніе, за свидѣтельствомъ училища блюстителей и учителей, имать быти достойное мздовоздаяніе!» Есть мука нестерпимая, понятная тѣмъ, кто отъ совершеннаго *незнанія* переходитъ къ тому, что люди называютъ *ученьемъ*: это — быстрое разувѣреніе, что ученье наше далеко не то, чего мы надѣялись; что формализмъ и регулы отнимаютъ у насъ силы тамъ, гдѣ хотѣлось-бы орломъ перелетѣть къ источнику истиннаго вѣдѣнія. Мы видимъ и увѣряемся, что открытое людьми далеко не значитъ еще и начала тому, чего требуетъ, что подозрѣваетъ безсмертная душа человѣческая. А между тѣмъ, мы видимъ также, что этимъ пренебречь нельзя, что эти предуготовительныя формы и матеріялы необходимы, какъ версты по большой дорогѣ, какъ лошадиная сбруя для телѣги, потому, что человѣку не дано здѣсь крыльевъ орла, а опредѣлено плестись по проложенной столбовой дорогѣ, и развѣ только счастливцу какому удается сдѣлать иногда маленькій объѣздъ проселкомъ.

Къ несчастью Ломоносова, онъ явился къ изданію въ то время, когда всѣ Европа, въ Словесности отра-

дала подъ ярмомъ Классицизма и безотчетнаго подражанія Древнимъ, не смѣя глядѣть далѣе Квинтиліана и Аристотеля; въ Естествознаніи, едва начинала смѣлыя открытія, какими ознаменовался конецъ XVIII вѣка; въ Философіи проклинала Спинозу, не смѣла повѣрить Декарту и Лейбницу, вилась еще съ Схоластикою, и думала видѣть чудо мудрости въ Вольфѣ. А что дѣлалъ Вольфъ? Составлялъ таблицы и формулы уму и знанію; опредѣлялъ значеніе философскимъ словамъ; мирилъ монады Лейбница съ вихрями Декарта; сводилъ Бакона съ теологическими темами Раймонда Луллія; въ *двадцати четырехъ фоліантахъ* своихъ Philosophia rationalis, Psychologia empirica, Philosophia prima, Cosmologia generalis, Psychologia rationalis, Theologia naturalis, Philosophia practica, Philosophia moralis, Jus gentium, Jus naturae, Specimen physices, Philosophia civicis, рѣшилъ наконецъ важное дѣло, но—что такое? Что Философія «есть знаніе возможнаго, поколику оно можетъ быть.» И за этимъ вились послѣ еще сто лѣтъ Бильфингеры, Фейерлинги, Баумейстеры, Реймарусы, за это чуть не дрались Лангеусы и Буддеусы, за это прогнали Вольфа изъ Галле, и вся Европа завалена была томами диспутовъ, потому, что тогда не знали еще нынѣшнихъ журнальныхъ статеекъ и полемическихъ брошюрокъ: если не инфоліо, то инкварто только могло быть отвѣтомъ противнику.

Нѣтъ! схоластическая, диспутическая, флегматическая Германія того времени, Германія, не знавшая еще ни Лессинга, ни Клопштока, ни Гете, ни Канта, не могла насытить нашего Холмогорскаго бѣглеца!

Но, вотъ онъ адъюнктъ, онъ профессоръ; передъ нимъ чистое поле; съ нимъ запасъ свѣдѣній: иди самъ впередъ! Науки сдѣлались теперь твоею обязанностью!

А жизнь?

А это бѣдное бытіе человѣческое, какъ ржавчина къ желѣзу, прилипающее къ моральному и духовному бытію нашему, а нужда, бѣдность, недостатки — змѣи, сосущія сердце человѣка! Каково было Ломоносову получить письмо доброй жены, которая безъ него едва пропитывала трудами рукъ своихъ себя и бѣдное дитя, и которую погубила его безразсудная любовь? «И я могъ забыть ее? Нѣтъ! Пусть пріѣдетъ она сюда!» вскричалъ Ломоносовъ, когда ему доставили письмо Христины, черезъ два года послѣ тяжкой ихъ разлуки. Онъ зоветъ ее къ себѣ, отдаетъ послѣднія деньжонки на проѣздъ ея. Она съ нимъ — она дѣлитъ радость и горе его...

Горе! Гдѣ не гнѣздится оно на тропинкахъ жизни, «лыкомъ подпоясанное, мочалами ноги изопутаны», по словамъ разгульнаго горемыки Кирши Данилова. Тогдашній уставъ Академіи, по которому странно соединялись ученая, учебная и хозяйственная части; недостатки ученыхъ и всякихъ пособій; забвеніе, въ какое брошена была Академія, это забвеніе — рай посредственности, всѣмъ довольной, если только оставляютъ ее съ насущнымъ хлѣбомъ для души и тѣла; товарищи Ломоносова, несносные своею «сверхуглиною» копотливостью; медленность, «аккуратность, формальность» совѣта тогдашней Академіи, и между всѣмъ

этимъ Тредіяковскій, вздорный подьячій, Миллеръ съ своею увійственною холодностью, Байеръ съ своею Китайскою грамотою, не знавшій Русскаго языка, и всѣ эти люди, для которыхъ пламенные порывы Ломоносова по всѣмъ отраслямъ знаній казались просто хвастливымъ безуміемъ, а горячій характеръ былъ источникомъ торжества, и которые считали себя выше его, съ своею благоразумною осторожностью, своею частною ученостью. Они не могли ошибаться и проигрывать — Ломоносовъ ошибался и проигрывалъ безпрестанно. Вспомните несчастную ссору его съ Миллеромъ; прочитайте письма его къ Шувалову. Другіе люди не были Ломоносовыми, но «умѣли ладить»: Миллеръ, этотъ привязчивый историческій критикъ, находился въ Академіи, а между-тѣмъ Барковъ издавалъ Несторову лѣтопись, и исторію Эмина напечатали на счетъ академіи: они умѣли ужиться, этотъ Барковъ, этотъ Эминъ, и въ то же время Ломоносовъ писалъ въ отчаяніи Шувалову: «Всенижайше ваше превосходительство прошу, отеческимъ вашимъ предстательствомъ перевесть меня въ другой корпусъ, и всего лучше въ Иностранную Коллегію, гдѣ не менѣе могу принесть пользы и чести отечеству — пусть узнаютъ, чего лишилась Академія, потерявъ такого человѣка, который столько лѣтъ украшалъ ее, и всегда съ гонителями наукъ боролся.»

Могло-ли въ самомъ дѣлѣ не казаться самохвальствомъ и пылкостью Эйлеромъ, Миллеромъ, Байеромъ, когда Ломоносовъ въ одно время писалъ оды, наблюдалъ прохожденіе Венеры, сочинялъ опыте-

скую поэму, изобрѣталъ мозаику, составлялъ грамматику и риторику, начерчивалъ Русскую исторію и учебную металлургію, выдумывалъ планы для университета, перестроивалъ лабораторію, издавалъ трагедіи, переводилъ Анакреона и Жанъ-Батиста Руссо? А его новыя идеи, его теорія свѣта, теорія громовыхъ отводовъ и электричества, теорія полярнаго свѣта и происхожденія металловъ?

И прошло *двадцать* лѣтъ. Вотъ Ломоносову грозитъ старость, скорбь и болѣзнь, послѣ жизни бурной, безпокойной, дѣятельной. Онъ у цѣли своей — да, у цѣли всякаго изъ насъ, могилы, но какъ далека та цѣль, которая нѣкогда мелькала передъ нимъ въ невѣсныхъ думахъ юности! Гдѣ предѣлъ наукѣ и познанію истины? Гдѣ предѣлъ даже тому, что хотѣлъ-бы онъ перенесть въ Россію, возродить въ Россіи, сдѣлать для блага ближнихъ и отечества, для чести отчизны? Все такъ самодовольно, все такъ гордо вокругъ него: Тредьяковскій, съ своимъ профессорствомъ элоквенціи, Тилемахидою и Ролленомъ; Сумароковъ, съ своею увѣренностью, что онъ «явилъ Россамъ Расиновъ театръ», съ директорствомъ этого театра, Трудолюбивою Пчелою и Аннинскою *каналеріею*; Миллеръ, съ званіемъ начальника Московскаго Архива и пылью рукописей. А Ломоносовъ терзается, страдаетъ, отчаивается, ищетъ утѣшенія въ чашѣ безумнаго веселья и гибнетъ.....

Да чего-жъ ему еще надобно? Развѣ онъ не огражденъ наконецъ отъ всѣхъ академическихъ сплетней, не профессоръ, не коллежскій совѣтникъ, не спасенъ

и отъ изнуряющей бѣдности? Послѣднее, правда, но только когда это сдѣлалось? Славою его гремитъ Россія: онъ избранъ въ члены Стокгольмской и Болонской Академій; онъ въ кругу знати; его принимаютъ и любятъ Разумовскіе, Воронцовы, Шуваловы, Дашковы; имя его съ удивленіемъ произносятъ самые простолюдины.....

Слава, слава! Грустно чувство великой души, когда она чувствуетъ, что могла-бы сдѣлать, видитъ, какъ мало сдѣлала, понимаетъ свое изнеможеніе, и съ презрѣніемъ слышитъ голосъ толпы, изумленной ея подвигами, великими въ отношеніи къ ней, ничтожными въ глазахъ подвигоположника, особливо, когда голосъ старости и смерти шепчетъ о близкомъ окончаніи неконченнаго поприща. Знаете-ли вы еще ту тяжесть, какую налагаетъ на насъ блестящее, завидное простолюдину покровительство и знакомство знатныхъ, это позволеніе являться среди ихъ, быть иногда мебелью ихъ великолѣпныхъ чертоговъ, игрушкою ихъ прихотей, минутною забавою ихъ утомленія отъ роскоши жизни? Тяжела бѣдность—это тяжеле. И глупое удивленіе толпы, этотъ разинутый ротъ простолюдина, званіемъ или понятіемъ—все равно—неужели вы оцѣняете ихъ дорого, не ужели этой награды ищете вы? У насъ такъ много говорятъ о дружбѣ Шувалова къ Ломоносову!.....

Одинъ только великій человѣкъ умѣлъ понять и оцѣнить, умѣлъ одушевлять и награждать Ломоносова, и этотъ великій человѣкъ была Екатерина. Она спѣшила отогрѣть застывавшую его душу, но было поздно.

Помните ли прелестный разсказъ чей-то объ Анаксагоровой лампѣ? Сердце Ломоносова могло только отозваться Екатеринѣ послѣднимъ голосомъ благодарности:

Какъ счастливъ, что могу быть въ вѣчности свидѣтель,
Богиня, сколь твоя велика добродѣтель!

И великую истину изрекъ онъ, привѣтствуя Екатерину на тронѣ:

О сколь монархъ благополученъ,
Что знаетъ Россами владѣть!
Онъ будетъ въ свѣтѣ славой звученъ
И всѣхъ сердца въ рукѣ имѣть.

Іюня 28, 1762 года Екатерина взошла на престолъ; Апрѣля 4, 1765-го Ломоносовъ скончался. Онъ умеръ, желая доказать Екатеринѣ, что готовъ жертвовать самою жизнію, если жизнь необходима для доказательства, какъ оцѣняетъ онъ ея живительный взоръ. «Вижу», говорилъ горестный Ломоносовъ, на смертномъ одрѣ доброму Штелину, «вижу, другъ! что мнѣ скоро умереть! Равнодушно смотрю я на смерть, и только о томъ жалѣю, что не успѣлъ кончить начатаго мною для пользы отечества, славы наукъ и чести Академіи; жалѣю, чувствуя, что благія намѣренія мои исчезнутъ со мною!»

Долго потомъ говорили, что Ломоносовъ былъ погребенъ великолѣпно; что за гробомъ его шли два архіепископа, что многія «знатныя персоны» провожали процессію похоронную. Еще болѣе заговорили, когда канцлеръ Воронцовъ, «на собственное иждивеніе,» выпи-

салъ изъ Италіи надгробный памятникъ, изъ бѣлаго Каррарскаго мрамора сдѣланный по «Флорентійскому рисунку», и по Латыни и по Русски велѣлъ написать на немъ, что Михаилъ Ломоносовъ былъ «мужъ славный, статскій совѣтникъ, профессоръ Академіи, муссіи въ Россіи изобрѣтатель», и прочая и прочая.

Мы не хотѣли писать подробной біографіи Ломоносова, и не войдемъ въ подробности біографическія, а еще менѣе въ дробь послужнаго списка Ломоносова. Намъ хотѣлось только опредѣлить этотъ чудный характеръ, это свѣтлое сѣверное сіяніе, поставить читателей на ту точку, съ которой, если неошибаемся, надобно смотрѣть на Ломоносова, и можно достойно оцѣнить его. Будутъ-ли послѣ этого оспоривать, что Ломоносовъ принадлежалъ къ поучительнымъ урокамъ, какіе Провидѣніе показываетъ людямъ въ явленіи характеровъ геніяльныхъ, и что исторія жизни его оправдываетъ тѣ общіе выводы о сущности геніяльныхъ людей, какія положили мы въ началѣ?

Составляя собою міровое соединеніе порывовъ ко всему великому и прекрасному, Ломоносовъ потому самому ничѣмъ особенно не могъ оставить по себѣ отдѣльнаго историческаго слѣда, ни въ лѣтописяхъ общественнаго нашего быта, ни въ лѣтописяхъ нашего просвѣщенія. Но его жизнь, взятая съ его творніями, и его творенія, взятыя съ его жизнью — вотъ мѣсто Ломоносова въ человѣчествѣ.

Вспомните тогдашнюю Россію; поймите это броженіе столь многоразличныхъ стихій общественной жизни; не забудьте, что Ломоносовъ явился черезъ

двадцать лѣтъ послѣ Петра Великаго, и умеръ при самомъ началѣ царствованія Екатерины; что жизнь его сосредоточилась между 1745 и 1765 годами. Петръ изобрѣталъ еще для насъ «азбуку»; Петръ писалъ еще, чтобы распространять въ народѣ слухи о приближающемся затмѣніи, и тѣмъ отвратить пустые страхи невѣждъ; Петру говорили еще бояре: «Гдѣ нашимъ рѣбятамъ познать заморскія хитрости!» ..... Мы указывали, что засталъ Ломоносовъ въ Европѣ — мы видѣли жизнь его тяжелую, трудную, тяжкую.....

И что же?

Ломоносовъ не поэтъ, но онъ изобрѣтаетъ міръ, которымъ надобно облечь Русскій стихъ, и создаетъ нашу лирическую поэзію, и испытываетъ силы въ поэмѣ, дидактикѣ, пѣснѣ, трагедіи — не поэтъ, а какими яркими красками сыплетъ онъ перлы вдохновенія, даже въ стихахъ ex officio, въ тандамахъ классицизма! Посмотрите: кто идетъ впередъ нимъ, кто слѣдуетъ за нимъ? Холодный Кантемиръ, «умозрительный» Бусалаевъ, умозрительный Тредьяковскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Батковъ, Богдановичъ, Капнистъ. Въ 1740 году, Ломоносовъ умѣетъ говорить въ одѣ своей:

Бѣжитъ въ свой путь съ весельемъ многимъ
По холмамъ грозный исполинъ,
Ступаетъ по вершинамъ строгимъ,
Завѣнъ глубоко дно долинъ,
Вьетъ вихремъ воздухъ за собою,
Подъ сильною его пятою
Кремнистые бугры трещатъ.

За сто лѣтъ до насъ, онъ умѣетъ передавать въ звучныхъ стихахъ красоты Библейскаго языка. Ораторскія творенія его теперь уже не образцы слога, но они всегда образцы мыслей, искуства необыкновеннаго, дарованія огромнаго, вдохновенія жаркаго. А между тѣмъ, Ломоносовъ творитъ и грамматику и риторику. Смотрицкій могъ только дать ему заржавѣлый топоръ, которымъ Ломоносовъ прорубитъ дорогу сквозь дремучій лѣсъ Русскаго языка, и послѣ него, въ сто лѣтъ, что такое мы сдѣлали? Только еще не много прочистили, еще немного расширили, замостили кое-гдѣ эту дорогу.

Но, словесность отдыхъ Ломоносова: его прямое назначеніе — познаніе природы. И онъ является сыномъ уже второй половины прошедшаго вѣка; онъ постигаетъ великую мысль, которая въ одно время вдохновляла его и Франклина; онъ споритъ съ Ньютономъ о теоріи свѣта, и если ошибся онъ — ошибся и Ньютонъ — борьба славна.

Пусть другіе оцѣниваютъ Ломоносова, какъ ученаго. Намъ дороже Ломоносовъ просто, какъ человѣкъ. Полюбите эту пламенную, добрую, безразсудную душу; вглядитесь въ нее въ рѣшительныя минуты ея жизни; прочитайте его планы, его мысли о практическомъ добрѣ для милой отчизны; вспомните его письма, его заботы, когда дѣло шло объ учрежденіи Московскаго Университета, его стараніе о Поповскомъ, его письмо по смерти Рихмана, его слова на смертномъ одрѣ!

Неблагодарны мы къ памяти великаго Ломоносова. Наши старики хвалили и превозносили его непо-

нимая; мы можемъ, умѣемъ понять Ломоносова, и безпечно забываемъ нашу обязанность къ его памяти...

Признаемся: такъ думали мы о Ломоносовѣ, такъ представляли его себѣ, когда явилась книга К. А. Полеваго. Мы внимательно прочитали ее, и благодаримъ Автора за нѣсколько усладительныхъ минутъ, какія доставило намъ это чтеніе. Авторъ, по мнѣнію нашему, понялъ Ломоносова, и тѣмъ пріятнѣе намъ сказать это, что зная до сихъ поръ г. Полеваго какъ умнаго литтератора, хорошо обладающаго языкомъ въ переводахъ, мы едвали не въ первый разъ встрѣчаемся съ нимъ, какъ съ самобытнымъ сочинителемъ. Къ счастію, его Ломоносовъ не походитъ на первый опытъ начинающаго сочинителя. Это произведеніе ума зрѣлаго и руки твердой въ работѣ.

Сочиненіе г. Полеваго не повѣсть, не жизнеописаніе, не историческій романъ.

Могутъ-ли быть жизнь и дѣла Ломоносова предметомъ художнической обработки? Если вы разумѣете подъ этимъ романъ и повѣсть, мы рѣшительно скажемъ — нѣтъ, и не потому, чтобы Ломоносовъ не могъ быть канвою для того и другаго — какой вымышленный Вильгельмъ Мейстеръ сравнится съ нимъ? — Но намъ жаль было-бы видѣть нашего Ломоносова въ романической рамкѣ. Романъ не могъ-бы обнять всей жизни Ломоносова, а Ломоносовъ драгоцѣненъ именно своею цѣлою жизнью, и не слѣдуя за нимъ отъ Холмогорской его хижины до могилы въ Александро-Невскомъ монастырѣ, вы не выразите его, да-

ше вамъ человѣка. Выкинувъ что нибудь отдѣльно, вы напишете, можетъ быть, прекрасный романъ, но для чего вамъ тутъ Ломоносовъ? Назовите лучше героя вашего N. N. назовите его А. Б. В. — все равно.

Пишите его исторію. Но тогда вы связаны отчетливостью, и если захотите изъяснить намъ внутренняго человѣка, вы принуждены будете къ внѣшней жизни его приставлять разсужденія отъ себя, и тогда сочиненіе ваше уже не будетъ произведеніемъ чисто историка.

Г. Полевой, кажется, умѣлъ понять все это, и потому образовалъ изъ жизни Ломоносова совершенно новый въ нашей литтературѣ родъ сочиненій. Кажется, что основную мысль подала ему столь обильная въ современной Франціи отрасль сочиненій — записки, mémoires. Тамъ явилось множество ихъ, приписанныхъ разнымъ знаменитымъ людямъ, и многія изъ нихъ суть произведенія подложныя, но увлекательныя своимъ изложеніемъ, и превосходно передающія предметъ свой, со всею живостью романа, со всею вѣрностью исторіи, сколько достижимо такое соединеніе. Таковы Записки, изданныя подъ именемъ Кардинала Дюбуа, Графини Дюваррй, одной знатной дамы, d'une femme de qualité, и Современницы, d'une contemporaine Если угодно, это все еще историческій романъ, но уже удаленный отъ того, что собственно называется «романическимъ» въ этомъ родѣ сочиненій.

Разумѣется, на подобное сочиненіе, особливо когда предметомъ его будутъ Ломоносовъ и начало XVIII вѣка, такъ мало знакомые намъ въ подробно-

стахъ, должно было употребить обширный предварительный трудъ, и г. Полевой употребилъ его добросовѣстно. Онъ такъ остороженъ въ «своевольныхъ прибавкахъ», что это даже именно вредитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его книгѣ, не допуская его вставлять картины мѣстности, которыя не помѣшали-бы основанію истины. Авторъ не осмѣлился и послѣ этого назвать книгу своей «Записками»: онъ разсказываетъ о Ломоносовѣ въ третьемъ лицѣ. Желая познакомить читателей съ идеею Автора, мы выпишемъ, что самъ онъ говоритъ о своемъ разсказѣ:

Мнѣ казалось, что лучшею, истинною поэмою, какую завѣщалъ намъ первый Русскій поэтъ, была собственная жизнь его. Эта мысль заставила меня сообразить матеріалы, какіе представляютъ намъ сочиненія и письма его, замѣтки современниковъ и преданія нашихъ отцовъ. Тщательно изучая жизнь великаго человѣка, я изучалъ вмѣстѣ и вѣкъ его, и людей, имѣвшихъ вліяніе на его судьбу. Все это образовало наконецъ для меня величественную картину, слабый очеркъ которой представляю читателямъ. Я писалъ не романъ и не исторію, а разсказъ о жизни Ломоносова, и если онъ истиненъ, вы скажете: »Да, конечно, таковъ былъ нашъ Ломоносовъ.« Впрочемъ, и нельзя иначе описывать его жизни, если не хотите составить простаго, послѣдняго списка. Я желалъ только, чтобы вѣрна была идея, и воображая себѣ Ломоносова въ каждомъ положеніи удивительной, поэтической его жизни, описывалъ подробности, какъ *могли* быть онѣ въ дѣйствительности. Онѣ *могли быть* таковы: этого оспорить нельзя. Но замѣчу наконецъ: во всей книгѣ нѣтъ ни одной изъ главныхъ чертъ, и почти ни одной подробности, для которой не могъ-бы я указать источника, или ни имѣлъ бы основанія. Желательно, чтобы это могъ сказать всякій историкъ.

Читатели поймутъ, что принявъ форму Записокъ, авторъ удалилъ всѣ романическія формулы. Планъ книги самый простой. Она открывается тѣмъ, что въ Москву идетъ обозъ изъ Холмогоръ; къ обозу пристаетъ какой-то крестьянинъ, молодой малой: это Михайло Ломоносовъ. Вся эта глава — одно изъ лучшихъ мѣстъ книги. Мы выписали-бы ее, если-бы не боялись слишкомъ растянуть статьи. Михайло опредѣляется въ Заиконо-Спаскую Семинарію, учится, ѣдетъ въ Кіевъ, посылается въ Петербургъ, отправляется въ Марбургъ, влюбляется, женится, бѣжитъ, возвращается въ отечество, поступаетъ въ Академію. Не выходя изъ предѣловъ строгой истины, авторъ рисуетъ намъ тогдашнія духовныя школы, тогдашніе Нѣмецкіе университеты, тогдашнюю Академію, въ портретахъ, разговорахъ, монологахъ дѣйствующихъ лицъ. Портреты и описанія умножаются, когда Ломоносовъ дѣйствуетъ самобытно. Характеръ Шувалова, проходящій сквозь весь второй томъ, схваченъ мастерски; изображенія фонъ-Бреверна, Миллера, графа Кирилы Григорьевича Разумовскаго, Селлія, Ѳеофана Прокоповича, Дмитрія Сѣченова, множество мимолетныхъ очерковъ, гдѣ видимъ канцлера Бестужева, канцлера Воронцова, Е. Р. Дашкову, Шлецера, Хераскова, Эмина, общіе характеры семинаристовъ, Нѣмецкихъ студентовъ, ученыхъ Нѣмцовъ, хорошенькихъ Нѣмочекъ и добрыхъ отцовъ ихъ, написаны съ знаніемъ дѣла, съ остроумною мыслью, съ теплымъ чувствомъ. Какъ естественно разставаніе Русскихъ старухъ съ дѣтьми ихъ которыхъ отправляютъ изъ Москвы въ Академическую Гимназію!

Во дворѣ монастырскомъ ожидала ихъ иная сцена. Тутъ собралось множество старухъ, мальчишекъ и всякаго народа. Начались обниманья, цѣлованья, слезы, почти крикъ и вопли. Монахъ, отправлявшійся въ видѣ дядьки съ молодыми людьми уговаривалъ всѣхъ тише изъявлять свою горесть, но это непомогало. Между тѣмъ въ телѣги нагрузили множество мѣшечковъ, сверточковъ со всякой всячиной; кульки съ пирогами и калачами слѣдовали туда-же; наконецъ посадили и господъ студентовъ. Неизвѣстно кто были они; извѣстенъ одинъ изъ нихъ: Михайло Ломоносовъ. Онъ бодро вскочилъ на телѣгу, и только пожалѣлъ, что много мѣста, отняли всякими запасами, такъ что и сидѣть стало негдѣ.

Проѣхавши заставу, куда провожали родственники своихъ милыхъ ребятъ, сошли съ телѣгъ, начали молиться на Московскія церкви, и опять рыдать, плакать, цѣловаться. Одна изъ старушекъ, повидимому, сохранявшая болѣе другихъ терпѣнія, сказала своему сыну:

—Смотри-же ты, Гаврюша! будь уменъ.

Нескладный парень отвѣчалъ ей комически-печально:

«Буду, матушка.

— Учись хорошенько, а пуще всего, помнишь: берегись трехъ искушеній: чарки, табаку, да *зерна*.

«Буду, матушка.

— Не забывай своихъ родителей.

«Не забуду, матушка.

— Ходи въ церковь Божію, уважай священство.....

Тутъ раздался громкій голосъ провожатаго монаха:

«Пора, пора! Что за слезы, друзья мои! Садитесь, съ Богомъ!

Всхлипывала жалобы, плачъ хлопнулся, а мудрствующая старушка продолжала:

«Смотри-же, Гаврюша, помни родительскія наставленія.

— Буду помнить, матушка.

«Боюсь я, дитятко мой, чтобы ты къ чаркѣ-то не прилѣпился. Въ ней-то кроется сатана!

— Не боись, матушка, не стану пить.

«Будешь ты тамъ съ Нѣмцами, не учись у нихъ фалаши-то курить. Это ведь смертный грѣхъ.....

— Буду помнить, матушка.

«А пуще того, станутъ тебя Нѣмцы совдазнять пить кофей: не пей — знай, что онъ изъ Іудина чрева выросъ.

Намъ кажется, что только въ очеркахъ двухъ значительныхъ характеровъ, Тредьяковскаго и Сумарокова, Авторъ сбился въ черты слишкомъ общія: въ первомъ изобразилъ онъ просто педанта и подьячаго, въ другомъ только просто говоруна-стихотворца, что-то въ родѣ Графова, а мы готовы поспорить, что въ томъ и другомъ можно-бъ было ему отыскать черты болѣе личныя и оригинальныя. Намъ показался также слишкомъ общимъ характеръ Вольфа. Думается, что и не таковъ онъ былъ. Но за все это богато вознаграждаетъ характеръ самого Ломоносова. Иногда забрасывая его лищними подробностями — таковы, напримѣръ, подробности споровъ и отношеній Ломоносова въ Академіи — Авторъ вездѣ постигаетъ его характеръ, изучаетъ его съ любовью, и нерѣдко выполняетъ идею въ картинахъ превосходныхъ. Таковы: разсказъ Ломоносова о своемъ дѣтствѣ, и Ломоносовъ на балѣ у Шувалова, въ

кальнетъ Шувалова съ Тредьяковскимъ, въ присутствіи Екатерины.

Если-бы Авторъ далъ сочиненію своему болѣе мечтательной поэзіи, заронилъ болѣе тоски генія въ душу Ломоносова, удалилъ тѣнь нѣкоторыхъ подробностей, и въ замѣну того усилилъ картины мѣстностей, слилъ разныя точки жизни Ломоносова переходами болѣе быстрыми, осмѣлился болѣе и чаще олицетворять идеи, какія скрывались въ душѣ Ломоносова, намъ кажется, книга его была бы самою удовлетворительною поэтическою исторіею великаго соотечественника, и выдержала бы сравненіе съ самымъ увлекательнымъ романомъ. Теперь, въ настоящемъ видѣ, чтеніе ея занимчиво; читатель видитъ въ Авторѣ умнаго, благороднаго человѣка, умѣющаго мыслить и писать, но чувство послѣ прочтенія всей книги остается какъ-то неполно, впечатлѣнія какъ-то слишкомъ мимолетны. Менѣе системы, болѣе безотчетной поэзіи менѣе работы головою, болѣе думы сердца — вотъ чего бы-мы потребовали отъ плана, отъ исполненія, даже отъ самаго слога г. Полеваго, если-бы онъ захотѣлъ насъ спросить.

Желая дать лучше понятіе о замѣчательномъ трудѣ г. Полеваго, мы представимъ два различные отрывка, которые читатель обсудитъ самъ.

— «Михайло! Михайло!» кричалъ ему знакомый голосъ. Это былъ монахъ Антоній. «Къ отцу архимандриту!» сказалъ онъ, и движеніемъ руки велѣлъ ему слѣдовать за собой.

Дверь въ комнату Архимандрита растворилась; посреди комнаты стоялъ невысокій, худощавый человѣкъ. Иронича-

тельные глаза, умная физіогномія, живость во всѣхъ движеніяхъ отличали его. Онъ сказалъ отрывисто:

«Буди здравъ! Ты изъ Москвы?»

— Точно такъ, ваше высокопреподовіе.

«Учиться къ намъ? Покажи свидѣтельство.»

Ломоносовъ подалъ ему бумагу; Архимандритъ прочиталъ ее.

«Ты желаешь вступить въ *большую братію?*»

—Я желаю учиться здѣсь философіи, физикѣ и математикѣ.

«Ну, да. Философія и богословіе принадлежатъ *большому братству.* Развѣ ты не знаешь, что учащіеся раздѣляются у насъ на *большаго* и *малаго собранія,* Sodales majoris et minoris congregationis. Въ Большое Братство вписываются только тѣ, которые обучаются богословію и философіи, а въ Меньшое учащіеся риторикѣ, поэзіи и разнымъ языкамъ. Искусенъ-ли ты въ этихъ послѣднихъ знаніяхъ?

— Пять лѣтъ учился я, почти исключительно, этимъ предметамъ.

«Слѣдовательно, знаешь ихъ?

— Знаю.

«Такъ испытанія не нужно: успѣхи могутъ оправдать твои слова. Черезъ недѣлю назначенъ диспутъ; явись туда. А между тѣмъ поди со своею бумагою къ префекту старшаго Братства.

Ломоносовъ явился къ префекту. Тотъ, вмѣстѣ съ *ассистентами,* прочиталъ его бумагу, передалъ ее *секретарю,* и черезъ нѣсколько часовъ Ломоносовъ былъ помѣщенъ вмѣстѣ съ *Большою Братіею.*

Новые братья его были всѣ уже зрѣлые юноши; многіе даже болѣе нежели мужественныхъ лѣтъ. Смѣсь ихъ удивила

нрезжаго сѣверянина: онъ нашелъ тутъ немногихъ чисто-Русскихъ, и множество Малороссіянъ, которые говорили своимъ особеннымъ нарѣчіемъ, смѣшаннымъ съ Польскими словами; въ большомъ употребленіи у нихъ былъ языкъ Латинскій. Ломоносовъ свободно изъяснялся на немъ, и потому говорилъ съ ними больше по Латыни.

Вскорѣ общество этихъ людей не понравилось ему. Вмѣстѣ съ немногими благонравными, умными людьми, онъ видѣлъ толпу лѣнивыхъ, безпечныхъ, буйныхъ юношей, и все, что впослѣдствіи описалъ съ такою истиною Нарѣжный въ своемъ «Бурсакѣ», было передъ глазами Ломоносова. Въ часы отдыха, и еще болѣе по ночамъ, они выходили на разныя проказы: опустошали огороды, пускались за городъ, пѣли тамъ пѣсни, декламировали — дѣлали многое и хуже. Рѣдко проходило имъ это безъ наказанія, и розги были необходимою принадлежностью ученія для проказливыхъ бурсаковъ.

Благонравный, чистый душою Ломоносовъ не только не вмѣшивался въ ихъ шалости, но и получилъ еще новое отвращеніе отъ безпутства, которое являлось тутъ въ самомъ некрасивомъ видѣ.

За нѣсколько дней до диспута, всѣ, даже шалуны прилежно занялись приготовленіями къ нему. Надобно сказать, что въ Кіевской Академіи искони было введено ученіе самое классическое, чтобы не сказать схоластическое. Тамъ тщательно учились языкамъ Латинскому и Греческому, а въ философіи ограничивались искаженнымъ Аристотелемъ, и развивали способности души человѣческой, какъ механическую игрушку.

Ломоносовъ съ любопытствомъ ждалъ состязанія Кіевскихъ умовъ, и самъ думалъ вмѣшаться въ споры; впрочемъ, онъ помышлялъ объ этомъ съ робостью, потому, что въ Москвѣ

редко вызывали торжествующие диспуты, да и не оставались они такъ, какъ Кленовичъ.

Собрано было все Большое Братство; тутъ присутствовали также ректоръ, архимандритъ Амвросій Дубневичъ, префектъ Іеронимъ Миткевичъ, и всѣ учители, въ числѣ которыхъ были извѣстные въ послѣдствіи Сильвестръ Кулябка и Михаилъ Козачинскій. Диспутъ долженъ былъ происходить *о философическихъ матеріяхъ*. На средину собранія вышелъ одинъ изъ опытныхъ диспутантовъ, поклонился на всѣ стороны, и громко сказалъ:

«Я утверждаю, что блаженства жизни человѣческой никакія мученія отнять не могутъ, и какъ Перипатетики говорятъ, *блаженная жизнь можетъ войдти съ человѣкомъ въ Фаларидова быка.*

Онъ поклонился еще разъ, и ожидалъ оспориваній; они не замедлили.

Выступилъ длинновѣлосый, длиннолицый человѣкъ изъ толпы и сказалъ:

«Сей быкъ былъ сдѣланъ изъ мѣди, внутри тощъ. Фаларидъ запиралъ въ него людей, и подложивъ огонь, безчеловѣчно ихъ мучилъ. Тѣло страдало при семъ, но древняя мудрость говоритъ: Mens sana in corpore sano. Блаженство разумѣемъ конечно не одно тѣлесное, плотское, а толико же и душевное, *но лишь въ здравомъ тѣлѣ здравый бываетъ умъ*. А въ Фаларидовомъ быкѣ было худо тѣлу, поелику тяжко было тѣлу, которое страдало, лишаетъ и умъ здравія, какое для тѣла и души называется блаженствомъ.

— Это ясно! ясно! — сказали многіе.

Предложившій тому отвѣчалъ:

«Tertur est mendacium; perlucet, si vel minimum diligenter inspexeris, говоритъ Сенека. По моему мнѣнію, Перипатетики и древніе Академики пускай говорятъ свободно, не обнаружась,

что блаженство жизни въ Фалариде была войти можетъ. Подлинно, что болѣзнь кажется быть жестокая добродѣтели испытательница. Сія на оную пламень возжигаетъ; сія мужество, великодушіе и терпѣніе оставить готовится. И тамъ, или уже повѣдима будетъ отъ мей добродѣтель? Нѣтъ! Блаженная и постоянная жизнь премудраго мужа ей уступитъ? О Боже мой! какъ-бы скаредно сіе было!

— Приступъ и парафразисъ хороши, — сказалъ Ирфентъ.

«Парафразисъ съ причиною,» поправилъ его ректоръ Дубневичъ.

— Нужны-ли примѣры? — продолжалъ диспутантъ. Спартанскія малыя дѣти бичами жестоко терзаемы, болѣзнь сносятъ безъ стенанія. Взрослыхъ юношей множество видѣлъ въ Лакедемоніи самъ Цицеронъ, какъ между собою, съ невѣроятною перетужностью, бьются кулаками, пятами, ногтями, зубами, и лучше хотятъ быть до смерти убиты, нежели сказать, что ихъ одолѣли. Кое варварство есть грубѣе и дичае Индіи? Но вовсѣмъ народѣ, которые премудрыми называются, нѣкъ живутъ наги; Кавказскіе снѣги и зимніе пути безъ болѣзни сносятъ, и прикоснувшись пламени, безъ стенанія ожигаются. Женщины въ Индіи, когда ихъ мужъ умретъ, спорятъ между собою, которую онъ любилъ больше, ибо одинъ мужъ много женъ имѣетъ; которая въ спорѣ повѣдитъ, та, въ провожаніи своихъ сродниковъ, съ веселіемъ, на костеръ восходитъ, и съ мужемъ своимъ сожигается; побѣжденная, отходитъ печальна. Натуры никогда-бы, обыкновеніе не преодолѣло, ибо она всегда есть непобѣдима, но мы тѣнью мнимаго добра, роскошьми, покойнымъ житіемъ, слабостью и лѣнивствомъ духъ свой заразили. Обыкновенія Египтянъ кто не знаетъ, которые, имѣя собственными заблужденіями наносимую голову, всякое мученіе прежде понести могутъ, нежели цапли, или змѣя, или кошки, или собаки, или крокодилу учинятъ какое повреждение, и ежели что не нарочно одѣлаютъ однако ни отъ какого за то наказанія не откуся. Но сіе говорящъ

о людяхъ. Что-же несмысленныя животныя? Не претерпѣваютъ-ли стужи и голоду? Не сносятъ-ли по лѣсамъ и по горамъ труднаго странствованія? Не защищаютъ-ли своихъ дѣтей, принимая раны, никакихъ стремленій, ни какихъ ударовъ не ужасаясь? Не упоминаю колико сносятъ и колико терпятъ кичливые для чести, любящіе похвалу для славы, возжженные любовію для сласти.

Въ кругу учителей замѣтно было неодобрительное движеніе при послѣднихъ словахъ.

Диспутантъ продолжалъ:

— Жизнь человѣческая полна такихъ примѣровъ. Дастъ, истинно дастъ себя на мученіе блаженная жизнь, и послѣдуя правосудію, воздержанію, а паче всѣхъ мужеству, великодушію и терпѣнію, не остановится, воззрѣвъ на лицо мучителево. И когда всѣ добродѣтели съ нею на мученіе пойдутъ, не устрашится, и передъ темничными дверьми не останется, ибо что скареднѣе быть можетъ, и что безобразнѣе, ежели она одна оставлена, и отъ сего толикаго сообщества отлучена? Но ни коимъ образомъ сіе статься не можетъ, ибо ни добродѣтели безъ блаженнаго житія, ни блаженной жизни безъ добродѣтелей быть невозможно. И такъ, оной отъ себя не отпустятъ, но повлекутъ съ собою, къ какой-бы онѣ болѣзни и мученію приведены ни были. Ибо свойственно есть премудрымъ ничего не дѣлать, о чемъ-бы они послѣ каялись, ничего въ неволю, но все прехвально, постоянно, важно и честно; ничего такъ не ожидать, какъ необходимо быть имѣющаго, и все, что случается, тому не удивляться, какъ нечаянному и новому.

— Увѣдительно и сильно! воскликнулъ префектъ.

«И какая полная хрія!» примолвилъ учитель риторики. «Замѣтили ль, святой отецъ, какъ искусно расположены были приступъ, парафризисъ съ причиною, примѣры, противное и заключеніе?

— Недостаетъ, кажется, только части *свидѣтельства*. Но похвально, похвально — сказалъ Префектъ.

Новый противникъ выступилъ противъ диспутанта, и началъ такъ:

«Несомнѣнно есть, какъ тому быть надлежитъ, что блаженство не искореняется, ниже огнемъ, мученіями, ниже страданіемъ каковымъ либо. Но Фаларидовъ быкъ, примѣръ и тема первые, не согласуются съ послѣдующими, или яснѣе, тема и приступъ несовмѣстны съ заключеніемъ, поелику ввергнутый въ мѣдянаго Фаларидова быка мгновенно испускалъ духъ, исжаривался, и превращался въ нѣчто такое натуральное, которое ни силъ душевныхъ, ниже добродѣтелей имѣть не могло. А страданіе единое не есть еще добродѣтель. Nemo de misera vita gloriari potest.

— Adsuesce et dicere verum et audire! съ жаромъ воскликнулъ диспутантъ. — Не объ умертвломъ человѣкѣ, но о живомъ представляемъ себѣ. Таковый сочувствуетъ блаженству въ Фаларидовомъ быкѣ, примѣрѣ, издавна приводимомъ знаменитѣйшими писателями древности.

«Въ историческихъ сказаніяхъ находимъ извѣстіе о семъ безчеловѣчномъ мучителѣ» — сказалъ оспоривающій. «Но ораторы древности не приводили въ примѣръ сего пагубнаго тиранства.

— Ораторы древности приводили его не разъ въ примѣръ — возразилъ диспутантъ.

«Сіе невозможно есть», сказалъ оспоривающій. «Примѣръ историческій не всегда есть доказательство философическое.»

— Мы не встрѣчали сего примѣра — прибавили двое другихъ.

«Можетъ быть онъ и встрѣчается, но не въ великихъ наставникахъ древности.

«Напротивъ! рѣзко сказалъ диспутантъ. Нужно-ли доказательство вамъ?

«Несомнѣнно необходимо, ибо, какъ иначе оцѣнимъ примѣръ?» отвѣчало нѣсколько голосовъ.

— Мы теперь въ области не краснорѣчія, а философіи — сказалъ диспутантъ. — Fac ut principia consentiant exitus.

«Подражаніе законъ всѣхъ наукъ и художествъ,» возразилъ длиннолицый. «Подражаніе авторамъ, въ расположеніи и изобрѣтеніи мыслей, едва ли не больше нужно, нежели самыя лучшія правила.

— Умолкните же и не осуждайте сами себя! — возгласилъ диспутантъ. — Не хочу присвоивать себѣ чужаго. Homo justus nihil cuiquam, quod in se transferat, detrahit. Всѣ распространенныя мною въ видѣ хріи доказательства, находятся буквально въ Тускуланскихъ «Запросахъ» Цицерона, въ книгѣ второй!

Общее одобреніе слѣдовало за этимъ неожиданнымъ доказательствомъ.»

Вотъ второй отрывокъ.

Дворецъ въ Петербургѣ блисталъ огнями. Ряды оконъ, освѣщенныхъ ярче обыкновеннаго, заставляли смиренныхъ пѣшеходовъ обходить лишнюю улицу, только-бы не ступить на свѣтлые противъ оконъ круги земли, съ которыхъ могли неучтиво согнать ихъ грозные рейтары. Несмотря на большой съѣздъ, вокругъ дворца было все тихо, какъ передъ строемъ солдатъ, ожидающихъ своего начальника. Оклики стражи, да рокотъ запоздалой кареты, подъѣзжавшей къ крыльцу, одни нарушали это спокойствіе на площади.

Но что дѣлалось во дворцѣ? Тамъ былъ царскій вечеръ, у Императрицы Анны Іоанновны, уже болѣзненной, близкой къ своей кончинѣ, и какъ-бы старавшейся разсѣять себя, забыть

свои страданія среди блеска и веселья. Для того, въ послѣдніе время жизни своей, она чаще собирала во дворцѣ избранное общество и приказывала ему утѣшать себя. Можетъ быть, и ловкій Биронъ употреблялъ это, какъ политическое средство: при шумѣ веселья такъ удобно иногда испросить согласіе на многое, въ чемъ отказываютъ по утру, въ кабинетѣ, въ серьезное время работы ума. На что не могъ всесильный царедворецъ преклонить умъ Императрицы, съ тѣмъ обращался къ ея чувствамъ.

Собраніе было многочисленное, и по видимому, веселое. Вельможи и придворные расхаживали по заламъ съ такимъ самодовольствомъ, обращались другъ къ другу съ такимъ радушіемъ, что посторонній сказалъ-бы: «Они оставили за порогомъ всѣ страсти свои, и предались одному желанію развеселить Императрицу.» Между тѣмъ она, окончивши партію пикета съ Остерманомъ, облокотилась на стоявшаго подлѣ нея пажа, и глаза ея упали на каммертера Корфа, который приближался съ улыбающимся видомъ.

— А что же Баронъ!—сказала она—принесли ли вы мнѣ свое сочиненіе?.....

«Приказаніе Вашего Величества исполнено!» отвѣчалъ Корфъ, подавая небольшую книжку печатныхъ листочковъ.

Императрица взяла ихъ, немного откатилась на креслахъ своихъ отъ столика, за которымъ играла, и обратила рѣчь къ окружавшимъ ее.

«Вотъ господа, я подарю вамъ чудо. Вчера, при нашемъ новомъ торжествѣ надъ Турками, баронъ Корфъ поднесъ мнѣ стихи, написанные рыбачьимъ сыномъ.....

— Рыбачьимъ сыномъ! — воскликнуло нѣсколько голосовъ. Но въ этихъ словахъ не было выраженія, потому, что еще не знали, какое придать имъ: шутливое или торжественное? Импе-

ратрица любила иногда приводить въ недоумѣніе своихъ придворныхъ шутками и загадочными словами, и они ждали объясненія.

«Да, рыбачьимъ сыномъ!» повторила она. «Вотъ, возьмите: это стихи на взятіе Хотина и побѣду надъ Турками. Да какіе стихи!..... Такихъ не пишетъ Тредьяковскій, ни Грекъ Антіохъ Кантемиръ!

«Придворные съ благоговѣніемъ спѣшили принимать изъ рукъ Императрицы листочки, вдругъ сдѣлавшіеся для нихъ святынею. Она сама раздала ихъ нѣкоторымъ, и отдавая остальное опять Корфу, сказала:

«На! дай имъ всѣмъ!..... Я нарочно велѣла Корфу напечатать ихъ больше, чтобы вы всѣ, господа, могли полюбоваться новымъ стихотворцемъ нашимъ.

Между-тѣмъ, получившіе стихотвореніе прежде другихъ, спѣшили къ канделаврамъ, къ свѣчамъ; старики надѣвали очки, а иные уже развѣрали по складамъ: *Враге..... врагеб..... ной—да.....ли.....мнѣ.....воды.* И отвсюду слышно было: «Безподобно!..... Удивительно!..... Прекрасно!»

Между тѣмъ Императрица снова отзывалась о стихахъ Ломоносова чрезвычайно благосклонно, и наконецъ сказала Корфу:

«А гдѣ нынѣ теперь этотъ Ломоносовъ?

— Въ Магбургѣ, Ваше Величество: учится у профессора Вольфа стихотворству.

«Въ Марбургѣ! Стихотворству! У профессора!» повторяли многіе.

— Да разскажи имъ, какъ получилъ ты эти стихи. Разскажи подробно. Это страхъ какъ любопытно, господа.

Уши у всѣхъ настроились. Корфъ, съ поклономъ къ Императрицѣ, началъ:

«Ломоносовъ учится на счетъ Академіи, щедротами Все-

милостивѣйшей нашей Государыни. Онъ присылаетъ ко мнѣ, какъ къ Президенту Академіи, отчеты о своихъ успѣхахъ. Въ послѣдній разъ, при письмѣ и отчетѣ, я получилъ отъ него и стихи, написанные имъ, когда услышалъ онъ о преславной побѣдѣ, одержанной войсками Ея Императорскаго Величества. Онъ говоритъ, что побѣда отозвалась въ Германіи, какъ громъ, и что онъ, въ избыткѣ чувствъ, осмѣлился воспѣть торжество Россійскаго оружія.

— Удивительно! превосходно!—начались опять восклицанія.

Между тѣмъ Корфъ, напередъ выучившій свой разсказъ, отпиралъ ротъ и съ торжествомъ поглядывалъ на придворныхъ собратовъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ такъ кстати поднесъ стихи Ломоносова, что уже многіе были готовы жать ему руку, и успѣхъ этотъ равнялся развѣ успѣху его выучить довольно длинную Русскую рѣчь.

«Но кто этотъ Ломоносовъ?» спросилъ наконецъ Остерманъ, остававшійся на своемъ мѣстѣ противъ Императрицы, за карточнымъ столомъ, потому, что подагра давала ему право меньше другихъ утомлять свои ноги, даже при Императрицѣ.

— Ломоносовъ, Холмогорскій уроженецъ, сынъ рыбака — отвѣчалъ Корфъ.—Въ достославное царствованіе нашей Всемилостивѣйшей Государыни, когда науки, вмѣстѣ со всѣми другими отраслями государственнаго хозяйства.....

Императрица улыбнулась, но Корфъ, ни мало не смѣшавшись, продолжалъ:

— Когда все процвѣтаетъ и благоденствуетъ, и науки находятъ покровительство, Ломоносовъ пришелъ пѣшкомъ въ Москву, изъ Архангельска .....

«Пѣшкомъ?» спросили нѣкоторые.

— Да, милостивые государи, пѣшкомъ. Въ Москвѣ, разумѣется, встрѣтилъ онъ покровительство, и опредѣлился въ Духовную

Академію, откуда, какъ отличнаго ученика, отправили его въ нашу Академію. Мы, для вящшаго усовершенствованія, послали его въ Марбургъ, къ профессору Вольфу, и тамъ-то онъ написалъ оду.....

Биронъ, всесильный Биронъ слушалъ съ нетерпѣніемъ разскащика, боясь, чтобы многословіе его не утомило Императрицы. Онъ уже хотѣлъ перемѣнить разговоръ, когда она сказала.

— Нѣтъ! разскажи, какъ удивилъ онъ васъ своими стихами.

«Да, Ваше Величество. Я истинно удивился, прочитавши стихи его, и отдалъ ихъ на разсмотрѣніе господамъ Академикамъ. Они единогласно подтвердили мое мнѣніе, что стихи прекрасны, и даже достойны воззрѣнія Всемилостивѣйшей нашей Государыни. Я велѣлъ напечатать ихъ, и удостоился, во вчерашній торжественный день, поднести Ея Величеству.....

— А я велѣла напечатать повольше этихъ листочковъ, и поздравляю васъ, господа, съ новымъ стихотворцомъ! — прибавила Императрица благосклонно.

Глубокій поклонъ былъ отвѣтомъ на эти слова.

Корфъ разсказалъ почти все справедливо, и только нѣкоторыя стороны представилъ по своему. Онъ, какъ Нѣмецъ, даже плохо понимавшій Русскія дѣловыя бумаги, тѣмъ меньше могъ судить о стихахъ Ломоносова, и получивши ихъ, отдалъ на разсмотрѣніе Академіи. Но тамъ засѣдали также почти все Нѣмцы, и они едвали могли-бы оцѣнить первый брильянтъ Русской поэзіи, если-бы одинъ изъ нихъ прямодушно не посовѣтовалъ отдать стихи на разсмотрѣніе учителю Академической гимназіи Ададурову. Этотъ человѣкъ, бывшій въ послѣдствіи учителемъ Русскаго языка при Великой Княгинѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, и наконецъ фельможею, первый угадалъ поэтическій порывъ юноши, и съ изумленіемъ къ новости языка, величію образовъ, а всего больше необычайному размѣру стиховъ, представилъ Академіи, что ода Ломоносова достойна всякаго одобренія и поощренія.

Онъ прочиталъ не Академикамъ, не понимавшимъ языка, но понявшимъ размѣръ стиховъ. Они заспорили было, что Русскій языкъ неспособенъ къ размѣрамъ, и что въ немъ существуетъ только тоническое стихотворство. Но почти въ одно время съ стихами получено было отъ Ломоносова *Письмо о правилахъ Россійскаго стихотворства*: онъ какъ будто предчувствовалъ, что оно будетъ нужно для увѣжденія гг. академиковъ. Аддуровъ перевелъ это письмо на Нѣмецкій языкъ, и совершенно удостовѣрилъ ихъ въ огромности подвига перваго Русскаго поэта. Они поняли это, и рѣшились наградить изобрѣтеніе размѣра для Русскихъ стиховъ одобреніемъ. Послѣ того уже Корфъ рѣшился представить оду Ломоносова Императрицѣ, и сдѣлалъ это такъ удачно.

Одобрительный говоръ не умолкалъ, послѣ того, какъ услышали, что Императрица искренно любуется стихами на громкую побѣду войска ея. Даже Биронъ, не любившій ничего Русскаго, хвалилъ по Нѣмецки мужика, одареннаго такимъ *искуснымъ умомъ*. Русскіе патріоты восхищались отъ чистаго сердца, можетъ быть, не столько стихами, сколько побѣдой Русскаго ума надъ предубѣжденіемъ, которое бывало готово иногда отнять у ихъ соотечественниковъ всѣ способности.

— Все прославляетъ царствованіе ваше, Государыня! — сказалъ Остерманъ.

«Русскій умъ воскресаетъ!» промолвилъ Трубецкой.

— Онъ и не былъ распятъ — возразилъ Биронъ. — Къ тому же стихотворцы, какъ всѣ искусники, имѣютъ особенныя способности, и имъ надобны только благопріятныя обстоятельства, въ какихъ, напримѣръ, находится теперь Россія. Этотъ мужикъ уже не первый: Тредьяковскій также пишетъ стихи.

«Конечно, ваша свѣтлость,» отвѣчалъ Трубецкой смиренно. «Все отъ Бога! Овому талантъ, овому два..... Но у насъ до сихъ

поръ не было стихотворцовъ, кромѣ старинныхъ псалмосла-гателей.

— Потому, что еще не настало время для этого—сказалъ Биронъ.—Да и Русскій языкъ вообще мало способенъ къ выраженію тонкихъ мыслей.

«На немъ однакожъ выражены всѣ красоты божественныхъ писателей,» осмѣлился замѣтить Трубецкой.

Биронъ взглянулъ на него грозно, потому, что не вдругъ нашелъ отвѣтъ, однакожъ тотчасъ прибавилъ, соображаясь съ образомъ мыслей Императрицы:

— Но вы говорите о людяхъ святыхъ, потому, что переводчики священныхъ книгъ таковы. А что такое стихотворцы?... Неужели ихъ ставите вы наряду съ святыми?

Трубецкой смолчалъ въ свою очередь, и потомъ отвѣчалъ въ полголоса:

«Можетъ-быть, мы сами недостойны появленія святыхъ людей.

— Не о томъ рѣчь, князь—пылко возразилъ Биронъ. Вы смѣшиваете людей вдохновенныхъ съ стихотворцами. Я говорю только, что въ Россіи не было до сихъ поръ стихотворцовъ. Даже въ славное царствованіе Императора Петра I-го не писали стиховъ. И только теперь, когда науки поощряются, когда Россія начинаетъ истинную жизнь Европейскаго государства, и когда благоденствіе народа прочно, онъ начинаетъ пѣть.

«Справедливо! справедливо!» раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Наукамъ необходимо поощреніе, такъ же, какъ и всему другому — продолжалъ Биронъ, довершая свою повѣду. У *васъ въ Россіи* до сихъ поръ не понимали этого.

Увлеченный живостью разговора, онъ не замѣтилъ неприлич-

наго своего выраженія, потому, что привыкъ быть осторожнымъ въ словахъ, и какъ будто хотѣлъ сказать, что только онъ показываетъ Русскимъ свѣтъ Божій.

Императрица была такъ снисходительна къ своему любимцу, что позволяла ему забываться даже въ собственномъ ея присутствіи. И теперь, видя, что разговоръ принимаетъ оборотъ не совсѣмъ пріятный, она спѣшила сказать:

— Такъ надобно-же, герцогъ, подтвердить ваши слова, и всячески поощрять этого умнаго рыбака.

«Воля Вашего Величества священна для каждаго изъ насъ,» благоговѣйно отвѣчалъ Биронъ, наклоняя голову.

— Поощреніе раждаетъ науки — прибавилъ Остерманъ.—Это доказанная, святая истина. Счастливому царствованію Вашего Величества предоставлено соединить и славу наукъ со всѣми другими славами Россіи.

«Да, я хочу, чтобы этотъ рыбакъ не пропалъ за-даромъ. Надобно имѣть его въ виду. Спасибо, Корфъ, тебѣ, что ты доставляешь намъ новый случай изъявить наше благоволеніе къ успѣхамъ, какого-бы рода ни были они.

Восторженный Корфъ сталъ на колѣни, и прикоснулся губами къ рукѣ Императрицы.

«Имѣй въ виду нашего рыбака, и при случаѣ доноси мнѣ объ его успѣхахъ, а когда возвратится онъ изъ-за границы, доложи мнѣ объ этомъ.

Бѣдный Ломоносовъ! для чего не былъ онъ тутъ, среди этого блестящаго собранія придворныхъ, которые слышали милостивыя для него слова Императрицы! Они осыпали-бы его поздравленіями, и окружили готовностью пособлять на тернистомъ пути жизни. Но онъ былъ далеко, онъ не слыхалъ поощреній—они не дошли до него.

«Спасибо всѣмъ вамъ, господа, что пособили провести

время!» сказала Императрица, необыкновенно милостивая во весь этотъ вечеръ. Но слова ея были знакомъ, что вечеръ кончился. Съ глубокими поклонами начали удаляться придворные, между тѣмъ, какъ Императрица склонилась на спинку своихъ креселъ, и какъ въ утомленіи закрыла рукою глаза.

ТОРКВАТО ТАССО. *Большая драматическая фантазія, въ стихахъ. Сочиненіе Н. К. (писана въ* 1830 *и* 1831 *гг.) СПБ.* 1833 *г. Въ тип. Н. Греча, VIII. и* 174 *стр.* IN 8.

Многимъ именамъ историческимъ привыкли мы придавать извѣстное значеніе, и часто это значеніе совсѣмъ не вполнѣ выражаетъ для насъ понятіе о лицѣ, даже бываетъ не вѣрно и односторонно. Такъ имя *Макіавеля* изъ вѣка въ вѣкъ переходитъ, какъ имя чудовища политики; имя *Медичи* означаетъ покровителя наукъ и искуствъ, при которомъ они цвѣли во всей красотѣ. Цѣлымъ періодамъ времени придаются значенія ложныя: кто не говоритъ о вѣкѣ Леона X-го и вѣкѣ Лудовика XIV-го, какъ временахъ полнаго проявленія всѣхъ умственныхъ силъ человѣческихъ? При имени Тасса является идея *поэта великаго и несчастнаго*: онъ былъ влюбленъ въ сестру своего Государя, великодушнаго покровителя наукъ и поэзіи; осмѣлился въ бѣшенствѣ страсти поцѣловать ее; за такую дерзость посадили его въ темницу, гдѣ онъ сошелъ съ ума, и потомъ, выпущенный изъ тюрьмы, скитался помѣшаннымъ по Италіи, когда въ тоже время всюду гремѣла слава его, и стихи его читали и пѣли съ восторгомъ, такъ, что Папа рѣшился наконецъ увѣнчать его лавровымъ вѣнкомъ въ Капитоліи, благоговѣя передъ геніемъ полусумасшедшаго великаго поэта. Тассъ является въ Римъ, и — умираетъ наканунѣ дня, назначеннаго къ его увѣнчанію. Римъ готовился торжествовать славу своего поэта, и горестно оплакиваетъ кончину его!

Такова *простонародная* исторія Тасса, и она, въ

самомъ дѣлѣ, представляетъ воображенію много блестящихъ сторонъ. Въ сравненіи съ прозою нашей жизни, является здѣсь какая-то поэтическая жизнь Италіи Среднихъ Временъ: владыки и государи покровительствуютъ, увѣнчаваютъ поэтовъ, призываютъ ихъ ко двору, дружатся съ ними; поэты влюбляются въ принцессъ, торжественно цѣлуютъ ихъ — правда, сидятъ за то въ темницѣ, но принцессы любятъ ихъ страстно. Какой поэтъ не согласится сойдти съ ума за одно это? А когда при томъ цѣлый народъ поетъ его поэму, и владыка владыкъ торжественно спѣшитъ увѣнчавать его? И гдѣ же? Въ *Римѣ*— въ *Капитоліи!*

Надобно еще удивляться, какъ Тассъ, послѣ всего этого, былъ источникомъ вдохновенія не для многихъ! Какъ не написали объ немъ множества драмъ Французы, Нѣмцы, Англичане! *Классики* могли-бы вытянуть похожденія Тасса въ громкіе монологи; представить, напримѣръ, въ первомъ актѣ — любовь и славу поэта; въ другомъ—заговоръ придворныхъ; въ третьемъ клевету ихъ и гнѣвъ Альфонса; въ четвертомъ—Элеонора жертвуетъ всѣмъ для спасенія Тасса; въ пятомъ — восторгъ поэта, торжественный поцѣлуй — Элеонора въ обморокѣ — умираетъ; Тассъ хочетъ заколоться— его тащатъ въ темницу! — Нѣмецкіе *Романтики* могли-бы вывести на сцену все бѣшенство страстей и поэтическихъ изступленій, какія только могутъ вмѣститься въ голову самаго пламеннаго *бурша*. Но, къ счастію, Англичане не любятъ трагедій, взятыхъ изъ жизни поэтической, гдѣ не льзя завросать сцены

трупами; Нѣмцамъ, кажется, загородилъ дорогу Гете своимъ *Тассомъ*; Итальянцы до нашего времени трагедій вовсе не писали, а если что и писали, то разводя все это на сыропѣ Метастазія и Классицизмѣ Французовъ. А Французы-Классики, и рады бы вклеить Тасса въ трагедію, но какъ? вѣдь онъ не Король, не Принцъ! И кто тутъ будетъ герой? Тассъ мѣщанинъ! Не годится. Притомъ-же нѣтъ и тирана, да и кого прикажете заколоть? И какъ ввести домъ сумасшедшихъ на сцену? Какой герой у Корнеля, Расина, Вольтера, Кребильона оканчивалъ трагедію сумасшествіемъ?

Такъ или сякъ, Тассъ спасался до сихъ поръ, или отъ Романтизма и отъ Классицизма. Гете давно поялъ поэзію жизни Тасса, и создалъ изъ нея свой драматическій барельефъ. Въ новѣйшее время всѣ видятъ, какое высокое зрѣлище представляетъ судьба Тасса въ исторіи сердца человѣческаго. Не дивимся, что Тассъ вдругъ овладѣлъ вдохновеніемъ Итальянскихъ и Русскихъ поэтовъ.

Полагаемъ, что любопытно будетъ нашимъ читателямъ посмотрѣть: какъ идею жизни Тасса изобразилъ великій Гете? Мы упомянемъ потомъ, какъ представилъ Тасса въ исторической драмѣ одинъ изъ Итальянскихъ современныхъ писателей, Розини; наконецъ мы сообразимъ драму соотечественника нашего, г-на Кукольника.

Замѣчательно, что Гете не искалъ для драмы своей вѣрнаго собственно изображенія жизни Тассовой. Онъ взялъ изъ нея только тему для своей драмы.

Любовь поэта — такова сія тема. Имя Тасса можетъ замѣнить въ ней другимъ и драма Гете не измѣнится. Нашъ Русскій поэтъ, напротивъ, создалъ драму свою именно изъ *жизни Тасса*, со всѣми ея подробностями. Еще болѣе, *совершенно исторической истины* держался соотечественникъ Тасса, прежде сочиненія драмы своей издавшій превосходныя изслѣдованія о жизни сего поэта, а въ драмѣ своей заключившій только одинъ краткій эпизодъ изъ его жизни. Вотъ три разныя направленія поэзіи, возбужденныя Тассомъ. Послѣ сего, особенную занимательность можетъ заключать въ себѣ соображеніе жизни и твореній Тасса, въ истинномъ ихъ видѣ, какъ говорятъ объ нихъ исторія и критика, чуждыя предразсудковъ прошедшаго времени. Намъ необходимо притомъ взглянуть на самый вѣкъ, когда жилъ Тассъ— одинъ изъ любопытнѣйшихъ періодовъ въ исторіи. Мы увидимъ тутъ *драму дѣйствительной жизни*, противъ драмы, какую извлекаетъ изъ жизни Тасса воображеніе поэтовъ, и можетъ быть, первая—дѣйствительная жизнь—покажется намъ огромнѣе и величественнѣе послѣдней—*вымысла поэзіи*. Имѣя случай указать на ошибки, коими преданіе обезображиваетъ донынѣ Тасса и вѣкъ его, можетъ быть, мы уничтожимъ мимоходомъ кой какія блестки, коими дорожатъ безотчетная чувствительность и воспаленное воображеніе юности; но *истина* всего дороже, и повѣрьте, всего выше, всего изящнѣе.

Торквато Тассъ родился въ Мартѣ 1544 года, въ Соренто, близъ Неаполя. Его родители были старин-

ные дворяне изъ Бергамо. Отецъ его Бернардо былъ дѣловой, но бѣдный дворянинъ, оставилъ родину, служилъ Салернскому Принцу, и когда Принцъ вынужденъ былъ обстоятельствами бѣжать изъ своего владѣнія, Бернардо раздѣлилъ его участь. Принцъ удалился во Францію; Бернардо слѣдовалъ за нимъ; всѣ имѣнія Принца и его приверженцовъ было описано; ихъ всѣхъ объявили изгнанниками, и девяти-лѣтній единственный сынъ Бернарда, Торквато на вѣки изгнанъ былъ изъ Неаполя, вмѣстѣ съ отцомъ. Бѣдный Бернардо скоро увидѣлъ, что ему нѣчего дѣлать при своемъ изгнанномъ повелителѣ; онъ возвратился въ Италію, просилъ милости у владѣльца Урбинскаго, потомъ у Мантуанскаго; здѣсь, въ Мантуѣ, жилъ онъ, уважаемый, какъ хорошій стихотворецъ, но въ большой бѣдности. Главнымъ трудомъ и вѣнкомъ славы своей Бернардо почиталъ огромную поэму, *въ* 100 *пѣсенъ*, которой никто теперь не читаетъ: это былъ извѣстный *Амадисъ Галльскій*, передѣланный имъ въ поэму. Послѣ Боярдо и Аріоста, поэты Итальянскіе помѣщались на рыцарскихъ и волшебныхъ сказкахъ, и писали изъ нихъ поэмы безъ всякаго милосердія.

Навирая риѳмы и прося милостыни у разныхъ государей, Бернардо смертельно возненавидѣлъ поэзію, и съ негодованіемъ узналъ, что юный сынъ его страстно влюбленъ въ эту мучительницу порядочныхъ людей. Стихами прощался Торквато съ своею родиною, когда было ему только девять лѣтъ *, и въ Римъ, а

* Неумолимая фортуна вторгла меня, бѣдное дитя, изъ

потомъ въ Падуанскомъ Университетѣ, не думалъ учиться ни Правамъ, ни чему другому. За стихи дали ему докторскій калпакъ по факультетамъ Богословія, Философіи и Юриспруденціи. Отличныя познанія въ Греческомъ и Латинскомъ языкѣ служили Торквату только для чтенія древнихъ поэтовъ. Наконецъ, 16-ти лѣтъ, онъ написалъ рыцарскую поэму: *Ринальдъ* (IL RINALDO), гдѣ въ 12-ти пѣсняхъ прославилъ любовь Ринальда Монтаванскаго и прекрасной Кларисы. Его сонеты, пѣсни, отрывки изъ поэмы ходили по рукамъ въ рукописи. Отецъ сердился на Торквато; уговаривалъ его отказаться отъ поэзіи. Сынъ ничего не слушалъ. Блистящій успѣхъ первыхъ созданій, принятіе въ Академію, дружба знаменитаго Сципіона Гонзаго, соученика по университету — все увлекало юношу, одареннаго при томъ горячимъ нравомъ, влюбчивымъ сердцемъ, прекрасною, благородною наружностью *. Часто ему нѣчего было ѣсть, а онъ, какъ потомокъ благороднаго до-

---

объятій нѣжной матери, и со вздохомъ вспоминаю я прощальные поцѣлуи, и слезы ее, и обѣты о скоромъ свиданіи — тщетные обѣты, разнесенные вѣтромъ! Увы! никогда уже болѣе не чувствовать мнѣ материнскихъ объятій! Подобно Асканію, я осужденъ слѣдовать дрожащими ногами по слѣдамъ отца моего, изгнаннаго скитальца,» и проч. — Этимъ стихамъ подражалъ Батюшковъ; «*Соренто! колыбель моихъ несчастныхъ дней*,» и проч.

* Бюстъ, вылитый по слѣпку, снятому съ мертваго Тасса, хранится въ Римскомъ монастырѣ Св. Онуфрія, и доказываетъ, что Тассъ, послѣ всѣхъ бѣдствій, даже при концѣ жизни, со-

ма, и всего болѣе какъ поэтъ, являлся въ блестящее собраніе принцовъ и вельможъ. Его не спрашивали тамъ: обѣдалъ-ли онъ, но заставляли читать стихи и осыпали похвалами. Кардиналъ Эсте благосклонно принялъ посвященіе поэмы Торквата; онъ уговорилъ отца его не препятствовать напечатанію этой поэмы, и дать полную волю сыну его писать стихи. Уже Торквато думалъ тогда о созданіи Итальянской эпопеи; сочинялъ планъ; написалъ предварительно три Разсужденія объ Эпической Поэзіи *; даже избралъ себѣ героя, началъ писать поэму *Готфредъ*, и читалъ отрывки ея друзьямъ и покровителямъ. Бернардо *махнулъ рукой*, какъ говорятъ Русскіе, и съ горестью предвидѣлъ, что сыну его предлежитъ одинакая съ нимъ участь: питаться дымомъ поэзіи и умирать съ голоду. Бернардо скончался въ 1569 году. Тогда напечатанъ уже былъ *Ринальдо* Торкватовъ (въ 1562 г.); имя юнаго поэта славили повсюду, и кардиналъ Эсте призвалъ его къ Феррарскому двору, опредѣливъ въ свою придворную свиту. Братъ Кардинала, владѣтель Феррары (въ 1559 г.),

---

хранялъ еще слѣды благородной красоты. Онъ былъ высокъ ростомъ, но довольно неловокъ въ движеніяхъ и разговорѣ, если не одушевлялся предметомъ разговора. Тассъ немного заикался при томъ, но если говорилъ, или читалъ онъ съ жаромъ, этого вовсе не было замѣтно.

* По имени друга своего Гонзаго, Тассъ назвалъ сіи Разсужденія, изложенныя въ видѣ разговоровъ: Gonzaga, ovvero del piacer onesto, dialogo, и проч.

герцогъ Альфонсъ встрѣтилъ милостью и покровительствомъ юнаго, двадцати-лѣтняго Торквата, когда онъ явился въ 1565 году при дворѣ его. Мысль о поэмѣ эпической была совершенно обдумана потомъ. Вмѣсто Готтфреда, онъ рѣшился писать *Освобожденный Іерусалимъ*, и громкія рукоплесканія слышны были при чтеніи каждаго отрывка изъ сей поэмы. Тассъ завывался тогда въ любви и въ мечтахъ о славѣ. Здѣсь необходимо пояснить тогдашнее состояніе Италіи, Итальянской тогдашней литтературы, и это покровительство тогдашнихъ принцовъ и вельможъ, столь блестящее по наружности, и о которомъ столько кричали, совершенно ошибаясь въ сущности его.

До нашего времени, Европа *литтературно* пережила уже два періода и живетъ въ третьемъ. Первый былъ *Классическій Древній*, окончившійся съ паденіемъ Рима и водвореніемъ въ мірѣ Христіанства. Другой періодъ, *Среднихъ Вѣковъ*, начался съ окончаніемъ перваго; назовемъ его *Романтическимъ*. Въ третьемъ періодѣ живемъ мы. Всѣ эти дѣленія могутъ показаться повтореніемъ сказаннаго много разъ. Мы имѣли случай не однажды говорить объ этомъ. Но, кромѣ того, что надобно начинать съ основанія, прибавимъ еще, что всегда остается договаривать многое въ подробностяхъ. Здѣсь обратимъ мы особенное вниманіе на два важные предмета:

Первое. Когда надобно полагать окончаніе Среднихъ Временъ, т. е. *втораго періода?* — По нашему мнѣнію, въ XVII-мъ вѣкѣ, когда Людовикъ XIV-й на-

чалъ новую политическую исторію Европы, а прежде его *Реформація* докончила исторію втораго періода.

Второе. Замѣтимъ постоянный историческій порядокъ событій, въ древнемъ и среднемъ періодахъ: они были одинаковы. Изъ хаотическаго состоянія постепенно возникаетъ блестящее развитіе всѣхъ нравственныхъ и физическихъ способностей человѣка и общества. Вещественная сила развивается при томъ болѣе всего другаго. Она подавляетъ собою все другое, сосредоточивается въ одномъ мѣстѣ, и тогда окружаетъ ея все великое и прекрасное, чѣмъ только можетъ гордиться человѣкъ: подлѣ нея становится умъ, искусство, законъ. Но это есть уже страдательное положеніе человѣка и общества, окончательный переходъ отъ ихъ настоящаго, самобытнаго, независимаго развитія. И потому сіи блестящія эпохи силы всегда преслѣдуются быстрымъ, скорымъ, мгновеннымъ паденіемъ, и за нимъ вдругъ слѣдуетъ начало хаоса, изъ котораго долженъ двигаться новый переворотъ жизни человѣчества.

Такъ въ *древнемъ періодѣ*, полное, самобытное, истинное развитіе человѣка и общества было въ V-мъ вѣкѣ до Р. Х. и слѣдующихъ за тѣмъ годахъ, во времена Мильтіада и Алкивіада, Сократа и Платона, Иродота и Фукидида. Но *Македонія* и *Римъ* возстаютъ на Востокѣ и Западѣ—это явленіе политической, превозмогающей силы, передъ которою все блѣднѣетъ. Дѣйствіе переходитъ въ Римъ; здѣсь сила превозмогаетъ всѣ другой. Но когда крѣпко утвердилась она въ Римѣ, умъ человѣческій устремился къ ней. И какъ побѣда силы рѣшилась на Филиппійскихъ поляхъ, въ

ствія варваровъ, явившихся въ лицѣ Карловъ V-хъ, Ришельѣ, Кромвелей, Валленштейновъ, Альвъ, Лютеровъ, Густавовъ-Адольфовъ, Мугаммедовъ IV-хъ. Ужасы этого времени развѣ-ли были ужасовъ нашествія Аттилы и Аларика? Нѣтъ, не *возстановленіемъ искусствъ* назовите это время, но такимъ-же отчаяннымъ, послѣднимъ явленіемъ ума, сосредоточеннаго въ самомъ себѣ, какое было при Августѣ, и за которымъ, такъ-же, какъ послѣ Августа, слѣдуетъ смертное томленіе, смерть, и — начало *новаго періода*. — Какъ? Неужели вы видите въ этомъ времени начало жизни? Неужели вы думаете, что *мы*, *теперь*, живемъ этою жизнію? Совсѣмъ нѣтъ! *Средній періодъ* умиралъ съ XVI-мъ вѣкомъ и умеръ съ Реформаціею, а Людовикъ XIV-й и XVIII-й вѣкъ были уже хаотическимъ началомъ новаго, *нашего* періода, въ которомъ переживаемъ мы теперь время, похожее, можетъ быть, на время Карла Великаго. Хотите-ли увѣдиться, что послѣ Рафаэля, Корнеля, Шекспира, Декарта, Европа томилась смертными судорогами? Разсмотрите исторію ума въ этомъ времени: *Живопись* постепенно умираетъ, замѣняя Рафаэля и Корреджіо Юліемъ Романомъ, Тиціаномъ, Тинторетомъ, Караччіями, Гвидомъ, Альбаномъ, Каведономъ—Доменикино дѣлаетъ вдохновеніемъ своимъ ужасъ и смерть. *Схоластика* смѣняетъ самобытность мышленія; мѣлочь смѣняетъ великое. *Комедія* принуждена увѣжать въ *фарсъ*. Поэзія удалиться въ *народъ*. Макиавель пишетъ страшную исповѣдь деспотизма; Рабеле, Монтань, Эразмъ, Ларошфуко смѣются надъ умомъ и сердцемъ. Кто является на мѣсто Данте, Петрарки,

Боккачио? Аріостъ — этотъ Рафаель Итальянской поэзіи—Боярдо, Аламанни, Трисино, Саннацаро, Аретино, Гварини, и — наконецъ все гиганты съ Марини, Тассони, Метастазіемъ, Апостоло Зено. Во Франціи Расинъ умираетъ отъ одного косаго взгляда Людовика, и Кребильонъ, Камистронъ, Буало, Лафаръ, Шольи наслѣдуютъ Мольеру и Корнелю, а съ Фонтенелями, Миньярами, Грезами во Франціи, съ Драйденами, Аддисонами, Попами въ Англіи, съ Вольфами, Готшедами въ Германіи, съ Іезуитизмомъ въ Польшѣ—умерло все. *Вольтеръ* и *Энциклопедія*, *Классицизмъ* и *Поэзія Европы въ XVIII-мъ вѣкѣ*, холостятство и галломанія, стриженые сады и Версаль были могилы, гдѣ схоронило человѣчество всѣ воспоминанія *Средняго* и *Древняго* періодовъ, чтобы опять начать новое умственное движеніе съ идеалами Канта, съ поэзіи Германцевъ, съ водевиля и фарса, съ Русскаго штыка и Наполеона, Сагъ Скандинавіи, истинныхъ понятій о Классицизмѣ, Шекспирѣ, Готическомъ зодчествѣ, народной пѣснѣ, Политической Экономіи, съ пароходахъ машинъ и спора о томъ, о чемъ спорили въ Аѳинахъ при Филиппѣ Македонскомъ, въ общинахъ Средняго Вѣковъ, во время Крестовыхъ походовъ и при Людовикѣ XV-мъ, когда по волѣ Дюбарри Парижскій Парламентъ выталкали за городскую заставу.

«Скажите, сдѣлайте милость» — спросятъ насъ читатели — «къ чему говорите вы все это, начавши Платономъ и кончивши Дюбарри? Неужели къ тому, чтобы пояснить намъ жизнь Тасса? — Именно такъ, мм. гг., и если вы признаете вѣрность идеи въ не-

вольномъ нашемъ очеркѣ, то мы успѣли доказать самъ весьма важную истину, и объяснить затруднительное обстоятельство, о которомъ донынѣ судили ложно. Мы утверждаемъ, что вопреки общепринятому мнѣнію, вѣкъ Леона X-го (XV-й) и вѣкъ Людовика XIV-го (XVII-й) были не золотые вѣка умственной дѣятельности человѣческой, но, вѣка, такъ сказать, отпаденія умственнаго, когда общество, лишенное жизни и самобытнаго духа, устремлялось къ нахламъ и художествамъ, какъ единственному средству своего умственнаго бытія. Подобно лампадѣ, ярко вспыхивающей передъ потуханіемъ, подобно умирающему, который чувствуетъ удивительное возобновленіе тѣлесныхъ и душевныхъ способностей передъ минутою кончины, человѣкъ въ это время вспыхнулъ, ожилъ, чтобы погаснуть и умереть. За тѣмъ слѣдовало ничтожество и мѣлочничество ума. Симъ выводомъ уничтожается наконецъ то оскорбительное для достоинства человѣка мнѣніе, будто золотомъ и наградами Августы, Леоны и Людовики могли по волѣ своей производить геніевъ, и что имъ стоило засѣять поле умственной дѣятельности своимъ покровительствомъ и золотомъ, чтобы необходимо произвесть богатую жатву великаго и изящнаго. Наполеонъ могъ думать, что жалуя въ герцоги, онъ породитъ Корнелей. Вольтеръ могъ увѣрять въ этомъ старика Сумарокова, безстыдно торгуя умомъ и совѣстью. Но мы, неужели не поймемъ, что и Наполеонъ и Вольтеръ ошибались?

Изъ сего слѣдуетъ важный выводъ: если, послѣ

блестящихъ усилій ума человѣческаго въ XV-мъ вѣкѣ въ Италіи, и въ XVII-мъ во Франціи, долженствовало необходимо слѣдовать томленіе умственное и постепенность смерти, то, слѣдственно, Тассъ, родившійся въ половинѣ, умершій въ концѣ XVI-го вѣка, жилъ въ несчастную эпоху, когда умъ человѣческій былъ униженъ силою, и общественное бытіе представляло самое плачевное зрѣлище.

Перейдемъ къ другимъ общимъ положеніямъ. Въ статьѣ о Державинѣ, мы старались показать противоположность *поэта* и *человѣка*, разницу между міромъ умственнаго бытія и міромъ бытія общественнаго. Отсылаемъ читателей къ упомянутой статьѣ, гдѣ было раскрыто нами подробно то, чего здѣсь мы представимъ только одни результаты. Вотъ они: общество живетъ *положительною* жизнью; поэтъ, чѣмъ онъ выше, тѣмъ отрицательнѣе бытіе его въ положительномъ мірѣ. И *міръ* и *поэтъ* — оба правы; общество ошибается, если хочетъ изъ поэта сдѣлать своего *работника* (le travailleur productif), на ряду съ другими; поэтъ равно ошибается, если подумаетъ, что его поэзія даетъ ему такое-же право и мѣсто между людьми, какое даетъ купцу его аршинъ, чиновнику его канцелярія, придворному его золотой кафтанъ. Но по непреложному закону, который изъ души и тѣла составляетъ *одно* бытіе, общество, восхищенное геніемъ поэта, зоветъ его къ себѣ, а поэтъ бѣжитъ въ его холодныя объятія. Два слѣдствія: или поэтъ задохнется въ этихъ объятіяхъ, или съ бѣшенствомъ вырвется изъ нихъ, и въ награду за

то получитъ прозваніе сумасшедшаго. Чѣмъ выше общество, тѣмъ болѣе бываетъ разница между нимъ и міромъ поэта. Но что-же будетъ съ поэтомъ, если онъ захочетъ вдвинуться въ самый первый рядъ общественнаго бытія? Неужели вы думаете, что Рафаэль безъ причины умеръ отъ распутства? Неужели вы полагаете, что безъ всякой причины Французская Поэзія цѣлыя сто лѣтъ надѣвала на себя обноски придворныя, и цѣлое столѣтіе шаркала между переднею и будуаромъ?

Этою цѣною всегда покупаютъ поэзія и поэты свое золотое, или, лучше сказать, позолоченное общественное счастіе и покровительство, которымъ такъ гордятся многіе знатные люди, называя свое вниманіе къ бѣдной поэзіи Меценатствомъ, и золотымъ временемъ для поэзіи то время, когда Меценатство дѣлается модою, какъ было это при Людовикѣ XIV-мъ.

Но золотой вѣкъ искусствъ и поэзіи при Леонѣ X-мъ былъ хуже всякаго другаго вѣка, ибо, хотя Браманте заложилъ тогда церковь Св. Петра, Рафаэль писалъ по заказу рисунки для Ватиканскихъ ковровъ, Лаврентій Медичи самъ пропалъ стихи, Ариосту и Триссину давали пенсіи, Саннацару платили за стихъ по червонцу; хотя пріобрѣтеніе Греческой рукописи считалось великою находкою, и бѣглецамъ изъ Царьграда давали за то кусокъ насущнаго хлѣба—но знаете-ли вы, какой былъ этотъ вѣкъ? Что ему предшествовало? Что слѣдовало за нимъ? — Это были вѣка скорби и слезъ, позора и посрамленія, убійства и разврата, стыда под-

властныхъ, безславіи повелителей! Все, что человѣчество называетъ высокимъ, благороднымъ, великимъ, было тогда унижено, попрано. Политика Итальянскихъ властителей дѣлала ихъ ненавистными тиранами; политика республикъ Итальянскихъ была еще гибельнѣе; Турки и Варварійцы опустошали Италію; междоусобія мѣлкихъ властителей, раздѣлявшихъ ее между собою, обагряли кровію поля, наполняли жертвами темницы; ядъ и кинжалъ убійцы продавались также-же явно, какъ продавался мечъ кондоттьера, тому, кто больше дастъ. Наконецъ въ Италію вошли иноземцы, Французы, Испанцы, Германцы; самобытность Италіи изчезла, и все совершенно уничтожилось въ безмолвіи и страхѣ.

И за нѣсколько пенсій литтераторамъ, за то, что роскошь бросала иногда художникамъ горсть червонцевъ, какъ бросала ихъ другимъ ремесленникамъ; за то, что поэтамъ позволяли сидѣть въ уголку гдѣ нибудь, между знатью того времени, и иногда препоручали имъ кой-какія дѣлишки — этотъ вѣкъ прозвалъ вѣкомъ *возстановленія наукъ* и *знаній*! Смѣшная ошибка! Назовите его лучше вѣкомъ гибели наукъ и знаній, отъ которой едва только начали они отдыхать въ послѣднее время! Съ тѣхъ поръ, съ этого вѣка несчастная мысль о Меценатахъ, о томъ, что только Меценатство содѣлываетъ блестящими литтературу и искуства, систематически водворилась въ Европѣ; съ тѣхъ поръ овладѣли Классицизмъ поэзіею, а Схолостика ученостью; съ тѣхъ поръ исчезли самобытные Данте,

Боккачіо, Шекспиры, Кальдероны, и не смѣли являться до Гете и Байрона, до В. Скотта и В. Гюго, до Вернера и Шиллера; языкъ облекся въ приличія, искуства упали въ подражаніи, вдохновеніе сдѣлалось системою, а Парнассъ моделью передних.

Только продажнымъ душамъ Павла Іовія и Аретина могло быть тогда хорошо, но не *Помпонію Лету*, думавшему о самобытности Поэзіи и измученному пытками при Павлѣ VI-мъ, не *Макіавелю*, помышлявшему о самобытности отечества и умиравшему съ голода. Что слѣдовало потомъ — читайте Исторію, и ужаснитесь*! — Съ тѣмъ вмѣстѣ, нельзя не смѣяться, какъ ничтожно было тогда мнимое покровительство; до какой степени тогда приличія и Классицизмъ овладѣвали умами; какой несчастный педантизмъ, какое ложное остроуміе замѣняли вдохновеніе и умъ; наконецъ, до какого униженія общественнаго доходили поэты и художники, и какъ самыя высокія дарованія пресмыкались во прахѣ и не стыдились своего позора!

Повѣрятъ ли, что иногда *лавроносный поэтъ* (poeta laureatus) умиралъ съ голода и холода; что Аріостъ съ улыбкою кланялся своему меценату, когда тотъ, прочитавъ его *Неистоваго Роланда*, спрашивалъ: «Кой чортъ, г-нъ Людовико! Да, гдѣ ты набралъ всѣхъ этихъ нелѣпостей (Messer Luigi, dove diavolo avete figliate tanti coglionerie)»? Что за обѣдъ, или подарокъ, поэтъ долженъ былъ писать поэму; что подъ аллегорическими

* См. De la Littér. du midi de l' Europe, Сисмонди, т. II, стр. 183, и стр. 242 (второе изданіе).

извнами богов и героев, писатели славили своих жалких меценатов и ненавистных тиранов Италии, и в тоже время рабское подражание древним до такой степени овладело театром, что поэты просто переводили Греков, уродуя их трагедии, сообразно вкусу своих покровителей! Нелепая Пастушеская Драма, жалкая Классическая Эпопея, безконечныя рыцарскія поэмы, *концеты*, сонеты, в которых думали только о вне, губили вкус и даже здравый смысл.

И в этом-то несчастном веке, в этом обществе явился Тассъ, пламенный юноша, истинный поэт, по душе и по генію, явился, когда милость покровителей считалась первою наградою дарованій, Классицизм поработил всю самобытность, и вместе с тем, самым странным образом, смешал изучение Древних с искаженными формами Романтизма; ум замене ило остроумие; величие духа смене но было ничтожеством. Въ эту бездну попал геній Тасса.

Еще худшее ожидало Тасса, как человека. Дворянин и нищій, благородный, прекрасный собою, мужественный, но допускаемый в общество только с клеймом ученаго и стихотворца; человек, с сердцем, созданным для любви истинной, и погрязшій в мір волокитства и чувственной любви; приведенный притом судьбою ко двору самаго ничтожнаго, мелкаго тирана, тщеславнаго властителя Феррары, владения коего окружены были такими же ничтожными властителями, старавшимися превзойдти один другаго в роскоши, гордости и своеволии противъ низших себя; среди

придворныхъ—низкихъ ласкателей, бездушныхъ и развратныхъ—Тассъ ошибся, равно и въ жизни и въ направленіи своего генія.

Италія донынѣ гордится тѣмъ, что Тассъ подарилъ ее *эпическою* поэмою. Не споримъ, что Тассъ обладалъ великимъ даромъ писать прекрасные стихи, и что онъ могъ-бы возвыситься до величія стиха эпическаго. Еще менѣе станемъ мы спорить о возможности *Христіанской Эпопеи*, зная Данте, и Мильтона, и увѣренные, что Эпопея возможна даже и въ наше время, и что вовсе несправедливо мнѣніе, будто Эпопея умерла съ міромъ Древнихъ. Но столько-же увѣрены мы и въ томъ, что *Освобожденный Іерусалимъ* — говоря безпристрастно—должно почесть, несовершеннымъ произведеніемъ, но, ошибкою генія; что эта поэма, исполненная великихъ отдѣльныхъ красотъ, въ общности своей не стоитъ названія эпопеи, носитъ на себѣ всѣ признаки испорченнаго вкуса XVI-го вѣка, и совсѣмъ недостойна великаго предмета, какой въ ней описывается. Изображеніе Бога и Сатаны, какъ двухъ соперниковъ; смѣшныя чародѣйства; множество несвѣтлыхъ интригъ любовныхъ; холодное подражаніе Древнимъ и смѣсь рыцарскихъ сказокъ съ этимъ подражаніемъ—все это, при изысканности языка и щеголеватости картинъ, при совершенной несообразности и неверности съ исторіею событій, великихъ и изумительныхъ, если мы при томъ видимъ унизительную лесть, какую оказалъ поэтъ своему меценату, завязавъ всю поэму свою на небывалыхъ подвигахъ его предка — все это отвращаетъ насъ отъ

Тассовой поэмы. Едва-ли кто нигдѣ, прочитавъ ее отъ начала до конца два раза, не оскорбится тѣмъ, что геній столь великій, какъ Тассъ, могъ поработиться до такой степени своему несчастному вѣку!

Какъ поступаютъ теперь съ *Освобожденнымъ Іерусалимомъ*? Хвалятъ его по преданію, читаютъ изъ него отрывки: Олинта и Софронію, Эрминію у пастуховъ, Армидины сады, и — только! Повѣрьте, что точно тоже дѣлали и современники Тасса, бывшіе въ восторгѣ отъ отрывковъ его поэмы. Въ общности имъ было довольно того, что Тассъ *подражалъ эпопеѣ древнихъ*, хотя между простотою и самобытностью Омира, и щегольствомъ и схоластикою Тасса такое-же различіе, какое между золотомъ и семилоромъ*.

Нѣмому было объяснить все это Тассу; отъ него требовали только блестящихъ стиховъ, и — великій геній разсыпался перекатнымъ жемчугомъ, вмѣсто того, чтобы засіять въ вѣкахъ безцѣннымъ алмазомъ. Такъ же, какъ геній свой, погубилъ онъ и самую жизнь свою.

Несчастіе ожидало его при самомъ вступленіи ко двору Феррарскаго Герцога. Тассъ увидѣлъ двухъ сестеръ Альфонса, и по обыкновенію тогдашнему, объявляя себя обожателемъ всѣхъ *прекрасныхъ* и *благородныхъ дамъ*, вписался въ число обожателей обѣихъ Принцессъ. Такое поэтическое обожаніе позволялось всѣмъ.

---

* К сожалѣнію, мѣсто не позволяетъ намъ здѣсь войдти въ подробности о поэмѣ Тасса, но мы готовы подкрѣпить наши мнѣнія нашими доказательствами, если бы это потребовалось.

Но Тассъ, уже страстно влюбленный въ Лауру Пепе-рара (вышедшую потомъ за графа Турки), скоро забылъ эту бѣдную Лауру, и любовь пламенная и безумная овладѣла имъ: онъ былъ плѣненъ младшею сестрою Альфонса, принцессою Элеонорою. Вѣримъ, что на зло вѣку, любовь поэта была истинная. Объ этомъ можно-бы сомнѣваться, судя потому, что Тассъ красноречиво изображалъ любовь свою въ тысячахъ стиховъ, которыми, судя по нашему, едва-ли можетъ высказываться истинное чувство. Но всякій вѣкъ, всякій народъ имѣетъ свой обычай, свой образъ выражать страсти. Подобно замѣтить, что Элеонора была десятью годами старше Тасса, и при немолодыхъ лѣтахъ (ей былъ 32-й годъ, когда Тассъ увидѣлъ ее въ первый разъ), она была еще не красива, слабаго, больнаго сложенія, и это заставило ее отказаться отъ всѣхъ предложеній супружества. Элеонора вела уединенную жизнь. Внука гнусной Лукреціи Боржіа, она была дочь добродѣтельной принцессы Рене, передавшей ей охоту свою къ поэзіи и наукамъ. Удивимся-ли, что тайное чувство увлекло Элеонору къ поэту; что заслушиваясь пламенныхъ стиховъ его въ уединеніи своемъ, Элеонора мечтала иногда о самомъ поэтѣ, и задумывалась, когда онъ, неопредѣленно, но краснорѣчиво, выражалъ страсть, имъ обладавшую. Можетъ быть, чувствуя во глубинѣ сердца, что только чистое сердце Элеоноры, уединенное среди испорченнаго двора Альфонсова, можетъ понимать его, Тассъ видѣлъ въ Элеонорѣ совершенное божество. Но Элеонора была женщина, принцесса, Итальянка XVI-го вѣка: она сохранила строжайшія при-

личія съ Тассомъ; ни одно слово не измѣняло ея чувство къ этому *стихотворцу*, *мѣщанину*, *бѣднягу*. Не такъ поступалъ поэтъ: не только въ искреннихъ разговорахъ съ друзьями, но и въ стихахъ, онъ высказывалъ свою роковую тайну. Списки сонетовъ его ходили по рукамъ, и заставляли догадываться, говорить. Друзья Тасса разславили наконецъ, что поэтъ влюбленъ въ Лукрецію Бендидіо, придворную даму. Этому не вѣрили. Элеонора узнала отъ любимицы своей, графини Ливіо Арко, о томъ, что дворъ и городъ говорятъ о любви къ ней поэта. Жалѣя о немъ, страшась погубить его, и увѣренная въ томъ, что ее самое не доступитъ клевета въ герцогскомъ дворцѣ, Элеонора рѣшилась уговаривать Тасса быть осторожнѣе, и не обнародывать никакихъ стиховъ, не показавъ прежде ей. Тассъ видѣлъ, что Элеонора не оскорбляется; онъ почелъ это согласіемъ на любовь его, и громко провозгласилъ Ливію посредницею *между имъ* и *предметомъ его любви**. Безразсудство поэта не кончилось и этимъ: тайно писалъ онъ стихи, гдѣ откровенно выражалъ всю любовь свою къ Элеонорѣ, и еще болѣе—въ мечтахъ несбыточныхъ, онъ говорилъ о мнимомъ соотвѣтствіи любви своей, о своемъ счастіи быть любимымъ взаимно Элеонорою! Тщательно скрывалъ Тассъ свои безумныя мечты, хранилъ ихъ въ скрыт-

* «Мнѣ позволяютъ любить, но упорно налагаютъ на меня угрюмое молчаніе. Со мною говоритъ только посланница прекраснѣйшей изъ богинь, Ливія, но въ ея устахъ я слышу голосъ любви, и проч.

комъ ящичкѣ, и отъѣзжая во Францію въ 1571-мъ году, умолялъ друга своего Рондинелли, если услышитъ онъ о смерти его—истребить этотъ ящичекъ: самому истребить свои тайныя откровенія — у поэта недоставало силъ. Это были лучшія его созданія, драгоцѣнности, ничѣмъ для него неоцѣнимыя...

Во Францію поѣхалъ Тассъ съ кардиналомъ Эсте; принятъ былъ тамъ ласково Карломъ IX-мъ и Маріею Медичи, но скоро поссорился съ своимъ благодѣтелемъ кардиналомъ; за какія-то свободныя мысли о религіи. Кардиналъ отнялъ у Тасса маленькое жалованье, которое давалъ ему до тѣхъ поръ. Тассъ писалъ въ Феррару; умолялъ герцога Альфонса позволить ему вступить въ службу при его дворѣ. Альфонсъ согласился. Тассъ пріѣхалъ въ Феррару въ концѣ 1571 года.

Говорятъ, что жизнь поэта была послѣ того нѣсколько лѣтъ самою счастливою, блестящею. Говорятъ, что онъ осыпанъ былъ въ это время милостями Альфонса, и слава его гремѣла во всей Италіи. О семъ нѣтъ спора: въ 1579-мъ году, на придворномъ театрѣ играли Тассову пастушескую драму: *Аминту* — уродливое произведеніе ложнаго вкуса, но современники были отъ него въ восторгѣ—этого довольно. Въ 1575 г. Тассъ кончилъ и посвятилъ свой *Освобожденный Іерусалимъ* герцогу Альфонсу. Сонеты и другія стихотворенія сыпались у него десятками. Извѣстно, что Тассъ написалъ однихъ сонетовъ *болѣе тысячи*, мадригаловъ *болѣе трехъ сотъ*. Если теперь, мы, холодныя дѣти Сѣвера, не можемъ не любоваться пламеннымъ вообра-

женіемъ Тасса, каково-же было дѣйствіе его поэзіи на современниковъ?—Но о *милостяхъ*, какими *осыпали* Тасса при Феррарскомъ дворѣ, не льзя слышать безъ негодованія! Поэтъ жилъ въ одной изъ комнатъ дворца; свободно гулялъ въ дворцовыхъ садахъ; читалъ стихи свои придворнымъ, и писалъ къ сестрѣ своей, что не можетъ довольно изобразить милостей, коими награждаетъ его Альфонсъ. «Вообразите,» пишетъ Тассъ, «что нерѣдко удостоиваетъ меня Герцогъ разговорами, даже приглашаетъ за столъ свой и удостоиваетъ особеннымъ вниманіемъ.» Тассу давали и денегъ, но такъ мало, что онъ едва могъ порядочно одѣваться. Явясь во Францію съ кардиналомъ Эсте, онъ имѣлъ только одну пару платья. Однажды принужденъ онъ былъ занять *одно экю*, ибо у него не-на что было пообѣдать. Въ другой разъ, сидя въ потемкахъ, написалъ онъ сонетъ своему коту, прося его *свудить* видящими въ темнотѣ глазами: Тассу не на что было купить свѣчки! Въ 1573-мъ году, вздумавши написать свою духовную, Тассъ просилъ въ ней выкупить платье его, заложенное имъ какому-то *Жиду*, продать это платье, заплатить его мѣлкіе долги и поставить памятникъ его отцу. «Если чего нигдѣ недостанетъ, надѣюсь, что Eccellentissima Madama Элеонора, изъ снисхожденія ко мнѣ (per amor mio), дополнитъ недостающее» — прибавляетъ великій придворный поэтъ.

Но и *такія милости*, при славѣ поэта, возбуждали ненависть къ нему придворныхъ и знатныхъ. Одно то, что этотъ голый піитъ толкался во дворцѣ

между знатью, казалось унизительнымъ. Тассъ, не могшій превзойдти въ ловкости и свѣтскости послѣдняго пажика Герцогскаго, былъ предметомъ злыхъ насмѣшекъ, и скоро сдѣлался жертвою зловы. Умѣли отравить самую славу его, погубить его, какъ человѣка. Все вошло въ заговоръ противъ Тасса. Его окружили измѣнники, ложные друзья; раздражали его, вводили въ безпрестанныя ошибки и глупости, и — довели до дома сумасшедшихъ....

Первымъ, самымъ злымъ врагомъ Тасса — былъ онъ самъ. Вспыльчивый, неукротимый, гордый, онъ забывалъ всякую осторожность въ несчастной своей страсти: любовь сдѣлалась жизнію его, и совершенно лишала его разсудка. Напрасно хотѣли друзья поэта сберечь, предостеречь его — Тассъ ежеминутно разрушалъ всѣ ихъ предосторожности. Напрасно вздумала наконецъ Элеонора остановить поэта своею холодностію. Во время кратковременной отлучки своей изъ Феррары, Тассъ узнаетъ, что соперникъ его въ поэзіи, Гварини, авторъ *Вѣрнаго пастуха*, былъ милостиво допущенъ къ Элеонорѣ и читалъ ей свои стихи. Онъ бѣсится отъ ревности и гнѣва, сочиняетъ злую сатиру на Гварини, и въ тоже время пишетъ къ самой Элеонорѣ: «Видѣть васъ, быть при васъ—одно счастіе для меня на землѣ. Оцѣните это счастіе моею жизнію, и возьмите, возьмите притомъ и честь мою, и счастіе моего отечества. Только видѣть васъ хочу я. Если-бы любовь моя зависѣла отъ меня—она была-бы преступленіе, но она не преступленіе, когда жестокая судьба моя лишила меня

душевной воли.»—Холодность Элеоноры и стараніе удалиться отъ него, приводили Тасса въ отчаяніе: то видѣлъ онъ въ этомъ доказательство скрываемой любви, борьбы съ любовью, то вдругъ увѣрительную измѣну. Желая отмстить Гварини, Тассъ притворился влюбленнымъ въ Элеонору Санъ-Витали, графиню Скандіано, обожаемую Гварини, разсердилъ этимъ своего противника, и заставилъ его соединиться съ врагами своими. Они взаимно перебранивались сонетами. Наконецъ, непріятели успѣли донести любовь Тасса и всѣ его безразсудства до ушей Альфонса. Доказательства были сильны; Герцогъ изумился, но гордость его еще не хотѣла вѣрить дерзости Тасса. Прежде того, несчастная ссора Тасса съ однимъ изъ придворныхъ, по имени Маддало, произвела было общій соблазнъ: имя Элеоноры, подверженное разговорамъ придворныхъ и клеветѣ ихъ, вывело Тасса изъ себя. Встрѣтясь съ Маддало во дворцѣ, онъ далъ ему пощечину и былъ вызванъ на поединокъ. Трое напали на него, когда онъ явился въ назначенномъ мѣстѣ. Тассъ изумилъ противниковъ храбростію, дрался и заставилъ ихъ бѣжать. Весь дворъ, самъ Альфонсъ, удивлялись Тассу, и ссора съ Маддало не имѣла дальнѣйшихъ послѣдствій. По улицамъ Феррары пѣли въ честь Тасса похвальныя пѣсни, нарочно сочиненныя. Но Альфонсъ затрепеталъ отъ ярости, узнавъ потомъ о причинѣ ссоры съ Маддало. Неожиданно, Тассъ прибѣжалъ однажды, какъ помѣшанный, въ комнаты принцессы Лукреціи, съ ножемъ въ рукахъ, и хотѣлъ при глазахъ ея зарѣзать одного изъ ея придворныхъ. Несча-

стный поэтъ! Враги поддѣлали ключъ къ его ящичку, гдѣ хранились всѣ его страстные стихи, всѣ его тайныя мечтанія. Тасса схватили. Бумаги его были въ рукахъ Альфонса. Не оставалось сомнѣнія въ дерзости піита, дерзнувшаго безславить любовью своею — сестру Герцога!

Какъ истинный Итальянецъ поступилъ тогда Альфонсъ. Онъ велѣлъ задержать Тасса; потомъ велѣлъ отвезти его въ свой увеселительный дворецъ Бель-Ригвардо. Здѣсь явился онъ самъ, и съ злобною насмѣшкою показалъ Тассу всѣ украденныя у него бумаги. Тассъ упалъ передъ нимъ на колѣни. Не знаемъ, что говорилъ онъ. Но мщеніе Альфонса было ужасно! Казнивъ поэта, онъ возбудилъ-бы негодованіе и сожалѣніе всей Италіи, и при томъ казнь его могла-ль оправдать честь Элеоноры? Уже носились слухи, что она и Тассъ *взаимно любили другъ друга*; что Тассъ, въ восторгѣ страсти, публично обнялъ и поцѣловалъ принцессу. Имя Элеоноры было замѣшано такимъ образомъ въ сплетни народныя, было предано позору площадныхъ разговоровъ. Простолюдины радовались отвагѣ и успѣху своего брата простолюдина. Альфонсъ сдѣлалъ Тассу страшное предложеніе: притвориться сумасшедшимъ, и увѣрить всѣхъ, что любовь и мечты его были слѣдствіемъ его безумія, и что слѣдственно, Элеонора ни сколько не была въ нихъ участницей, ибо влюбляться въ принцессъ, и любить ихъ, позволено всякому, только-бы онѣ не унижались любовью къ простолюдинамъ.

Поэтъ согласился на все. И чего не сдѣлалъ-бы онъ, если ему говорили, что любовь его безславитъ Элеонору, которая была ему дороже славы и жизни! Іюля 11-го 1577 года, Тасса отвезли въ Феррару, въ Францисканскій монастырь, и объявили помѣшаннымъ. Онъ просилъ пощады. Пощады не было. Но присмотръ за Тассомъ былъ славый, и 20-го Іюля Тассъ бѣжалъ изъ Феррары.

Здѣсь, говоря собственно, кончилась исторія поэта. Тассъ существовалъ еще послѣ того около *восмнадцати* лѣтъ, но жизнь его была сцѣпленіемъ скорбей физическихъ и моральныхъ; онъ и писалъ до самой своей смерти, но божественный даръ уже улетѣлъ изъ его бреннаго состава, и Тассъ являлъ собою скорбный примѣръ бѣдности человѣческой, когда небесная часть, одушевляющая человѣка, удаляется отъ него.

Нѣтъ сомнѣнія, что оскорбленный, раздраженный Тассъ не былъ помѣшанъ въ то время, когда внукъ Лукреціи Борджа потребовалъ отъ него страшной жертвы, которою думалъ очистить честь своего княжескаго дома. Но съ самаго похищенія тайныхъ бумагъ своихъ, видя, что то, чего не открывалъ онъ никому, что берегъ онъ болѣе своей жизни — открыто, сдѣлалось явно, стало позоромъ для Элеоноры, Тассъ, всегда до безразсудства вспыльчивый, пламенный, и въ тоже время склонный къ грусти, задумчивый (обыкновенный характеръ каждаго поэта!), пришелъ въ не естественное состояніе. Онъ пересталъ вѣрить дружбѣ и самой любви (ибо Элеонора строго запретила допускать его къ

себѣ), видѣлъ повсюду покушенія на жизнь, на славу свою. Иногда онъ жаловался на тиранство Альфонса; въ другое время вѣрилъ, что нѣтъ въ мірѣ наказанія, какого не былъ-бы онъ достоинъ за свое преступленіе, дерзнувъ обезславить своею любовью Элеонору. Онъ думалъ даже, что Богъ наказываетъ его за гордость, за тщеславіе своимъ геніемъ; иногда трепеталъ, полагая, что нарушилъ святость религіи своею поэмою, гдѣ заставилъ рыцарей, завоевателей Св. Гроба, влюбляться въ невѣрныхъ, и ввелъ цѣлые разсказы любовные въ описаніе святаго Крестоваго похода. Боясь по сему случаю преслѣдованій Инквизиціи, Тассъ просилъ у нея суда и прощенія. Такъ, обуреваемый страстями, иногда впадая въ совершенное сумасшествіе, гонимый привидѣніями, какія создавало его больное воображеніе, Тассъ скитался изъ страны въ страну. Мы кратко означимъ здѣсь остальныя событія Тассовой жизни.

Пѣшкомъ, безъ денегъ, почти въ рубищахъ, почти питаясь милостынею, Тассъ ушелъ въ Соренто. Корнелія, сестра его, приняла несчастнаго поэта, какъ добраго брата своего, предложила ему уголокъ въ своемъ домѣ и нѣжныя попеченія дружбы. Тассъ прожилъ у нея нѣсколько мѣсяцевъ, но не могъ оставаться долѣе, писалъ къ Альфонсу, просилъ прощенія, позволенія воротиться въ Феррару, писалъ къ Герцогинѣ Урбинской, къ самой Элеонорѣ. Никто не отвѣчалъ ему; только Элеонора велѣла увѣдомить Тасса, что *не можетъ ничѣмъ ему пособить*. Больное во-

ображеніе Тасса оклеветало наконецъ передъ нимъ и доврую Корнелію. Подозрѣвая, что и она находится въ заговорѣ съ его врагами, Тассъ тихонько бѣжалъ изъ Соренто, явился въ Римъ, и Министръ Феррарскій, находившійся при Папскомъ дворѣ, объявилъ ему, что возвращеніе въ Феррару не запрещено, если только онъ «согласенъ лечиться отъ сумасшествія своего и будетъ остороженъ.» Въ Апрѣлѣ 1578 года, согласный на всѣ условія, согласный на всѣ жертвы, Тассъ прибылъ въ Феррару. «Исторія не представляетъ примѣра жертвы, равнаго той, какую рѣшился принести я. Только жертва Авраамова сравняется съ моею» — писалъ Тассъ къ своему другу. Бѣдный поэтъ!...

Онъ явился немедленно ко двору. Альфонсъ холодно объявилъ Тассу, что онъ дѣйствительно теперь помѣщанъ, потребовалъ отъ него послушанія лекарямъ, потребовалъ еще болѣе, такъ, что стыдясь объясняться словами, объяснялъ желаніе свое знаками... Элеоцора не хотѣла видѣть, не допустила къ себѣ Тасса, и — въ Іюлѣ 1578 г. Тассъ снова ушелъ изъ Феррары. Онъ жилъ нѣсколько времени въ Мантуѣ, въ Урбино. Здѣсь захотѣлъ онъ оправдаться отъ обвиненія въ сумасшествіи, и всѣ увидѣли, что безуміе его была только злобная выдумка Альфонса. Феррарскій Герцогъ испугался намѣренія Тасса, и всячески началъ стараться залучить къ себѣ *опаснаго клеветника*. Тассъ бѣжалъ въ Піемонтъ. Нищимъ явился онъ туда, такъ, что городская стража въ Туринѣ хотѣла было заключить его въ тюрьму, какъ бродягу. Но Герцогъ

Савойскій, дворъ его, ученые, поэты, приняли Тасса весьма ласково. Альфонсъ звалъ его къ себѣ, и Тассъ, слыша притомъ, что Эдеонора смертельно больна, оставилъ все и спѣшилъ въ Феррару. Онъ явился прямо во дворецъ, потребовалъ себѣ прежней своей комнаты; вмѣсто отвѣта его окружила стража. Прищедши въ неистовство, Тассъ осыпалъ ругательствами Герцога, придворныхъ, и проклятіями Феррару и свой несчастный жребій. Альфонсъ опредѣлилъ ему вѣчную темницу. Въ Февралѣ 1579 года, Тасса заключили въ больницу Св. Анны, въ отдѣленіе сумасшедшихъ.

Семь лѣтъ и два мѣсяца страдалъ здѣсь человѣкъ, краса своего вѣка, поэтъ, имя котораго повторялось между тѣмъ во всей Европѣ, стихи котораго съ восторгомъ читали и пѣли во всей Италіи. Тасса совсѣмъ не лечили (новое доказательство, что онъ не былъ сумасшедшій), но первые два года держали его въ тяжкомъ заключеніи, не позволяли ему стричь волосовъ, брить бороды, даже не допускали къ нему никого. Только юный Мости, племянникъ Пріора больницы, приходилъ иногда раздѣлять его скорбное уединеніе, слушать стихи его, утѣшать надеждою. Потомъ перевели Тасса въ комнату болѣе удобную, позволили ему принимать посѣтителей и ходить въ больничную церковь къ обѣднѣ. Въ это время видѣлъ его Монтань. Но тщетно самъ Тассъ умолялъ Альфонса о свободѣ; тщетно писалъ онъ къ нему, къ другимъ Государямъ, къ Папѣ, къ друзьямъ своимъ; тщетно всѣ они просили объ немъ Альфонса. Мститель за честь

Элеоноры, уже нѣсколько лѣтъ тлѣвшей въ могилѣ, былъ неумолимъ.

И всѣ скорби, какъ человѣкъ, и всѣ оскорбленія, какъ поэтъ, перенесъ въ это время несчастный творецъ Освобожденнаго Іерусалима! Черезъ годъ послѣ его заключенія, умерла Элеонора... Поэму Тасса напечатали въ Венеціи въ 1580-мъ году, съ первыхъ неполныхъ списковъ, подъ названіемъ: *Готфредъ* (Il Goffredo); потомъ перепечатали ее шесть разъ въ настоящемъ видѣ; но вся польза отъ изданій досталась барышникамъ, а Тассъ только оскорблялся тѣмъ, что издатели позволяли себѣ портить и передѣлывать стихи его. Всѣ были увѣрены въ Феррарѣ, или представлялись увѣренными въ безуміи Тасса, и осыпали похвалами Гварини, безстыдно торжествовавшаго бѣдствіе личнаго своего врага.— Въ 1585 году, съ величайшимъ успѣхомъ играли въ Феррарѣ Гваринієва Pastor fido, и говорили, что Тассовъ *Аминтъ* никуда не годится противъ сего великаго творенія. Въ тюрьмѣ своей слышалъ объ этомъ горделивый Тассъ, и написалъ Трагедію: *Торрисмондо*, какъ будто въ опроверженіе. Впрочемъ, сія трагедія замѣчательна только тѣми стихами, коими она оканчивается: «Какъ быстрый потокъ Альпійскій, какъ молнія въ тучахъ, какъ вѣтеръ, какъ дымъ, какъ быстролетная стрѣла, пролѣтаетъ наша слава, и все величіе наше подобится увядшему цвѣтку! Чего еще надѣяться, или чего ожидать? Послѣ торжествъ и пальмовыхъ вѣнковъ, одно остается для души нашей— скорби, жалобы и сѣтованія. Къ чему-же веселая дружба? къ чему ты, веселая любовь?—О слезы! О

скорбь*!» — Поэта могла-бы утѣшать хотя громкая слава его великой поэмы, которую читали повсюду. Однихъ Латинскихъ переводовъ вышло пять въ три года, и цѣлые томы написаны были похвалъ ей, пока многіе ученые систематически доказывали, что Тассъ есть величайшій поэтъ въ мірѣ, и пока народъ повсюду твердилъ наизусть стихи его. Но злоба возстала и здѣсь: какъ одни хвалили, такъ другіе начали ругать и поносить Тасса, утверждая, что Аріостъ выше его. Всѣ критики и ругательства были постоянно доставляемы въ темницу Тасса; онъ писалъ опроверженія, но ихъ не выпускали въ свѣтъ, и наконецъ, Тассъ потерялъ послѣднее утѣшеніе, когда вновь учрежденная Флорентійская Академія Делла-Круска издала на него ученую критику, и въ этой критикѣ рѣшила, что поэма Тасса никуда не годится. Педантически, нелѣпо, но оскорбительно и ядовито было сказано это рѣшеніе важнаго ученаго общества.

(*) E come alpestro e rapido torrente,
Come acceso baleno,
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame; ed ogni onore
Sembra languido fiore.
Che piu si spera, o che s'attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all' alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che piu giova amicizia o giova amore
Ahi lagrime! ahi dolore!

Тассъ повѣрилъ, и началъ передѣлывать свою поэму, исключалъ, переработывалъ стихи, уродовалъ свою поэму, даже перемѣнилъ ея названіе, наименовавъ ее *Завоеванный Іерусалимъ*. «Я видѣлъ въ Вѣнской Библіотекѣ подлинную рукопись Тасса,» говоритъ Сисмонди, «со всѣми его переправками: печальный памятникъ паденія великаго изъ поэтовъ, у котораго несчастіе погубило всѣ душевныя способности.»

Но человѣкъ живущъ. Тассъ пережилъ все. И письма и записки его доказываютъ, что если онъ утратилъ свой поэтическій геній, то сохранялъ разсудокъ. Какъ трогательны многія изъ его жалобъ, писанныхъ въ это время!—«Герцогъ могъ наказать меня—пишетъ Тассъ, въ одномъ своемъ письмѣ, «но могъ-ли онъ употребить противъ меня неслыханную строгость, неслыханный образъ наказанія? Видѣть, что тѣ, кто долженъ-бы облегчать, по крайней мѣрѣ, утѣшать меня въ моей бѣдности, сдѣлались орудіями жестокости Герцога, исполнителями его свирѣпой воли — горько, горько видѣть все это! Для чего приписываютъ мнѣ послѣднее изступленіе мое по прибытіи въ Феррару? Кто хочетъ другаго сдѣлать безумцемъ, не долженъ жаловаться, если несчастный, въ отчаяніи, что не въ силахъ исполнить невозможнаго, смѣшанный въ чувствахъ своихъ, встревоженный тысячью надеждъ, тысячью подозрѣній, приходитъ въ самомъ дѣлѣ въ безумное изступленіе.»

Это безумное изступленіе иногда въ сильной степени овладѣвало Тассомъ, и временно онъ терялъ даже разсудокъ. Такъ, во время болѣзни, случившейся съ

нимъ въ тюрьмѣ, Тассъ мечталъ, будто ему являлась Богоматерь. Потомъ думалъ онъ, что иногда злой духъ приходитъ къ нему, въ видѣ блуждающаго огонька, прыгаетъ въ тюрьмѣ его и крадетъ у него бумаги, которыхъ онъ не доискивается въ послѣдствіи. Наконецъ, Тассъ видалъ иногда злаго духа лицомъ къ лицу, разговаривалъ съ нимъ, и каждый разъ молился онъ послѣ того, да избавитъ его Господь отъ козней діавола, обѣщающаго ему дары, свободу и славу, если только поэтъ согласится передать ему свою душу.

Въ такомъ несчастномъ состояніи былъ Тассъ, когда ударилъ часъ его освобожденія. Не вѣря сужденію своей ученой Академіи, Медичи убѣдительно просили Альфонса возвратить свѣту великаго поэта. Въ Іюлѣ 1586 года, Тассъ былъ освобожденъ. Немедленно оставилъ онъ Феррару, удалился въ Мантую, потомъ въ Римъ и въ Неаполь. Остальное время жизни, Тассъ скитался изъ Неаполя въ Римъ и обратно, почти безпрестанно перемѣняя свое мѣстопребываніе, опасаясь всѣхъ, подозрѣвая каждаго, то унылый, то восторженный. Сегодня отказывался онъ отъ богатаго подарка—завтра просилъ нѣсколькихъ скудій на пропитаніе. Приходилъ къ другу, и черезъ недѣлю потомъ съ ужасомъ бѣжалъ отъ него. Только немногіе искренніе друзья могли переносить всѣ причуды за-живо умершаго Тасса, и въ этомъ случаѣ потомство должно сохранить имя *Іоанна Баттиста Манзо, маркиза де Вилла*: онъ постоянно любилъ, берегъ, охранялъ Тасса; у него болѣе всѣхъ жилъ Тассъ и отогрѣвался сердцемъ. Тассъ не остав-

лялъ поэзіи, хотя его послѣдніе сонеты, переделка Іерусалима, и трагедія *Торрисмонда*, изданные въ свѣтъ при жизни его, также комедія Gli Intrighi d'Amore, и начало поэмы *Семь дней сотворенія міра* (Le Sette giornate del Mondo creato), найденныя въ бумагахъ, послѣ смерти Тасса, служили доказательствомъ погибели его генія.

Прошло *девять лѣтъ* жизни поэта, страннической, горестной, печальной. Здоровье его наконецъ совершенно разстроилось; смерть близилась; друзья предчувствовали его кончину. Тутъ судьба, казалось, улыбнулась ему. На престолъ Папскій восшелъ кардиналъ Ипполитъ Альдобрандини, любившій Поэзію, Науки и Художества. Племянникъ новаго Папы, Чинціо Альдобрандини, страстно любившій стихи Тасса, уговорилъ дядю почтить бѣднаго страдальца давно небывалымъ торжествомъ: увѣнчаніемъ въ Капитоліи. Это было очень кстати при великолѣпныхъ праздникахъ, которыми ознаменовывалось избраніе новаго Папы. По странному смѣшенію историческихъ преданій, въ слѣдствіе котораго Латинское слово virtus, Итальянцы принимаютъ въ смыслѣ своего слова virtu, производя отъ него слово *виртуозъ*, мысль увѣнчавать поэтовъ въ Капитоліи, вмѣсто торжествованія тріумфа побѣдителей Римскихъ, нѣкогда горделиво въѣзжавшихъ въ Капитолію, явилась еще въ половинѣ XIV-го вѣка. Петрарка былъ торжественно привезенъ въ Капитолію въ 1341-мъ году, въ сопровожденіи толпы народа, съ музыкою, пѣснями; дворъ Папскій блисталъ великолѣпіемъ одеждъ, и весь

городъ праздновалъ славу Петрарки увеселеніями и убранствомъ улицъ, по которымъ везли поэта. Отслуживъ обѣдню, Папа возложилъ на него вѣнокъ лавровый, по словамъ самого Петрарки, доставившій ему только враговъ и завистниковъ. Странный обрядъ этотъ, смѣшеніе чего-то христіанскаго съ языческимъ, подобное празднику Виноградниковъ въ Швейцаріи, возобновлялся послѣ того два раза: въ 1355-мъ году, въ Пизѣ увѣнчанъ былъ императоромъ Карломъ IV-мъ какой-то великій поэтъ Цанови-Страда, а въ 1406-мъ году готовились увѣнчать во Флоренціи Колуччіо Салютати, за его Латинскія сочиненія. Но Салютати умеръ, не дождавшись увѣнчанія.

Предложеніе кардинала Чинціо порадовало дядю его, папу Климента VIII-го. Двору Папскому былъ случай попраздновать, народу повеселиться, Папѣ за дешевую цѣну показать себя покровителемъ Искуствъ и Поэзіи. Въ смиренномъ уединеніи у друга своего Мансо, Тассъ неожиданно получилъ приглашеніе прибыть въ Римъ и принять вѣнокъ. «Вѣнокъ!» воскликнулъ онъ.—«Дайте мнѣ лучше гробъ, а не вѣнокъ; положите лучше вѣнокъ вашъ на гробъ мой. Ваше торжество не прибавитъ достоинства моимъ твореніямъ и не возвратитъ мнѣ счастія, а только болѣе отравитъ завистью людей послѣдніе дни мои.» Но друзья убѣждали Тасса; онъ согласился, и отправился въ Римъ, съ толпою богомольцевъ. На границахъ Папскихъ владѣній, путешественниковъ остановила шайка славнаго разбойника Скіарры. Едва атаманъ узналъ, что подчинен-

ные его остановили Тасса, какъ прискакалъ самъ, и велѣлъ пропустить великаго поэта и всѣхъ его сопутниковъ. Такъ извѣстенъ былъ Тассъ. Уже вольной пріѣхалъ онъ въ Римъ. Депутація встрѣтила его за городскими воротами. Чинціо представилъ его Папѣ, и Папа сказалъ ему: «Вы украсите вашею славою вѣнокъ, донынѣ украшавшій славу другихъ.» Боясь, чтобы смерть не предупредила торжества, спѣшили приготовить всѣ декораціи, вѣнки, колесницу. Къ досадѣ Чинціо, дурная погода остановила торжество, а неумолимая не хотѣла подождать ясной погоды, и безжалостно положила ледяную руку свою на Тасса. Страшась, что праздника не будетъ, если поэтъ умретъ, Римъ очень безпокоился о здоровьѣ своего гостя. Но уже ничто не могло спасти бѣднаго страдальца. Послѣдніе дни Тасса служили предметомъ вдохновенія для многихъ поэтовъ и живописцевъ: они изображали и воспѣвали, какъ, чувствуя близость смерти, Тассъ думалъ только о вѣчности, велѣлъ себя перевезти въ монастырь Св. Онуфрія, и тихо скончался тамъ, Апрѣля 25-го 1595-го года, окруженный плачущими друзьями и смиренными иноками. Читайте элегію Батюшкова: *Умирающій Тассъ*. Но еще лучше, прочитайте письмо Тасса къ другу его Константини: «Что скажешь ты, мой Константини! узнавъ о кончинѣ твоего милаго Торквато? Не замедлитъ дойдти къ тебѣ сія вѣсть. Чувствую приближеніе смерти. Никакое лекарство не исцѣлитъ моей болѣзни. Она увлекаетъ меня, какъ будто быстрый потокъ. Поздно теперь жаловаться на судьбу, всегда враждебную—не говорю о несправедливости людей. Судьба торжествуетъ! Нищимъ

стою у гроба моего, когда надѣялся, что слава, на зло врагамъ пріоврѣтенная, не будетъ для меня безполезною. Я перешелъ въ обитель Св. Онуфрія, не потому только, что лекаря хвалятъ здѣшній воздухъ: я хотѣлъ бесѣдовать со святыми отшельниками, и начать бесѣды съ небомъ. Молись за меня, и вѣрь, что уважая и любя тебя здѣсь на землѣ, перенесу и туда, за гробъ, мое чувство, вмѣстѣ съ обязанностями христіанина: *тамъ* жизнь настоящая. Прости! Себя и тебя поручаю Богу.»

Похороны Тасса были великолѣпны: трупъ его еще надобенъ былъ для тщеславія людскаго. Тасса схоронили въ обители Св. Онуфрія. Чинціо хотѣлъ воздвигнуть ему гробницу, и—забылъ; хотѣлъ издать его полныя сочиненія, завралъ всѣ его бумаги — и также забылъ объ этомъ. Уже въ 1608-мъ году, кардиналъ Бевилаква соорудилъ надгробіе на могилѣ поэта, и велѣлъ вырѣзать на ней: «*Здѣсь лежатъ кости Торквата Тасса.*» Только—и надобно-ли было еще что нибудь?

Вотъ Тассъ, жизнь его и вѣкъ его, обнаженные отъ всѣхъ поэтическихъ вымысловъ, въ простотѣ исторіи, передъ судомъ потомства.

Признаемся, что эта простота, по мнѣнію нашему, представляетъ самую высокую поэзію, если поэзія состоитъ въ противоположностяхъ судьбы генія и человѣка, изображающихъ намъ позорище истины, ужасной и отрадной вмѣстѣ! Геній и темница, любовь и свѣтъ, съ его условіями и приличіями; ничтожное тщеславіе, полагающее вѣнокъ на гробъ поэта, и истинное чувство, заставляющее разбойника благоговѣть передъ

поэтомъ; и самый Тассъ, съ его ошибками въ жизни и поэзіи, полусумасшедшій и пережившій самого себя... Посмотримъ, что поэтическій вымыселъ можетъ прибавить къ этой истинѣ болѣе высокаго, болѣе изящнаго.

Розини, заключая книгу, изданную имъ о Тассѣ, говоритъ: «Изложеніемъ бѣдствій Тасса, мы хотѣли влить каплю бальзама въ раны людей, посвящающихъ себя на прославленіе отечества плодами трудовъ тяжкихъ, и всего чаще получающихъ въ награду за то гоненіе духа партій, злобы и невѣжества. Сравнивая жребій свой съ судьбою Тасса, да утѣшатся они въ настоящей жизни, и да возродятся силами: есть потомство!»

Самый холодный изъ холодныхъ историковъ, Нѣмецкій профессоръ Бутервекъ, окончилъ жизнеописаніе Тасса (въ своей Geschichte der schönen Wissenschaften, ч. II, стр. 230) слѣдующими словами: «Да, будетъ святъ для каждой души человѣческой прахъ твой, мученикъ любви и поэзіи! Да, позволено будетъ историку твоему прервать холодный разсказъ, и не умолчать о чувствахъ, какія возбуждаетъ въ немъ жизнь твоя. Ты былъ слабъ, и часто безразсуденъ. Ты не зналъ міра. Но изъ того, что знаетъ о тебѣ міръ, видимъ, что ты не обезславилъ высокаго достоинства поэта и человѣка. Ты заблуждался, какъ поэтъ и какъ человѣкъ, но истина была во глубинѣ души твоей. Всѣ письма твои доказываютъ дѣтскую чистоту твоего сердца. Между лживыми и двусмысленными людьми, какими въ твое время была большая часть Итальянскихъ поэтовъ, виденъ ты, странный, но въ Петрарковской чистотѣ. Какъ для твоего вождя

Петрарки, доброе и прекрасное были и для тебя единымъ подъ двумя именами.» и проч.— Бутервекъ говоритъ за тѣмъ, что Тассъ почти исторически-вѣрно изображенъ, какъ человѣкъ (mit seiner Liebenswürdigkeit Excentricität und Schwäche), въ Гетевой трагедіи. Обратимся къ творенію Гете: одно имя сочинителя требуетъ отъ насъ преимущественнаго къ нему вниманія передъ другими.

Кажется, можно безъ оговорокъ согласиться съ тѣмъ, что Гете не былъ *только поэтъ*, какъ были только поэтами Данте, Тассъ, Байронъ. Геній Гете вмѣщалъ въ себѣ что-то всеобщее, универсальное: вселенная была его символомъ. Онъ изумлялъ именно всеобщностью генія, въ которой нераздѣльно сливался въ немъ поэтъ, мыслитель, ученый человѣкъ. Потому ни одно изъ поэтическихъ созданій Гете, отдѣльно взятое, не удовлетворяетъ насъ вполнѣ: его романъ, трагедія, комедія, поэма, показываютъ, что это суть созданія генія, столь великаго, что въ нихъ никакъ не могъ онъ весь выразиться; мимоходомъ, часть Гете видите вы въ нихъ; онъ не высказываетъ вамъ себя безотчетно, безъ всякой тайной, сокрытой во глубинѣ души его, недостигаемой для васъ мысли. Только въ *Фаустѣ* Гете сказался вполнѣ. Отъ того Фаустъ его выражаетъ все, и ни къ какому роду частныхъ созданій причисленъ быть не можетъ.

Посему романы и драмы Гете не были слѣдствіемъ безусловной восторженной мысли, идеи, воспламеняющей все бытіе поэта. Это суть поэтическія рѣшенія задачъ, предложенныхъ геніемъ Гете самому себѣ

При мѣлкомъ дарованіи, подобные опыты надъ собою будутъ смѣшны и жалки; при всеобъемлемости Гете, изъ нихъ являлись созданія великія. Рядъ твореній, каковы: *Гецъ фонъ-Берлихингенъ*, *Эгмонтъ*, *Ифигенія*, *Вертеръ*, *Германъ и Доротея*, *Вильгельмъ Мейстеръ*— это не есть рядъ вдохновеній, насильственно колебавшихъ душу поэта, невольно увлекавшихъ его воображеніе, терзавшихъ его бытіе. Нѣтъ—это опыты ничѣмъ не побѣдимой силы могущаго генія: Гете захотѣлъ сказать свою мысль о любви—пишетъ *Вертера*; рѣшился явить въ Германіи историческую драму Шекспира — пишетъ *Геца фонъ-Берлихингена*; вздумалъ показать примѣръ драмы Древнихъ — создаетъ *Ифигенію*. Такъ и драма его *Торквато Тассъ* была однимъ изъ подобныхъ предпріятій. Это идея, спокойно принятая въ душу генія, и воспроизведенная имъ въ изящной формѣ искуства.

Примѣръ Гете можетъ однакожъ доказывать, какъ опасна для человѣка подобная борьба съ природою. Мы сказали, что каждое, отдѣльно взятое созданіе Гете, кромѣ *Фауста*, не удовлетворяетъ насъ. Не доказательство-ли это того, что Гете, какъ человѣкъ, платитъ дань человѣческой ограниченности, конечности? «Великъ ты, но я тебя болѣе: я безгранична, а ты только великъ!» говоритъ ему вселенная, и указываетъ предѣлъ его самобытности. Прочтите драму Шиллера: при всѣхъ несовершенствахъ ея вы увлечены, вы ослѣплены. Чѣмъ? Тѣмъ, что поэтъ весь тутъ, весь, душею и тѣломъ, безъ всякой сокрытой отъ васъ мысли; онъ

показалъ вамъ всю свою душу. И это самоотверженіе, это приношеніе на жертву самого себя, сближающее человѣка съ безконечностью, невольно увлечетъ и васъ безъ отчета. Но съ Гете вы торгуетесь, такъ сказать; принуждены уступать ему, но и побѣжденные еще спорите за свое пораженіе. Гете — это философъ, убѣждающій васъ умомъ; Шиллеръ — это фанатикъ, увлекающій своею безграничною вѣрою въ свою фантазію.

Да, не подумаетъ кто либо, что мы хотимъ сказать будто Гете *не былъ поэтъ*: онъ былъ болѣе нежели поэтъ. Онъ изображалъ собою идею всеобщности, когда другіе поэты суть идеи частности, разливающейся на всеобщность. Потому созданія Гете дышатъ и очаровательною поэзіею, только поэзіею отъ искуства переведенною въ природу. Въ Ифигеніи Гете Грекъ, въ Гецъ Шекспиръ. Но Эсхилъ и Шекспиръ жили всею своею жизнію въ своихъ созданіяхъ, а Гете только оживотворялъ свои созданія духомъ своего генія. Прочтите Ифигенію въ Тавридѣ Эврипидову, и пьесу сего-же имени Гетеву, и вы поймете разницу, которая можетъ быть скорѣе понятна, нежели объяснена.

Гете хотѣлъ изобразить *любовь поэта*. Онъ ищетъ въ исторіи: кого-бы облечь ему въ свою идею? Выборъ его падаетъ на Тасса. Не думайте, чтобы Гете хотѣлъ вамъ изобразить *Торквата Тасса* — нѣтъ! Въ лицѣ своего героя, онъ видѣлъ только отпечатокъ заключеннаго въ душѣ идеала: это не *Торквато* — это поэтъ, *великій поэтъ Италіи*; судьба уничтожаетъ его

геній любовью къ женщинѣ; будучи противорѣчіемъ обществу, какъ поэтъ, онъ дѣлается противорѣчіемъ ему и по любви своей, ибо, забывая всѣ отношенія мірскія, поэтъ любитъ принцессу. Это другой Вертеръ: опять любовь, только невнесенная въ другія отношенія. Изъ жизни Тасса Гете беретъ посылки для своего силлогизма. Какъ долженъ былъ *онъ* любить? Что *она* должна была думать? Таковы вопросы. Гете путешествовалъ по Италіи, когда писалъ своего Тасса; передъ нимъ была гробница сего поэта. «Что ощущалъ, что чувствовалъ ты, поэтъ?» думалъ, можетъ быть, Гете, облокотясь на хладные останки Тасса. И передъ нимъ возсталъ онъ изъ гроба, лишенный всего мимолетнаго, тлѣющаго, относительнаго. И все пересказалъ онъ Гете, все, что происходило нѣкогда въ душѣ его. И это видѣніе поэта, Гете изсѣкъ изъ мрамора, поставивъ еще подлѣ него изображеніе какихъ-то двухъ женщинъ и двухъ мужчинъ. Но сіи лица суть посредствующія. Вниманіе сосредоточено на главномъ лицѣ, *поэтѣ*. Другія только поясняютъ намъ лицо его своими отношеніями. И все это неподвижно по наружности, какъ древній барельефъ, изображающій Эдипа, какъ статуя Лаокоонова. Но передъ вами произнесены слова: *Эдипъ*, *Лаокоонъ* — и вы открываете цѣлый міръ страстей въ этихъ неподвижныхъ фигурахъ; вся судьба Лаіева сына явна для васъ въ мраморной статуѣ, изображающей старика слѣпца; всѣ бѣдствія Лаокоона жгутъ душу вашу въ статуѣ, изображающей обвитаго змѣями человѣка.

Люди, смотрѣвшіе на Гетево сочиненіе, какъ на *романтическую драму Торквато Тассъ*, находили, что Гете ошибся, и противъ исторіи, и противъ поэзіи. *Тассъ*, *Альфонсъ*, *Элеонора* не таковы въ исторіи. Согласны. Но поставьте вмѣсто этихъ собственныхъ именъ: *поэтъ*, *вельможа*, *принцесса*, и вы узнаете всю прелесть Гетева созданія: это полный объемъ любви поэта, въ противоположности съ міромъ и его условіями. Только, и болѣе ничего не ищите. И развѣ этого мало? Но Романтизмъ требуетъ подробностей, обстановки множествомъ лицъ. Почему-же *требуетъ?* Міръ внѣшній Гете перенесъ въ душу поэта, и его статуя выражаетъ сей многообразный міръ въ удивительной степени совершенства: это жизнь, окаменѣвшая по волѣ генія Гетева.

Изъ сего слѣдуетъ однакожъ, что собственно не *Тасса*, но *свою идею* воплотилъ Гете въ своей драмѣ? Да, и потому-то мы не войдемъ здѣсь въ изслѣдованія о томъ, до какой степени воспользовался Гете историческою дѣйствительностію. Вопросъ: выразилъ-ли Гете все, что могъ и хотѣлъ выразить въ своей драмѣ? совсѣмъ не относится къ нашей цѣли. Посему (когда притомъ содержаніе драмы Гетевой составляетъ *разговоръ*, а не *дѣйствіе*), мы не будемъ входить здѣсь въ подробности ея содержанія. По нашему мнѣнію, это едва-ли не самое прекрасное изъ драматическихъ созданій великаго Германскаго поэта, и съ нимъ не сравнимъ мы его Геца фонъ-Берлихингена, забросаннаго подробностями, и похожаго на историческія сце-

ны, а не на драму; не сравнимъ ни Эгмонта, слишкомъ мечтательнаго, ни Ифигеніи, слишкомъ подражательной. Гетевы изображенія поэта, герцога, принцессы — это изображенія Дюрерровы, во всей поэтической простотѣ Среднихъ Вѣковъ. Французъ Дюваль вздумалъ было передѣлывать драму Гете для театра. Что-же онъ сдѣлалъ? Не чувствуя жизни, проникнувшей въ мраморъ, онъ раскрасилъ статуи Гетевы дѣйствіемъ, и изъ безсмертнаго изваянія вышло что-то похожее на восковую статую, раскрашенную красками и одѣтую въ ветошь.— Надобно еще сказать, что стихи Гете въ его Тассѣ очаровательны: это музыка. Если-бы вдругъ нашлись два геніяльные актера и одна геніяльная актриса для представленія драмы Гетевой, и соединили-бы мимику съ его стихами, зрители ихъ игры могли-бы понять тайну изящнаго, заключенную въ ваяніи, и таинственную связь ваянія, музыки и мимики. Драма Гете врѣзывается въ душу при чтеніи, и неизгладимое впечатлѣніе остается послѣ нея въ душѣ читателя.

Но *это не Тассъ*! невольно восклицаете вы, кончивъ драму Гете. Мы хотимъ видѣть *не идеалъ поэта*, но то, *что поэзія можетъ сдѣлать изъ жизни Тасса*, историческаго Тасса, съ его слабостями и безуміемъ, славою и позоромъ, его геніемъ и любовью, его тріумфомъ и темницею. Здѣсь открывается то, что мы говорили выше: драма Гете не удовлетворяетъ васъ, ибо она не драма дѣйствительной жизни, но собственно драматическая эпопея, гдѣ жизнь возведена къ идеалу, а дѣйствительность только даетъ ей общія формы.

Драма Итальянскаго поэта Розини: *Торквато Тассъ*, изданная въ 1832 году, также не можетъ насъ удовлетворить, но только по другой причинѣ. Мы упоминали, что Розини, отличный писатель въ числѣ Итальянскихъ литтераторовъ, предварительно издалъ историческія изслѣдованія о жизни Тасса. Никто лучше его не изъяснилъ причины заключенія Тасса въ домъ сумасшедшихъ, всѣхъ обстоятельствъ этого дѣла, и отношеній Тасса къ Феррарскому Герцогу и сестрѣ его. Розини отыскалъ много, бывшихъ до него неизвѣстными, стихотвореній Тасса, поясняющихъ всѣ подробности. Словомъ: теперь судьба и исторія Тасса, послѣ труда Розини, сдѣлались совершенно понятны и ясны. Трудъ Розини увлекъ все его собственное вниманіе. Безчеловѣчная, жестокая гордость Альфонса; закованныя въ приличія свѣта и знатности чувства Элеоноры; ничтожная злоба, недостойныя хитрости и мѣлкія интриги современниковъ Тасса; противоположность жизни и поэзіи Тассовой, все это, изъясненное Розини, подало ему мысль облечь Тасса въ драматическую форму.

И онъ написалъ *историческую драму*. Надобно сказать, что драма Розини имѣетъ большія достоинства, и показываетъ великія дарованія автора. Но, заключая въ себѣ только происшествія окончательныя: открытіе несчастной тайны поэта Альфонсу, коварство Герцога въ отмщеніи Тассу за его безразсудную страсть, и осужденіе Тасса, она не являетъ намъ Тасса вполнѣ. Гдѣ его слава? Гдѣ его вѣдствія? Гдѣ

этотъ человѣкъ—изгнанникъ въ отрочествѣ, бѣдняк въ юности, колодникъ среди всеобщаго восторга, прославленнаго его творенiями, сумасшедшый, когда вся дивилась Европа? Гдѣ лавровый вѣнокъ на его кровь? Розини умѣлъ создать прекрасную драму, ни сколько не нарушая истины исторiи. Заслуга великая. Характеры дѣйствующихъ лицъ въ его драмѣ удивительно вѣрны. Свято покровало, и съ мнимаго покровительства Альфонсова, и съ невѣчувственной Элеоноры, хотя ея тайная дума любви, ея невольное чувство сострадания высказаны поразительно. Но какъ у Гете является не Тассъ, но непредѣленно поэтъ, такъ у Розини Тассъ заключенъ въ слишкомъ тѣсную раму одного изъ періодовъ его жизни, и не выражается вся поэтическая жизнь его. Видѣнъ *человѣкъ*, но не поэтъ *Торквата Тассо*. Словомъ: драмою досказалъ Розини только то, чего не позволила сказать ему историческая точность его изслѣдованiй. Тамъ онъ былъ холодный повѣствователь; здѣсь онъ оживилъ исторiю драматическою жизнью, и догадками поэзiи дополнилъ то, чего не домолвила исторiя. Вотъ краткое изложенiе сочиненiя Розини:

Драма начинается пребыванiемъ Тасса въ Урвино. Враги, въ его отсутствiи, дѣйствуютъ. Элеонора видитъ интриги ихъ и сожалѣетъ о несчастномъ поэтѣ. Ревнуя къ Гварини, Тассъ является въ Феррару. Ливiя, любимица Элеоноры, уличаетъ Тасса въ его безразсудствѣ. Притворная холодность Элеоноры, улика Ливiи и злоба враговъ приводятъ Тасса въ отчаянiе. Слѣдуетъ

ссора его съ Маддало. Нерѣшительное состояніе Элеоноры, опечаленной сею ссорою.

Второе дѣйствіе изображаетъ похищеніе тайныхъ бумагъ Тасса. Поэтъ былъ согласенъ съ другомъ своимъ Рондинелли, и готовъ уничтожить ихъ. Но бумагъ нѣтъ. Тщетное стараніе друзей Тасса обнаружить злодѣйство враговъ его. Ничтожность Гварини и придворныхъ. Тассъ у Элеоноры. Сцена прелестная! «Чѣмъ оскорбила я васъ Торквато,» говоритъ Принцесса, испуганная мрачнымъ видомъ своего брата, «чѣмъ оскорбила я васъ, что за двѣнадцать лѣтъ вѣрной и искренней дружбы, ваша безразсудность дѣлаетъ меня посмѣшищемъ Италіи и всего свѣта!» — Принцесса! вы ничего не скажете мнѣ, чего не сказало-бы мнѣ прежде васъ мое растерзанное сердце! Никогда не осудите вы меня такъ жестоко, какъ осуждаю я самъ себя!—«Не ожидайте отъ меня осужденія... Но жертва необходима.»—Назначьте ее мнѣ!—«Вы должны удалиться.»—Я приготовился къ этому, Принцесса! я готовъ, и пришелъ проститься съ вами!—«Не ожидая на отъѣздъ вашъ моей воли, безсовѣстный человѣкъ!»—невольно вырывается изъ устъ Элеоноры. Тассъ едва не переходитъ отъ горести и отчаянія къ безумному восторгу и радости. Но является Альфонсъ. Онъ скрываетъ свое негодованіе. Дѣтское добродушіе Тасса въ этой сценѣ плѣнительно. Альфонсъ заставляетъ его разсказать подробности поединка съ Маддало, и написать стихи, которые Маддало осмѣлился изъяснять не въ пользу поэта. Тассъ пишетъ ихъ съ трепетомъ: въ стихахъ встрѣчается имя Элеоноры (Quando sara che p' Eleonora venia)! «Но,

что-же скажетъ графъ Скандіано»—говоритъ усмѣхаясь Альфонсъ—«когда прочитаетъ столь пламенные стихи, написанные къ его супругѣ?»—Тассъ обрадованъ такимъ нежданнымъ толкованіемъ Герцога, но Герцогъ видитъ его радость, и грозно даетъ разумѣть Тассу свои настоящія, ужасныя подозрѣнія. Тассъ остается съ Ливіею. Что это значитъ: знаетъ-ли Герцогъ все, или только подозрѣваетъ? И что теперь дѣлать: бѣжать или остаться!—Тасса зовутъ отъ имени Альфонса въ Бель-Ригвардо. Тассъ повинуется.—«Готово-ли?» спрашиваетъ Альфонсъ, являясь въ концѣ дѣйствія, съ своимъ клевретомъ Криспо.—Готово—отвѣчаютъ ему.

Прекрасны сцены Тасса съ служителемъ, съ Элеонорою, съ Ливіею, съ придворными въ Бель-Ригвардо. Элеонора велитъ ему оставаться при дворѣ брата; бѣгство можетъ погубить Тасса. Она еще не понимаетъ души Альфонса. Сцена, гдѣ Альфонсъ уличаетъ Тасса и осуждаетъ его на безуміе—превосходна! Выписываемъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, какъ пересказываетъ эту сцену одинъ изъ Французскихъ критиковъ.

«Здѣсь начинается главная и лучше всѣхъ отдѣланная сцена драмы. Не уступая ни одной трудности своего предмета, авторъ побѣдилъ ихъ всѣ, и столь-же превосходенъ онъ здѣсь какъ поэтъ и какъ историкъ. Между тѣмъ на эту сцену всего болѣе устремлялись Итальянскіе критики. «Хороша роль, которую играетъ въ этой сценѣ Герцогъ!» восклицаютъ они. Но какъ-же иначе? Развѣ не легче было заставить Тасса провозглашать что нибудь громко, дерзко, смѣло, а Альфонсу вложить въ уста фразы, изжеванныя театральными ти-

ранами? Да, где тогда будетъ истина? Честь автору за естественность, и знаніе сердца человѣческаго и исторіи, что все показываетъ намъ эта прекрасная сцена!

«Герцогъ начинаетъ притворною довѣренностью, ласковостью. «Природа здѣсь такова, какъ вы изобразили ее,» говоритъ онъ Тассу, прогуливаясь съ нимъ по дворцовому саду. «Никогда не вхожу я въ эти сады безъ воспоминанія о томъ, что они послужили вамъ для образца въ описаніи садовъ Армиды. Вотъ въ срединѣ дворецъ, здѣсь лабиринтъ, тамъ водопадъ, плещущій волнами рѣки По. Насъ не будетъ, а Іерусалимъ вашъ переживетъ насъ, и о садахъ Бель-Ригвардо вспомнятъ по садамъ Армиды.» Вдругъ Альфонсъ останавливается, и замѣчаетъ угрюмо: «Только одно не нравится мнѣ у васъ: слишкомъ сладострастны картины, окружающія ваше изображеніе Армиды. Ихъ надобно передѣлать.

—Но поэзія требуетъ...

«Причина, сильнѣе вашей поэзіи, требуетъ другаго: вы двѣнадцать уже лѣтъ пользуетесь благосклонною дружбою моихъ сестеръ; что подумаютъ объ нихъ, читая ваши описанія и образы, заставляющіе краснѣть женщину? Невольно, мысль каждаго обратится къ тому, что въ дѣйствительной жизни окружало поэта, и что онъ такъ мало уважилъ своею поэзіею. Надобно уничтожить все это, говорю я вамъ.

—Но списки моей поэмы ходятъ по рукамъ...

«Это сдѣлано очень неосторожно.» Альфонсъ раскрываетъ далѣе свою мысль; невнимательно принимаетъ

онъ стихи, сочиненные Тассомъ по случаю его новаго супружества. «О, вы знаете, что я всегда показывалъ вамъ все мое уваженіе, и *никогда* вы оказывали его мнѣ. Вы говаривали, писали даже, что похвалы мои прибавили многое къ вашей славѣ. Стихи, теперь вами поднесенные, я прибавлю къ собранію другихъ прекрасныхъ стихотвореній вашихъ. Вотъ ихъ нѣсколько— порядочное собраніе!» Герцогъ начинаетъ перебирать свертокъ стиховъ Тасса. «Эти написаны были вами, кажется, въ честь Лауры, придворной дамы Герцогинниной?»

—Да, Государь.

«А вотъ эти относятся къ трагедіѣ Скандіано? Прелестно, прелестно! Но, какъ-то я не нахожу въ нихъ той истины чувства, которая видна въ стихахъ, вчера переписанныхъ вами въ комнатѣ моей сестры. А притомъ, что значитъ все это, что говорите вы о какихъ-то *страданіяхъ, продолжающихся три лустра*, о какой-то *знаменитой дамѣ*. Имя Элеонори запутано у васъ въ таинственныя фразы. Неужели вы думаете, что найдется глупецъ, который не угадаетъ, о какой *Элеонорѣ* вы осмѣливаетесь говорить?

—Но, кажется, эти стихи не противны глубокому почтенію, которое...

«Глубокому почтенію! А когда вы пишете о придворной дамѣ сестры моей: «*Лисія говоритъ со мною, но въ ея устахъ я слышу голосъ любви*»— и еще-ли не ясно, когда вы дерзнули сказать: «*Приди ко мнѣ, Ли-*

вѣ, посланника божества моего!» Что вы: безумецъ, или дерзкій человѣкъ, или то и другое вмѣстѣ?»

Альфонсъ продолжаетъ перебирать стихи, и указывать на самыя неосторожныя выраженія поэта. «Знаю,» говоритъ онъ, «знаю, что только ваше мечтательное воображеніе виновно во всѣхъ этихъ нелѣпостяхъ. Знайте и вы, что мнѣ извѣстенъ каждый шагъ вашъ, каждое ваше слово. И неужели вы этого до сихъ поръ не вѣдали?»

Терзаемый упреками, и еще болѣе совѣстью, Тассъ едва можетъ произнести только: «Накажите мою нескромность!»

—Нѣтъ! я прощаю ее, прощаю тому человѣку, который посвятилъ мнѣ Іерусалимъ; я признателенъ къ чести, вами мнѣ оказанной. Вы жестоко оскорбили меня, а я вамъ прощаю. Мы расплатились теперь, и дѣло кончено между нами.» Тассъ отдыхаетъ, хочетъ удалиться. «Остановитесь,» говоритъ ему Альфонсъ—«кончено, но не все. Человѣкъ, котораго отличалъ я моею милостію, любилъ, покровительствовалъ! скажи, что долженъ я думать вотъ объ этихъ стихахъ?»—Альфонсъ вынимаетъ бумажникъ съ тайными стихами, похищенный у Тасса.—Измѣна!—восклицаетъ Тассъ, въ отчаяніи. «Зачѣмъ смѣшивать слова? Кто отдалъ мнѣ этотъ бумажникъ, будетъ наказанъ, за то, *какъ* онъ досталъ его. Но стихи сами по себѣ, другое дѣло: они *твои*, и оскорбленная честь моя, гостепріимство, поруганное тобою, заставляютъ меня спросить, что долженъ я обо всемъ этомъ думать?»

Тассъ не можетъ болѣе выдерживать, и пламенно сознается, что всѣ эти стихи писаны были къ Элеонорѣ. Поэтъ заступаетъ въ немъ мѣсто обыкновеннаго человѣка, восторгъ мѣсто разсудка. Но онъ падаетъ передъ Герцогомъ на колѣни и проситъ прощенія.

—Тебя простить! когда каждый стихъ твой въ этихъ вредняхъ—глупость и ложь постыдная!

«Но по тому-то ваше великодушіе...

—Могу-ли быть великодушенъ, когда честь моя оскорблена—*честь Герцова Феррарскаго*—понимаешь-ли ты, несчастный?

«Вы видите мою скорбь, мое раскаяніе. Будьте милосерды, великодушны...

Альфонсъ вдругъ принимаетъ хладнокровный видъ.

«Сознаніе, раскаяніе, прощеніе! Но скажи, Торквато, въ чемъ-же мнѣ простить тебя?

—Въ чемъ, Государь?—Тассъ изумляется.

«Или ты не видишь, или притворяешься?

—Притворяюсь?

«Да, разумѣется притворяешься: въ полномъ умѣ не льзя сдѣлать подобной глупости.

—Что я слышу!

«Ты сошелъ съ ума, когда осмѣлился писать всѣ эти стихи.

—Я? Боже великій!

«Да, ты сошелъ съ ума. Пусть-же люди узнаютъ это, и тѣмъ извинятъ тебя въ твоемъ преступленіи. Пусть знаютъ они, что потому только я не наказалъ смертью твоей непростительной вины. Кстисно! исполните мое повелѣніе.»

—Я сумасшедшій, я!

«Да, ты сумасшедшій, долженъ быть сумасшедшимъ, и—горе тебѣ, если свѣтъ усомнится въ твоемъ сумасшествіи!»...

Вотъ истина, вотъ живой Альфонсъ, живой Тассъ! Это выхвачено изъ души человѣческой.

Все окончаніе драмы Розини поддержано чрезвычайно хорошо. Криспо увлекаетъ несчастнаго поэта, почти безчувственнаго. Монастырь св. Франциска избранъ его тюрьмою; его станутъ лечить, какъ сумасшедшаго. Слухъ объ этомъ распространяется въ Феррарѣ. Элеонора узнаетъ ужасную истину. Она не скрываетъ своей горести, она едва можетъ скрыть свое тайное чувство, перешедшее въ скорбь нестерпимую. «Я погубила его! Онъ хотѣлъ бѣжать... за чѣмъ остановила я бѣднаго Тасса!» Тщетно Ливія говоритъ принцессѣ объ оскорбленіи, какое наноситъ ея имени и званію поступокъ Тасса. «Онъ былъ еще такъ молодъ, когда писалъ эти глупые стихи, онъ любилъ, и былъ молодъ и неопытенъ...

—Не такъ говорили вы прежде, ваша свѣтлость.

«Прежде только опасность грозила ему, а теперь онъ гибнетъ. Братъ отвергъ мои просьбы. Онъ сказалъ, что

преступленіе Тасса заслуживаетъ смерть. Но онъ изобрѣлъ наказаніе хуже смерти!

—Что-же теперь дѣлать?

«Ничего, и это приводитъ меня въ отчаяніе!

Лиція напоминаетъ Принцессѣ, что она дочь Королевы Французской, и должна поддержать свое высокое достоинство. Рондинелли проситъ позволенія переговорить съ Принцессою. Онъ плачетъ и разсказываетъ о всегдашнемъ стараніи Тасса скрывать свои несчастные, тайные стихи, о вѣроломномъ похищеніи ихъ врагами поэта. Рондинелли видѣлъ Тасса въ его заключеніи. «Мнѣ сказывали, что всю ночь несчастный другъ мой былъ тихъ, безмолвенъ, тяжко вздыхалъ, убитый горестью, но когда явился одинъ изъ враговъ его, порадоваться его бѣдствію, Тассъ пришелъ въ неистовство. Едва увидѣлъ онъ меня, какъ бросился ко мнѣ, съ воплемъ: «Гдѣ ключикъ отъ моего ящичка?» Я отдалъ ему этотъ ключикъ, плакалъ и разсказалъ всѣ подробности похищенія бумагъ. Ваша свѣтлость! заклинаю васъ: прекратите позоръ скорби, или вскорѣ погибнетъ этотъ великій геній! Еще день, и Тассъ дѣйствительно сойдетъ съ ума, или умретъ, Принцесса, умретъ...

Входитъ Гварини. Онъ пришелъ на отпускную аудіенцію къ Элеонорѣ, отъѣзжая въ Мантую, съ порученіемъ отъ Герцога. «Не будетъ-ли нескромностью вопросъ мой, ваша свѣтлость» — говоритъ Гварини—

«правда-ли, что бѣдняжка Тассъ сошелъ съ ума, какъ всѣ говорятъ въ Феррарѣ?

— Нѣтъ! онъ не сошелъ — раздается ужасный голосъ — это гнусная клевета, и горе тому, кто повторитъ ее! — Тассъ произноситъ сіи слова, и вторгается въ комнату, къ изумленію всѣхъ присутствующихъ.

Несчастный обманулъ бдительныхъ сторожей своихъ, и бѣжалъ изъ своего заключенія. Платье и волосы его въ безпорядкѣ; глаза горятъ; самъ не зная для чего, онъ бѣжалъ прямо въ отдѣленіе дворца, занимаемое Элеонорою. Онъ говоритъ теперь, движимый только отчаяніемъ своимъ. Рѣчь его пламенна, но безпорядочна. Криспо слѣдуетъ за нимъ, и слушаетъ его съ радостью и съ ужасомъ. «Могли, если хотѣли, отнять у меня почести, бѣдное имѣніе мое, ничтожную жизнь мою. Все это во власти тѣхъ, въ чьихъ рукахъ находится сила. Но разумъ, данный мнѣ Богомъ, но этотъ единственный признакъ небеснаго происхожденія человѣка — хотѣть отнять его у меня по волѣ тирана, унизить меня до состоянія безсмысленныхъ животныхъ? Никогда, никогда!

— Понимаете-ли вы — говоритъ ему Криспо — какъ оскорбительны слова ваши для моего государя?

«*Твоего*, но не моего — я не подвластенъ ему болѣе! Только исторгая жизнь мою, какъ исторгнулъ онъ у меня мою роковую тайну, твой Альфонсъ можетъ показать власть свою надо мною. Что-же? Поди,

донеси ему, что говорю я, поспѣши донести!» Криспо уходитъ.

— Подумай о себѣ, Торквато — говоритъ ему Рондинелли, умоляющимъ голосомъ.

«Подумать! О чемъ? Для чего? Тогда надобно было мнѣ думать, когда, приглашаемый великодушнымъ государемъ Савоіи, я отвергъ его предложенія, когда, обнадеживаемый милостями повелителя Тосканы, я не внималъ ни чему, и бросился въ Феррару, сюда, въ эту бездну, гдѣ я погибъ. И я открылъ ему мою тайну, преклонялся передъ нимъ.... О стыдъ! я просилъ у него прощенія! Но развѣ я преступникъ? И Альфонсъ, безсмертный по моей милости, былъ неумолимъ....

Элеонора и Ливія изъявляютъ свою горесть. Тассъ ничего не слышитъ. Съ трепетомъ глядитъ онъ на самого себя, на другихъ. — Отдайте мнѣ мой разумъ, отдайте мнѣ его, люди! Мнѣ далъ его Богъ, и только Онъ одинъ можетъ отнять его у меня. Бѣгу изъ Феррары, не утѣшу моего непримиримаго врага моею горестью. А вы, божественная Принцесса, вы, чей образъ всегда останется въ моемъ сердцѣ, вы первая должны свидѣтельствовать противъ клеветы въ моемъ безуміи. Пусть Италія знаетъ, что я раскаявался только въ моемъ униженіи передъ Альфонсомъ. Альфонсъ будетъ отвѣчать потомству....

Криспо входитъ съ солдатами. «Вотъ отвѣтъ моего повелителя — въ домъ безумныхъ!»

Тасса влекутъ полу-безчувственнаго. «Не говори

мнѣ объ утѣшеніи,» отвѣчаетъ Элеонора Ливіи — «это ускоритъ смерть мою. Онъ гибнетъ за то, что любилъ меня, какъ никто еще меня не любилъ. . . .

Горестный Рондинелли остается одинъ, и заключаетъ драму словами: «Если и велико было оскорбленіе, то мщеніе безмѣрно и безчеловѣчно!»

Не многія выписки наши могутъ доказать сказанное нами о достоинствѣ драмы Розини. Но онѣ-же доказываютъ и другое, то, что объемля немногое изъ жизни Тасса, показывая только связь несчастныхъ событій въ жизни его съ 1573-го до 1577 года, драма Розини не можетъ быть названа полнымъ выраженіемъ Тасса и его жизни. Здѣсь видѣнъ онъ только какъ страдалецъ, какъ жертва, и притомъ остается еще семь лѣтъ его заключенія и девять лѣтъ его остальной жизни.— Мы слышали, что Нѣмецкій поэтъ Раунахъ написалъ трагедію: *Смерть Тасса*. Вѣроятно, онъ изобразилъ въ ней послѣдніе годы жизни Торквато.

При свободѣ Романтизма, неуже-ли вся жизнь Тасса, *весь онъ*, какъ поэтъ, какъ человѣкъ, не можетъ быть предметомъ драмы? Почему-же *нѣтъ*?— Искуство изберетъ такія точки, что въ нихъ соединятся годы, исчезнутъ ненужныя подробности, и поэзія дѣйствительной жизни Тасса сосредоточится, какъ лучи свѣта въ зажигательномъ зеркалѣ, въ одну точку, отъ которой загорятся участіемъ души зрителей и читателей.

Но, предполагая подобную мысль, не должно-ли притомъ предварительно сдѣлать нѣкоторыя условія съ

поэтомъ, избирающимъ Тасса предметомъ своей драмы, въ предположенномъ нами объемѣ?

Непремѣнно *должно*. И вотъ какія условія желали-бы мы заключить предварительно:

Онъ уразумѣетъ поэзію истины въ самомъ Тассѣ, его жизни, его вѣкѣ, его современникахъ.

Онъ не замѣнитъ сей поэзіи піитическою надутостью: не представитъ Альфонса театральнымъ тираномъ, или патріархальнымъ покровителемъ поэзіи; не изобразитъ въ Тассѣ мечтателя, Нѣмецкаго студента, который разсыпаетъ душу въ восторженныхъ фразахъ; не покажетъ и въ Элеонорѣ страстной дѣвочки, говорунью, съ мечтательною любовью, съ романтическими восторгами, сладкими слезами. Онъ пойметъ Элеонору, какъ тридцатилѣтнюю женщину, Итальянку, но принцессу, и притомъ принцессу XVI-го вѣка.

Онъ не замѣнитъ намъ *драмы* звучными стихами, ни разительности историческихъ событій яркими, но несбыточными картинами. Словомъ: онъ покажетъ намъ *людей*, а не Китайскія тѣни, блестящія, но пустыя.

За то пусть воспользуется онъ всѣмъ, на что Романтизмъ развязалъ намъ руки свободою дѣйствія, разрушеніемъ трехъ единствъ; пусть украситъ онъ свое созданіе цвѣтами души и сердца, и прозорливостью вымысла дополнитъ то, чего не досказываетъ исторія.

Такія условія могъ услышать отъ насъ г-нъ Ку-

кольникъ, когда рѣшился онъ избрать предметомъ драмы своей *Тасса*, въ обширномъ объемѣ, какъ человѣка, какъ Итальянца XVI-го столѣтія, какъ историческое лицо, котораго дѣйствительную жизнь мы узнали и изслѣдовали.— Предполагаемъ, что нашъ договоръ былъ заключенъ, подписанъ, и, безъ всякихъ мѣлочныхъ оговорокъ*, переходимъ прямо къ драмѣ нашего соотечественника и излагаемъ ея содержаніе.

Драма начинается сценою дѣтей Корнеліи, сестры Тассовой. Она живетъ въ Соренто, ничего не зная о бѣдственной участи брата, и думая, что Торквато ея наслаждается славою и счастливъ при Феррарскомъ дворѣ. Является угрюмый незнакомецъ, принесшій письмо отъ Тасса, и извѣщающій объ его бѣдствіяхъ.

---

* Мѣлочными *оговорками* называемъ мы скучную церемоніяльность многихъ критиковъ, которые прежде всего наговорятъ много словъ объ уваженіи, почтеніи, снисхожденіи; о томъ, что ихъ мнѣніе не есть мнѣніе всѣхъ, и проч. и проч; что все само по себѣ разумѣется. Мы не говоримъ и о томъ, что г-нъ К. называетъ свое сочиненіе *Драматическою Фантазіею*, а не просто *драмою*; что слово *дѣйствіе* замѣняетъ онъ словомъ *актъ*, и дѣлитъ дѣйствіе на *явленія*, а явленія на *выходы*. По нашему мнѣнію, это старая погудка на новый ладъ. И что намъ до того за дѣло? Говорите, вмѣсто: дѣйствіе—*актъ*, *день*, *отдѣленіе*, *книга*; вмѣсто: *явленіе*—*часъ*, *входъ*, *выходъ*, *глава*. Все хорошо, что хорошо въ сущности. Пора-бы, кажется, бросить подобныя мѣлочи въ литтературѣ, какъ брошены теперь въ общежитіи бѣлые галстухи, приговорка: *желаю здравствовать* при чиханьи, розовая бумажка съ купидонами для billets-doux, *милостивѣйшій* государь въ началѣ писемъ, и пр. и пр.

Корнелія плачетъ — незнакомецъ открывается ей: это самъ Тассъ. Разговоръ, гдѣ поэтъ высказываетъ свою пылкую душу, странную любовь къ двумъ сестрамъ Герцога, Лукреціи и Элеонорѣ. Тассъ жалуется, что его гонятъ люди, почитаютъ сумасшедшимъ. Приходъ сосѣда Корнеліи доказываетъ справедливость общаго мнѣнія, что Торквато дѣйствительно помѣшанъ. Тассъ думаетъ, что ему не безопасно даже и у Корнеліи. Онъ бѣжитъ отъ нея тайно. До сихъ поръ мы темно узнаемъ, что Тассъ изгнанъ изъ Феррары.—Онъ близъ Везувія. Толпа нищихъ окружаетъ его. Они идутъ въ Феррару, на торжество новаго супружества Альфонсова. Тассъ отправляется съ ними.

Сцена въ Феррарѣ. Стихотворецъ Гаскано разговариваетъ съ Лукреціею, сестрою Альфонса. Узнаемъ ничтожность этого мѣлочнаго поэта и волокиты, и непріязнь Лукреціи къ Тассу. Входитъ Элеонора. Она страстно, пламенно любитъ Тасса; проситъ сестру ходатайствовать у брата о прощеніи его; проситъ о томъже самого Альфонса. Здѣсь добрый Герцогъ объясняетъ намъ, что Тассъ изгнанъ былъ изъ Феррары за любовь къ Элеонорѣ и за признаніе въ этомъ. Онъ согласенъ однакожъ простить его, но только, говоритъ онъ Элеонорѣ?

Ни единымъ словомъ,
Ни ласковымъ, ни грознымъ, не должна ты
Его дарить... Исполнишь-ли?

«*Исполню*,» отвѣчаетъ Элеонора.—Пріѣздъ невѣсты Герцога. Площадь; толпа народа. Среди нея, между

нищими, Тассъ. Константини, другъ его, получилъ уже прощеніе ему отъ Альфонса. Тасса узнаютъ. Константини беретъ его къ себѣ въ домъ. Сцены торжества во дворцѣ. Приходъ Тасса. Лукреція оскорбляетъ его насмѣшками; Элеонора падаетъ въ обморокъ, увидѣвъ его. Тассъ впадаетъ въ сумасшествіе; онъ сражается съ Гаскано и убиваетъ этого бѣдняка. Альфонсъ, который до того приказывалъ «*просить къ нему Тасса,*» и шелъ на встрѣчу поэта съ словами: «*Великій Тассъ, мой Тассъ любезный,*» видитъ убійство, и—отсылаетъ Тасса въ домъ сумасшедшихъ!—Все это заключаетъ два дѣйствія.

Актъ третій. Прошло *семь* лѣтъ. Константини груститъ о судьбѣ Тасса, котораго никакъ не прощаетъ Альфонсъ. Элеонора умоляетъ его еще ходатайствовать, откровенно говоря:

Вы знаете любовь мою къ Торквату!

Джюліо Мости беретъ у Константини книгъ для Тасса. Старикъ Гаскано является просить Альфонса о прощеніи убійцы сына его. Альфонсъ рѣшительно всѣмъ отказываетъ. Въ разговорѣ съ Константини, онъ открываетъ, что Лукреція разсказала ему всѣ злые умыслы Тасса: этотъ негодный поэтъ поссорилъ Лукрецію съ мужемъ ея, и хотѣлъ тайно жениться на Элеонорѣ.

Освободить Торквата невозможно...
Теперь, мой другъ, ты видишь: *правъ ли я?*
Давно разнощики придворныхъ сплетней
По городу слухъ разнесли, что будто

Изъ зависти я заключилъ Торквата.
Изъ зависти! Нѣтъ! *безопасность наша,*
И, можетъ быть, *спасеніе Италіи* (?)
Торквату *казни просятъ*, но *безумье*
Спасло убійцу отъ позорной смерти —
Избѣгъ меча преступный соблазнитель...
И вотъ людей разумныхъ приговоромъ
Альфонсъ великодушный сталъ жестокимъ!

Но Альфонсъ поручаетъ Константину: разыскать, не оклеветанъ-ли Тассъ, ибо Константин опасается: не изъ ревности-ли Лукреція наговорила все это на Тасса? «Тутъ *что-то недоброе*» — прибавляетъ онъ. — Альфонсъ ужасно пугается и восклицаетъ:

О Боже! если я *опять* (?) обманутъ?
Клянусь не пощажу родной сестры!

Вводныя сцены глупаго надсмотрщика надъ домомъ сумасшедшихъ: онъ самъ кропаетъ стихи и подсмѣивается надъ несчастнымъ Тассомъ. Темница и видѣніе Тасса: ему является въ громѣ и молніи духъ его поэзіи. Джюліо уводитъ Тасса гулять. Сумасшедшіе. Между ними прокрался посланный отъ Константина, требующаго объясненій Тасса въ томъ, не оклеветанъ-ли онъ Лукреціею? Тассъ видитъ вѣроломство принцессы, и хочетъ послать къ другу своему полное опроверженіе клеветъ ея.

Актъ четвертый. Лукреція больна смертельно. Элеонора уговариваетъ ее каяться въ грѣхахъ. Константинъ уличаетъ ее въ клеветѣ на Тасса. Лукреція въ отчаяніи. Альфонсъ слышитъ ея признаніе; велитъ

скорѣе «*просить Тасса.*» Немедленно является Тассъ; Лукреція видитъ его и умираетъ въ страшномъ раскаяніи. Вводная сцена Джюліо Мости и его любовницы. Узнаемъ изъ разговора Элеоноры и Альфонса (ибо дѣйствіе немедленно переходитъ во дворецъ), что Альфонсъ рѣшился вознаградить Тасса за всѣ его страданія. Онъ проситъ сестру, вмѣстѣ съ нимъ, «изыскать къ тому средства.»

Альфонсъ.—Послушай!
Ты любишь-ли несчастнаго Торквата?
Элеон. Достоинъ ты взаимныхъ откровеній.
Такъ, я люблю, я горячо люблю!
Альф. Вотъ, какъ меня...
Элеон. Простите, ваша свѣтлость!
Альф. Нѣтъ, ничего, *извольте, продолжайте...*
Элеон. Я снова повторяю, что люблю ..
Альф. Я это слышалъ...
Элеон. Но не такъ, какъ должно.
Люблю его; онъ любитъ Леонору;
Но знаю я, что бракъ нашъ невозможенъ.
Альф. Сестра моя, герой мой Леонора!

Элеонора рѣшается утушить любовь свою къ Тассу разлукою, и немедленно ѣдетъ въ Римъ. — Приходитъ Тассъ, и проситъ Альфонса отпустить его также въ Римъ. Альфонсъ несогласенъ, но пока онъ хоронитъ тѣло Лукреціи, Тассъ, и вмѣстѣ съ нимъ Джюліо Мости, бѣгутъ изъ Феррары.

Актъ пятый. Римъ, Пантеонъ, толпа народа. Народъ оскорбленъ словами Тасса, ибо Тассъ говоритъ, смотря на Пантеонъ и сличая съ нимъ людей:

Малютки! жаль мнѣ васъ! Какая глупость
Написана на этихъ мѣлкихъ лицахъ,
Какъ всѣ черты изображаютъ ясно
То гордость, то корысть, то униженье...

Хотятъ бить Тасса. Джюліо сказываетъ его имя. Народъ приходитъ въ восторгъ, несетъ Тасса на рукахъ вѣнчать въ Капитоліи.—Комната Элеоноры. Нечаянно является къ ней Альфонсъ. Онъ подозрѣвалъ, что Элеонора уговорилась бѣжать вмѣстѣ съ Тассомъ, и за тѣмъ нарочно пріѣхалъ онъ въ Римъ. Громко разносится по Риму вѣсть, что Тасса вѣнчаютъ въ Капитоліи. Всѣ пріѣзжіе изъ Феррары спѣшатъ видѣть торжество своего поэта.—Капитолій. Народъ поетъ, славитъ Тасса. Но Тассъ едва живъ. Онъ вдругъ вдохновляется, читаетъ стихи, импровизируетъ и умираетъ въ ту минуту, когда Альфонсъ налагаетъ на него лавровый вѣнокъ. Элеонора плачетъ. Альфонсъ заключаетъ драму словами: «*Люди! на колѣни: кончается великій человѣкъ!*»

Извѣщая о сочиненіи Г-на Кукольника, мы сказали (Тел. 1833 г., № XVI, стр. 565), что это твореніе поэтическое, прекрасное *по идеѣ*, прекрасное *по стихамъ*, обѣщающее *много въ будущемъ*, какъ заря весенняго дня, какъ *первый*, *смѣлый шагъ* поэта съ душею сильною, стихами звучными, сердцемъ пламеннымъ.» Мы назвали драму г-на К. «твореніемъ *истинно изящнымъ*, пріятною нечаянностью среди прозы Русской Поэзіи.» Кажется: довольно сказано; даже не слишкомъ-ли много? Кто прочитаетъ сочиненіе г-на К., тотъ однакожъ согласится съ нами.

Но у насъ не можетъ хвалить умѣренно, и мы видѣли, послѣ нашего отзыва, рецензію въ *Библіотекѣ для чтенія*, гдѣ г-нъ Кукольникъ превознесенъ похвалами до небесъ, поставленъ наравнѣ съ Байрономъ. Въ заключеніе Рецензентъ восклицаетъ даже: *Великій Кукольникъ*! Видя въ той-же книжкѣ весьма холодный отзывъ о В. Гюго, мы невольно подумали, что подобныя рецензіи могутъ дать невѣрное понятіе публикѣ о поэтѣ, и поэту о самомъ себѣ. Посему, да, простятъ намъ и почтенный Рецензентъ *Библіотеки*, и г-нъ К., что мы, отдавая должное должному, въ тоже время искренно скажемъ мнѣніе наше о драмѣ нашего юнаго соотечественника.

Подтверждаемъ прежде всего прежнія слова наши: драма прекрасна *по идеѣ*—представить поэта въ противоположности съ міромъ и съ самимъ собою; драма прекрасна и по *стихамъ*. Не выписываемъ здѣсь множества превосходныхъ стиховъ, начиная съ предисловія до конца драмы. Въ высокомъ, въ забавномъ, въ разговорномъ тонѣ г-нъ К. является почти равно хорошъ. О недостаткахъ въ семъ отношеніи, скажемъ мы послѣ, но прочтите разговоръ Тасса съ Корнеліею, монологъ подлѣ Везувія, монологъ въ тюрьмѣ, монологъ подлѣ Пантеона, сцену сумасшедшихъ, сцену Джюліо Мости и Розины — прекрасно! Все это такъ, но разсматриваемое вообще, какъ *драма*, какъ *поэтическое созданіе* — сочиненіе г-на К. можетъ быть похвалено только какъ первый опытъ юноши, и отнюдь не болѣе. Въ цѣломъ, это созданіе слабое, но многомъ

изысканное, и въ немъ ни угаданы ни жизнь Тасса, ни сердце человѣческое. Сцены, характеры, переходы, блестящи, но натянуты, не естественны. Исторія безчеловѣчно пожертвована вымыслу, и ни тѣмъ не вознаграждено это пожертвованіе.

Съ трудомъ догадаетесь вообще о сущности характеровъ въ драмѣ г-на К. — Лучше всѣхъ является *Тассъ*, хотя онъ слишкомъ говорливъ. *Альфонсъ* изображенъ какимъ-то добрымъ отцомъ семейства, который въ отчаяніи отъ безпорядковъ, вокругъ него происходящихъ; вѣритъ на слово сестрѣ, и семь лѣтъ губитъ за это Тасса; потомъ разувѣряется въ одну минуту, едва не готовъ женить Тасса на Элеонорѣ; вдругъ потомъ пугается ихъ побѣга, бросаетъ все свое государство, бѣжитъ въ Римъ, и *театрально* объявляетъ Тасса *великимъ человѣкомъ*.

Характеръ Элеоноры совсѣмъ обезображенъ. Никакая дѣвушка не станетъ безпрерывно и такъ свободно говорить и твердить о любви своей къ мужчинѣ (развѣ только въ спальнѣ съ старою нянею, и то нашептывая ей: *я влюблена, я влюблена*); никакая не станетъ и любить и дѣйствовать такъ въ отношеніи своего любовника, какъ любитъ и дѣйствуетъ Элеонора. Не говоримъ уже, что Элеонора была *принцесса*, что Тассъ представленъ *дѣйствительно помѣшаннымъ* съ самаго начала пьесы.

Лукреція, какъ вѣтреная кокетка, слишкомъ рѣзка; какъ преступная женщина, слишкомъ сердечна и подвижна на добро. Другіе характеры во всѣ безцвѣтны,

кромѣ вводныхъ лицъ: *Джюліо Мости*, *Августина Мости*, *Розины*. Вотъ доказательство, что мимолетомъ обрисовать характеръ г-нъ К. умѣетъ, но онъ не умѣетъ еще создать основнаго, глубокаго характера, и выдержать его во все продолженіе своего созданія.

Изъ этихъ характеровъ, что-же выходитъ? Что-то безотчетное и неконечное.

Въ началѣ Альфонсъ такъ легко изгоняетъ и прощаетъ Тасса, и Тассъ такъ скоро сходитъ съ ума. Это вовсе не годится. Случайное убійство, въ припадкѣ сумасшествія, влечетъ поэта въ темницу. — Здѣсь драма совершенно разорвалась, и другая половина ея не вяжется съ первою. Надобно было Лукреціи оклеветать Тасса, чтобы Альфонсъ семь лѣтъ не прощалъ его. — Къ чему-же небывалое и ненужное убіеніе Гаскано? — Надобно было потомъ Лукреціи умирать, терзаться совѣстью, и Тасса тотчасъ оправдываютъ, прощаютъ, ласкаютъ! Къ чему-же введено все дѣйствіе въ домѣ сумасшедшихъ, когда оно ни сколько не служитъ къ развязкѣ? — Тассъ бѣжитъ въ Римъ немедленно. Но, едва Альфонсъ назвалъ Элеонору *вероломною*, вдругъ самъ скачетъ за нею, какъ за обманщицею, или какъ за неопытною дѣвушкою, покорною своей страсти. — Причина, по которой вѣнчаютъ Тасса, прекрасна, но такъ-ли бываетъ въ свѣтѣ и такъ-ли было съ Тассомъ? Прибавимъ: такъ-ли говорятъ придворные, такъ-ли умираютъ, какъ умираетъ Лукреція и какъ умираетъ Тассъ? Такъ-ли, наконецъ, покровительствуютъ герцоги поэтамъ? Такъ-ли смотритъ на поэтовъ народъ?

И чтобы натянуть, составить все это, г-нъ К. измѣнилъ всѣ историческіе характеры, уморилъ Лукрецію, оживилъ Элеонору, сжалъ въ короткое время множество лѣтъ, отбросилъ все происходившее до побѣга Тасса изъ Феррары въ 1571 году, отъ чего и не видимъ мы Тасса поэтомъ торжествующимъ, славнымъ: онъ съ перваго явленія считается полусумасшедшій, страдалецъ, жалкій остатокъ прежняго Тасса. И чѣмъ замѣнена жизнь его послѣ освобожденія? Сценою изъ мелодрамы!

Мы изложили жизнь Тасса, и спрашиваемъ: неуже-ли содержаніе драмы г-на К., эта завязка на славодушіи Альфонса, небываломъ убіеніи Гаскано, небывалой ненависти и клеветѣ Лукреціи, приторной любви Элеоноры, и неестественномъ восторгѣ народа, вѣнчающемъ Тасса — выше и болѣе содержитъ въ себѣ поэзіи, нежели дѣйствительность? Гордое покровительство и свирѣпость Альфонса; безумная страсть Тасса; холодное чувство Элеоноры; коварное мщеніе Герцога за безразсудство поэта; долголѣтнее скитальчество Тасса, когда уже нѣтъ въ мірѣ его незабвенной Элеоноры; вся картина развратнаго, варварскаго, несчастнаго вѣка Тассова; тщеславіе Папы, вѣнчающее поэта; смерть Тасса, предупредившая смѣшной и странный этотъ обрядъ, и самый Тассъ, поэтъ, пережившій свой геній — можно-ли все это сравнить съ говорливыми происшествіями, на коихъ основана драма г-на Кукольника!

Здѣсь можемъ мы вывесть урокъ для всякаго чело-

вѣка съ дарованіемъ, хотя-бы самымъ блестящимъ и обширнымъ: надобно глубоко изучать исторію, и страсти, и сердце человѣка, если хотимъ создавать великое и полное. Стихи и отдѣльныя искры дарованія подадутъ насъ мгновеннымъ наслажденіемъ читателей, и, можетъ быть, шумнымъ говоромъ современной толпы, ослѣпленной нашими искрами. Но *солнца слава*, но вѣковой твердости безсмертія Байроновъ и Шекспировъ здѣсь и начала нѣтъ!

Желали-бы мы, чтобы г-нъ К., не оскорбляясь правдивыми замѣчаніями нашими (ибо онъ можетъ видѣть все уваженіе наше къ его созданію), желали-бы мы, чтобы г-нъ К. вникнулъ во всѣ, что мы говоримъ, и увѣрился въ искренности словъ нашихъ. Надѣемся, что и тѣ, которые похвалами неумѣренными могли возгордить юное дарованіе поэта, увидятъ правду нашихъ словъ, и воздавая должное г-ну Кукольнику, не отдадутъ ему слѣпо того, что еще долженъ онъ купить трудомъ болѣе зрѣлымъ, болѣе совершеннымъ.

Г-нъ К. имѣетъ всѣ средства поэтическія: живое воображеніе, чувство добра въ сердцѣ, звучный стихъ, но здѣсь все оканчивается. Ему не достаетъ еще ни опыта, ни творчества. Впрочемъ, это обыкновенная участь юности дарованія. Юность дарованія г-на К. доказываетъ многое:

1-е. Умѣя прекрасно говорить, онъ иногда *заговаривается*; сотнею словъ высказываетъ одну идею, повторяется, и часто впадаетъ въ неестественную рѣчь. Какъ

странно, на-примѣръ, слышать, что Тассъ, передъ смертью, пророчествуетъ о Гете, о Державинѣ — *даже о самомъ г-нѣ Кукольникѣ* (и довольно нескромно пророчествуетъ)! Въ другихъ мѣстахъ находите цѣлые разсказы о любви, о славѣ, о жизни, составленные изъ общихъ мѣстъ. Иногда самовольно врывается въ рѣчи дѣйствующихъ лицъ эпиграфическій стихъ, что позволялось въ старину Классикамъ, и что въ наше время никуда не годится.

2-е. Кромѣ того, въ стихахъ г-на К. видите странную какую-то неровность: подлѣ прекраснаго стиха — прозаическій; подлѣ сильнаго — нѣсколько слабыхъ, вялыхъ. Вообще тѣ мѣста, гдѣ г-нъ К. впадаетъ въ лиризмъ, почти всѣ хороши, но разговоры иногда у него не выдержаны. Кромѣ того, поэтъ часто не слушается грамматики и синтаксиса. Бѣдные! Они, конечно, обязаны иногда молчать при восторгахъ поэзіи, но вовсе забывать ихъ не должно. Послѣ Пушкина, человѣку съ истиннымъ дарованіемъ совѣстно писать дурные стихи, подобные слѣдующимъ:

Подъ шубой весь и въ шапкѣ *соболевой* . . . .
Въ немъ громъ гремитъ въ словахъ *далекозвласныхъ* . . . .

3-е. Замѣтимъ, наконецъ, въ г-нѣ К. какую-то гордость, самоувѣренность, свойственную горячей юности. Прекрасно благородное сознаніе собственныхъ достоинствъ, но хвастливая самоувѣренность совсѣмъ не то. Не говоря уже, что Авторъ заставляетъ самого Тасса говорить ему похвалы, странно читать отзывъ о

Критикѣ (въ предисловіи), когда Авторъ ни чѣмъ еще не доказалъ права своего говорить такимъ образомъ (стр. IV), или увѣрять насъ, что онъ лучше другаго проникъ въ тайны Тассовой жизни, Тассова генія. Нашъ разворъ, кажется, доказываетъ совсѣмъ противное.

Заключимъ: *Торквато Тассъ* г-на Кукольника — «обѣщаетъ многое въ будущемъ (если и на этотъ разъ Фебъ не обманетъ насъ обѣщаніемъ поэта, какъ обманывалъ столь часто и столь безсовѣстно)», но сама по себѣ, эта *драматическая фантазія* есть только *надежда на что нибудь болѣе совершенное*: она несовершенна, какъ первый опытъ поэта съ дарованіемъ, но еще слишкомъ юнаго и неопытнаго. Не споримъ, что уже и это много; что и это должно радовать насъ въ бѣдной нашей литтературѣ; что и одинъ хорошій стихъ есть подарокъ драгоцѣнный: но не будемъ увлекаться ни пристрастіемъ, ни дѣтскою радостью. Вѣдь мы, по географическому раздѣленію, живемъ въ Европѣ. . . .

Русскіе классики. *Сочиненія князя Антіоха Дмитріевича Кантемира. Санктпетербургъ*, 1836, *съ портретомъ.*

Что здоровье для книги: то-ли, когда при ея появленіи, критики отдадутъ ей честь и почетъ, какъ проѣзжающему мимо караула генералу, сказавъ, что они «радуются» (техническій терминъ многихъ критиковъ) ея появленію, что «сія книга хороша и полезна», что они ей «предвѣщаютъ успѣхъ», и прочее, и потомъ замолчатъ? Или то, когда отдавши ей учтивый привѣтъ, прибавятъ, что имъ чего-то «очень *жаль*» (второй техническій терминъ), что они «весьма сожалѣютъ», и прочее? Мы не скажемъ ничего новаго, замѣтивъ, что слова: «радуемся» и «сожалѣемъ» составляютъ у насъ два великіе столпа критики. И должно признаться, что несмотря на свою шаткость, они суть весьма хорошія средства выпутаться изъ всякаго критическаго затрудненія. Ими такъ легко можно встрѣтить и проводить всякое литтературное предпріятіе. Тотъ, кому не далось ихъ искуство, принужденъ думать, размышлять отдѣлять доврую цѣль отъ образа исполненія, разсматривать, то и другое, взвѣшивать цѣль съ средствами, средства съ исполненіемъ, исполненіе съ пользою. Сколько работы! Правда, мы ставимъ сей родъ критики выше перваго, и полагаемъ, что только подобное обсуживаніе дѣла должно почесться доказательствомъ желанія добра предпріятію со стороны критика, потому, что оно приноситъ пользу несо-

мнѣнную, если только мнѣніе высказано совѣстливо. На такомъ основаніи хотимъ мы сказать здѣсь нѣсколько словъ о Русскихъ Классикахъ, издаваемыхъ — мы не хотимъ говорить въ прошедшемъ «издававшихся» — Графомъ Д. Толстымъ и г-ми Есиповымъ и Языковымъ.

Объ этомъ предпріятіи извѣстили мы въ свое время съ большими надеждами, и теперь не хотимъ сомнѣваться въ томъ, что Русскіе Классики будутъ продолжаться, хотя и не видимъ ихъ продолженія, и хотя, послѣ четырехъ тетрадей, вышедшихъ въ прошломъ году, слѣдующія донынѣ не появляются.

Планъ Издателей былъ обширный и прекрасный. Они обѣщали намъ напечатать, въ дешевомъ, но опрятномъ изданіи, всѣхъ старинныхъ Русскихъ писателей. Издатели исчисляли, какія именно сочиненія полагаютъ они издать — Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Богдановича, Хемницера, Фонъ-Визина, Кострова, Княжнина, Муравьева. «И другихъ», — говорили Издатели: кого именно? не знаемъ, но слѣдовали еще два обѣщанія: по изданіи всѣхъ упомянутыхъ писателей, Издатели намѣрены были представить «Историческій взглядъ на Русскую Словесность» а потомъ издать «Образцы Россійскаго Духовнаго Краснорѣчія» и «писателей, занимавшихся по части Русской Исторіи».

Будемъ-ли мы имѣть удовольствіе видѣть столь обширный планъ окончательно исполненнымъ? Въ началѣ предпріятія, мы удерживались отъ всякаго сомнѣнія. Но — первое препятствіе сколько надоб-

по выдать для сего томовъ? Конечно, Кантемиръ, Богдановичъ, Хемницеръ, фонъ-Визинъ неогромны; за то Сумароковъ и Херасковъ—Богъ съ ними—порядкомъ пописали въ свои годы, и судя по прежнимъ изданіямъ, одна эта пара писателей составила-бы не менѣе двадцати четырехъ томовъ. Неужели полныя собранія сочиненій обоихъ стариковъ рѣшились печатать Издатели Русскихъ Классиковъ? По крайней мѣрѣ, не было объявлено о выборѣ изъ ихъ трудовъ. Но главное: Издатели вообще темно объяснились объ основной идеѣ своего предпріятія.

Пропуская вновь подъ типографскими станками ветхіе листочки нашихъ старинныхъ библіотекъ, они могли имѣть въ предметѣ — или собраніе сочиненій Русскихъ писателей, любопытное въ историческомъ и библіографическомъ отношеніяхъ, или напечатаніе того, что они почитаютъ «образцами» въ Русской литтературѣ. Въ объявленіи находились слова, дававшія поводъ думать, что послѣднее было ихъ цѣлью. «Если мы доселѣ не имѣемъ новѣйшихъ изданій старинныхъ нашихъ писателей, слѣдуетъ-ли изъ того, чтобы эти писатели не были *оцѣнены надлежащимъ образомъ*, по крайней мѣрѣ, въ литтературномъ мірѣ? Наружное хладнокровіе *къ высокимъ дарованіямъ стараго времени* скорѣе можно отнести къ *недостатку предпріимчивости издателей*, нежели къ равнодушію просвѣщенной публики. Немного найдется охотниковъ начать изданіе *классическаго писателя*, *безсмертная слава котораго*, кажется, *сдѣлалась* исключительнымъ *достояніемъ литтературнаго міра*, безъ приложенія его къ обществу.»

Сіи слова, и общее заглавіе: Русскіе Классики, почти не оставляютъ сомнѣнія, что Издатели хотѣли напечатать «образцовыя произведенія Русской литтературы». Слово: Классикъ имѣетъ троякій смыслъ. Извѣстно, что у Древнихъ были civites classici, граждане, принадлежавшіе къ высшимъ классамъ общества, и въ особенности къ самому высшему, первому. Такое названіе соотвѣтствовало нынѣшнимъ: избранное общество, высшій кругъ, изящный свѣтъ. Отсюда произошли auctores classici, то есть, лучшіе, отборнѣйшіе, *первоклассные* писатели. Вотъ первое значеніе. Отборнѣйшіе, первоклассные, или «классическіе» писатели Греческіе и Латинскіе были въ эпоху возрожденія наукъ единственными авторами, сочиненія которыхъ изучались въ университетахъ и служили образцами новѣйшему искуству. Потому вошло въ обыкновеніе называть по превосходству Греческихъ и Латинскихъ писателей Классическими. Когда образовались новѣйшія литтературы, и обогатились превосходными твореніями въ различныхъ родахъ, исключительный смыслъ выраженія: Классическій писатель, получилъ болѣе обширное приложеніе: начали называть лучшія творенія, писанныя на разныхъ Европейскихъ языкахъ, также Классическими, то есть давая знать, что сіи творенія не уступаютъ своимъ совершенствомъ и своею важностью древнимъ сочиненіямъ Греческимъ и Латинскимъ. То было величайшею похвалою, какую только могли сказать книгѣ. И въ семъ третьемъ значеніи, слово Классикъ, примѣненное къ новѣйшему писателю, равнялось уподо-

бленію такого писателя Омиру, Виргилію, Пиндару, Горацію, Димосѳену, Цицерону, Софоклу, Ѳукидиду, Саллюстію. Данте, Тассъ, Кальдеронъ, Шекспиръ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, Гете, Юмъ, Гиббонъ и всѣ тѣ, кто въ своихъ сочиненіяхъ соединялъ *высочайшія умственныя достоинства съ высочайшимъ искуствомъ слова*, былъ новѣйшій Классикъ. Въ послѣднее время образовалось четвертое значеніе: въ противоположность нововводителямъ Романтизма стали называть Классиками тѣхъ, кто подражалъ въ формѣ Греческимъ и Латинскимъ писателямъ. Но четвертое значеніе невидетъ къ нашему дѣлу, потому, что Издатели Русскихъ Классиковъ навѣрно объ немъ и не думали.

Слѣдуетъ вопросъ: были-ли и остались-ли у насъ старинные писатели, въ томъ высокомъ смыслѣ слова Классикъ, въ какомъ оно принималось въ новѣйшихъ языкахъ?

Отвѣчаемъ рѣшительно — нѣтъ. Въ справедливости словъ нашихъ ссылаемся на общее рѣшеніе читающей и пишущей публики, и кажется, можно доказать это исторіею нашей литтературы и разборомъ каждаго изъ старинныхъ Русскихъ писателей. Названіе: Русскіе Классики, въ смыслѣ образцовъ, отличнѣйшихъ, первоклассныхъ писателей, не придавая даже ему значенія выше того, въ какомъ Древніе принимали названіе AUCTORES CLASSICI, будетъ существенною ошибкою. А въ новѣйшемъ, третьемъ значеніи, это страшный парадоксъ.

Отличимъ современную извѣстность отъ жизни

писателя въ потомствѣ. Что книга можетъ возбуждать сильное участіе въ современникахъ и умереть даже для близкаго потомства, быть читаемою наперерывъ сегодня и забытою завтра—дѣло безспорное. Дѣятельное перепечатываніе какой нибудь книги современниками ничего не доказываетъ. Но есть книги переходящія въ потомство, книги, которыя читаются и перепечатываются потомствомъ, хотя иногда современники не слишкомъ горячо ихъ принимали — также истина неоспоримая. Такое долговѣчіе принадлежитъ не однимъ только первоклассным геніямъ, но и второстепеннымъ писателямъ, если они имѣютъ свое самобытное, рѣзкое, историческое значеніе. На кого изъ современниковъ можно указать въ такомъ отношеніи, на-примѣръ, въ наше время? На весьма немногихъ — двухъ, трехъ, четырехъ... Но мы не потомство, и не станемъ называть никого, боясь попасть въ ложные предвѣщатели. А изъ старинныхъ? Кажется, на одного Державина. Всему остальному — мѣсто только въ исторіи и библіографіи, одному больше, другому меньше; чтеніе ихъ продолжится еще нѣсколько времени въ среднихъ званіяхъ литтературныхъ любителей, а потомъ книги ихъ должны составить только счетъ въ библіотекахъ; онѣ будутъ предметомъ любопытства ученыхъ изслѣдователей; ихъ станутъ отрывками перепечатывать въ разныхъ сборникахъ; онѣ составятъ въ каждомъ поколѣніи занятіе для трудолюбивыхъ юношей, которымъ надобно будетъ знакомиться ближе съ исторіею своего языка, съ исторіею отечественной литтературы—и только.

Мы смертельно боимся, что на насъ сильно разсердятся, можетъ быть, многіе, которые сами не читаютъ старинныхъ авторовъ, а всегда готовы вступиться за честь тѣхъ, кого они не читаютъ, боимся, что насъ обвинятъ въ холодности къ родному, въ невниманіи къ литтературной чести и славѣ предковъ. Но говоръ страстей, крикъ отношеній, возгласы личностей ничего не доказываютъ. Да, кажется, и сердиться тутъ не за что. Наши слова не осуждаютъ ни настоящей, ни будущей Россіи на безплодіе великихъ дарованій. Но кто требуетъ отъ прежней Россіи и прежнихъ писателей классическихъ твореній, тотъ требуетъ отъ младенца такихъ подвиговъ, которые можетъ исполнять только взрослый человѣкъ.

Обратимся къ доказательствамъ положительнымъ, и посмотримъ: нельзя-ли рѣшить дѣла по краткому очерку исторіи нашей литтературы?

Русская литтература до Петра Великаго, до составленія нынѣшняго Русскаго языка, до начала гражданскаго ученія и гражданской азбуки (азбуки, замѣтьте), была только приготовительнымъ дѣйствіемъ, а не настоящею Русскою литтературою. Въ этомъ, кажется, спору быть не можетъ. Даже исторія Русская-собственно начинается съ XV вѣка. Первоначальное соединеніе Славянъ съ Нордманнами, періодъ Русскаго феодализма, періодъ Русскихъ Крестовыхъ походовъ (борьбы съ Татарами) и возведеніе Москвы въ санъ главы всѣхъ отдѣльныхъ частей Руси, все это не было исторіею «государства Русскаго», которое, потомъ, упро-

чивъ политическую самобытность, начало принимать въ себя всѣ условія общественности извнѣ, и естественно должно было получить притомъ какія нибудь и литтературныя начала. Оно приняло ихъ въ прежнихъ духовныхъ сочиненіяхъ и переводахъ, и въ училищныхъ одахъ, комедіяхъ, сатирахъ, поэмахъ, пѣсняхъ и псальмахъ, которые породила Кіевско-Польская ученость духовныхъ заведеній Малороссійскихъ.

Комедіи представляли въ нашихъ духовныхъ училищахъ и во дворцѣ. Оды и кантаты подносили знатнымъ и пѣли передъ царями. Псальмы и пѣсни пошли въ народъ. Языкъ всего этого былъ *книжный*, варварскій, Польско-Русскій, которымъ народъ не говорилъ въ то время.

Петръ Великій хотѣлъ новаго книжнаго языка, для котораго составилъ азбуку. Опять появился *книжный* языкъ, уже второй, и основаніемъ ему послужилъ приказный или дѣловой, съ примѣсью части разговорнаго, множества новыхъ словъ для новыхъ идей и предметовъ, и щегольствомъ иностранными словами и фразами, болѣе всего Нѣмецкими. Начало литтературы новаго языка положили переводы гражданскихъ книгъ. Шафировъ написалъ едва ли не первую Русскую книгу на этомъ языкѣ.

Пока Россія двигалась по всѣмъ направленіямъ своего новаго бытія, почувствована была потребность и литтературнаго движенія. Тутъ рѣшался важный вопросъ о литтературномъ языкѣ. Языка прежней литте-

ратуры принять было невозможно. Русскіе, вмѣстѣ съ церковными буквами, отказались отъ него, предоставивъ его только духовному краснорѣчію. Взялись за языкъ новый, который начался съ Петра Великаго.

Но подъ какими формами могла проявиться тогдашняя литтература?

Не бывши слѣдствіемъ сильнаго внутренняго чувства необходимости выражать свои самобытныя идеи, но только занятіемъ, безъ котораго чего-то не доставало въ обществѣ, она опять принялась за то, что уже существовало въ прежней литтературѣ и было ей знакомо — за комедію, оду, сатиру, пѣсню.

Вмѣсто прежнихъ Кіевскихъ образцовъ, Русскіе узнали при новомъ образованіи своемъ Западные образцы, Французскіе, и отчасти Классическіе, во второмъ значеніи слова, то есть, Латинскіе и Греческіе, разумѣется потому, что другихъ въ цѣлой Европѣ тогда не знали. Но болѣе вникая во Французскіе образцы, какъ общедоступные, Русскіе свѣдали и переняли ложное понятіе о подражаніи Древнимъ, хотѣли изучать ихъ и подражать имъ, и въ томъ сошлись съ литтераторами и учеными прежней образованности, которые изучали Латинь и также хотѣли подражать Древнимъ.

Явился Ломоносовъ. Онъ вставилъ языкъ Русскій въ грамматическую рамку за риторическое стекло; написалъ оду, псаломъ, пѣсню, трагедію, поэму. Прежде него, Тредьяковскій также написалъ пѣсню, оду, поэму,

трагедію. Явился Кантемиръ и копировалъ сатиры Буало и Горація. Рядомъ съ ними и послѣ нихъ Сумароковъ писалъ басни, пѣсни, оды, и трагедіи съ комедіями, потому, что въ Петербургѣ построили театръ. Майковъ пѣлъ оды и писалъ трагедіи. Херасковъ творилъ трагедіи, потому, что другіе творили, и поэмы, потому, что надобны были поэмы для полноты литтературной. Петровъ принялся за оды ради поднесенія ихъ Меценатамъ, и за переводъ Энеиды, потому, что нельзя-же быть безъ перевода Энеиды. Княжнинъ вязался въ трагедіи и комедіи, потому, что надобно было что нибудь представлять на сценѣ. Между тѣмъ литтературныя занятія размножались; литтература давала иногда право на званіе грамотнаго человѣка и была полезна по службѣ; иногда составляла она пріятное междудѣлье для писателей и читателей, но болѣе для писателей — и литтература была, были—литтераторы — писали, печатали, спорили; современники провозглашали даже одного Расиномъ, другаго Лафонтеномъ, третьяго Омиромъ. Ученые люди работали по званію, а вышедшіе изъ училищъ по привычкѣ, и такъ далѣе. Мелькали иногда дарованія, которыя брались за перо по непроизвольному стремленію: сюда принадлежатъ: фонъ-Визинъ, съ своими двумя комедіями, Хемницеръ съ своими прелестными апологами, Богдановичъ съ своею Душенькою, и наконецъ Державинъ съ своимъ огромнымъ геніемъ. Но ни у того, ни у другаго, ни у третьяго, ни у четвертаго, литтература не была цѣлью жизни, и оставалась только мимоходнымъ занятіемъ, какъ у нашихъ художниковъ и уче-

ныхъ художества и науки были только занятіемъ ex officio. Изъ всей литтературы Русской, отъ Петра до нашихъ временъ, можно указать только на четырехъ достопамятныхъ людей, которые видѣли въ литтературѣ не *занятіе между прочимъ*: на Ломоносова, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина. И каждый изъ нихъ составлялъ эпоху, производилъ переворотъ въ языкѣ и литтературѣ. Между ними двигались подражатели, литтературные работники, литтераторы по обязанности, литтераторы мимоходомъ, которые начинаютъ свои предисловія — «Имѣя довольно досужнаго времени, остающагося отъ занятій по.....», и прочее. Ни языкъ, который требовалъ безпрерывныхъ трудовъ и быстро измѣнялся при каждомъ новомъ переходѣ, ни образцы иностранные, на которые всѣ бросались съ жадностью новичковъ, думая, что если умѣютъ подражать имъ, то могутъ уже творить (и творили!), ни смѣшанное, неровное, бродившее образованіе, ни даже общественный бытъ — ничто не способствовало къ проявленію Классическихъ твореній и писателей.

Два бываютъ состоянія, когда народъ, или страна, творятъ. Періодъ младенчества, когда геній народа создаетъ свою народную пѣсню, свои безотчетныя пѣснопѣнія, свои сказки: это время кончилось для Россіи до Петра Великаго. Но есть другой, высшій періодъ возраста для народа и страны, когда сознается національное и государственное достоинство, когда постигается народность, узнается свое мѣсто въ исторіи человѣчества и ума человѣческаго. Это время зрѣлости,

и оно развѣ только теперь начинается для насъ. Время между сими двумя эпохами посвящается переводамъ, подражанію тѣмъ, кто упредилъ своею образованностью. Никакое дарованіе не выйдетъ изъ уровня, какой налагаетъ это время, потому, что для созданія и развитія генія надобны не одни только дары природы, но другія обстоятельства, извѣстная степень общей образованности и національной самобытности. Такъ у насъ Ломоносовъ израсходовался на множество предметовъ, которые приходилось ему начинать и обработывать; такъ Державинъ не могъ развиться при несчастныхъ законахъ Классицизма, которые онъ почиталъ за нерушимые; такъ, въ наше время, Жуковскій и Пушкинъ не могли создать себѣ полной самобытности, увлеченные прелестью новыхъ направленій литтературныхъ, Германскаго и Байроновскаго. Хотите-ли знать, что могутъ дѣлать въ такіе періоды дорованія меньшей степени? Передъ вами, изъ прежнихъ, Богдановичъ, фонъ-Визинъ, Хемницеръ, и если угодно Костровъ, Мерзляковъ... Мы уже сказали, что о современникахъ говорить не станемъ.

Кажется, что изъ всего справедливо и безобидно должно заключить о невозможности Классическихъ писателей въ прежней Россіи. Такимъ образомъ весьма невѣрна мысль Издателей Русскихъ Классиковъ, будто не перепечатываютъ прежнихъ писателей нашихъ у насъ потому только, что не достаетъ предпріимчивости издателямъ, хотя прежніе писатели «оцѣнены надлежащимъ образомъ». Мы вовсе «не хладнокровны къ высокимъ дарованіямъ стараго времени», и не споримъ объ

ихъ «безсмертной славѣ, которая сдѣлалась достояніемъ литтературнаго міра». Нѣтъ, именно потому, что оцѣненные прежде слишкомъ высокою цѣною, старые писатели наши разсматриваются теперь съ истинной точки зрѣнія, именно по тому и не для чего ихъ печатать вновь, кто не хочетъ изъ пустаго усердія тратить деньги, безъ надежды принесть общую и существенную пользу. Замѣтьте, что тѣ писатели, которые, не будучи Классическими, показали однакожь дарованіе необыкновенное, печатаются у насъ и теперь, хоть они и не современники наши. Кто эти счастливцы? Фонъ-Визинъ, Богдановичъ, то есть, его Душенька, Хемницеръ. Спросите у книгопродавцевъ: для чего не печатаютъ они Ломоносова, Сумарокова, Княжнина? Они вамъ будутъ отвѣчать: «Не для чего—ихъ *не спрашиваютъ*»—то есть, ихъ не читаютъ. А что это значитъ? Безъ всякаго заговора со стороны читателей, прежнимъ писателямъ оставлено одно только историческое имя, между тѣмъ какъ прежде не ужасались печатать пяти томовъ Княжнина, четырнадцати Хераскова, десяти Сумарокова, и еще два раза. То было время Княжниныхъ, Херасковыхъ, Сумароковыхъ—оно прошло.

Самая остановка — мы все еще не говоримъ «совершенное прекращеніе»—предпринятаго теперь Изданія Русскихъ Классиковъ не отъ того-ли происходитъ, что Издатели убѣдились опытомъ въ невѣрности своей мысли, видя совершенное хладнокровіе публики къ нашимъ мнимымъ Классикамъ.

Обратимся къ Русскому Классику, которымъ началось изданіе — князю Кантемиру. Взглянемъ на

жизнь и сочиненія его, тѣмъ болѣе, что по какому-то странному недоразумѣнію, Кантемира до сихъ поръ, многіе, по крайней мѣрѣ, понимаютъ ложно, считая его Русскимъ, даже, какъ видимъ, Классическимъ писателемъ, и—что еще забавнѣе—поэтомъ. Бѣглый взглядъ на Кантемира, какъ человѣка и какъ писателя, представитъ въ частномъ выводѣ полное сходство съ общими нашими выводами.

Имя Кантемиръ (или *Канъ-темиръ*, что значитъ: кровь-желѣзо, или кровавое желѣзо) часто встрѣчается въ исторіи Татаръ, особенно Буджацкихъ. Предокъ князей Кантемировъ былъ какой-то Крымскій, или Буджацкій мурза, переселившійся въ Молдавію, гдѣ онъ принялъ крещеніе и сдѣлался знатнымъ бояриномъ. Дѣти его вступили въ родство съ Царяградскими Фанаріотами, Дуками и Кантакузинами, были нѣсколько разъ Молдавскими Господарями и драгоманами Порты, и отличались познаніями въ языкахъ и умѣньемъ ладить съ Турецкою политикою. Димитрій Кантемиръ, гордый, властолюбивый, хитрый, то заложникъ Султану въ вѣрности Молдавіи, то Господарь Молдавскій, получилъ наконецъ это званіе еще разъ въ 1710 году, и думалъ, что въ тогдашней войнѣ Петра Великаго противъ Турковъ найдетъ средство сдѣлаться постояннымъ властителемъ Молдавскимъ. Заключенъ былъ тайный договоръ; началась война; ея несчастныя слѣдствія извѣстны. Кантемиръ едва могъ спастись въ Русскомъ лагерѣ на берегахъ Прута. Турки требовали головы Кантемира, котораго скрыли отъ нихъ въ царской ка-

ретѣ. Первымъ условіемъ мира со стороны Порты была выдача несчастнаго князя, и первымъ словомъ Петра то, что онъ никогда не согласится купить спасенія погибелью человѣка, который ввѣрилъ ему судьбу свою. «Я далъ слово Кантемиру—онъ всѣмъ для меня пожертвовалъ, и я не измѣню моему слову: лучше уступлю Туркамъ землю до самаго Курска, потому, что могу имѣть надежду возвратить уступленное, но нарушить слово значитъ отступить отъ чести, а отступленіе отъ чести таково, что лучше не быть государемъ.» Кантемиръ выѣхалъ въ Россію, былъ осыпанъ милостями Петра Великаго, получилъ богатства, имѣнія, почести. Съ нимъ выѣхали все его семейство и двѣ тысячи Молдаванъ. Кантемиръ расположился жить въ своихъ помѣстьяхъ самовластнымъ господаремъ, судилъ и даже казнилъ своихъ подчиненныхъ. Петръ призвалъ его наконецъ въ Петербургъ, можетъ быть, не желая оставлять хитраго и гордаго Турко-Грека за глазами. Кантемиръ понялъ, чего отъ него требуютъ. Онъ переѣхалъ въ Петербургъ, женился въ другой разъ на молоденькой дочери князя Трубецкаго, оставилъ свое Молдаванское платье, обрилъ бороду, завелъ ассамблеи, и былъ пожалованъ въ тайные совѣтники и сенаторы. Сыновья его поступили въ службу: старшій, Константинъ, женился на дочери князя Дмитрія Михайловича Голицына. Кантемиръ отецъ отправился съ Петромъ въ Персидскій походъ, но заболѣлъ лихорадкою, едва успѣлъ доѣхать обратно до своего помѣстья, и умеръ тамъ въ 1723 году.

Недовольный однимъ изъ своихъ сыновей, Кантемиръ оставилъ завѣщаніе, которымъ просилъ Государя отдать все имѣніе «тому изъ дѣтей его, кто будетъ лучше и кому завлагоразсудятъ».

Князь Антіохъ Кантемиръ былъ младшій изъ четырехъ сыновей бывшаго Господаря, и родился въ Царьградѣ въ 1708 году. Въ Россію вывезли его на четвертомъ году. Онъ жилъ въ помѣстьяхъ отца, и въ 1719 году, когда отецъ его переѣхалъ незадолго передъ тѣмъ въ Петербургъ, Антіоха записали въ Преображенскій полкъ. Отецъ чуть не убилъ его, когда засталъ спящимъ на караулѣ во дворцѣ. Антіохъ сопровождалъ отца въ Персидскій походъ, и остался въ большой нуждѣ послѣ смерти его. Все имѣніе отцовское отдали, по связи брата его Константина съ Голицыными и Долгорукими, этому Константину Кантемиру. Антіохъ содержался кое-какъ жалованьемъ, и принужденъ былъ продолжать службу, несмотря на неохоту свою къ ней и весьма слабое здоровье.

Ученье, и особенно языки, были наслѣдственны въ родѣ Кантемировъ. Бывшій Господарь отлично зналъ Турецкій, Арабскій, Персидскій, Молдаванскій, древній и новый Греческіе, Латинскій, Итальянскій, церковный Славянскій и Французскій. Онъ написалъ нѣсколько историческихъ книгъ по-Латини и сочинялъ Турецкія пѣсни. У дѣтей его былъ наставникомъ ученый Грекъ Кондоиди, который потомъ сдѣлался епископомъ Вологодскимъ, и написалъ «Панегирикъ ордену Святаго Апостола Андрея Первозваннаго». Братъ

Антіоха, Константинъ, десяти лѣтъ отъ роду, говорилъ Греческую проповѣдь въ присутствіи Петра Великаго. Антіохъ познакомился дома съ Латинскимъ и другими языками, хорошо узналъ Церковный и Русскій. Стѣсненный обстоятельствами, онъ находилъ услажденіе въ наукахъ, читалъ, переводилъ, посѣщалъ лекціи Академіи Наукъ, которая тогда открылась. Забытый своими, хотя въ 1728 году пожалованный въ поручики, онъ вздумалъ даже писать Русскіе стихи, и едва-ли не досада была первымъ его вдохновеніемъ. Можетъ быть, надъ нимъ подсмѣивались, какъ надъ «ученымъ». Сильными тогдашними людьми были враги нововведеній, Нѣмцовъ и Латини. Князь Димитрій Голицынъ, тесть брата Антіохова, говорилъ это открыто. Меньшиковъ и преемники его, Долгорукіе, не славились уваженіемъ къ наукамъ. За то составилась особенная ученая партія, гдѣ были Ѳеофанъ Прокоповичъ, князь Трубецкой, отецъ мачихи Антіоховой, принцъ Гессенъ-Гомбургскій Людовикъ, который женился на ней въ послѣдствіи, старикъ князь Черкасскій, обладатель восьмидесяти тысячь душь, и другіе. Естественно, здѣсь ласкали ученыхъ и покровительствовали ученье, хоть для противоположности другимъ. Трубецкой прожилъ въ Шведскомъ плѣну, послѣ Нарвской битвы, восмнадцать лѣтъ, а племянникъ его былъ искренній другъ Антіоха. Молодаго стихотворца приняли въ это общество, и самъ Ѳеофанъ не сердился на безпрестанныя насмѣшки его надъ духовными старыхъ временъ, даже написалъ въ похвалу ему плохіе стихи, прочитавши его первую сатиру. Антіохъ посвятилъ Ѳеофану вторую свою

сатиру, какъ одну посвятилъ другу своему Трубецкому. Но вскорѣ положеніе дѣлъ измѣнилось. Партія временщиковъ хотѣла поддержать себя и укрѣпиться послѣ смерти Петра II-го. Затѣяли вредную государственную перемѣну, и вознамѣрились передать тронъ Аннѣ Іоанновнѣ съ нарушеніемъ самодержавія. Ѳеофанъ и друзья его работали противъ этого тайно, но усердно. Антіохъ былъ съ ними; онъ писалъ то знаменитое воззваніе къ Императрицѣ, которымъ просили ее возстановить въ Россіи самодержавіе. Долгорукіе и друзья ихъ погибли. Покровители Антіоха получили милости и почести, но онъ вскорѣ увидѣлъ, что ему нельзя ничего надѣяться. Услуги его награждены были тысячью душъ, пожалованныхъ ему вмѣстѣ съ двумя братьями и сестрою, а объ отцовскомъ наслѣдствѣ позволили имъ вести тяжбу съ братомъ Константиномъ. Биронъ уморилъ потомъ въ Шлиссельбургской крѣпости тестя Константинова, князя Голицына, за несправедливое истолкованіе духовной бывшаго Господаря, но Антіоху все таки ничего не отдали. Вскорѣ Биронъ овладѣлъ всею властью. Антіохъ видѣлъ смуту и ненадежность дворскихъ партій и интригъ, и почелъ за лучшее удалиться изъ Россіи. Онъ просилъ почетнаго и спокойнаго мѣсто резидента въ Англіи и получилъ его. Здѣсь прожилъ онъ семь лѣтъ, тихо, уклоняясь отъ всякихъ искательствъ и сплетней. Слабое здоровье и ограниченное состояніе не дозволяло ему искать большихъ разсѣяній. Въ тишинѣ кабинета, Антіохъ занимался чтеніемъ, науками, переводомъ Горацієвыхъ посланій, Корнелія Непота, Анакреона, Юстина. Въ 1730 году былъ уже напечатанъ его пе-

реводъ блестящаго «во дни оны» сочиненія, Фонтенелевыхъ Разговоровъ о множествѣ міровъ. Антіохъ перевелъ потомъ и другую книгу, которая сводила съ ума его современниковъ — Персидскія Письма, Монтескье. Между тѣмъ здоровье его безпрестанно разстроивалось и досады не прерывались — у него былъ подозрительный и сильный врагъ, Остерманъ, который боялся ученаго скромника. Антіоху не давали ни чиновъ, ни наградъ, и онъ все еще оставался поручикомъ гвардіи, хотя съ 1733 года, «въ награду радѣтельныхъ поступковъ и во уваженіе знатнаго рода», назвали его министромъ. Онъ просилъ отпуска, хотѣлъ ѣхать въ Италію, и вдругъ получилъ затруднительное мѣсто министра при Версальскомъ Дворѣ. Остерманъ надѣялся запутать и погубить его ничтожными сплетнями. Съ чиномъ каммергера, Антіохъ переселился въ Парижъ въ 1738 году, и вскорѣ открылъ непріятность своего положенія. Онъ находился между двумя хитрецами, Флери и Остерманомъ, принужденъ былъ съ самаго начала всячески увертываться въ пустомъ спорѣ о церемоніялѣ; потомъ въ спорѣ о задержаніи Француза Кутюрье, спутника Шведскому курьеру, убитому въ Польшѣ по волѣ Бирона; далѣе завязался споръ объ Императорскомъ титулѣ. Получивъ донесеніе, гдѣ Антіохъ описывалъ характеръ Флери, Остерманъ думалъ, что сатирикъ списалъ портретъ съ него самого; онъ еще болѣе разсердился, когда Флери написалъ къ нему, что «князь Кантемиръ, конечно, все выполнитъ съ успѣхомъ, если будетъ руководствоваться наставленіями столь великаго министра, какъ Остерманъ». Безпрерыв-

но получая упреки и выговоры, Антіохъ рѣшился просить отставки, когда получилъ неожиданное извѣстіе о кончинѣ Императрицы Анны и регентствѣ Бирона. Онъ предвидѣлъ непрочность новаго управленія, и послалъ первое донесеніе свое не прямо къ Регенту, но къ одному изъ друзей своихъ, прося доставить по адресу, «если духовная покойной Государыни останется во всей силѣ, а въ противномъ случаѣ предать огню». Предчувствіе умнаго дипломата оправдалось: когда получили его бумагу въ Петербургѣ, Биронъ былъ уже въ тюрьмѣ. Здѣсь неслыханное счастіе улыбнулось Антіоху: партія покровителей его вошла въ силу при правительницѣ Аннѣ; князь Черкасскій пожалованъ былъ канцлеромъ. Но при всемъ томъ Остерманъ оставался въ должности, хитрилъ, притворялся; его трепетали, и глаза друзей и покровителей обратились на Антіоха. Въ немъ видѣли они умнаго и ловкаго политика, достойнаго соперника Остерману. Старикъ Черкасскій вдругъ выпросилъ ему чинъ тайнаго совѣтника, и предложилъ ему руку дочери, красавицы и единственной наслѣдницы огромнаго имѣнія, а Правительница назначила Антіоха гофмейстеромъ къ тогдашнему Императору Іоанну Антоновичу. Какъ изумились всѣ, когда Антіохъ отъ всего отказался! Дочь Черкасскаго вышла потомъ за Шереметева, и ея приданое сдѣлало Шереметевыхъ первыми богачами въ Россіи. Но легко понять причины, которыя заставили Антіоха поступить такимъ образомъ. Еще разъ онъ не ошибся, и не попалъ, ни въ немилость съ Черкасскимъ, ни въ Сибирь съ Остерманомъ. Неужели онъ не зналъ, что дѣлалъ

тогда Шетарди въ Петербургъ? Не можетъ быть! Но, по крайней мѣрѣ, новые правители государства осыпали его ласками, а Елисавета милостиво приняла списокъ сатиръ его, съ посвященіемъ, гдѣ Антіохъ увѣрялъ, что «Олимпъ опустѣлъ, и всѣ боги и богини ушли служить ей, а Киприда плачетъ отъ зависти, видя себя оставленною тремя благодатями». Антіохъ желалъ только спокойствія, при здоровьѣ совершенно разстроенномъ, особенно когда увидѣлъ, что власть перешла къ Бестужеву. Онъ, просилъ себѣ мѣста президента Академіи и не получилъ; просилъ отпуска въ Италію и не дождался его. Антіохъ умеръ въ Парижѣ, въ началѣ 1744 года, искренно оплакиваемый всѣми, кто зналъ его, потому, что несмотря на всегдашнюю задумчивость и страданія отъ болѣзней, онъ былъ весьма любезенъ въ обществѣ, остроуменъ, шутливъ, и имѣлъ обширныя свѣдѣнія, при большомъ чтеніи и проницательномъ умѣ. Монтескье и Мопертюи были его друзьями.—Кромѣ перевода Фонтенелевой книги, напечатаннаго, какъ мы уже упомянули, въ 1730 году, онъ ничего болѣе не печаталъ при жизни своей. Сатиры его изданы были уже въ 1762 году; тогда-же вновь напечатали и его переводъ Фонтенелева сочиненія. Въ 1744 году изданъ былъ Кантемировъ переводъ Посланій Горація. Не говоримъ о Симфоніи на Псалтирь, которую онъ писалъ подъ руководствомъ учителя своего Ильинскаго и напечаталъ еще въ 1727 году. Ильинскій самъ сочинилъ Симфоніи на Евангеліе и Дѣянія Апостольскія. Ему-же обязаны мы ужаснымъ переводомъ книги, сочиненной отцомъ Антіоха, Системы Мухаммеданскія

Религiи, изданной въ 1722 году. Тѣло князя Антiоха Кантемира было, по завѣщанiю его, перевезено въ Москву и погребено подлѣ отца и матери въ Греческомъ монастырѣ, на Никольской, тамъ, гдѣ похороненъ и славный Симеонъ Полоцкiй.

Спрашиваемъ: жизнь Кантемира, безпристрастно разсмотрѣнная, не доказываетъ-ли, что ни по времени, когда онъ жилъ, ни по обстоятельствамъ, въ которыхъ находился, ни по свойству ума и характера, онъ не могъ быть литтераторомъ, писателемъ, и еще менѣе поэтомъ? Образованный Фанарiотъ, иностранецъ знатнаго рода, видѣвшiй въ ограниченномъ состоянiи, слабомъ здоровьи и смутныхъ тогдашнихъ обстоятельствахъ Россiи препятствiя сдѣлаться значительнымъ политическимъ дѣйствователемъ, онъ благоразумно уклонился отъ ослѣпленiй честолюбiя. Въ тишинѣ кабинета, съ дѣтства привыкши къ ученью и наукѣ, онъ находилъ въ литтературныхъ занятiяхъ услажденiе. Но ни науки, ни словесность не были у него тѣмъ непреодолимымъ стремленiемъ, которое увлекаетъ за собою всю жизнь и всего человѣка. Онъ переводилъ легкiя сочиненiя Фонтенеля, Монтескье, Альгаротти; Горацiй былъ его любимецъ, какъ поэтъ и философъ; переводы Юстина, Корнелiя Непота, Эпиктетовыхъ апофѳегмъ, кажется, должно почесть только опытами въ переводахъ съ Латинскаго, какъ Симфонiи на Псалтирь опытомъ первоначальныхъ упражненiй въ Русскомъ языкѣ.

Но Кантемиръ писалъ Русскіе стихи. Если-бы въ душѣ его не горѣлъ пламень истинной поэзіи, къ чему писать Русскіе стихи и прилагать трудъ къ такому тяжкому дѣлу?

Признаемся, что мы тутъ вовсе не видимъ поэтическаго пламени. Кантемиръ такъ писалъ Русскіе стихи, какъ переводилъ книгу отца своего на Италіянскій языкъ. Не заботясь о трудѣ надъ языкомъ Русскимъ, онъ принялъ формы, выраженія, стопосложеніе, какія употребляли Ѳеофанъ, Буслаевъ, Максимовичъ, Ильинскій и другіе *писатели стиховъ* того времени. Повторимъ: досада, вѣроятно, была первымъ его вдохновеніемъ. Буало считался тогда полубогомъ въ поэзіи. Сатира была моднымъ родомъ стихотворѣній. Что такое были сатиры Кантемира? Не громкій и звучный голосъ сильной души, негодующей на порокъ своего вѣка, но мѣлкая насмѣшка надъ смѣшнымъ, надъ общими маленькими слабостями, странностями и недостатками свѣта. И все это было составлено изъ мыслей Горація, Буало, Лукіана, Ювенала, Персія, Реньe, Попа, и не только изъ мыслей, но часто изъ голословнаго перевода Латинскихъ и Французскихъ стиховъ. Читая Кантемировы сатиры, вѣрите словамъ его:

Не пощадилъ, боязливъ я, своей работы,
Листъ написавъ, два иль три изодралъ, исхерилъ.

Вы видите мозаику, составленную на досугѣ умнымъ человѣкомъ; находите остроуміе, ѣдкость, насмѣшку, но—чужія. Если отмѣтить у Кантемира все, что не

принадлежитъ ему, у него почти ничего не останется. Онъ самъ шутливо сознавался въ этомъ:

Зависть васъ пошевеля, найдетъ, что я новыхъ
И древнихъ окралъ творцовъ, и что вру по Русски,
То, что по Римски давно ужь и по Французски
Сказано красивѣе. Не чудно съ готовыхъ
Стиховъ, чаетъ, здраваго согласно съ закономъ
Смысла, мѣрно двѣ строки кончить тѣмъ-же звономъ.

Но какъ-же мы находимъ у Кантемира Русскій колоритъ, Русскіе нравы, Русскія повѣрья?— Да гдѣ-жь вы ихъ находите? — Принявъ систему Французовъ, которые передѣлывали Древнихъ на Французскіе нравы, Кантемиръ перенесъ эту систему въ Русскій переводъ, или, лучше сказать, въ Русскую передѣлку. Эти нравы, этотъ колоритъ годятся ко всѣмъ странамъ въ мірѣ, и точно такъ потомъ писали Русскія Драмы Княжнинъ и Озеровъ. Фигаро и Арнольфъ дѣлались Сбитенщикомъ и Волдыревымъ, Герміона Рогнедою, Владиміръ Орестомъ; Димитрій Донской выкраивался по Танкреду, а въ Эдипа въ Аѳинахъ переходили цѣликомъ явленія изъ Дюсисова Эдипа Колонейскаго.

Перестанемъ-же говорить о поэтическомъ достоинствѣ и Руссизмѣ Кантемировыхъ сатиръ. Какъ поэтическія созданія, какъ самобытныя Русскія произведенія, сатиры Кантемира не имѣютъ никакого права на наше вниманіе.

Онѣ могли показаться новостью въ свое время; онѣ были смѣлою попыткою перевода Буало и Горація; въ этомъ отдадимъ имъ справедливость. Но когда Ломоносовъ преобразовалъ языкъ, Кантемиръ, съ тяжелымъ, неловкимъ языкомъ своимъ, и съ силлабическимъ размѣромъ потерялъ читателей. Отцы наши знали наизусть Сумарокова и Ломоносова, но уже не читали Кантемира. Страннымъ образомъ возстановилась его извѣстность въ первомъ десятилѣтіи нашего вѣка. В.А. Жуковскому вздумалось расхвалить Кантемира въ Вѣстникѣ Европы 1810 года. Статья, названная Критическимъ разборомъ, состояла только изъ выписокъ, съ прибавкою похвалъ. И вотъ Кантемиръ, по голосу В. А. Жуковскаго, причисленъ къ лику Русскихъ поэтовъ. Принимались его читать — не могли, — и приписали вину себѣ, а не Кантемиру. Еще болѣе увѣдились въ томъ, когда Батюшковъ написалъ прелестную, умную пьеску: Вечеръ у Кантемира. Но съ тѣхъ поръ прошло болѣе двадцати пяти лѣтъ. Двадцать пять лѣтъ опыта! Это великое дѣло, и хоть что нибудь, да значатъ, особливо, когда въ это время перевернулись всѣ наши теоріи и всѣ понятія о Русской литтературѣ и всякихъ литтературахъ.

Намъ теперь столь-же кажется страннымъ почитать Кантемира самобытнымъ сатирикомъ, даже искать въ его стихахъ Русскаго языка — не говоримъ уже искать образцовъ языка — какъ называть Княжнина Русскимъ комикомъ, а Озерова Русскимъ трагикомъ. Отдадимъ имъ хвалу за подвиги, важные въ

своё время, за услугу Русскому языку и Русской словесности. Нельзя также отказать въ признательности, напримѣръ, Мерзлякову, за его умные и смѣлые разборы Россіяды и трагедій Сумарокова, хотя основанные на ложной теоріи. Но для насъ эти писатели теперь не годятся, хотя историческое мѣсто ихъ безспорно.

Неужели нынѣшнія наши понятія показываютъ «духъ охлажденія, духъ сомнѣнія,» которыхъ кому-то вздумалось недавно трепетать при появленіи Русскихъ Классиковъ, а еще болѣе «безчувствіе наше къ родному, къ прошедшему нашего славнаго отечества?» Избави Богъ и думать! Напротивъ, это вѣрное ручательство за любовь къ истинѣ, за болѣе просвѣщенныя понятія наши, за настоящее и будущее наше въ литтературѣ. Чѣмъ труднѣе, тѣмъ славнѣе. И вѣрьте, что наше нынѣшнее мнѣніе о прежнихъ отечественныхъ писателяхъ не только безпристрастнѣе, но даже выгоднѣе для ихъ достоинства, нежели старинные, бывалые возгласы о нашихъ Омирахъ-Херасковыхъ, Ювеналахъ-Кантемирахъ, Расинахъ-Сумароковыхъ, Лагарпахъ-Мерзляковыхъ, Пиндарахъ-Ломоносовыхъ — дѣтское и безотчетное удивленіе, которое ободряло посредственность и останавливало успѣхи истиннаго просвѣщенія и образованности!

Поспѣшимъ къ заключенію. Если почтенные Издатели Русскихъ Классиковъ думали представить удивленію нашему образцы, возобновляя Кантемира, они должны были напередъ предвидѣть послѣдствія.

Но мы сказали, намѣкая на предполагаемое прекращеніе изданія Русскихъ Классиковъ, что никогда еще не представлялось критикѣ болѣе прекраснаго случая произнесть громогласное: *очень жаль*! Мы сказали также, что въ изданіи Русскихъ Классиковъ была своя относительная польза. Конечно, была польза, и вотъ въ какомъ отношеніи:

Вопервыхъ, всякая дѣятельность полезнѣе бездѣйствія. Во вторыхъ, старинныхъ писателей стали-бы читать понемногу, изъ любопытства, въ новомъ и красивомъ изданіи, тогда, какъ старыя, пыльныя и неуклюжія изданія, даже у многихъ любопытныхъ, отбиваютъ охоту заглядывать въ нихъ, а отъ того изъ поколѣнія въ поколѣніе переходятъ на слово объ этихъ писателяхъ понятія ложныя и несправедливыя. Въ третьихъ, нѣкоторыя изъ старыхъ книгъ сдѣлались нынѣ весьма рѣдки, и кому надобно имѣть ихъ, тотъ долженъ платить очень дорого. Въ четвертыхъ, ни одинъ почти изъ старыхъ писателей у насъ не разобранъ, не оцѣненъ вполнѣ, критически, безпристрастно. Прежде все хвалили; теперь не хвалятъ, но и не говорятъ ничего, а этого недостаточно. Большую услугу оказали-бы Издатели Русскихъ Классиковъ, если выдали намъ подробные и дѣльные разборы каждаго изъ прежнихъ писателей. Но въ такомъ случаѣ, разборы сіи не должны походить на статью: О жизни и трудахъ князя А. Д. Кантемира: это подрядъ на поставку всякихъ хваленій Кантемиру, а не біографія, и не разборъ его достоинствъ, какъ слѣдовало.

Слѣдственно—много относительной пользы могло-бы принесть изданіе, такъ называемыхъ, Русскихъ Классиковъ, которому, въ заключеніе, желаемъ всякихъ успѣховъ.

Басни Ивана Хемницера. *Въ трехъ книгахъ. Москва*, 1837. *Съ портретомъ автора.*

Занимательно, а иногда и очень полезно, разбирать старое, когда оно обновляется посредствомъ изданій, и особливо разсматривать предметы, которые многимъ казались уже давно рѣшенными, и о которыхъ, какъ полагаютъ, нельзя сказать ничего новаго. Но давно уже одинъ философъ написалъ: «Нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ,» а другой къ тому прибавилъ слова — «кромѣ того, что было забыто». Какъ угодно положите, что родъ человѣческій совершаетъ свое теченіе спиралью, безконечнымъ винтомъ, или, что бытіе каждаго народа образуетъ полное кольцо, изъ чего составляется цѣпь всемірной исторіи, но тождество, каждый разъ въ новомъ видѣ, есть великій законъ нашей природы. Исторія народовъ есть только разнообразное проявленіе одинакихъ явленій. Ничего нѣтъ забавнѣе теоретиковъ, которые сводятъ умствованіе человѣческое въ чернилицу какого нибудь Шеллинга или Гегеля, находя хаосъ человѣчества на Востокѣ, младенчество въ Греціи, юность въ Римѣ, лѣта буйныхъ страстей въ Среднихъ Вѣкахъ и умную старость въ нынѣшней Европѣ, которой головою полагаютъ Германію. Напротивъ, все повторяется на свѣтѣ. Слѣдовательно, разборъ стараго урокъ новому. Но и это предисловіе не нужно для оправданія намѣренія нашего разсмотрѣть жизнь и сочиненія Хемницера.

Критическій взглядъ на прошедшее въ Русской словесности имѣетъ для насъ особенный интересъ. Любопытно слѣдить шаги, взвѣшивать усилія, нерецѣнивать, относительно къ своему времени, прежніе подвиги такой словесности, которая давно уже начинается, но еще не установила своихъ законовъ, не воздвигла себѣ непоколебимыхъ памятниковъ, и даже не узнала всѣхъ основныхъ стихій, изъ которыхъ она будетъ составлена. Такова наша Словесность. Здѣсь каждый новый взглядъ, каждая новая критическая работа можетъ быть заслугою. Если не станемъ перебирать прежняго, какимъ-же образомъ выведемъ положенія для настоящаго? какъ узнаемъ мѣру этого настоящаго и гдѣ найдемъ точки сравненія при опредѣленіи нашихъ успѣховъ? Конечно, наши предшественники судили, рѣшали, распредѣляли славы, жаловали въ безсмертіе, осуждали и обрекали забвенію. Но предшественники были люди; у нихъ были страсти и личныя отношенія къ людямъ, которыхъ они миловали или карали. Сіи страсти, сіи личныя отношенія для насъ уже не существуютъ, и чѣмъ болѣе мы отъ нихъ удаляемся въ порядкѣ времени, тѣмъ основательнѣе можемъ надѣяться, что становимся безпристрастнѣе, не только первыхъ судей, но и послѣдовавшихъ заними перецѣнщиковъ, можемъ видѣть предметы нѣсколько лучше ихъ и опредѣлять мѣру вѣрнѣе. Во всякомъ случаѣ, пусть только мнѣнія наши будутъ скромны, добросовѣстны, основаны на той логикѣ, которая намъ кажется ближайшею къ здравому сужденію; въ нихъ всегда найдется участокъ пользы, а всѣ общія пользы состоятъ изъ участковъ.

Дѣло, говорятъ, извѣстное: Хемницеръ писалъ басни. Сумароковъ началъ ихъ у насъ писать и писалъ плохо. Дмитріевъ сталъ писать хорошо, и ввелъ ихъ въ свѣтское общество—именно такое выраженіе мы гдѣ-то читали—а Крыловъ довелъ ихъ наконецъ до совершенства. Всѣ другіе, кто ни писалъ у насъ басни, кромѣ Крылова и Дмитріева, далеко не сравнились съ ними.

Хорошо, но и Хемницеръ писалъ басни: куда же надобно намъ отнести Хемницера, который явился между Сумароковымъ и Дмитріевымъ? Должно-ли его уничтожить наряду съ Сумароковымъ, о которомъ и спора нѣтъ, что онъ былъ плохой баснописецъ, или отнести его къ разряду тѣхъ, которые имѣли въ свое время относительное достоинство, но теперь справедливо забыты послѣ блестящихъ заслугъ Дмитріева и Крылова?

А если мы скажемъ, что Хемницеръ, къ стыду нашему, не оцѣненъ донынѣ надлежащимъ образомъ; что это былъ проблескъ дарованія необыкновеннаго, которое, къ несчастію, не успѣло развиться вполнѣ; что Хемницера, по таланту, должно поставить рядомъ съ Дмитріевымъ и Крыловымъ, и причислить къ разряду немногихъ, прекрасныхъ и утѣшительныхъ явленій въ нашей словесности? Многіе, вѣроятно, удивятся такому дерзновенію. Но мы, дѣйствительно, такого мнѣнія, при всемъ должномъ и глубокомъ уваженіи къ произведеніямъ двухъ нашихъ знаменитыхъ баснописцевъ. Здѣсь должно предварительно войдти въ нѣкоторыя общія подробности о теоріи басни.

Апологъ, вообще, и раздѣляя его на басню и сказку, выражается буквально нашимъ словомъ: «иносказаніе». Это небольшое произведеніе воображенія, маленькая поэма, гдѣ внутренній смыслъ различенъ съ тѣмъ, который представляетъ наружность. Въ сказкѣ, апологъ—повѣствованіе о какомъ нибудь вымышленномъ происшествіи, маленькая фантастическая драма, гдѣ дѣйствующія лица люди. Но въ баснѣ апологъ идетъ далѣе: его драма разыгрывается актерами, взятыми изъ всей природы, въ томъ числѣ и человѣкомъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы всѣ чувствовали, дѣйствовали, говорили и разсуждали, какъ человѣкъ, и наряду съ нимъ, не выходя, если они скоты, изъ своего званія.

Было повѣрье, когда всѣ утверждали, что трагедія происходитъ отъ козла, будто какой-то мудрый невольникъ изобрѣлъ апологъ для поученія своего господина. На этомъ основаніи апологу было предписано «поучать людей», говоря имъ иносказательно истины, которыхъ они не выслушали-бы не разсердившись, если-бы сказать эти истины прямо. Прежде всему назначалась своя неуклонная должность. Апологъ также имѣлъ свои неизмѣнныя правила, для характеровъ дѣйствующихъ лицъ, для разсказа, для способа «выводить нравоученіе». О происхожденіи его отъ мудраго невольника никто не смѣлъ спорить, и черезъ цѣлую династію мудрыхъ невольниковъ проходила его исторія. Локманъ и Езопъ были его родоначальники.

Въ наше время люди сдѣлались прихотливѣе, или своевольнѣе, перестали вѣрить прежнимъ неизмѣннымъ

границамъ каждаго рода произведеній воображенія, и поставили между баснями начало басни и ея прежнія правила.

Что-же такое апологъ, по нынѣшнимъ понятіямъ?

Особенный родъ произведеній словесности, не положительныхъ, а отрицательныхъ. Такое раздѣленіе словесности, по мнѣнію нашему, необходимо. Прямая, чистая поэзія есть та, гдѣ собственно нѣтъ ни какой цѣли, кромѣ проявленія произвольной идеи, кромѣ созданія чего нибудь прекраснаго: это ода, драма, эпопея. Разумѣется, и тутъ есть родъ цѣли, или, правильнѣе, намѣреніе. Изображая великое событіе, выводя сильный характеръ, осуществляя музыкою слова отдѣльную идею, поэтъ «поучаетъ» людей, но поучаетъ, какъ судьба, какъ природа, не принимая на себя званія учителя и наставника. Не такова отрицательная поэзія, которую можно назвать вообще дидактическою. Здѣсь у поэта есть уже опредѣленная цѣль, и сюда относятся дидактическая поэма, сатира и апологъ. Здѣсь вдохновеніе не свободно; уроки въ полезномъ, порывы добродѣтельнаго гнѣва, совѣты посредствомъ иносказаній, бываютъ музами поэтовъ.

Не невольникъ и не Востокъ изобрѣли апологъ. Пора бросить это невѣрное слово: «изобрѣлъ». Никто и ничего вдругъ не изобрѣтаетъ. Мысль каждаго предмета таится и проявляется въ разныхъ видахъ задолго до того, кому даютъ имя его изобрѣтателя. Такъ и апологъ изобрѣтенъ вообще человѣкомъ и изобрѣтенъ вездѣ. У самыхъ грубыхъ дикарей находимъ начала

аполога, и неоспоримо, что чѣмъ грубѣе и необразованнѣе языкъ, тѣмъ болѣе въ немъ метафоръ, аллегорій, иносказаній. Что мы говоримъ нынѣ положительною и самою опредѣленною прозою, то высказывалось прежде символически и стихотворными аллегоріями. Метафора совсѣмъ не высшая степень мудрости, а усиліе ума неразвитаго и языка невышедшаго изъ дѣтства.

Быть можетъ, что на Востокѣ получилъ апологъ опредѣленную форму и извѣстное назначеніе. Облекая все въ символы, Востокъ выдумалъ и для аполога таинственное лицо мудреца, поучающаго великихъ міра иносказаніями. Мы не станемъ входить здѣсь въ споръ о началѣ разныхъ собраній басенъ, которыхъ сочиненіе приписываютъ различнымъ мудрецамъ, Пильпаю, Бидпаю, или Бейдебаю, Локману, Езопу и другимъ. Дѣло въ томъ, что древнѣйшія собранія басенъ, каковы Езопа, Локмана, Калиле и Демене, Панча-татра, и такъ далѣе, суть произведенія безконечной передѣлки, неоднократной литтературной переборки иносказаній простонародныхъ, которыми изобилуютъ языки Восточныхъ народовъ. Самая грубая форма ихъ является въ басняхъ Локмана и Византійскомъ собраніи басень Езопа; самая искусственная въ Калиле и Демене, или басняхъ Пильпая. Тѣ, кто въ состояніи читать ихъ по Арабски, увѣряютъ, что нельзя ничего найти забавнѣе, остроумнѣе, и даже любопытнѣе, въ отношеніи къ познанію нравственныхъ понятій Востока. Къ сожалѣнію, ни на одномъ изъ Европейскихъ языковъ нѣтъ хорошаго перевода Калиле и Демене, потому, что для такого пере-

вода нужно не только въ совершенствѣ знать Арабскій языкъ, но и основательно понимать Востокъ во всѣхъ его подробностяхъ. Не будемъ здѣсь изыскивать, когда и какимъ образомъ апологи перешли въ Грецію и Римъ. Но, при имени Рима, каждый вспомнитъ знаменитое имя Федра. Отсюда переходъ ихъ къ новѣйшимъ поэтамъ. Наконецъ во Франціи взялся за апологъ Лафонтенъ. «Сказать — Басня», говоритъ Лагарпъ, «значитъ сказать Лафонтенъ; родъ сочиненія и сочинитель составляютъ здѣсь одно. Езопъ, Федръ, Пильпай, Авіенъ создавали басни; Лафонтенъ беретъ ихъ всѣ, и онъ уже не Езоповы, не Федровы, не Пильпаевы, не Авіеновы: онъ Лафонтеновы басни.» За прекраснымъ поэтическимъ развитіемъ апологa въ рукахъ Лафонтена послѣдовала и смерть его: онъ попался въ немилосердыя руки систематиковъ; ему велѣли быть Классическимъ; его сковали, бѣднаго; ему предписали правила житья, одежды, походки, словъ. Далѣе вы видите уже классическія подражанія Англичанъ, Нѣмцевъ, Испанцевъ, Итальянцевъ, Русскихъ, и должны проститься съ самобытнымъ апологомъ! Въ силу устава ложнаго Классицизма прекрасно станутъ писать басню Ламотты, Флоріаны, Геллерты, Сумароковы, и она умретъ сухоткою, затянутая въ корсетъ, какъ умерла Французская трагедія, какъ отъ этой классической натуги лопнула ода, и отъ торжественнаго восклицанія «пою», охрипла эпопея.

Однакожъ умъ и поэзія живущи; человѣкъ смышленъ: послѣ каждаго припадка душевной летаргіи, онъ

умѣетъ оживать въ новыхъ идеяхъ и съ свѣжимъ возрожденіемъ. Мы отвергли ложную теорію апологa. Не скажемъ, чтобы и Лафонтенъ былъ самымъ высокимъ идеаломъ басни.

Какъ не замѣчали мнимые классики нелѣпости исторіи о началѣ апологa? И какъ не видѣли они того, что подобно всѣмъ другимъ родамъ стихотвореній, апологъ всюду являлся разнообразнымъ? Или, что чѣмъ болѣе удалялся онъ отъ своего отрицательнаго назначенія «поучать», чѣмъ болѣе входилъ онъ въ свободную область поэзіи положительной, тѣмъ становился выше, живѣе, прелестнѣе, достойнѣе искуства?

Не вѣря въ смерть того или другаго рода поэзіи въ наше время, мы не вѣримъ также, чтобы апологъ умеръ для насъ. Умерла для насъ мнимая классическая форма его, но апологъ живъ, какъ жива трагедія въ драмѣ, которую назовемъ хоть «романтическою».

Апологъ, какъ иносказаніе, какъ шутка, какъ сатирическій намекъ, какъ маленькая фантастическая драма, и теперь существуетъ. Пусть только онъ не тянется въ нравоучители: мы выросли уже изъ ребятъ, и можемъ сказать каждому баснописцу-нравоучителю: «Соловья *баснями* не кормятъ.» Скажите намъ апологомъ какую угодно истину; пусть онъ имѣетъ нравственную цѣль, только не говорите намъ, что вы насъ учите какъ школьниковъ, и прикройте свою истину поэзіей разсказа. Вотъ первая тайна нынѣшняго апологa. Онъ всегда будетъ составлять одну изъ отраслей искуства. Но бросьте условныя формы, бросьте уже и по-

тому, что онѣ надоѣли въ тысячахъ повторений. Что намъ за дѣло, если вопреки классическому кодексу, вы такъ или иначе выставляете характеры звѣрей вашихъ, если у васъ нарушаются законы произвольныхъ условій? Когда мы вѣримъ, что у васъ говорятъ рыбы, то мы можемъ повѣрить и болѣе: пусть только аллегорія ваша будетъ остроумна и вѣрна сама себѣ — и дѣло кончено! Еще менѣе намъ заботы, что вы смѣшиваете басню съ сказкой; что вы ставите выводъ напереди, назади, или совсѣмъ его не ставите; что вы приводите описанія, разговоры, подробности, или сжимаете разсказъ въ нѣсколько словъ? Требуемъ одного: будьте поэтомъ въ вашемъ апологѣ, и—Богъ съ вами! Мы готовы слушать, смѣяться—учиться у васъ, если угодно.

Наконецъ, послѣднее условіе: будьте современны, будьте *народны*, умѣйте постигнуть характеръ вашего народа и духъ вашего времени. Народность и современность одни изъ самыхъ необходимыхъ условій жизни апологa.

Именно въ этомъ заключалась тайна успѣха однихъ и неудачи другихъ баснописцевъ. Эту тайну превосходно постигъ Лафонтенъ. Намъ смѣшно теперь читать, какъ классики вытягивали басни его на своемъ Прокрустовскомъ ложѣ, искали въ нихъ неизмѣнныхъ правилъ, кое-какъ прилагали своевольную Лафонтеновскую басню къ своимъ условіямъ. Еще забавнѣе, какъ видѣли они въ Лафонтенѣ правоучителя, и словомъ: *добрякъ*, bon homme, прикрывали его проказы, ища нравственныхъ уроковъ въ его басняхъ и въ его

не нравоучительной жизни. Здѣсь кстати можно-бы сказать много любопытнаго о характерѣ Лафонтена и сущности его басни, но мы боимся, что и безъ того далеко отошли отъ предмета. Удовольствуемся немногими словами.

Еслибы надобно было изобразить характеръ, всего болѣе способный къ апологу, то довольно вѣрно можно изобразить его, сказавши, что баснописцемъ не можетъ быть ни мудрецъ, ни философъ, ни поэтъ, ни краснорѣчивый говорунъ, и что между тѣмъ всѣ эти качества должны соединяться въ баснописцѣ. Есть на свѣтѣ такіе характеры, и они обыкновенно отличаются оригинальностью и безпечностью. Ихъ почтете, то плутами и шалунами, то философами и поэтами. Въ бесѣдѣ, они, то дополненіе ума другихъ, то великіе мыслители. Баснописецъ поэтъ, но въ немъ не должно быть страсти и необузданнаго восторга поэтическаго: онъ всегда «себѣ на умѣ». Онъ философъ, но ему неприлично быть систематическимъ философомъ: отъ этого «умъ можетъ зайти за разумъ». Если такой характеръ случится у литтератора, пусть онъ примется за апологи: апологъ его стихія. Тогда всѣ увидятъ, что онъ поэтъ, что онъ уменъ, что онъ мудрецъ. Тогда онъ угадалъ свое назначеніе, и апологу онъ придастъ свою безпечность и оригинальность. Точно таковъ былъ Лафонтенъ: онъ сталъ писать басни, превосходно угадалъ свое назначеніе, и создалъ настоящую форму апологa для своей страны и своего времени.

Человѣкъ съ душею поэтическою, но неодаренный

высшею творческою силою, мудрецъ, котораго физическое сложеніе и обстоятельства не допустили быть философомъ, Лафонтенъ могъ сдѣлаться шутомъ — въ его время, къ сожалѣнію, этого званія уже не было — или Французскимъ баснописцемъ. Онъ сдѣлался баснописцемъ. Тутъ онъ могъ удовольствовать неясное поэтическое стремленіе души своей, послѣ тщетныхъ покушеній на другіе роды поэзіи. Не вѣрьте, будто Лафонтенъ былъ простякъ, и не думайте, чтобы онъ былъ плутъ, который прикидывался простякомъ. Характеръ его составили обстоятельства; онъ только отыскалъ свое мѣсто въ литтературѣ, и это очень хорошо поясняетъ характеръ Лафонтена и его твореній.

Когда потомъ своевольныя, прихотливыя, самобытныя басни доставили ему безспорное отличіе между современными поэтами, когда его приняли въ общество свое Буало, Расинъ и Мольеръ, онъ презабавно хотѣлъ увѣрить другихъ, что дѣйствительно басни его были плодъ предварительнаго ученія, размышленія, приложенія классическихъ правилъ. Прикидывался онъ, или въ самомъ дѣлѣ вѣрилъ тому, но, къ счастью, дѣйствовалъ иначе на практикѣ. Басня его была собственная, Лафонтеновская. Уча другихъ мудрости, онъ шалилъ до старости. Увѣряя, что изучаетъ теорію басни въ піитикахъ, онъ творилъ ее по своей поэтической фантазіи. Классики иногда замѣчали хитрость, и они очень разсердились на него, когда онъ выдалъ свои послѣднія басни, гдѣ дарованіе «добряка» разви-

лось въ полной мѣрѣ. Что было дѣлать Лафонтену? Онъ увѣрялъ своихъ друзей, что онъ читаетъ, учится:

Terence est dans mes mains, je m'instruit dans Horace,
Homère et son rival sont mes dieux du Parnasse.

Онъ говорилъ, что ему ужасно трудно fabriquer à force de temps свои прелестные стихи. Надобно было подлаживать строгому Буало и сладостному Расину, угождать герцогамъ и герцогинямъ, попасть въ академію. И вотъ Лафонтенъ — классикъ! Лудовикъ XIV говоритъ объ немъ академикамъ: Vous pouvez recevoir la Fontaine, il a promis d'être sage. И президентъ академіи встрѣчаетъ его рѣчью, гдѣ вѣщаетъ ему: «Академія признаетъ въ васъ, милостивый государь, одного изъ тѣхъ превосходныхъ тружениковъ, одного изъ тѣхъ достойныхъ строителей храма славы, которые помогаютъ ей въ трудахъ, предпринятыхъ для украшенія Франціи и продолженія памяти о царствованіи, столь обильномъ чудесами, признаетъ въ васъ генія легкаго и свободнаго, исполненнаго нѣжности и добродушія, видитъ нѣчто оригинальное, заключающее въ себѣ, при наружной простотѣ и безпечномъ видѣ, великія сокровища и великія красоты».

Но теперь ужв и Французскіе критики смѣются тому, что нѣкогда въ Мольерѣ и Лафонтенѣ непремѣнно хотѣли видѣть классиковъ. Теперь уже и они видятъ, въ чемъ состояли заслуги Лафонтена и сущность его дарованій: онъ былъ поэтомъ въ апологѣ; онъ далъ апологу самобытное развитіе, *сообразное съ характеромъ его народа и его вѣка.*

Предѣлы статьи не даютъ намъ возможности высказать мысль нашу понятнѣе, и мы поясним дѣло близкимъ къ намъ примѣромъ, обращаясь къ почтенному старцу, безспорно признанному первымъ нашимъ баснописцемъ уже отъ двухъ поколѣній, къ человѣку, котораго дарованіямъ изумлялся Пушкинъ, къ поэту, котораго сочиненія расходятся по Россіи десятками тысячь экземпляровъ, и составляютъ утѣху дѣтства, наслажденіе всѣхъ, примѣръ для современниковъ, предметъ размышленія для критики. Если бы можно было говорить о самомъ поэтѣ, пока онъ еще украшаетъ литтературу своими баснями и своимъ присутствіемъ — и дай Богъ, чтобы это продолжилось — то мы сказали-бы, что Крыловъ представляетъ разительное личное сходство съ Лафонтеномъ. Философъ, свѣтскій человѣкъ, поэтъ, онъ рожденъ быть баснописцемъ. Какъ Лафонтенъ, онъ уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ постигъ свое назначеніе, и почувствовалъ, что можетъ высказать себя только апологомъ, хотя прежде писалъ комедіи, издавалъ журналы и долго занимался литтературою. Онъ началъ свой апологъ робко, классически. Его встрѣтили и судили классически; сравнивали съ Лафонтеномъ, съ Дмитріевымъ. Крыловъ молчалъ, обдумывалъ свой апологъ, и судьи совсѣмъ не примѣтили, какъ онъ развилъ его оригинально и своенравно, какъ создалъ изъ него свой апологъ, апологъ Крылова. Всего забавнѣе, что Крыловъ былъ допущенъ въ соборъ нашихъ классиковъ, какъ классикъ, а потомъ между нашими романтиками считался романтикомъ. Что-жь это за странность? Классикъ онъ, или роман-

тикъ? Нѣтъ, онъ Крыловъ. Въ обществѣ Высокой Покровительницы наукъ, въ ученыхъ сословіяхъ, въ первомъ ряду нашихъ писателей, онъ вездѣ остался прежнимъ Крыловымъ. Теперь въ немъ видятъ отличнаго поэта, указываютъ на него, какъ на искуснаго переводчика Лафонтена, и воздаютъ ему громкія похвалы за изобрѣтеніе предметовъ басень, за нравственность выводовъ, за вѣрность вымысла, за удивительную точность языка. Дѣйствительно, всѣ сіи достоинства находятся въ Крыловѣ, но только до извѣстной степени, которая едва-ли доставила-бы ему безсмертіе еслибы оно раздавалось за подобныя заслуги.

Апологъ Крылова не выдержитъ разбора, если судить его по уставу строгаго Буало. Переводовъ его изъ Лафонтена, мы не смѣемъ сравнивать съ переводами Дмитріева. Изобрѣтеніе предмета для басни не требуетъ большой мудрости: мы думаемъ, что каждый умный человѣкъ въ одни сутки можетъ выдумать дюжины двѣ сюжетовъ для басни, самыхъ остроумныхъ. Нравственность выводовъ въ басняхъ не можетъ быть принята какъ доказательство высокаго таланта; для этого достаточно быть умнымъ человѣкомъ. Притомъ-же Крыловъ весьма часто и не думаетъ учить насъ нравственности; онъ только наблюдаетъ, дѣлаетъ отмѣтки для себя, и не заботится о духовной пользѣ своего читателя. Мы не видимъ никакого нравственнаго урока въ слѣдующихъ, напримѣръ, выводахъ:

Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютъ.

—

...Какъ бываетъ жить ни тошно,
А умирать еще тошнѣй.

—

Чуть о помощи на дѣлѣ заикнешься,
То лучшій другъ
И нѣмъ и глухъ!

—

Вору дай хоть милліонъ,
Онъ воровать не перестанетъ.

—

Охотно мы даримъ,
Что намъ не надобно самимъ.

—

На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлятся они со старшимъ по-поламъ.

—

Вѣрности въ вымыслѣ, во многихъ своихъ басняхъ, онъ не соблюдаетъ. Щука идетъ у него ловить мышей съ котомъ; медвѣдь хочетъ торговать дугами — предметъ, очень остроумно заимствованный изъ Русской поговорки, но если дѣло коснется до вѣрности, то вовсе не вѣрный; волки собираютъ дань съ овецъ тулупами; левъ наказываетъ лисицу за то, что она жаритъ себѣ рыбу; паукъ завидуетъ купцу и рѣшается торговать паутиной. Все это, и десятки другихъ басенъ, обнаруживаютъ совершенное презрѣніе къ условіямъ вѣрности вымысла. Нерѣдко найдемъ мы и невѣрность въ разсказѣ. Что касается до удивительной точности языка, то почтенный Иванъ Андреевичъ не всегда согласенъ съ грамматическою братіею, и порой ста-

вить ей такія загадки, которыхъ она разгадать не можетъ.

Журавль свой *носъ по шею*
Засунулъ къ волку въ пасть, *и съ трудностью большею*
Кость вытащилъ.

—

Двѣ были дѣвушки, служанки, *коихъ часть*
Была, съ утра и до глубокой ночи,
Рукъ не покладывая, прясть.

—

Какъ рѣдки *таковы* друзья.

—

Лишь *время не терять умѣй*.

—

И наконецъ *я стала мать*.

—

Иного также мы боимся,
Поколь къ чему не приглядимся...

и прочее. Скорѣе слѣдовало-бы сказать — вмѣсто, удивительная точность языка—удивительная обработка стиха. Крыловъ, какъ многіе великіе поэты, обработываетъ и гладитъ свои стихи долго, тщательно, мучительно. Отдѣлка ихъ превосходна, но это отдѣлка гранитныхъ колоннъ, которыя полированы, блестятъ, однакожь не легки и не вездѣ безъ царапинъ.

Но въ чемъ-же прелесть, достоинство и заслуги Крылова? Въ томъ, что онъ въ отношеніи къ Россіи тоже, что Лафонтенъ въ отношеніи къ Франціи. Онъ

первый создалъ *Русскій* апологъ, первый умѣлъ «повести повасенку» на Русскій ладъ, Русскимъ словомъ, Русскимъ умомъ, Русскимъ говоромъ, сдѣлалъ его для насъ роднымъ, какъ Русская пѣсня. Заговоритъ Крыловъ — мы видимъ умнаго Русака, который все смекнулъ, все знаетъ, только иного не хочетъ сказать, и вмѣсто отвѣта значительно почесываетъ голову. «Да это нашъ!» восклицаемъ мы издали, увидѣвъ такого человѣка. Въ каждомъ своемъ движеніи, въ каждомъ словѣ, въ каждой ухваткѣ, въ шуткѣ и въ глубокомысленномъ замѣчаніи онъ, — «Русскій человѣкъ« съ головы до ногъ, говоритъ-ли сказочку о щукѣ, которая ловитъ мышей. представляетъ ли дурака Тришку съ обрѣзанными полами, сбираетъ-ли ѣдоковъ хлѣбать уху, когда синица зажигаетъ море, заставляетъ-ли пріятеля бриться тупыми бритвами. Сотни стиховъ Крылова пошли въ поговорки и пословицы — такъ они Русски, такъ вылиты и отдѣланы на Русскій образецъ!

А ларчикъ просто открывался!

—

А только кинь имъ кость, такъ что твои соваки!

—

Полаютъ, да отстанутъ!

—

Пушокъ на рыльцѣ есть!

—

Еще тарелочку!.....

—

Ай, мосьна! знать она сильна,
Что лаетъ на слона!

—

Да, эта крыса мнѣ кума!

—

Васька слушаетъ, да ѣстъ!

—

А философъ —
Безъ огурцовъ.

—

Да, чтобъ гусей не раздразнить!

—

Да, плакать мнѣ какая стать:
Вѣдь я не вашего прихода?

—

Ну, братецъ, виноватъ:
Слона-то я и не примѣтилъ!

—

Про взятки Климычу читаютъ,
А онъ украдкою киваетъ на Петра.

—

Здѣсь объясняется то преимущество, какое Крыловъ безспорно имѣетъ въ нашемъ убѣжденіи передъ всѣми предшественниками и послѣдователями. Онъ былъ естественно уменъ, а они умничали; онъ одѣвался въ басню, чтобы сказать свое, а они думали, что въ формѣ басни вся задача; онъ самобытенъ— они подражатели; онъ шутитъ отъ души—они хотѣли остритъ. Измайловъ думалъ перебить у него дорогу тѣмъ, что надѣлъ мужицкій зипунъ и плясалъ трепака, но надъ этимъ мимоходомъ посмѣялись и тотчасъ забыли. Другую противоположность составляетъ почтенный ветеранъ

нашъ И. И. Дмитріевъ, который также обнаружилъ въ васнѣ необыкновенное дарованіе. Въ то время, когда Карамзинъ предпринялъ преобразованіе нашей прозы, Дмитріевъ оказалъ важную услугу реформѣ нашихъ стиховъ. Но поэзія не была у Дмитріева главнымъ занятіемъ, ни какъ искуство, ни какъ непреодолимое вдохновеніе. Это досуги умнаго человѣка, который съ равною легкостью пишетъ оду, пѣсню, эпиграмму, сцену комедіи, сказку. Потому Дмитріевъ болѣе переводилъ. Апологъ служилъ ему средствомъ слегка шутить, поостриться; въ немъ не весь Дмитріевъ, не весь поэтъ. Онъ только шутитъ, и доволенъ, если читатель его улыбнулся. Но какъ переводчикъ Лафонтена, Дмитріевъ можетъ почесться образцовымъ, хоть самъ сказалъ:

Какъ мѣсяцъ не свѣти, а все не солнца свѣтъ!

Замѣчательное обстоятельство. То самое, что дѣлаетъ Крылова единственнымъ и неподражаемымъ въ подлинникѣ, служитъ ко вреду его въ переводѣ на всякій не Русскій языкъ. Какъ-вы хорошо ни переводили Крылова, всѣ его красоты исчезаютъ вмѣстѣ съ національнымъ костюмомъ. Опытъ доказалъ это. Крыловъ великолѣпно былъ представленъ Французамъ графомъ Орловымъ, и вѣрно переданъ потомъ господиномъ Маскле, но не произвелъ сильнаго впечатлѣнія. Самый умѣренный судъ Французскихъ критиковъ былъ не въ пользу его. Этимъ окончательно поясняется высокое достоинство нашего Лафонтена.

Послѣ того, что мы сказали о Крыловѣ, насъ ко-

нечно не упрекнуть въ желаніи унизить его превосходный талантъ, если мы скажемъ, что былъ на Руси человѣкъ, также мудрецъ и поэтъ, забытый всѣми, неоцѣненный, который можетъ почесться достойнымъ соперникомъ Крылова и быть смѣло поставленъ наряду съ нимъ, хотя онъ предшественникъ его. Этотъ человѣкъ былъ Хемницеръ. Но онъ родился во время самаго тяжкаго классицизма, и не могъ быть понятъ современниками; неловкій, странный, бѣдный, онъ умеръ въ одиночествѣ, на чужой сторонѣ, не зналъ славы при жизни, не зналъ ея по смерти, и не постигалъ, можетъ быть, даже своего высокаго литтературнаго значенія.

Иванъ Ивановичъ Хемницеръ не былъ Русскій по рожденію. Отецъ его выѣхалъ изъ Саксоніи, служилъ въ Россіи около пятидесяти лѣтъ, отличался честностью, и умеръ бѣднымъ, въ должности госпитальнаго надзирателя. Хемницеръ, нашъ баснописецъ, родился въ 1744 году. Надобно было искать хлѣба; отецъ назначалъ его въ лекаря, но сынъ не могъ преодолѣть своего отвращенія отъ анатоміи, и его записали въ военную службу по четырнадцатому году. Онъ служилъ двѣнадцать лѣтъ, бывалъ въ походахъ, и въ 1769 году вышелъ въ отставку поручикомъ. Куда дѣваться? Образованный отлично, онъ принятъ былъ чиновникомъ въ Горный Кадетскій Корпусъ, и здѣсь пробылъ на службѣ еще лѣтъ двѣнадцать.

Тихій, скромный, застѣнчивый, разсѣянный, настоящее дитя, Хемницеръ не могъ быть дѣловымъ человѣкомъ и успѣть по службѣ. Умъ его былъ оригиналь-

ный, но не блестящій; познанія были необыкновенны, но онъ не умѣлъ ихъ выказывать. Только немногіе друзья понимали Хемницера, и дорожили его умомъ и вкусомъ, но и тѣ немогли удержаться отъ шутки, видя его простоту. Въ 1776 году, одинъ изъ его покровителей взялъ его въ чужіе края. Хемницеръ объѣхалъ Францію, Голландію, Германію, и возвратился прежнимъ кроткимъ, простодушнымъ Хемницеромъ. Въ 1781 покровитель его оставилъ службу, и Хемницеръ долженъ былъ послѣдовать его примѣру. Онъ вышелъ въ отставку коллежскимъ совѣтникомъ и бѣднякомъ, имѣя на рукахъ старушку мать. Скоро потомъ ему предложили мѣсто консула въ Смирнѣ. Дѣлать было нѣчего; съ горестью отправился бѣдный Хемницеръ на чужбину, въ дальнюю Турецкую сторону, страдалъ тамъ около года, и умеръ 20 Марта 1784, сорока лѣтъ отъ роду.

Вотъ все, что мы знаемъ о Хемницерѣ, и еще нѣсколько забавныхъ анекдотовъ.

Этотъ *Нѣмецъ* зналъ однакожь Русскій языкъ, какъ коренной православный. Державинъ былъ его другомъ и слушался его совѣтовъ. Россійская Академія избрала его въ члены при своемъ основаніи. Но Хемницеръ не смѣлъ писать по Русски. Въ тишинѣ своего уединенія, можетъ быть, чувствуя иногда свое достоинство, онъ только изрѣдка рѣшался изливать свои остроумныя замѣтки на бумагу, испытывать свое необыкновенное поэтическое дарованіе, и все это облекалъ онъ въ простую форму аполога. Въ 1778 году, друзья, которымъ онъ прочитывалъ свои басни, угово-

рили его напечатать ихъ, но Хемницеръ не осмѣлился объявить своего имени, и издалъ книгу подъ именемъ N. N. Въ 1781, собираясь въ Смирну, къ изданнымъ прежде двадцати семи баснямъ, онъ прибавилъ еще тридцать четыре. Черезъ пятнадцать лѣтъ по смерти автора, кто-то изъ друзей его собралъ еще въ бумагахъ Хемницера двадцать пять басенъ, и издалъ ихъ, съ предисловіемъ, въ 1799. Предисловіе было написано съ чувствомъ и умно; въ немъ сохранились и біографическія свѣдѣнія о Хемницерѣ. Къ несчастью, вотъ что говоритъ Сочинитель: «Болѣе распространяться о немъ повѣстію скромность дружеству не позволяетъ, опасаясь, чтобы пріятное ему воспоминовеніе не показалось читателямъ скучнымъ и вниманія ихъ недостойнымъ.» Далѣе: «О достоинствѣ вообще сихъ басенъ и сказокъ, въ сравненіи съ сочиненіями такого же рода, нѣтъ нужды говорить, ибо перо, дружествомъ водимое, можетъ показаться пристрастнымъ, и читатели одни только имѣютъ право судить о цѣнѣ и о преимуществѣ словесныхъ твореній». Съ такою-то робостью самые друзья Хемницера передавали творенія его тогдашней публикѣ. А читатели тогдашніе, что они сказали «о цѣнѣ и преимуществѣ сихъ словесныхъ твореній?» Кажется, *сіи творенія* промелькнули незамѣтно. Судьба, столь немилосердая къ поэту, была безжалостна и къ плодамъ его пера. Когда басни Хемницера явились безыменно въ 1778 году, могла-ли эта тоненькая тетрадка устоять передъ громкою славою и толстою книжищею Притчей Сумарокова? Спустя двадцать лѣтъ бѣдняжки явились опять: новое

столкновеніе случайностей! Реформа Карамзинская увлекала всѣхъ. Дмитріевъ восхищалъ въ баснѣ своимъ изящнымъ остроуміемъ и вкусомъ. Черезъ десять лѣтъ потомъ явился Крыловъ.

Мы не скажемъ, чтобы Хемницеръ былъ вовсе забытъ въ нашей словесности: въ теченіе сорока лѣтъ нѣсколько разъ печатали его басни, приводили изъ нихъ примѣры въ нашихъ учебныхъ книгахъ, и помѣщали нѣкоторыя въ нашихъ *Образцовыхъ* сочиненіяхъ. Но достаточно ли этого? Пользуется-ли бѣдный Хемницеръ всею заслуженною славою? Показалось чье нибудь искусное перо его великія достоинства? Нѣтъ!

А между тѣмъ, — мы говоримъ по совѣсти, — Хемницеръ былъ одинъ изъ превосходнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, и достоинъ стать наряду съ Крыловымъ. Его басни должны быть такою-же народною книгою, какъ Басни Крылова. Онѣ могутъ выдержать судъ самый строгій, особливо, если сообразимъ, что Хемницеръ принадлежалъ еще ко временамъ Ломоносовскимъ.

Всѣхъ басенъ его дошло до насъ восемдесятъ шесть. Нѣкоторыя переведены имъ изъ Лафонтена и Геллерта, но большая часть ихъ оригинальныя. Мы уже сказали, что искусство изобрѣтать предметы для басенъ кажется намъ преимуществомъ очень посредственнымъ въ баснописцѣ. Гораздо важнѣе то, что уже въ семидесятыхъ годахъ Хемницеръ постигъ тайну настоящаго перевода аналоговъ. Читая его Зеленаго Осла, его Медвѣдя плясуна, не вѣрится, чтобы это былъ

переводъ, и переводъ, которому пятьдесятъ лѣтъ! Вообще нельзя неудивляться языку и легкости стиховъ Хемницера, живости его разговора, искуству его въ описаніяхъ. Весьма многія басни, съ начала до конца, выдержаны изумительно мастерски. Прочтите — Два Сосѣда, Лжецъ, Медвѣдь плясунъ, Орлы, Богачъ и бѣднякъ, Львиный совѣтъ, Хитрецъ, Домовой, Зеленый оселъ, Воля и неволя, Лисица и сорока, Левъ, Покоръ львиный, Привилегія, Метафизикъ, Мартышка.

Какой-то въ Лондонѣ хитрецъ одинъ сыскался,
Который публикѣ въ листочкахъ обѣщался,
Что въ узенькій кувшинъ онъ, весь,
Каковъ онъ есть,
Съ руками
И съ ногами,
Въ такой-то день намѣренъ влѣзть,
При чемъ кувшину онъ рисунокъ прилагаетъ,
Почтенныхъ зрителей покорно приглашаетъ
За входъ по стольку-то платить:
Начало ровно въ шесть часовъ имѣетъ быть.
Пошли по городу листы. — «Ба! что такое?
Въ кувшинъ залѣзть? Что онъ съ ума сошелъ? Пустое!
Гдѣ это слыхано! Да, и дуракъ пойметъ,
Что способу тутъ нѣтъ,
Хоть какъ ни сталъ-бы онъ ломаться...
Однако, чтобы посмѣяться,
Поѣдемъ, поглядимъ, что это за чудакъ!

—

Левъ учредилъ совѣтъ, какой-то неизвѣстно,
И посадя въ него сочленами слоновъ,
Прибавилъ больше къ нимъ ословъ.

Хотя слонамъ сидѣть съ ослами и невмѣстно,
Но левъ не могъ того числа слоновъ набрать,
Какому надлежало
Въ совѣтѣ засѣдать.
Ну, что жь, пускай числа всего-бы не достало!
Вѣдь это-въ не мѣшало
Дѣла производить?
Нѣтъ! Какъ-же! А уставъ ужли переступить?
Хоть будь ослы судьи, лишь счетомъ бы ихъ стало.

—

Читая эти два примѣра, кто не изумится прелести и простотѣ стиха и разсказа? Разсказъ о битьѣ свиньи (Два сосѣда), о пріемѣ бѣдняка и богача въ гостяхъ (Богачъ и бѣднякъ), о чтеніи трагедіи поэтомъ и испугѣ домоваго (Домовой), о давкѣ народа вокругъ зеленаго осла, разговоръ волка, когда онъ замѣчаетъ, что у собаки сошла съ шеи шерсть отъ цѣпи (Воля и неволя); сорока, доказывающая лисицѣ, что хвостъ ея пятая нога; левъ, сватающій свою любовницу за осла; масло, которое катаютъ въ лапахъ сборщики львиные; метафизикъ, разсуждающій въ ямѣ, что за орудіе такое веревка, на которой хотятъ его вытащить — все это не уступитъ лучшимъ мѣстамъ изъ басенъ Крылова. Но Хемницеръ превосходитъ даже самого Крылова въ томъ зломъ простодушіи, въ той зацѣпкѣ мимоходомъ, которую онъ бросаетъ такъ легко, нечаянно, добродушно, что невозможно не подивиться чудному искуству поэта. Примѣры этого находятся почти въ каждой баснѣ.

А уставъ ужли переступить?

Орлы составляютъ общество избранныхъ птицъ, и гонятъ отъ себя всѣхъ другихъ. Поэтъ продолжаетъ:

Прошло, не знаю сколько лѣтъ,
Однако, помнится, немного....

Вотъ подаютъ голосъ принять сокола. Орлы слушаютъ, разсуждаютъ —

«И впрямъ, » орлы потомъ сказали.
«Его полетъ!....
А сверхъ того одинъ соколъ куда нейдетъ....»

Шалуна записываютъ въ солдаты. Поэтъ говоритъ:

Хоть межъ военными и всякіе бываютъ,
Но палкою они жить многихъ научаютъ.
А впрочемъ, нужды въ этомъ нѣтъ,
Что столько-жъ иногда умѣетъ и тотъ, кто бьетъ,
Какъ тѣ, которые побои принимаютъ.
Однако шалуна и палка не беретъ!

Мужикъ ѣдетъ съ возомъ по льду и проваливаются:

Мужикъ метаться и кричать:
«Ой, батюшки, тону, тону! Ой, помогите!»
— Ребята! что же вы стоите?
Поможемъ-те!—одинъ другому говорилъ,
Кто вмѣстѣ съ мужикомъ въ одномъ обозѣ былъ.
«Поможемъ!» каждый подтвердилъ,
Но къ возу между-тѣмъ никто не подходилъ.
А должно знать, что всѣ одной деревни были,
Друзьями межъ собою слыли,
Не разъ за братское здоровье вмѣстѣ пили,
А сверхъ того между собой,
Для утвержденія ихъ дружбы круговой,
Крестами даже помѣнялись;

Другъ друга братомъ всякъ зоветъ —
А братній возъ ко дну идетъ!

Воры попались, боятся казни и ищутъ стряпчаго —

Отъ смерти ихъ избавить—
Вѣдь тяжко умирать, какъ есть кому чѣмъ жить!

Два богача начинаютъ тяжбу, и сыплютъ деньги судьямъ —

Безъ денегъ, какъ на торгъ, въ судъ не за чемъ ходить.

Тяжба тянется нѣсколько лѣтъ. Отъ чего-же?

Ужли ихъ судьи сговорялись
Такъ долго дѣло волочить?
Вотъ тотчасъ клеветать, и на судей возносить,
И думать, что они изъ взятокъ согласились!..
Какъ будто-бы нельзя другимъ причинамъ быть,
Что дѣло тихо шло!... Ну, какъ тутъ поспѣшить?
Съ годъ, говорятъ, онъ имъ въ одиихъ архивахъ рылись.

Обезьяна обойдена при производствѣ. Она горько жалуется:

И волка наградили!
Лисицу, черезъ чинъ,
Судьею посадили
Въ курятникѣ судить!.....
Случится же такъ кстати посадить!

Вотъ начало басни: Имѣнія и ссора:

Невѣсть разбойники, невѣсть мурзы какіе,
Да только люди непростые,
И двое ихъ всего —
То есть, вотъ этихъ только двое,
А то ихъ всѣхъ число совсѣмъ другое.

У льва была любовница —

Вѣдь занимаются любовными дѣлами,
Не только межь людьми, но также межь скотами...

Осла пригласили на львиную охоту. Осёл гордится, кричитъ, шумитъ.

Какъ членъ суда иной, чуть въ члены онъ попалъ,
Судейску важную осанку принимаетъ,
Возносится и всѣхъ ни за-что почитаетъ,
И что ни дѣлаетъ и что ни говоритъ,
Всегда и всякому, что «членъ» онъ подтвердитъ;
И ежели кого другаго не поймаетъ,
Хотя на улицѣ къ ребятамъ радъ пристать,
И имъ, что «членомъ» онъ, сказать.
Въ письмѣ къ роднымъ своимъ не можетъ удержаться,
Чтовъ «членомъ» каждый разъ ему не подписаться,
И словомъ — весь онъ «членъ», и въ домѣ отъ людей
Все «членъ» по немъ, до лошадей!

Начало сказки: Счастливое супружество.

Вотъ, говорятъ, примѣровъ нѣтъ,
Чтовъ мужъ въ ладу съ женою жили,
И даже и по смерть другъ друга-вы любили.
Ой! здѣшний свѣтъ!
Привыкнувъ клеветать, чего ужь не взнесетъ!

Слѣдуетъ разсказъ о счастливыхъ супругахъ, разсказъ прелестный, который вдругъ перерывается вопросомъ:

А сколько лѣтъ ихъ ихъ вѣку было? . . . . .
Да, сколько лѣтъ — съ недѣлю и всего,
А безъ того
На сказку-бъ походило.

Никакого нравоученія тутъ не прибавлено. И на что оно?

Уже и этихъ немногихъ примѣровъ достаточно чтобы оцѣнить высокое, неподдѣльное дарованіе. И не должно-ли удивляться, жалѣть, негодовать на собственное наше равнодушіе, что этотъ человѣкъ забытъ нами, онъ, который такъ писалъ въ семидесятыхъ годахъ!

Рѣшительно, басни Хемницера являютъ образецъ истинно народнаго Русскаго аполога до Крылова. Это драгоцѣнный алмазъ, заброшенный въ пыли, но достойный сіять въ вѣнцѣ Русской словесности. Конечно, очень трудно побѣдить предразсудокъ, но побѣдимъ-же его, отроемъ новый кладъ въ родной землѣ, возмемъ въ руки эти драгоцѣнныя басни Хемницера, и устыдимся непростительной холодности, съ какою мы смотрѣли на нихъ доселѣ! До Крылова, этотъ чудесный поэтъ уже превосходно постигалъ тайну Руссизмовъ. Мы видѣли это изъ приведенныхъ отрывковъ. — Разсмотрите, какъ хороши слѣдующіе. Строитель располагается строить домъ и собираетъ матеріялы.

И собралъ ужь немало.
Построить долго ли? *Лиха бѣда начало!*

Мужъ спрашиваетъ у Харона, куда онъ отвезъ жену его?

Въ рай или въ адъ? — «Въ рай!» — Можно-ль статься!....
Меня-жь куда везешь? «Туда-жь гдѣ и она.» —
Ой, плохо! такъ въ адъ меня!

Но мы не смѣемъ умножать числа выписокъ. Хемницера можно упрекнуть въ одномъ только: у него

не было еще того полнаго Русскаго разгула, той Русской беззаботности; въ которыхъ такъ неподражаемъ Крыловъ. Хемницеръ иногда не смѣетъ разговориться, можетъ быть, чтобы не заговориться. На немъ примѣтны мѣстами слѣды оковъ классическихъ. Въ языкѣ своемъ, онъ, какъ будто хочетъ казаться человѣкомъ comme il faut — церемонія, совсѣмъ лишняя въ баснѣ — и боится часто употреблять коренныя Русскія рѣчи, хотя самъ такъ счастливо употреблялъ слово *отморокъ*, говоря о лисьей норѣ, или слово *безпрокій*, говоря о старомъ конѣ. Слухъ нашъ оскорбляется еще иногда словами, уже вышедшими изъ употребленія, и изрѣдка старинною манерою стиха. Но вспомните жизнь Хемницера, вспомните время, когда онъ жилъ, и то что у него не было образцовъ! Крыловъ уже не могъ не знать басенъ Хемницера.

Русскій народъ, кажется, отгадалъ наконецъ Хемницера, и если молчатъ судьи словесности, за то, лучшій критикъ басенъ, народъ начинаетъ цѣнить ихъ по достоинству. Онъ уже усвоилъ ихъ себѣ. Между-тѣмъ, какъ басни Крылова не могутъ довольно напечататься въ великолѣпныхъ и разнообразныхъ изданіяхъ, Хемницера также стали печатать безпрестанно, покамѣстъ для простонародья. Въ три послѣдніе года, мы видѣли съ полдюжины изданій его книги. Къ сожалѣнію, всѣ изданія очень плохи, съ ошибками, на сѣрой бумагѣ. Бѣдный Хемницеръ! Неужели не найдется никого между Русскими книгопродавцами, кто бы порадѣлъ тѣни поэта изданіемъ, достойнымъ его высокаго и удивительнаго таланта?

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. *Сочиненіе Ивана Козлова. СПб.* 1828 *г., въ т. Деп. Нар. Просв. въ* 12, 92 *стр.*

Одинъ изъ самыхъ необыкновенныхъ характеровъ женскихъ представляетъ намъ въ новѣйшей Русской Исторіи княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Дочь знаменитаго любимца Петра Великаго, фельдмаршала Шереметева, богатѣйшая въ свое время невѣста въ Россіи, одаренная красотою, умомъ, сердцемъ пламеннымъ, характеромъ кроткимъ, но рѣшительнымъ, она пяти лѣтъ осталась отъ отца и провела въ уединеніи первые лѣта юности, съ добродѣтельною матерью своею. Здѣсь разцвѣла она красотою, образовано было ея сердце, умъ обогащенъ необыкновенными познаніями. Едва минуло Натальѣ четырнадцать лѣтъ, какъ судьба постигла ее первою ужасною горестью: нѣжная мать ея скончалась, и въ могилѣ матери Наталья схоронила свои красные дни. Ее манилъ еще къ жизни какой-то призракъ, но этотъ призракъ не была радость, не было счастіе.

Блестящій Дворъ переѣхалъ въ Москву. Юный государь Петръ II, окруженный великолѣпіемъ, *прекрасный, какъ надежда*, радовалъ всѣхъ. Множество вельможъ его окружало, но никто не былъ къ нему ближе князя Долгорукаго, товарища дѣтства, любимца государева, юноши честолюбиваго и гордаго. Посмотрите въ опустѣлыхъ чертогахъ Кускова на портретъ

князя И. А. Долгорукова: какимъ счастьемъ горятъ глаза его, какъ смѣло, кажется, глядитъ онъ на жизнь, обѣщающую ему одни радости, одни наслажденія!

Наталья Шереметева явилась при Дворѣ, скромная, робкая, непривыкшая къ волненію и шуму придворному. Гордый Долгорукій увидѣлъ Наталью—и участь его была рѣшена. А Наталья? Нѣтъ! Байронъ не зналъ исторіи Натальи, или ошибался, когда сказалъ:

Oh! Love! no habitant of earth thou art —
An unseen seraph, we believe in thee,
A faith whose martyrs are the broken heart,
But never yet hath seen, nor e'er shall see
The naked eye, thy form, as it should be;
The mind hath made thee, as it peopled heaven,
Even with its own desiring phantasy,
And to a thought such shape and image given,
As haunts the unquench'd soul — parch'd —
Wearied — wrung — and riven.

Любовь вспыхнула въ сердцѣ Натальи, и все существованіе, вся жизнь ея сгорѣли въ пламени любви, чистой, неземной!

Чего не могъ надѣяться Долгорукій? Отецъ его, родственники были знатнѣйшіе вельможи; сестра обрученная невѣста Государя; не болѣе года прошло, какъ Долгорукіе свергли сильнаго Менщикова. И юный, могущественный любимецъ Царя предложилъ руку свою Натальѣ. Можно-ли было отказаться отъ руки Долгорукаго? Но, Наталья не блескъ, не великолѣпіе, не знатность любила въ немъ. Сговоръ и обрученіе Натальи

изумляли великолѣпіемъ; весь Дворъ пировалъ на праздникѣ; богатѣйшіе дары, вся роскошь Европы и Азіи окружали невѣсту. И черезъ два мѣсяца— какая перемѣна!

Юный Государь во гробѣ— одежда печали на невѣстѣ его и гибель ждетъ Долгорукихъ!

Есть Записки Натальи, въ которыхъ описываетъ она жизнь свою *. Читайте ихъ, и вы узнаете великую душу ея. Она не хотѣла разстаться въ несчастіи съ тѣмъ, кому обрекла всю жизнь въ счастливое время. Сама Императрица Анна уговаривала ее оставить обреченнаго бѣдствіямъ жениха. «*Я дала слово быть женою избраннаго мною, любимаго человѣка, а не женою денегъ, богатства и чиновъ,*» отвѣчала Наталья, и отказалась отъ богатства, почестей, радостей и родныхъ. Долгорукіе высланы были изъ столицы. Въ селѣ Горенкахъ, подлѣ Москвы, на Сибирской дорогѣ, Наталья обвѣнчана была съ Долгорукимъ, и поѣхала съ нимъ въ Сибирь. «Я должна была подкрѣп«лять его (пишетъ Наталья), чтобы онъ себя не сок«рушалъ: онъ мнѣ всего свѣта былъ дороже. Вотъ до «чего меня любовь довела! Все я оставила— и честь, «и богатство, и сродниковъ; стражду съ нимъ и скита-

* Почтенный Переводчикъ книги: *Плутархъ для прекраснаго пола* (М. 1820 in 12, 6 частей) помѣстилъ отрывки изъ Записокъ Натальи Долгорукой въ жизнеописаніи ея (т. VI, стр. 100—127). Едва-ли найдемъ романъ, который могъ-бы такъ разтрогать сердце читателя.

«юсь; причиною этому непорочная любовь, которой я «не постыжусь ни предъ Богомъ, ни предъ цѣлымъ «свѣтомъ, потому, что *онъ* одинъ былъ въ моемъ серд»цѣ; мнѣ казалось, что онъ для меня родился, а я для «него, и что намъ другъ безъ друга жить не льзя. Я «по сей часъ въ одномъ разсужденіи, и не тужу, что «мой вѣкъ пропалъ, но благодарю Бога моего, что онъ далъ мнѣ знать такого человѣка, который того стоитъ, «чтобъ мнѣ за любовь его жизнію своею заплатить, «цѣлый вѣкъ странствовать и всякія бѣды сносить, мо«гу сказать, безпримѣрныя бѣды.»

Въ глуши пустынь, въ Березовѣ, почти 1000 верстъ къ сѣверу отъ Тобольска, восемь лѣтъ жила Наталья съ мужемъ своимъ и забывала весь міръ. Двое дѣтей утѣшали ихъ въ бѣдствіи, и мысль, что ссылка ихъ не будетъ вѣчная. Но злоба враговъ продолжалась; послѣдняя капля горечи пала изъ таинственной урны судьбы на сердце Натальи. Супругъ изтортнутъ былъ изъ ея объятій. Мучительная смерть ожидала его. Два года прошли для Натальи въ страшной неизвѣстности. Наконецъ воцарилась Елисавета, и ей позволено возвратиться; она ѣдетъ, спѣшитъ въ Россію, но уже два года, какъ могила приняла кости страдальца мужа ея... Воздвигнувъ надъ прахомъ его церковь, Наталья посвятила жизнь свою воспитанію двухъ сыновъ; когда-же дѣти ея вступили въ совершеннолѣтіе, Наталья исполнила давножеланный обѣтъ: посвятить памяти супруга остальные дни жизни; удалилась въ Кіевъ, жила въ монастырѣ нѣсколько лѣтъ подъ строгимъ искусомъ,

потомъ постриглась, и—подъ именемъ *старицы Нектаріи* угасла въ 1771 г. дочь фельдмаршала Шереметева, которой нѣкогда свѣтъ сулилъ всѣ радости, всѣ блага міра. Передъ постриженіемъ, Наталья бросила въ Днѣпръ обручальное кольцо свое, которое, одно изъ всѣхъ сокровищъ, хранила, какъ безцѣнный памятникъ человѣка незабвеннаго.

Вотъ простой разсказъ о Натальѣ Долгорукой. Ея жизнь, ея судьба вызываютъ, кажется, Поэзію передать память ея сердцамъ, умѣющихъ оцѣнять подобныя рѣдкія явленія нашего вѣка, безцвѣтнаго, потемнѣннаго эгоизмомъ, закрашеннаго общими мѣстами жизни. Переходъ отъ величайшаго счастія, богатства, блеска роскоши къ бѣдствіямъ ужаснѣйшимъ, нищетѣ, безславію, униженію; Дворъ Царя и заточеніе въ ледяныхъ тундрахъ Сибири; алтарь брачный и гробъ, и эта любовь, пережившая и счастіе и бѣдствіе, это забвеніе всего земнаго, любовь и послѣ могилы—сколько средствъ поэту! И какія краски: Москва и Сибирь, Дворъ Царя и юрта Остяка...

Въ жизни Натальи Долгорукой нашъ поэтъ взялъ основаніе новаго творенія своего. Вотъ расположеніе поэмы Козлова:

Большой Владимірской дорогой,
Въ одеждѣ сельской и убогой,
Съ груднымъ младенцомъ на рукахъ,
Шла тихо путница младая.

Кто эта путница, поэтъ не говоритъ, но она идетъ въ Москву, до которой остается семь верстъ; скоро

ночь; вотъ вьется дорожка въ село. Она подходитъ, узнаетъ мѣста, колеблется. Поэтъ описываетъ село; вы узнаете его: это *Кусково*; поэтъ еще не сказываетъ имени странницы, но вы угадываете его. Она идетъ въ Кусково просить ночлега у Священника; грусть, печаль видны въ ея словахъ, ея отвѣтахъ. Старецъ Священникъ чувствуетъ, что пришелица несчастлива, хочетъ развлечь ея горесть;

Онъ, какъ родной, ее ласкаетъ
И веселитъ, и начинаетъ
Разсказъ любимой старины.

Но она не слушаетъ его, и старецъ почитаетъ обязанностію утѣшить несчастливицу. Онъ говоритъ ей:

Кто жизнь безъ горя проживетъ!
Твои, *мой другъ*, младые годы
Не разцвѣли отъ непогоды,
Но ты, какъ видно, рождена
Въ семьѣ безвѣстной: ты бѣдна;
Судьба тебя *не баловала*;
Къ веселой участи она
Ничѣмъ тебя не пріучала.
А часто гибельный ударъ
Надежды знатныхъ разрушаетъ.
О нашемъ Графѣ кто не знаетъ
Онъ былъ бояринъ межъ бояръ,
Петровой правою рукою,
И прямо Русскою душою
Отчизну и Царя любилъ;
Былъ славенъ, въ золотѣ ходилъ.
И что-же? Дочь его родная

Не знаетъ радости земной,
И гибнетъ въ *бурѣ роковой*,
Какъ гибнетъ травка полевая!
Суди-жь: дивна-ль судьба твоя?
Она была не ты —

Не я!

Этотъ отвѣтъ Натальи взятъ поэтомъ изъ глубины сердца. Священникъ разсказываетъ *ей самой* ея собственную исторію. Въ разсказѣ Священника, въ томъ, что говоритъ ему Наталья, есть краски истинной поэзіи. Наталья ничего не узнаетъ здѣсь о судьбѣ мужа. Священникъ отдергиваетъ занавѣсъ съ мортрета Шереметева: она видитъ отца своего; горесть терзаетъ ее —

И старца важное молчанье,
Его встревоженный покой,
И незнакомки молодой
Неукротимое страданье,
Гласило все о черныхъ дняхъ,
О дняхъ, отравленныхъ бѣдою,
И безнадежностью земною
Въ священный приводило страхъ.
Одинъ, тревогамъ непричастный,
Младенецъ, тихій и прекрасный,
Не зная, *что и жизнь и рокъ*,
Грозой не тронутый цвѣтокъ,
Съ улыбкой, съ ясными очами,
На грудь родимую припалъ,
И влажными отъ слезъ кудрями,
Безпечный, весело игралъ...

Натальѣ не спится. Все стихло, *уснуло*; она спѣ-

шитъ въ Москву, но прежде идетъ въ садъ Кусковскій, бродитъ по саду —

О, какъ у вѣдной сердце вилось,
Въ какихъ терялося мечтахъ...
Казалось, будто ей знакомы
Пустыя мрачныя хоромы;
Что этотъ лугъ, что этотъ садъ
Не въ первый разъ встрѣчаетъ взглядъ;
Съ прудомъ, деревьями, цвѣтами,
Минувшимъ вдругъ оживлена,
Какъ съ незабытыми друзьями,
Опять увидѣлась она...
Родную тѣнь лѣсокъ наводитъ,
Ручей знакомое журчитъ.
На барскій дворъ она *бѣжитъ*,
И на крыльцо тихонько всходитъ,
Въ покои темные глядитъ;
Они давно стоятъ пустые,
Но лишь въ окно луна блеснетъ,
То, мнится ей, въ часы ночные,
Тамъ бродятъ призраки родные,
Тамъ дышитъ то, чего ужь нѣтъ.
И все, чѣмъ сердце газцвѣтало,
И что сбылось, и что пропало,
Что обѣщалъ и не далъ свѣтъ,
Что было, есть—любовь, страданья,
Безвѣстность, ужасъ ожиданья,
Все разомъ, гибельной стрѣлой
Въ душевны раны проникаетъ,
И жжетъ, и холодъ гробовой
Въ убитомъ сердцѣ разливаетъ...
— Но святость горя и любви
Сильнѣе бѣдствія земнаго...

Наталья идетъ въ Москву. «*Нѣтъ горести сильнѣе воспоминанія о счастливомъ времени въ дни бѣдствій.*» Сіи слова Данте избралъ поэтъ эпиграфомъ первой пѣсни,

«*Потерянное на землѣ ожило въ небесахъ:*» сіи слова Байрона взяты за эпиграфъ второй пѣсни. Наталья приближается къ Москвѣ, и *Москва видна* ей —

Москва видна въ широкомъ полѣ,
И ужь вдали замѣтенъ видъ
Стрѣлецкой башни *полудикой*;
Уже въ очахъ Иванъ-Великой:
Какъ жаръ вѣнецъ его горитъ.
Глядитъ, и въ сердцѣ онѣмели
Тоска и страхъ! Чему нѣтъ *словъ*,
Что дышитъ тайною гробовъ,
Напѣвомъ дѣтской колыбели,
Прокралось въ трудь. И трижды въ прахъ
Передъ Москвой она склонилась,
И съ *мрачнымъ* пламенемъ въ очахъ
Къ заставѣ близкой торопилась.
Но ужь опять въ душѣ у ней
Волненье прежнее страстей!
Взгляните, какъ она уныло,
То чуть ступаетъ, то бѣжитъ,
И сколько въ грусти боязливой
Неизъяснимаго таитъ!
Нѣтъ! гордый умъ не разгадаетъ,
Что сердце робкое мечтаетъ:
Любовью созданный въ вѣдахъ,
Ее волнуетъ новый страхъ.
Чья жизнь въ другихъ, тотъ по неволѣ

Предметамъ вѣритъ въ темной долѣ.
Она боится, чтобъ монахъ
Ей не былъ встрѣчею печальной;
Чтобъ черный гробъ въ дыму свѣчей,
При звукахъ пѣсни погребальной,
Не испугалъ ея очей—
И голосъ милой, но прощальной,
Вездѣ, во всемъ несется къ ней.

Вечеромъ приходитъ она въ Кремль, и мѣсячная ночь была уже на небѣ, когда она взошла къ верхней церкви Спаса за Золотою Рѣшеткою. Горячая мольба усладила ея отчаяніе. Въ Кремлѣ безмолвіе; лучи мѣсяца играютъ на стеклахъ Грановитой Палаты; только звонъ часовъ раздается въ безмолвіи ночи...

Уныло путница младая,
Младенца къ персямъ прижимая,
Сходила съ Краснаго Крыльца,
Дрожала, плакала, блѣднѣла,
И робкая на камень сѣла
У озареннаго дворца.
Невольно душу волновали,
И блескъ минутный юныхъ дней,
И тѣ святые дни печали,
Которыхъ память намъ милѣй...
Въ грозѣ, ничѣмъ не отразимой,
Темницу друга раздѣлять,
Съ нимъ вмѣстѣ плакать, съ нимъ страдать,
Ея надеждою любимой.
Но сердце, сжатое тоской,
Тонуло въ думѣ роковой.
На вѣкъ-ли небо омрачилось?
Гдѣ онъ? что съ нимъ? Уже-ль свершилось?

И въ немъ забывъ людей и свѣтъ,
Съ душой усталою отъ бѣдъ,
Она сидѣла, чуть дышала,
Одну мечту другой сменяла,
Томяся въ смутной тишинѣ,
Не на яву и не во снѣ.
Къ ней что-то льнетъ, къ ней что-то вьется...
Она вздрогнула; сердце бьется;
По жиламъ холодъ пробѣжалъ,
Сквозь сонъ младенецъ закричалъ,
И что-то будто-бы мелькнуло,
Пошевелилось и вздохнуло...
«Ты здѣсь? Творецъ! какой судьбой?
«О, ты-ли, другъ, опять со мной! ...»
И прежнихъ дней товарищъ милый,
Предъ ней, встревоженный, унылый,
На свѣтлой площади стоитъ.
Онъ къ ней нейдетъ, не говоритъ
И зорко на нее глядитъ.
Онъ завернулся въ плащъ широкой,
Онъ въ думѣ мрачной и глубокой
И чуденъ блескъ его очей,
И блѣденъ ликъ, и видъ смущенной,
И кольца черныя кудрей
Не вьются къ шеѣ обнаженной.
Сковалъ ее внезапный страхъ;
Встаетъ; нѣтъ силъ; на камень пала
И внѣ себя, ему, въ слезахъ,
Младенца сонного казала.
Какъ будто содрогнулся онъ,
Какъ будто непонятный стонъ
Въ устахъ сомкнутыхъ раздавался;
Недвижимъ, къ ней онъ приближался,

Ужаснымъ чѣмъ-то омрачонъ.
Она глядитъ, дохнуть не смѣетъ...
А полная луна свѣтлѣетъ—
И плащъ откинулся слегка,
Выходитъ медленно рука,
Грудь обнажилась, кровь чернѣетъ
Рубашки бѣлой на краю;
Онъ тихо сталъ передъ женою
И волосы собравъ рукою,
Съ плечъ поднялъ голову свою,
И ярко озаренъ луною,
На шеѣ признакъ роковой
Темнѣлъ багровой полосой.

Участь Натальи совершилась: *его* нѣтъ въ мірѣ! Здѣсь поэтъ быстро проходитъ время скорби, до самаго постриженія Натальи. Онъ изображаетъ, какъ Наталья предала Днѣпровскимъ волнамъ послѣдній залогъ земнаго, обручальное кольцо свое. Слѣдуетъ картина древняго Кіевскаго храма и обрядъ таинственнаго обѣта отреченія отъ міра. Погребальныя пѣсни оглашаютъ своды храма—

Въ житейскомъ мірѣ зря волненье,
Отъ бури гибельныхъ страстей
Я притекла искать спасенья
У тихой пристани твоей!

И здѣсь оканчиваетъ поэтъ повѣсть о Натальѣ Долгорукой.

Летая думой вдохновенной
Въ завѣтный мракъ минувшихъ дней,
Опять узналъ мой духъ смятенной
Тревогу томную страстей.

Хоть свѣтлый призракъ жизни юной
Печаль и годы унесли,
Но сердце, но мечты, но струны—
Они во мнѣ, со мной, мои.
Я вспомнилъ ночь, когда томимой
Тоской, ничѣмъ неотразимой,
Въ Печерской лаврѣ я сидѣлъ
Надъ той спокойною могилой,
Надеждамъ страшной, сердцу милой,
Въ которой прахъ священный тлѣлъ.
Она душѣ была порукой
Невѣрной радости земной—
И тѣнь Натальи Долгорукой
Во тмѣ носилась надо мной,

Ни одно изъ сочиненій Козлова не возбуждало столь сильнаго участія читателей, и въ то-же время не навлекало на него столь жестокихъ критикъ, какъ эта новая поэма. Мы видѣли людей, съ сильнымъ чувствомъ, съ умомъ и просвѣщеніемъ, которые плакали, читая поэму Козлова. У многихъ читательницъ Козловъ сдѣлался любимымъ поэтомъ. Приведенныя нами мѣста, и еще болѣе чтеніе поэмы вполнѣ, доказываютъ, что Козловъ написалъ ее прекрасными стихами; многія мѣста превосходны; многія горятъ силою чувства и страсти. Но въ то-же время нельзя нѣсколько не согласиться и съ критиками, которые винятъ поэта во многомъ и за многое.

Мнѣ трудно судить о поэмѣ Козлова, зная лично поэта и слышавъ поэму изъ устъ его самого, еще до ея появленія въ свѣтъ. Никогда въ душѣ моей не из-

гладится сильное впечатлѣніе, какое испыталъ я, проведя нѣсколько часовъ подлѣ болѣзненнаго одра, на которомъ сидѣлъ Козловъ. Подлѣ шума и волненія Петербурга, тихое уединеніе, вечеръ, поэтъ, слѣпой, изнуренный страданіями; вокругъ любезное, милое семейство его, нѣсколько друзей, пришедшихъ, не раздѣлять бремя скорби и болѣзни, но слушать поэта, говорить съ нимъ, дивиться этому непонятному психологическому явленію. Говоря съ Козловымъ, я забылъ, что онъ слѣпой, что бремя болѣзни приковало его къ одру страданія. Мы говорили о многомъ, и необыкновенная память и обширныя свѣдѣнія Козлова изумили меня. Съ удивленіемъ слушалъ я, какъ читалъ онъ мнѣ наизусть стихи Пушкина, Баратынскаго, множество стиховъ Байрона, Мура; говорилъ о поэзіи Французской, Итальянской. Міръ земной не существуетъ для поэта: онъ живетъ въ мірѣ поэзіи и воображенія. Когда болѣзнь угнѣтаетъ его, онъ начинаетъ мечтать, сочинять стихи, и забываетъ свои скорби. Чтеніе Натальи Долгорукой меня очаровало: я полюбилъ тогда творенія Козлова, и теперь не хочу разрушать своего очарованія. Пусть другіе съ холоднымъ чувствомъ читаютъ поэму, судятъ, сравниваютъ, и рѣшаютъ споръ между несправедливымъ осужденіемъ нѣкоторыхъ и, можетъ быть, излишнею похвалою многихъ.

Соглашаюсь, что Козловъ не вполнѣ изобразилъ намъ Наталью Долгорукую; что дѣйствіе въ поэмѣ его слабо и нѣсколько изысканно. Поэтъ могъ болѣе воспользоваться дѣйствительностію, могъ болѣе взять мѣ-

стныхъ красокъ. Почему, повозка, въ которой Наталья съ бѣдными дѣтьми ѣдетъ въ Москву; почему другой, болѣе естественный способъ открыть ей смерть мужа ея, не выводя привидѣнія; почему изображеніе Натальи уже не въ молодыхъ лѣтахъ принимающей обѣтъ монашества, почему, говорятъ намъ, все это не нравилось поэту? Онъ взялъ краски слишкомъ *общія*; у него не видно *мѣстности*: онъ могъ перенесть Наталью изъ Дворца въ Сибирь, и проч. и проч. — Дѣйствіе состоитъ почти все въ разсказахъ; Наталья только идетъ въ Москву, бросаетъ колько въ Днѣпръ и постригается: гдѣ-же та страдалица, которая не хотѣла любви изгнанника промѣнять на роскошь, наслажденія, богатства, почести? Въ какой другой поэмѣ удастся заключить столько богатыхъ предметовъ, сколько заключаетъ ихъ въ себѣ жизнь Натальи Долгорукой? Козлова упрекаютъ еще, что онъ всѣмъ жертвуетъ *эффекту*; приготовляетъ читателя только къ нечаянностямъ, къ театральнымъ сценамъ. Какъ въ романѣ г-жи Коттенъ, говорятъ намъ, Наталья слишкомъ живописно идетъ пѣшкомъ, для того, чтобы зайдти въ Кусково; незнаетъ онъ участи мужа, чтобы увидѣть тѣнь его; бросая кольцо вспоминаетъ мечтательный сонъ и видитъ звѣздочки на небѣ; при постриженіи является ея сынъ. Все это слишкомъ изысканно. Байронъ такъ не писалъ; простота, дѣйствіе само собою; всторону всѣ coups de théâtre, всѣ мечты, какія не существовали въ дѣйствительности, всѣ черты излишнія: локоны, которыми утираетъ слезы Наталья, и безпрестанныя бури, сіянія мѣсяца, ночные мраки, тучи, и проч. и проч.

Осуждать легко, но все-ли это будетъ основательно. Во первыхъ, за чѣмъ-же всегда прикидывать на поэмы Байрона? Кто споритъ, что Байронъ могъ-бы сдѣлать лучше. Но Омиры, Данте, Лопецы-де-Веги, Шекспиры, Гете и Байроны являются тысящелѣтіями; къ означеннымъ нами шести поэтамъ, кого еще можемъ причислить? Недавно, говоря съ Мицкевичемъ о Колериджѣ и Сутеѣ, я слышалъ искреннее признаніе его, что всѣ свои сочиненія, всего Колериджа и Сутея, онъ отдалъ-бы, безъ выбора, за одну поэму Байрона. Вижу пристрастіе, и признаюсь: за *Беппо* не отдамъ Мицкевичева Валленрода, а за *Парву* Кегамы Сутеевой; но слова Мицкевича показываютъ, какъ думаютъ о Байронѣ люди съ необыкновеннымъ, огромнымъ талантомъ, и слѣдовательно, болѣе насъ умѣющіе понимать великаго Байрона. Судя творца Натальи Долгорукой безъ сравненій, въ его настоящемъ положеніи, и говоря, не о томъ, чтобы онъ, или другой кто, *могъ сдѣлать*, а только о томъ, что онъ *сдѣлалъ*, мы не можемъ не согласиться, что поэма Козлова творение съ большими достоинствами, писана по вдохновенію сердца, исполнена теплоты сердечной, и тѣмъ легко объясняется сильное дѣйствіе ея на многихъ. Разговоръ Натальи съ Священникомъ; разсказъ Священника; Наталья въ Кусковскомъ саду и у Московской заставы; явленіе тѣни Долгорукаго; сцена на берегахъ Днѣпра; постриженіе—все это исполнено красотъ. Вотъ съ этимъ мы согласимся безпрекословно, что Козловъ съ излишкомъ входитъ въ описательность: отъ Кускова до Москвы, встрѣчаются у него

описанія зноя, бури, восхожденія и захожденія солнца. Но здѣсь находимъ мы извинительную, трогательную причину. Поэтъ на вѣкъ лишенъ восхитительнаго зрѣлища природы, и его воображеніе живѣе и ярче всего представляетъ ему картины, какихъ никогда уже не увидятъ въ мірѣ тѣлесныя очи его: онъ дорожитъ ими; ему кажется, что и мы всѣ, холодные къ наслажденіямъ зрѣнія, также горячо любимъ ихъ, какъ онъ, навсегда ихъ лишенный! Читайте Чернеца, посланіе къ Жуковскому, и почти всѣ стихотворенія Козлова, вы поймете это единственное наслажденіе поэта въ вѣчной разлукѣ съ милымъ, незабвеннымъ сердцу его, и—не осудите его строго. Труднѣе оправдать Козлова въ изысканности нѣкоторыхъ положеній и словъ, въ подновленіи, такъ сказать, новыми современными чувствами дѣйствующихъ лицъ, которые не могли имѣть ихъ. Здѣсь оправдаемъ Козлова тѣмъ, что положеніе его не позволяетъ ему войдти въ критическія и археологическія соображенія. Для того, чтобы переселиться въ другой вѣкъ, изучить образы, характеры вѣка, подробности, свойственныя тому вѣку и для насъ несуществующія, потребно отдѣльное изученіе. Можно быть увѣрену, что сцена Самозванца въ кельѣ монаха-лѣтописателя стоила Пушкину большихъ соображеній, чтенія, критическаго обозрѣнія Исторіи и Археологіи XVII вѣка: все въ ней такъ хорошо соблюдено, малѣйшая черта, понятія, слова, всѣ оттѣнки вѣрны, очаровательны по своей исторической точности. Кажется, поэтъ *видитъ* и легко *списываетъ*, но эта легкость есть результатъ огромной приготовительной работы, а къ такому труду

Козловъ не имѣлъ и не имѣетъ средствъ приступить.

Стихи Козлова звонки и гибки. Выше сего замѣчено въ выпискахъ нѣсколько словъ неточныхъ, или не на мѣстѣ поставленныхъ. Можно замѣтить ихъ во всей поэмѣ. Но сіи погрѣшности теряются въ интересѣ цѣлаго, и особливо при мысли о самомъ поэтѣ. Наслажденіе красотами затмѣваетъ въ глазахъ читателя недостатки, явные только при холодномъ разбирательствѣ его прекраснаго творенія.

Пѣсни и романсы А. Мерзлякова. *М.* 1830 *г.*, *въ т. С. Селивановскаго*, *въ* 12, *VI и* 110 *стр.*

Поколѣнія различаются одни отъ другихъ понятіями, повѣрьями, вкусами, и это естественно и необходимо. Но жаль, что сосѣдственныя одно къ другому поколѣнія часто заводятъ между собою о семъ различіи споры, и даже ссоры, а это вовсе нехорошо и несправедливо. Споры обыкновенно идутъ о томъ: *кто* лучше и *гъе* лучше? Такіе споры между поколѣніями бываютъ о политикѣ, гражданскомъ бытѣ, даже о женщинахъ. Такъ, напримѣръ, и въ наше время: старики, съ досадою смотрятъ на молодежъ, выхваляютъ свое старое, *доброе* время, и тишину умовъ и вкусовъ, и шаркливую вѣжливость своихъ обществъ, и прелесть своихъ красавицъ въ мушкахъ и робронахъ. А молодежъ? Уступаетъ-ли она? Куда! и думать не хочетъ! «Уступить старикамъ, дряхлымъ, отставшимъ, скучнымъ?» кричитъ молодежъ. Старики, разсердясь, въ свою очередь называютъ молодыхъ дряхлыми душою, бѣгущими сломя голову впередъ, буйными, пожимаютъ плечами при котильонахъ, при новыхъ модахъ, и — даже смотря на милыхъ современницъ нашихъ (съ ихъ *Китайскою* прическою и *слоновыми ушами* на рукавахъ), прыгающихъ галопадъ!

Какъ рѣшить? Спасиво, есть судья, рѣшающій споры: этотъ судья *время*. Одинаково стирая пудру съ головы старика и румянецъ съ лица юности, оно все уравниваетъ. Мѣлкія отношенія забываются; вели-

кія истины, великіе вопросы каждаго поколѣнія передаетъ время дѣтямъ своимъ, *внукамъ*.

Благодарны за трудъ его, но между тѣмъ, что намъ дѣлать съ спорами поколѣній современныхъ? Надобно же для *настоящаго* рѣшать ихъ чѣмъ нибудь и какъ нибудь? Споры сіи касаются всего. Человѣкъ твореніе преупрямое и преспорливое.

Такъ, напримѣръ, о современныхъ двумъ поколѣніямъ писателяхъ — несогласіямъ конца нѣтъ! Говоримъ не о великихъ и вѣковыхъ, но о писателяхъ, хотя и не великихъ, но достойныхъ памяти и уваженія. Спросите у стариковъ о *Мерзляковѣ* — это геній, это глубокомысленный критикъ, поэтъ великій, ораторъ чудный. Спросите у молодыхъ — другая крайность!

По нашему мнѣнію, весь споръ именно состоитъ въ томъ, что обѣ стороны впадаютъ въ крайности. Собственное честолюбіе и эгоизмъ спорщиковъ вмѣшиваются также въ тяжбу, и вмѣшиваются весьма сильно. Вы оскорбляете старика, который нѣкогда былъ въ восторгѣ отъ трагедій Княжнина, говоря ему, что сіи трагедіи не хороши; холодность вашу онъ назоветъ безчувствіемъ, осужденіе испорченностью вкуса. Самъ онъ не признается вамъ, что его *я* играло въ его сужденіи первую роль: онъ былъ тогда молодъ, влюбленъ, находился въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ, и можетъ быть, за стихи Княжнина, имъ читанные, награждаемъ былъ взоромъ и слезою милой вашей бабушки. *Такихъ* взоровъ, *такихъ* слезъ... не забываютъ.

Въ наше время найденъ однакожъ путь къ философическому воззрѣнію на предметы. Нынѣшній *эклектизмъ* совсѣмъ не безчувствіе, но опытная мудрость. Тщеславиться нечѣмъ, что старики наши его не знали: онъ составился не нами, но временемъ. Эклектизмъ, при методѣ *исторической критики*, при *этнографической*, такъ сказать, *эстетикѣ*, даетъ намъ средства быть справедливыми ко всѣмъ и ко всему. Все это не сдѣлалось еще общею принадлежностью нашего вѣка, но число избранныхъ уже довольно велико.

Разсматривайте каждый предметъ, не по безотчетному чувству: *нравится*, *не нравится*, *хорошо*, *худо*, но по соображенію историческому вѣка и народа, и философическому важнѣйшихъ истинъ души человѣческой. Такъ смотря, Индійская Сакунтала, Омирова Иліада, Расинова Андромаха, Шекспировъ Гамлетъ и Гетевъ Фаустъ покажутся вамъ въ истинномъ ихъ свѣтѣ. Уступимъ мѣлкія наши отношенія, по крайней мѣрѣ, въ мірѣ Изящнаго! Довольно и того, что эти комары страстей жужжатъ въ прозѣ нашего общественнаго быта...

Если смотрѣть съ такой точки на Мерзлякова, какъ литтератора, то найдемъ, что онъ, по своему времени и по своимъ способамъ, былъ достойный преемникъ Ломоносова, имя его навсегда останется въ Исторіи нашей литтературы. Но хотѣть, чтобы мы восхищались имъ, какъ восхищались отъ его стиховъ и прозы лѣтъ за тридцать — не прогнѣвайтесь — требованіе нелѣпое! Мерзляковъ не можетъ быть *для насъ*,

нынѣ, предметомъ ни восхищенія, ни подражанія.

Какъ человѣкъ, Мерзляковъ былъ явленіе замѣчательное. Сынъ бѣднаго Пермскаго жителя — онъ рано почувствовалъ жажду познанія и созналъ поэтическое дарованіе свое. Лѣтъ сорокъ тому написалъ онъ первую свою Оду, обратившую на него, бѣднаго мальчика, вниманіе Екатерины. Что тогда было, не только у насъ, но и въ Европѣ? Надлежащее изученіе Классиковъ было неизвѣстно; Французскій Классицизмъ владѣлъ повсюду деспотически; Романтическій міръ Среднихъ вѣковъ и Востокъ были чужды; міръ Романтизма новаго существовалъ отдѣльно, но вообще не сказался еще себѣ; о народности имѣли понятія ложныя. Въ этомъ состояніи, въ этомъ вѣкѣ, Мерзляковъ дѣлалъ все, что было можно, и дѣлалъ, какъ человѣкъ дорованій отличныхъ.

Не говоримъ о трудѣ, который долженъ былъ перенесть Мерзляковъ, чтобы образовать въ себѣ изъ сына малограмотнаго купца отличнаго профессора, ученаго человѣка, принесшаго практически важную пользу. Но Мерзляковъ сдѣлался однимъ изъ лучшихъ стихотворцевъ и прозаиковъ своего времени. Оды его исполнены поэзіи, гораздо болѣе Одъ Ломоносова и Петрова. Глядя сквозь стекло Французскаго Классицизма, Мерзляковъ передавалъ, въ этомъ отношеніи, превосходно и Омира, и Тасса и Виргилія. Какъ послѣдователь Лагарпа, онъ былъ теоретикомъ умнымъ и краснорѣчивымъ, сражался съ предразсудками и современными нелѣпостями неустрашимо — указывалъ и на нескладицу Сумарокова, и громадную пустоту Хераско-

ва, и поддѣльный Эллинизмъ Озерова. Таковы были его заслуги вообще. Послѣ Гнѣдича, Омиръ Мерзлякова не для насъ. Дезульеръ забыли и въ подлинникѣ; на Горація, Виргилія смотрятъ иначе. О Синавѣ и Россіядѣ не спорятъ; одъ торжественныхъ вообще не читаютъ — но виноватъ-ли Мерзляковъ? Нѣтъ! вините его вѣкъ, а литтературной чести у него не отнимайте. Дай Богъ, чтобы въ наше время являлись свои Мерзляковы. Покажите намъ хоть одного человѣка, который-бы въ *нашъ* вѣкъ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ *свой* вѣкъ?

Съ сей-же точки зрѣнія смотрѣть должно на *Пѣсни и романсы* Мерзлякова, нынѣ въ первый разъ вполнѣ собранные и изданные, г мъ книгопродавцемъ Салаевымъ, и — приваѣмъ, изданные весьма хорошо и опрятно. Не знаемъ: кто раздѣлилъ на два отдѣленія это собраніе, означивъ 13 пьесъ *пѣснями*, а 24 *романсами*? Раздѣленіе невѣрно. *Жизнь смертныхъ тяжелое бремя*, и другія пьесы, совсѣмъ не романсы. Къ 13 *пѣснямъ* отнесены собственно въ Русскомъ народномъ духѣ написанныя пьесы.

Сличите романсы и пѣсни (не Русскія-собственно), сочиненныя Мерзляковымъ, съ тѣмъ, что до него писали — какая разница! *Желанія наши соверишились*, *Я въ пустыню удаляюсь*, *Чистый источникъ*, *ты всего милѣе*, *Заря утренняя взошла* — смѣнились его пѣснями: *Когда-бъ я былъ любимъ*, *Простите обольщенья*, и проч. — Разумѣется, теперь рѣдкій изъ порядочныхъ нашихъ стихотворцевъ не напишетъ лучше, послѣ Жу-

ковскаго, Пушкина. Но прежде, Мерзляковъ былъ выше всѣхъ другихъ по искуснымъ стихамъ, уступая только одному Нелединскому въ силѣ чувства. За то стихи Нелединскаго были весьма плохи.

Мерзляковъ первый почувствовалъ прелесть простыхъ Русскихъ пѣсенъ. При голосѣ Сандуновой и мелодіяхъ Кашина, онъ очаровывалъ нѣкогда преложеніемъ Русскихъ пѣсенъ, *преложеніемъ*, повторяемъ, ибо тогда не иначе слушали народныя пѣсни. Да и теперь не такъ-ли ихъ многіе понимаютъ? Не чувствуя, что въ народныхъ думахъ, въ простотѣ, грубости вымысла и изложенія, заключаются красоты необыкновенныя, намъ хотятъ гладить, лощить, исправлять пѣсни народа, и — портятъ ихъ. Выходитъ какая-то смѣсь щегольства съ дикостью и простотою, какія-то театральныя пляски съ *па* и *антраша*, крестьяне въ маскарадѣ.... ошибка страшная и нестерпимая!

Этой ошибки не избѣжалъ Мерзляковъ, ибо тогда всѣ такъ думали. Пѣсня Стеньки Разина, богатство поэзіи въ самыхъ простонародныхъ пѣсняхъ, почли-бы нестерпимымъ мужичествомъ, и то, отъ чего теперь дрожитъ наша Русская душа, сильно бьется наше Русское сердце, конечно, заставило-бы носикъ не одной красавицы 1800-го года вздернуться съ негодованіемъ. Но отдадимъ справедливость Мерзлякову: онъ лучше всѣхъ понималъ истинную прелесть народныхъ Русскихъ пѣсенъ, и ни до него, ни послѣ него, никто не перелагалъ ихъ такъ просто, и слѣдовательно, хорошо. Въ стихахъ:

У тоски моей нѣтъ крыльевъ полетѣть,
У души моей нѣтъ силы потерпѣть,
У любви моей нѣтъ воли умереть....

Или въ другихъ:

Какъ-же слушать пересудовъ мнѣ людскихъ?
Сердце любитъ не спросясь людей чужихъ;
Сердце любитъ не спросясь меня самой!
Вы уймитесь, злые люди, говоритъ —
Не уйметесь, научите не любить —

слышите не поддѣльное Русское слово, Русское повѣрье. Но изъ безчисленныхъ красотъ народности, Мерзляковъ бралъ мало, робко; у него немного стиховъ, подобныхъ приведеннымъ нами. Хотите-ли видѣть, какъ онъ спадалъ съ народнаго голоса?

Не расти *въ пустынѣ* хмѣлю *безъ подпоры*,
Не цвѣсти цвѣтамъ подъ солнышкомъ осеннимъ,
Мнѣ не можно жить безъ милаго тирана.
Не браните, не судите меня люди:
Я пропала не виной, а простотою,
Я не думала, что есть въ любви измѣна,
Я не знала, что *притворно можно плакать*,
Я въ слезахъ его читала клятву сердца...

Курсивомъ напечатанное — явная ошибка... *Пустыня*, *тиранъ* — и еще *милый*, *притворное плаканье*, *клятва сердца въ слезахъ*—это Фонтенелевское, Мармонтелевское аханье, которое, конечно, выкупается превосходными словами: *я пропала простотою*, *не виною*, и Русскимъ сравненіемъ цвѣтовъ подъ осеннимъ дождичкомъ, но тѣмъ не менѣе тутъ ошибка, и грубая,

подобная той, что въ 12-й пѣснѣ Мерзлякова, Русской, народной, является — *Лилла* (Лилла, Лилла! чѣмъ увѣрить мнѣ тебя!) Это все равно, что называть красную Русскую дѣвицу Хлоя Петровна, Ниса Яковлевна, Аминта Сергѣевна....

Извинимъ всѣ такіе недостатки вѣка и отдадимъ справедливость дарованію поэта. Иначе, хваля и презирая безъ отчета, мы будемъ несправедливы.

СТИХОТВОРЕНІЯ МИХАИЛА ДМИТРІЕВА. 2 *части М.* 1830 *в., въ т. А. Семена, въ* 8, 251, *V, IV,* 243, *VIII и II стр.*

Классическій и *Дворскій* уровень, наложенный на умы Французовъ со времени царствованія Людовика XIV-го, произвелъ наконецъ во Французской Поэзіи рѣшительное безплодіе великаго, и можетъ быть, по противодѣйствію, обыкновенному въ природѣ, страшную, ужасающую плодовитость посредственнаго и мѣлкаго. Двѣ первыя трети XVIII-го вѣка особенно составляли этотъ несчастный періодъ. Мы отсылаемъ читателей нашихъ къ превосходной статьѣ, помѣщенной въ Телеграфѣ 1830 г. (№ 15, стр. 340, и проч.): тамъ философически разсмотрѣны, сущность и слѣдствія состоянія Французской Словесности 75-ти первыхъ лѣтъ XVIII-го вѣка, Словесности вообще бѣдной, жалкой, смѣшной.

Трудно представить себѣ пустоту этой Словесности, но не менѣе трудно вообразить, что въ то время глядѣли на эту Словесность, какъ на верхъ совершенства; что въ ней были цѣлыя школы, отдѣленія поэтовъ; что они важничали собою, преподавали правила, давали примѣры, называли варварами Англичанъ, Нѣмцовъ, Испанцевъ, и какой нибудь знаменитый monsieur Дорать, маркизъ Лафаръ, конечно, не помѣнялись-бы своею славою съ *мужикомъ* Шекспиромъ... Бѣдные!

Вообще, кромѣ *бездарности*, отличительную черту того времени составляли *подражаніе* и строгое *соблюденіе* установленныхъ, извѣстныхъ *правилъ*. Поэтъ долженъ былъ выбрать себѣ въ патроны какого нибудь автора, опредѣлить родъ своихъ занятій—оду, эпопею, героиду, элегію, сатиру, комедію, трагедію, мѣлочь, анакреонтизмъ, тибуллизмъ, горацiанизмъ. Выходили томы; въ этихъ томахъ долженствовали быть, кромѣ свойственныхъ каждому автору, главныхъ, общіе всѣмъ роды стихотвореній. Такими считались: преложенія псалмовъ, переводы Горацiевыхъ одъ, рѣчи въ стихахъ, стихотворенія философическія, элегіи, и—непремѣнно—басни. Рѣдкій изъ самыхъ отчаянныхъ Французскихъ пѣвуновъ Хлой, Делій и Аминтъ не представилъ образчиковъ во всѣхъ упомянутыхъ нами *общихъ* родахъ. Было множество и такихъ, которые только этими общими родами занимались, не опредѣляя себя особенно на оду, сатиру, эпопею. Пописавши нѣсколько времени, напечатавши въ журналахъ, альманахахъ болѣе или менѣе стиховъ, прочитавъ нѣсколько пьесъ въ ученыхъ, или свѣтскихъ обществахъ, поэтъ обязанъ былъ собрать свои стишонки въ отдѣльную книгу, напечатать ее, украсить эпиграфами, посвященіемъ, примѣчаніями, и библіографія Французская годъ отъ году болѣе и болѣе страдала водяною болѣзнью отъ авторовъ, которыхъ теперь и именъ не знаютъ.

Это простиралось тогда не на одну Поэзію; вся Литтература Французская терпѣла одинакую участь. Отъ сего умы писателей унизились, ослабѣли; не ду-

мали уже ни о славѣ, ни о вдохновеніи. Поэтъ, издавая книжку стихотвореній, клялся всѣми святыми, что онъ ищетъ только улыбки милой, или воспоминанія друзей, хочетъ имъ оставить память о себѣ. Для чего пишутъ всякій вздоръ на стѣнахъ постоялыхъ дворовъ? Разгадайте, и вы поймете, для чего писали тогда во Франціи, поймете это пошлое желаніе оставить по себѣ чернильную память. Такъ думали поэты; но что думала публика? Вотъ что говоритъ объ этомъ времени умный Оже: «О блаженное время любви къ стихамъ и снисхожденія къ поэтамъ! гдѣ ты? Поэзія у насъ въ такомъ упадкѣ, что мы почитаемъ глупостью, или почти глупостью, еще писать стихи, и особенно писать и печатать ихъ. Мы такъ извѣрились на стихи, что едва явятся новые, читатели уже готовы биться объ закладъ, что они никуда негодны. Надобно признаться, что въ самомъ дѣлѣ, утверждающій противное едва-ли не всегда проиграетъ. Жребій собранія стихотвореній нынѣ: быть судимымъ по обверткѣ сотнею читателей, которые вовсе не станутъ читать его, и осужденнымъ дюжиною журналистовъ, которые перелистуютъ бѣдную книжечку, чтобы побранить ее. Право, теперь выгоднѣе для поэта вовсе не имѣть ни одного читателя и ни одного критика. Такое состояніе жалостно; добра ожидать отъ него не льзя, а худа можно. Нѣтъ сомнѣнія, что оно не принудитъ ни одного дряннаго рифмача отказаться отъ стиховъ, ибо ежедневно видимъ мы сотни людей, которые не устаютъ писать, такъ, какъ публика не устаетъ пренебрегать ими. Но жаль, если оно обезнадежитъ юношей съ истинными дарованіями, которые не

осмѣлятся идти на встрѣчу нашему отвращенію отъ стиховъ, нашему рѣзкому презрѣнію къ рифмачамъ.»

Оже боялся напрасно. Въ то-же время, какъ тысячи рифмачей писали запоемъ пошлости, и лоскомъ посредственности сглаживали все, существовали люди, пробивавшіе новые пути. Въ самое несчастное время Французской Литтературы были Вольтеры, Руссо, Монтескье, и послѣ нихъ явились Шатобріаны, Сталь и славные товарищи ихъ.

Но не говоря о такихъ людяхъ, обратимся къ второстепеннымъ и третьестепеннымъ. Одни изъ нихъ тогда знакомили Францію съ иноземными богатствами другіе осмѣливались передавать ихъ соотечественникамъ въ своихъ сочиненіяхъ. Имена Летурнеровъ, Милльвуа, Сенъ-Пьеровъ, Бауръ-Лорміановъ, Дюсисовъ, Делилей, Крезе-де-Лессе, привлекали вниманіе публики и достойны нашей памяти. Слѣдствія ихъ трудовъ были прекрасны: Ламартины, Делавины, Гюго, Вите, Мериме, де-Виньи наслѣдовали Бернарамъ, Пезе, Сенъ-Марамъ и Кампенонамъ.

Но Исторія Французской Литтературы не принадлежитъ къ нашему предмету. Мы хотѣли только сказать о бѣдныхъ рифмачахъ первыхъ двухъ третей XVIII-го столѣтія и второкласномъ переходѣ отъ рѣшительной бездарности къ нѣкоторому оживленію, въ Делиляхъ, Дюсисахъ, Бауръ-Лорміанахъ. Просимъ замѣтить эту точку въ исторіи Литтературы Французской. Мы укажемъ на нее въ Россіи.

Со временъ Анны, а рѣшительно со временъ Елисаветы, мы во всемъ подпали власти Французовъ. Когда А. Шуваловъ писалъ Французскіе стихи, Русскіе ѣздили кланяться въ Ферней, и почтенный Муравьевъ былъ въ восторгѣ, что его сравнивали съ Доратомъ *, какъ можно было Литтературѣ нашей не плясать подъ дудку Французовъ? Боже сохрани, если бы кто осмѣлился тогда не чувствовать прелестей Грессета, не вѣрить Лагарпу, не подражать Дюсису! У насъ дѣлалось тогда все, что дѣлалось во Франціи, и разумѣется, дѣлалось не самобытно, но передразнивая Французовъ. Такъ мы добились наконецъ и до возрожденія ихъ Литтературы. Они вездарствовали — и мы тоже; они начали читать Англичанъ — и мы тоже; они стали подражать другимъ — и мы туда-же.

В. Л. Пушкинъ, князь Хованскій, напримѣръ, были живые снимки съ Доратовъ, Грессетовъ, Лафаровъ. Хотите-ли теперь видѣть нашихъ Бауръ-Лорміановъ Крезе-де-Лессе? М. А. Дмитріевъ передъ вами, съ двумя томами своихъ *Стихотвореній*.

Эти два тома могли-бы сжаться въ два маленькіе томика, если-бы напечатать ихъ обыкновеннымъ образомъ, безъ растянутыхъ названій, отдѣльныхъ листковъ, эпиграфовъ и ужасныхъ заставокъ между строчками. Манеръ печатать стихи *разгульнымъ*, такъ сказать, образомъ, выгоденъ для типографщиковъ. Но что за ра-

---

* Съ Доратомъ я успѣлъ уже сравниться въ томъ, что онъ какъ я, былъ мушкетеромъ...

дость отъ него авторамъ? Не понимаемъ. Неужели они мѣряютъ славу свою толщиною и огромностью книжекъ своихъ? Но развѣ не видятъ они пустоты страницъ, на которыхъ, какъ на степи дорожки, лежатъ одинокія строчки?

Стихотворенія М. А. Дмитріева составляютъ именно переходъ отъ нашихъ Доратистовъ и Грессетистовъ къ нашимъ Баурь-Лормианамъ и Миллевуа.

Форма, ладъ стиховъ у него старые—*Карамзинскіе*, если угодно: шероховато, но вылощено, отзывается тяжелымъ трудомъ, но гладко, принужденно, но стройно. Видно, какъ авторъ нанизывалъ стихъ къ стиху и разводилъ узоры мыслей, опредѣленныхъ квадратцами канвы. Далѣе: поэтъ отказывается отъ славы, споритъ съ своими стихами, не хочетъ пускать ихъ въ свѣтъ, и соглашается только потому, что *авось хоть друзья прочтутъ ихъ*. Чисто Доратовскій вѣкъ! Кто тогда не повторялъ этого? Кто этимъ неоправдывался въ печатаніи своихъ стиховъ, какъ будто въ преступленіи, какъ будто безъ оговорки печатать не смѣетъ? Смотрите далѣе: 17 элегій, 27 пѣсенокъ, стишковъ въ альбомы, къ садику, къ Волгѣ, къ вязанью, къ Провидѣнію, къ Надеждѣ, къ Натальѣ, къ канвѣ, 13 басенъ, 8 псалмовъ, 12 пьесъ въ родѣ одъ, Discours en vers, и опять стихи: къ лирѣ, къ Музѣ, гдѣ безконечныя извиненія о томъ, зачѣмъ все это напечатано, хотя изъ примѣчаній ясно видно, какъ поэтъ дорожитъ каждымъ стихомъ своимъ.

Все это въ порядкѣ старомъ. Гдѣ-же переходъ къ

новому, къ полу-Романтизму? Вотъ гдѣ: оды М. А. Дмитріева являются въ разнообразныхъ куплетахъ, въ смѣси съ элегическимъ; Ломоносовская форма исчезла, хотя сущность все еще старая. Далѣе видимъ подражанія (переводами назвать не смѣемъ) Гете, Шиллеру, Маттисону, подражанія на манеръ старинныхъ Французскихъ, это правда— но они доказываютъ, что поэтъ читалъ уже и Нѣмцовъ. Изъ пьесы: *Люциферовъ праздникъ* узнаемъ, что и *Фаустъ* знакомъ поэту.

Опредѣливъ мѣсто въ ряду поэтовъ, надобно-ли говорить о томъ: каковы стихотворенія М. А. Дмитріева? Читатели поймутъ сами.

Что однакожъ говоритъ о стихахъ своихъ самъ поэтъ? Онъ отвѣчаетъ:

. , . ? . . . . Ахъ!
Краснѣясь, вамъ скажу *на это* въ двухъ словахъ. . . .

и откровенно высказываетъ истины, непріятныя для его авторскаго самолюбія. Увѣренный въ небольшомъ достоинствѣ своихъ стиховъ, хотя и утѣшаетъ онъ своихъ поэтическихъ дѣтей, что —

Критикъ не найдетъ большихъ пороковъ въ васъ:
Слогъ гладокъ; вкусъ нигдѣ не оскорбленъ уродствомъ;
Нѣтъ ложныхъ, низкихъ чувствъ, раздора съ благородствомъ;
Разсудокъ съ рифмою согласенъ каждый разъ —

Но подписываетъ однакожъ имъ ужасный приговоръ:

Вы ждать не можете *ни славы, ни презрѣнья*!

Мы совершенно согласны съ авторомъ, согласны и въ томъ, что онъ правъ, съ горестію вспоминая о времени, потерянномъ на писанье стиховъ. Въ урокъ рифмующимъ юношамъ, выписываемъ только три строчки изъ многаго:

Осталось позднее лишь въ сердцѣ сожалѣнье:
Зачѣмъ сіи часы, средь славныхъ нѣжась Музъ,
Не могъ я посвятить на зрѣлое ученье!

Въ самомъ дѣлѣ, жаль!

Двумужница, или за чѣмъ пойдешь, то и найдешь. *Оригинальная, романтическая драма въ 2-хъ частяхъ, раздѣленная на пять сутокъ, въ прозѣ, и въ стихахъ стариннаго Русскаго размѣра. Соч. князя А. А. Шаховскаго, съ хороводными и святочными играми и плясками.*

— Почему такъ думать? Иной цѣлой вѣкъ пишетъ плохо, а вдругъ напишетъ хорошо!

«Я и не спорю съ вами, что бываютъ такіе случаи. Давно сказано: «И Бавій иногда обмолвится стихомъ!»

— Эпиграмма не доказательство. Но извольте сами посмотрѣть и потомъ судите. Пьеса романтическая, въ Русскомъ духѣ, съ сильными движеніями, не хуже вашихъ *Терезъ* и *Антоніевъ!*

«Вы не говорите: хороша-ли она?

— Если вамъ мало похвалы, которая напечатана была въ Сѣверной Пчелѣ, такъ довольно-ли будетъ того, что въ Петербургѣ зрители рыдали, не просто плакали отъ нея; дамы были въ истерикѣ и обмороках; мужчины кричали, что у нихъ *Русскій духъ въ огнѣ проявляется*; что это свѣтлая звѣзда народности литтературной, національности драматической, пѣснь лебедя поэтическаго. А вы согласитесь, что Петербургъ всегда перещеголяетъ Москву вкусомъ.

«Едва-ли въ Драматическомъ Искуствѣ. Гдѣ до сихъ поръ пляшетъ Филатка въ Митавскомъ Маскарадѣ, гдѣ донынѣ уродливыя бенефисныя пьесы безобразятъ сцену, тамъ едва-ли можно положиться на вкусъ публики. Вы видѣли *Двумужницу* здѣсь?

— Нѣтъ! не видалъ. Но это чудо, это прелесть...

«А судя по прежнему —

— Что-же: *по прежнему?*

«То, что Князь А. А. Шаховской до нынѣ испыталъ всѣ роды драматическихъ сочиненій: писалъ Трагедіи, Комедіи, Оперы, Водевили, Мелодрамы, въ стихахъ и прозѣ; бралъ предметы изъ Библіи — вспомните *Деббору* — изъ Исторіи, изъ сказокъ; передѣлывалъ въ драму романы В. Скотта и М. Н. Загоскина, поэмы Пушкина, обошелъ весь міръ, ища сюжетовъ для Драмы, былъ и въ древней Греціи, и въ новой Франціи — такое безпокойство показываетъ, безъ сомнѣнія, или многообразное величіе генія, или рѣшительную неудачу, которая встрѣчаетъ писателя на всѣхъ тропинкахъ Парнасса, такъ, что ему *не остается, что дѣлать*, какъ....

— Ну, чтожъ — докончите —

«Какъ перестать писать, или сознаться, подобно Репетилову:

И я въ чины-вы лѣзъ, да неудачи встрѣтилъ!

— О! помилуйте! Но что-же тогда будетъ Русская сцена, если князь А. А. Шаховской перестанетъ писать! Его пьесы, правда, ужь и понадоѣли немного,

но виновать-ли онъ, что кромѣ его пьесъ играть нечего?

«А у него есть изъ чего выбрать, надобно согласиться. Думаю, пьесъ сто составляютъ театръ князя А. А.

— Но *Двумужница*, увидите, есть послѣдній листокъ къ лавровому вѣнку нашего поэта. Одно то, что Русское...

«Да, будто донынѣ ничего не бывало на Русской сценѣ Русскаго? Вы забыли незабвеннаго *Мѣльника*, остроумнаго *Недоросля*, прелестную оперу *Старинныя святки*, Драмы Ильина, имѣющія большія достоинства, особливо *Рекрутскій наборъ*; наконецъ Русскіе фарсы, *Филатку*; наконецъ пьесы Плавильщикова: *Бобыль*, *Мѣльникъ и Сбитенщикъ соперники*, и Княжнина, съ *Несчастіемъ отъ кареты*, *Сбитеньщикомъ*?

— Что за пьесы? что за *Русское!* Ну, *Мѣльникъ*— пусть такъ, но *Старинныя святки* сборъ пѣсенъ подблюдныхъ, а не драматическое созданіе; Ильинъ—нашъ Коцебу; Плавильщикова пьесы — подражаніе; Княжнина тоже — дрянь! И будто *Сбитеньщикъ*, *Недоросль*, *Несчастіе отъ кареты*—Русскій бытъ, Русскіе нравы? Сатира — пустая, вздорная, не Драма, не Трагедія Русская!

«Если угодно Русскихъ Трагедій, такъ я начту вамъ ихъ сотню, съ *Синава и Трувора* до *Ермака*, г-на Хомякова и *Марѳы Посадницы*, изданной г-мъ Погодинымъ!

— Будто это Русь, Русь, наша мать, съ ея нравами, обычаями? Сумароковъ, Княжнинъ, Озеровъ, все это стоитъ на ходуляхъ Классицизма, и самая Трагедія есть ходули: надобно, сударь, Драму, Драму Романтическую, сильную, пылкую, страстную, смѣшную, терзательную, Шекспировскую, Русскую.—

«О Шекспировскихъ ни слова, а *Русскихъ* написалъ самъ князь А. А., и Драмъ, и Комедій, и Оперъ—десятки.

— Ну, то были не Русскія, и опять все таки лежало на нихъ клеймо Классицизма. Пока мнѣ говорятъ: *Траведія*, *Комедія* — я ничего хорошаго не жду.

«Нѣтъ! *Ѳедоръ Григорьевичъ Волковъ*, *Ломоносовъ*, *Иванъ Сусанинъ*, *Юрій Милославскій*, *Рославлевъ*, *Финнъ*, *Соколъ Князя Ярослава* — были Русскія попытки, и безъ клейма Классицизма.

— Ахъ, Боже мой! Это были попытки, опыты, какъ вы сами говорите.

«Да, чтожъ-же это? Много-ли попытокъ дѣлать автору, пока онъ, падая и падая, научится не падать?

— Все еще въ иныхъ не могъ князь А. А. стереть съ себя Классическихъ привычекъ; въ другихъ онъ хотѣлъ изобразить не Русь-собственно, но такъ, что нибудь — сокола, Сусанина, начало Театра Русскаго; въ иныхъ увлекался другими, и виноваты были не онъ, а Пушкинъ и М. Н. Загоскинъ, которые изоб-

ражали Русь не Русскою. Кромѣ того, тогда не были извѣстны эти сильныя, Шекспировскія, бѣшеныя средства, какія употребляются нынѣ Французами, эта простая природа, которую узнали новѣйшіе драматики.

«То есть, тогда Антоній не захватывалъ платкомъ на сценѣ рта своей любовницѣ, и не тащилъ ее за кулисы; тогда шутъ-отецъ не таскалъ по сценѣ въ мѣшкѣ трупа своей обруганной дочери; тогда не заставляли развратной женщины быть героинею драмы, и составлять завязку драмы *разными родами умилостивленія* въ пользу своего любовника; тогда....

— Но, что вы нападаете на простоту природы и національность? Такъ, сударь, въ природѣ, такъ у Шекспира!

«Нѣтъ! у Шекспира не такъ, національность совсѣмъ не то, а изъ природы зачѣмъ выбирать только отвратительную гадость—живодерни, сѣченье плетьми, рѣзню? Какъ средства искусства — это ошибка; какъ средства растрогать зрителей — тоже; какъ средства изобразить природу — тоже, и сто тытячь разъ тоже... Но, кажется, играютъ увертюру — пойдемте!»

Вотъ разговоръ, слышанный мною въ театральномъ корридорѣ, гдѣ остановилъ меня знакомый, и занялъ, сперва вопросами о здоровьѣ моемъ, домашнихъ, знакомыхъ; потомъ разсказами объ инфлуэнцѣ, о нездоровьѣ своей жены, дѣтей; наконецъ объ Англійскомъ Клубѣ, и проч. и проч. — Я слушалъ его, а между тѣмъ слушалъ и разговоръ, который передалъ

выше сего, сколько можно точнѣе и вѣрнѣе. Защитникъ *Двумужницы*, сильныхъ движеній, національности, простой природы, былъ молодой человѣкъ, въ очкахъ, въ манто съ бобровымъ воротникомъ; сомнѣвающійся былъ старикъ, въ старой медвѣжьей шубѣ, крытой зеленымъ сукномъ. Они стояли подлѣ буфета, гдѣ Рускій мужичекъ отвѣралъ и раскладывалъ яблоки... Но, я забылъ, что рѣчь идетъ о новой пьесѣ, а не объ изображеніи подробностей простой природы.... И вотъ — какъ пишетъ одинъ изъ рецензентовъ Сѣверной Пчелы — пошелъ я въ кресла; и вотъ показалъ капельдинеру билетъ; и вотъ рѣченный капельдинеръ воззрѣлъ на билетъ; и вотъ возсѣлъ я въ кресла; и вотъ устремилъ очи на ложи; и вотъ сицевымъ образомъ, вашъ покорный слуга слушалъ сладкозвучную *музыку*; и вотъ, нижеподписавшейся, предался я потомъ чтенію длинной аффишки; и вотъ произвелся шумъ занавѣса, и — *началась пирушка* для вкуса, глазъ, ушей.

Часть первая. *Сваха въ бѣдахъ*. Народный бытъ, въ двухъ суткахъ. Дѣйствіе въ 1742 году. *Сутки первыя*. Васильевъ вечеръ. — Святочное собраніе въ домѣ Мареы Арефьевны, въ Балахнѣ. Приходитъ сваха Кузминишна, говоритъ безъ умолку, съ пословицами и поговорками, и рекомендуетъ жениха крестницѣ Арефьевны, Грунѣ, дочери купца Усова. Являются переодѣтые, въ харяхъ. Въ числѣ ихъ женихъ, какой-то прикащикъ на баркахъ. Поютъ подблюдныя пѣсни; прикащикъ поетъ удалыя пѣсни и волочится за Грунею.

Племянникъ Арефьевны, Иванушка, поетъ дурацкую пѣсню. Вдругъ шумъ, крикъ, пожаръ; вбѣгаютъ разбойники; прикащикъ схватываетъ Груню, несетъ ее вонъ — занавѣсъ опускается. — *Вторыя сутки* — кажется, года черезъ два, или три — *Встрѣча на Унжѣ.* Часть ограды монастыря и колодецъ. Множество нищихъ. Слѣпой старикъ, нищій Савватій, сидитъ отдѣльно и поетъ о Лазарѣ Бѣдномъ. Разные проходящіе — помѣщица, отставной маіоръ, старый подьячій, и разныя штуки нищихъ съ ними (хохотъ въ райкѣ). Является Усовъ, начинаетъ разговаривать съ Савватіемъ, разсказываетъ ему исторію о побѣгѣ дочери и уходитъ. Является Кузминишна. Ее ограбили дорогою разбойники. Она разсказываетъ свои похожденія, сватовство Груни, выманиваетъ у Савватія деньги, имъ собранныя, и уходитъ. Съ Савватіемъ шла дорогою какая-то бѣдная женщина. Разумѣется — это Груня. Мнимый прикащикъ былъ переодѣтый атаманъ Волжскихъ разбойниковъ, Егоръ Башлыкъ. Онъ увезъ ее, обвѣнчался съ нею, жилъ года два, и бросилъ ее. Груня горюетъ; Савватій утѣшаетъ; доведенная до крайности, Груня рѣшается просить милостыни. Первый встрѣчается съ нею отецъ; она узнаетъ его, падаетъ въ обморокъ. Занавѣсъ опускается.

Часть вторая. *Волжскій разбойникъ.* Русская быль, въ 3-хъ суткахъ. Дѣйствіе въ 1748 году. Сутки первыя. *Новоселье.* Опрятный домикъ и садикъ. Груня вышла за мужъ за купца, по прозванію Бобра. У нихъ уже есть сынокъ, пяти лѣтъ. Боберъ, жившій до сихъ

поръ съ тестемъ своимъ, выстроилъ себѣ домъ, и только что переѣхалъ на новоселье. Начинается предлиннымъ разговоромъ Кузминишны съ Усовымъ. Потомъ слѣдуетъ столь-же длинный разговоръ Бобра съ женою; наконецъ заключается длиннымъ разговоромъ Иванушки съ Бобромъ и Грунею. Боберъ далъ слово искать клада для Кузминишны, и идетъ къ ней. Груня остается одна. Въ это время Башлыкъ подкрадывается съ товарищами. Ножъ, взнесенный на спящаго сына Груни, заставляетъ ее молчать, и Башлыкъ опять уноситъ ее.—Сутки вторыя. *Ивановъ день.* Заборъ Боброва дома на Волгу. Боберъ тоскуетъ о пропажѣ, или побѣгѣ жены своей. Приходитъ Усовъ, узнаетъ причину его грусти и готовъ проклинать дочь свою. Но является Савватій, и изъясняетъ имъ подозрѣніе, что Грунею увезъ Башлыкъ. Онъ хочетъ поразвѣдать объ этомъ. Идетъ хороводъ. Кузминишна тутъ, съ прежнею болтовнею. Пляшутъ, играютъ въ коршуна. Раздается: *Внизъ по матушкѣ по Волгѣ*, и плывутъ лодки Башлыка. Боберъ видитъ свою жену близь атамана, который кричитъ ему: *Не владѣть тебѣ моимъ добромъ*—(Раекъ хлопаетъ и радуется. Сидящія подлѣ насъ бородки шепчутъ: *славно, славно!*) Боберъ въ отчаяніи. Лодки уплываютъ. *Третьи сутки.* Разбойничій притонъ. Сволочь Башлыка, раскольники, Малороссіяне, подьячіе, бѣглые, пьяницы, забавляются, борются, досадуютъ на бездѣлье, на рыцарское добледушіе Башлыка, который мало рѣжетъ и грабитъ, боятся, чтобы онъ не разнѣжился слишкомъ съ Грунею. Зачинщикъ всѣхъ жаловъ, есаулъ Дятелъ, отчаянный

разбойникъ. Выходятъ Башлыкъ съ Грунею. Она угощаетъ разбойниковъ. Башлыкъ поетъ пѣсню. Тащатъ Савватія. Думая, что онъ шпіонъ, допрашиваютъ его, хотятъ пытать. Но Башлыкъ беретъ его подъ свое покровительство. Дятелъ и другіе обнаруживаютъ неудовольствіе. Дятелъ разсказываетъ о Стенькѣ Разинѣ, какъ онъ убилъ свою любовницу. Башлыкъ увѣряетъ товарищей въ удальствѣ, и въ доказательство, что онъ не изнѣжился, вызываетъ на бой любаго. Дятелъ выходитъ, получаетъ ударъ кистенемъ, такъ, что падаетъ безъ чувствъ. Его выносятъ. Крикъ, шумъ, пальба, смятеніе. Боберъ призвалъ команду солдатъ и напалъ на разбойниковъ. Всѣ бѣгутъ драться. Груня и Савватій остаются, молятся, горюютъ. Выходитъ Дятелъ, едва держась на ногахъ и не въ состояніи опомниться. Но у него пистолеты, и онъ можетъ еще убить Груню и Савватія. Прибѣгаетъ Башлыкъ, раненый, съ головнею, и бѣжитъ въ подвалъ, чтобы взорвать притонъ. Новый ужасъ Груни. Но Башлыка предупредили. Онъ вылѣзаетъ изъ подвала, зажигаетъ притонъ — пожаръ! Бѣгутъ Боберъ и солдаты, схватываютъ Башлыка; онъ молитъ о смерти. Дятелъ застрѣливаетъ его и умираетъ самъ. Груня обнимаетъ мужа. Занавѣсъ шумитъ и опускается.

Думая, что междудѣйствіе будетъ продолжительно, я отправился въ театральную кофейную, и засталъ тамъ, въ дымѣ табачномъ, множество народа, который ходилъ, сидѣлъ, курилъ, пилъ, ѣлъ. Въ углу большой залы увидѣлъ я опять двухъ спорщиковъ, которыхъ

встрѣтилъ прежде въ корридорѣ; они опять сильно спорили. Я подсѣлъ къ нимъ, будто не обращая вниманія. Впрочемъ, они говорили во весь голосъ, и вотъ, сколько припомню, разговоръ ихъ:

«Словомъ сказать — восклицалъ старикъ въ зеленой шубѣ—не знаю, что вамъ тутъ нравится. По моему, это хуже всякой дряни бенефисной!

— Помилуйте — кричалъ молодой человѣкъ въ очкахъ — это Русскій бытъ, это самое трогательное зрѣлище, истинно Романтическая, Шекспировская драма!

«Оставьте вы Шекспира въ покоѣ. Просто: князь А. А., испытавъ неудачи, рѣшился на самый отчаянный литтературный ударъ—подражаніе новымъ Французскимъ драматикамъ, у которыхъ четвертуютъ и душатъ на сценѣ; главные герои — разбойники, мошенники; завязка въ такихъ вещахъ, которыхъ — не говорятъ при другихъ, и которыя позволяется нынѣ драматическимъ писателямъ, не только говорить, но представлять, со всѣми отвратительными подробностями. О нынѣшнемъ театрѣ не скажете: RIDENDO CASTIGAT MORES.

— Но, Русь, Русь...

«Какая тутъ Русь? Пошлыя забавы на посидѣлкахъ, и пляски, которыя мы видимъ въ каждомъ почти дивертисманѣ, болтовня Русской бабы, мошенничество нищихъ, подьячій, забавы разбойниковъ на междудѣльѣ, и только все это скрашено Русскими поговорками и пословицами.

— Но страсти, движеніе...

«Какія страсти? Бѣдная дѣвушка, которую насильно увозитъ разбойникъ, Русскій мужикъ, и потомъ бросаетъ; она таскается по дорогамъ; ее прощаютъ; сыскивается молодецъ, и — женится на ней! И вотъ, опять увозитъ ее насильно разбойникъ; мужъ отбиваетъ у него жену свою и беретъ опять къ себѣ! Это возбуждаетъ только омерзѣніе. Отецъ Груни скученъ до смерти; Боберъ прежалкое лицо; Груня и жалка и отвратительна; Кузминишна надоѣдаетъ вздорами, Иванушка глупостью...

— Это, сударь, смѣшеніе комическаго съ трагическимъ, верхъ совершенства — и какія сцены!

«Да, сцены, нѣчего сказать: ножъ, нападеніе разбойниковъ; отецъ въ нищей узнаетъ дочь свою и она въ обморокѣ; ножъ поднимаютъ надъ спящимъ ребенкомъ и мать соглашается отдаться мерзавцу-разбойнику; мужу показываютъ издали жену въ рукахъ злодѣевъ и онъ не можетъ спасти ея; слѣпаго нищаго хотятъ пытать, и зритель думаетъ, чтобы — чего добраго — не начали пытки; разбойникъ хочетъ зажечь притонъ, и зритель боится, что все взлетитъ на воздухъ... И это Драма, это страсти, это положенія, выведенныя изъ тяжбы человѣка съ судьбою, изъ глубины сердца и души человѣческой?.. Это, сударь, фарсъ, который годится... въ доказательство, что значитъ дать свободу воображенію, неуправляемому вкусомъ, и до какой степени мы исподражались иностран-

цамъ. У нихъ читали на распѣвъ Александрійскіе стихи Ахиллесы и Атриды, и мы читали ихъ; у нихъ явились Водевили, и мы затопили ими театръ; у нихъ пошли Мелодрамы, и мы играли ихъ; у нихъ теперь рѣжутъ, грабятъ, душатъ на сценѣ и кричатъ: «національность, романтизмъ!» и мы мы тоже дѣлаемъ и кричимъ. Стыдно, сударь, стыдно намъ, Рускимъ, до такой степени быть безхарактерными! — Спрашиваю еще васъ: что это за пѣсни пѣли на сценѣ теперь? Неуже-ли это *Русскія?*

— Да, но онѣ немного украшены Итальянскими руладами.

«Не принадлежатъ-ли также къ совершенству драмы длинные разговоры между рѣшительными сценами и безсвязность происшествій?

— Разумѣется. Посмотрите на людскіе разговоры: они обыкновенно бываютъ пустые и вздорные; посмотрите на жизнь — она обыкновенно безсвязна — это простая природа. А вы привыкли къ украшенному, къ бомбасту, къ ходулямъ...

«Полно, не вы-ли, господа, становитесь на ходули? Что естественнаго въ новой драмѣ вашей? Согласенъ, что Ахиллъ, съ его: madame, смѣшонъ; что Криспины намъ надоѣли; что вѣчно-обманутые опекуны скучны. Но лучше-ли этого ваши Груни, Бобры, Бащлыки, Кузминишны, Усовы? Прежде вытягивались въ менуэтъ — вы пляшете въ присядку и кувыркаетесь черезъ голову — вотъ вся разница. Но для мену-

эта надобно было хоть немного учиться, а въ присядку возлѣ каждаго питейнаго дома спляшутъ лучше вашего. Какъ вишь это? Да, простая природа. Съ Богомъ, господа! Прочь вкусъ и искуство! Давай намъ кабаковъ, нищихъ, разбойниковъ, страшныхъ сценъ; крась только все это мужицкими поговорками, пословицами, вставляй пѣсни — мы закричимъ: *браво!*

— Неужели вы думаете, что это легко?

«Неужели вы думаете, что это трудно? Вѣдь плана не надобно; наблюденій, знанія сердца не нужно; писать можно прозой? Ахъ! если-бы не такъ старъ я былъ — такъ-бы ужь и быть: написалъ-бы Романтическую Драму...

«Попробуйте.

— А что бы думаете! Положимъ, что я пишу. Какъ-бы названіе? Надобно пострашнѣе и позамысловѣе. *Ванька Оторви Голова*, *или чортовъ пасынокъ*, либо *Иванъ отпѣтый*, *или не вспоя*, *не вскормя*, *ворова не увидишь*, *романтическая игра въ жмурки*, или *драматическій кассьтетъ*, *въ трехъ актахъ и въ восьми дняхъ*, *взятый изъ Русскаго преданія*, съ хорами, балетами, Русскимъ бытомъ, шабашами Кіевскихъ вѣдьмъ, кулачнымъ боемъ, и проч. и пр.

Въ первомъ актѣ — названіе его: *Отцовскій домъ*, *или воре*, *лыкомъ подпоясанное* — Иванъ, сынъ купца Чушкина, влюбленъ въ дочь казначея Доброва, Анюту. Иванъ любитъ погулять, пошалить; Анюта любитъ его

Сцена трехъ вѣдьмъ, подлѣ будки, гдѣ дремлетъ будочникъ. Вѣдьмы пляшутъ, поютъ. Идетъ хороводъ. Иванъ на веселѣ, съ товарищами, пляшетъ, поетъ. Анюта хочетъ удержать его; открытіе любви. *День первый.*

Добровъ говоритъ съ дочерью. Ему предлагаютъ деньги за неправое дѣло — онъ отказывается. Иванъ приходитъ просить руки его дочери — онъ отказываетъ. Отчаяніе любовниковъ. Узнаютъ, что ночью обокрали Казначейство: это сдѣлали товарищи Ивана. Сцена подьячихъ. *День второй.*

Иванъ уговариваетъ Анюту бѣжать. Она не хочетъ. Отчаяніе. Сцены съ нянею, съ отцомъ. Декорація представляетъ съ зади рѣку; съ права домъ Доброва, съ лѣва Чушкина. Иванъ промотался. Онъ уговаривается съ товарищами; они ждутъ его подъ горою, поютъ. Иванъ выбиваетъ окно и лѣзетъ въ комнату Анюты. Потомъ бѣжитъ въ себѣ, и въ одно мгновеніе Иванъ бросается изъ дома съ шкатулкою, Анюта изъ своего съ узелкомъ. За Иваномъ гонится отецъ его; за Анютой отецъ ея. Чушкинъ держится за шкатулку, Добровъ за дочь. Кричатъ: *караулъ*! Выбѣгаютъ будочники, товарищи Ивана — драка; товарищи зажигаютъ домъ. «Я обезчещена!» кричитъ Анюта — отецъ ея падаетъ и умираетъ. «Не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь!» кричитъ Иванъ и показываетъ отца пожемъ, схватываетъ Анюту, бѣжитъ. Крикъ, шумъ, бьютъ набатъ; вѣдьмы летаютъ по сценѣ на помелахъ, среди пожара — *день третій.*

Второй актъ. *Удалая голова, или тѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ.* Иванъ пропился, промотался. Анюта ушла отъ него. Дѣйствіе въ кабакѣ; разныя сцены; бьютъ цѣловальника. Но тѣнь отца преслѣдуетъ Ивана; любовь къ Анютѣ мучитъ его. Онъ узнаетъ, что Анюта живетъ въ домѣ помѣщика Простакова. *День первый.*

Сцены у Простакова... Милое семейство Простакова. Онъ самъ и прикащикъ его волочатся за Анютою, но она остается добродѣтельна. Является Иванъ; ужасъ, отчаяніе. Простаковъ и прикащикъ приходятъ къ Анютѣ, узнаютъ другъ друга — смѣшное; прячутся, слыша, что идетъ г-жа Простакова. Она ругаетъ и бьетъ Анюту. Иванъ не можетъ стерпѣть — бьетъ ее; мужъ вступается. Иванъ свищетъ. Тутъ можно зажечь домъ. Товарищи Ивана являются, вяжутъ Простаковыхъ, грабятъ. Смѣшное и ужасное вмѣстѣ. Анюту тащатъ. *День второй.*

Актъ третій. *Чортовъ пасынокъ, или повадится кувшинъ по воду ходить, тутъ ему и голову положить.* Городская тюрьма. Сцены горести, смѣха, отвратительныхъ шутокъ. Иванъ пойманъ и въ цѣпяхъ. Анюта скрылась у пустынника. Вѣдьмы помогаютъ Ивану освободить себя и колодниковъ, съ тѣмъ, чтобы онъ продалъ душу чорту. *День первый.*

Пустыня. Анюта и отшельникъ. Онъ влюбляется въ Анюту, и стараясь сбить ее съ толку, поетъ, пляшетъ казачка. Иванъ идетъ съ товарищами. Сцены

грабежа на дорогѣ. Анюта не хочетъ идти съ Иваномъ. Сцена ревности пустынника — онъ убиваетъ Анюту, и идетъ въ товарищи къ Ивану. Задняя декорація подымается — шабашъ вѣдьмъ и разбойниковъ. *День второй.*

Иванъ уже славный разбойникъ. Пустынникъ измѣняетъ ему. Приводятъ цѣлые караваны и разныхъ плѣнниковъ. Ихъ заставляютъ плясать и пѣть: случай танцовать Испанскія, Калмыцкія, Китайскія па. Пустынникъ уже раскаялся. Онъ рѣжетъ Ивана, мертвецки пьянаго, но не совсѣмъ, чтобы успѣла явиться тѣнь отца, упрекать Ивана, а вѣдьмы за его душею. Жгутъ убѣжище разбойниковъ. Солдаты берутъ ихъ самихъ. Пустынникъ уходитъ въ непроходимые лѣса. *День третій.*

— Что вы скажете о моей драмѣ?

«Вы шутите: это гиль, безъ связи и отвратительная.

— Неправда. Ту все есть: ужасъ, трогательное, смѣшное, изображенія простой природы. Я вставлю шутокъ, пословицъ, Русскихъ пѣсенъ. Напримѣръ, угодно-ли вамъ глупость мужицкую? У меня запоютъ:

Пошла баба, поплелась,
поплелась;
Товаръ баба повезла,
повезла;
Товаръ бабій дорогой,
дорогой:

Полтора локтя холста,
да холста.
Взяла баба кузовокъ,
кузовокъ;
На дороженьку запасъ,
да запасъ:
Двѣ пригоршни толокна,
толокна, и проч.

Необходимо что нибудь удалое, и Иванъ будетъ пѣть, въ кабакѣ, или на шабашѣ, какую нибудь каррикатуру Русскихъ народныхъ пѣсенъ, каррикатуру удалую, составленную изъ самыхъ отчаянныхъ словъ и выраженій. Напримѣръ вотъ такъ:

Охъ, ты, гой еси, младъ, ясенъ соколъ,
Ты разгульный сынъ, сынокъ матушкинъ,
Разутѣшное дитя батюшки!
Полно, молодецъ, отца слушаться,
Полно матери покланятися,
Горемыкой сидѣть съ красной дѣвицей;
Полно мыкать тебѣ горе горькое,
Отъ невзгодицы, воли дѣвичьей

Вышелъ молодецъ
Въ волю буйную,
На Царевъ кабакъ,
На кружало онъ
Государево;
Зеленымъ виномъ
Не нахвалится;
Волей буйною
Не натѣшится.
Какъ возговоритъ

Добрый молодецъ:
«Охъ, вы, братцы мои,
Вы товарищи!
Мы запѣнимъ-ли
Волгу матушку
Косной лодочкой;
Мы напьемся-ли
Меду пьянаго,
Непокупнаго;
Мы заваримъ-ли
Пива крѣпкаго —
Мы затремъ его
Головой своей;
Мы сваримъ его
Молодечествомъ—*Ну, и такъ далѣе!*

— Вы смѣетесь моимъ каррикатурамъ? Но, повѣрьте, что точно такова ваша Русь, какою вы восхищаетесь въ *Двумужницѣ*. Видно, вы худо знаете Русь добрую, настоящую, истинную, съ ея добромъ и худомъ, съ ея удалью, съ ея истиннымъ характеромъ...

«Мы не знаемъ Руси? Мы, которые больше нежели чувствуемъ каждое слово, хотя-бы, напримѣръ, изъ разсказа Дятела о Стенькѣ Разинѣ! Вы представили мнѣ пародіи пѣсенъ, но вѣрно умолкнете передъ прелестью этого разсказа.

— Нѣтъ, не умолкну, потому, что вижу въ немъ каррикатуру настоящаго народнаго разсказа, который, въ самомъ дѣлѣ, какъ поэтическое произведеніе простолюдина, можетъ быть прелестенъ, неподражаемъ. Авторъ Двумужницы передѣлалъ и — обезобразилъ его.

Слушайте, я буду говорить вамъ цѣлый часъ всякую дичь, въ родѣ Дятела, мѣрной прозой, которая при чтеніи походитъ на стихи, и которою обыкновенно разсказываютъ у насъ простолюдины сказки свои:

« По Каспійскому морю, по Хвалынскому, буря подымается; вихорь-молодецъ распотѣшился: со дна моря крутитъ пески желтые, разбиваетъ лодки молодецкія.

«Семь лодокъ съ ладьей бьетъ о круты берега; семь другихъ крушитъ о камни бѣлые Приволжскіе, крушитъ, вертитъ, щепой несетъ.

«На шестнадцатой сидитъ добрый молодецъ, удалой атаманъ, отецкій сынъ, по прозванью Иванъ Оторви Голова.

«Сидитъ атаманъ добрый молодецъ, пригорюнился, запечалился, опустилъ свои руки бѣлыя, во слезахъ его очи ясныя.

«Какъ возговоритъ добрый молодецъ: «Охъ, вы, гой еси, товарищи удалые, закадычные друзья, вѣрные, съ кѣмъ попить, погулять, съ кѣмъ думу крѣпкую раздумати!

«Гибнете вы, добрые молодцы, ни за денежку!

«Съ Волги-матушки согнала насъ сила Царская, загнала насъ въ земли бусурманскія, отдала насъ на добычу вихрю чуждому, не родимому, не привѣтному!

«Гибнете вы, добрые молодцы, ни за денежку!

«Съ кѣмъ мнѣ въ темну ночь будетъ соколомъ летать, на купца напасть, на ножи пойдти на булат-

ный, кистенемъ махать, соловьемъ свистать, зеленымъ вином кого чествовать?

«Сгинь, удалая голова моя! Что мнѣ мыкаться по бѣлу свѣту; горючи слезы ронять, какъ жемчугъ низать»..

— Ну, и далѣе, сколько вамъ угодно?..

«Вы все шутите.

— А вы, уже-ли не шутите, когда хвалите мнѣ пьесу, безсвязную по содержанію, составленную изъ сценъ изысканныхъ, между которыми разговоры безъ конца и скучны до смерти, пьесу, гдѣ Русскаго духа видомъ не видать, а выставлена только каррикатура Руси, гдѣ нѣтъ ни страстей, ни характеровъ, ни слога, и все вертится на нищихъ, разбойникахъ, ножахъ, болтовствѣ...

Молодой человѣкъ въ очкахъ, кажется, осердился. По крайней мѣрѣ, онъ вдругъ всталъ, пробормоталъ что-то и ушелъ. Въ слѣдъ за нимъ поплелся и старикъ въ зеленой шубѣ.

Разговоръ двухъ незнакомцевъ показался мнѣ столь любопытнымъ, что вмѣсто рецензіи новой пьесы князя А. А., я почелъ лучшимъ передать его читателямъ. Пусть теперь судятъ, какъ кому угодно. Мое дѣло сторона: я пересказалъ, что слышалъ, а отъ себя прибавилъ только содержаніе *Двумужницы*,

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

3 2044 019 297 829

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

*Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

WIDENER
WIDENER
MAR 0 9 2005
SEP 1 0 2005
CANCELLED
BOOK DUE

WIDENER
WIDENER
AUG 1 6 2006
FEB 1 0 2007
CANCELLED

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

КНИЖНАЯ
МАГАЗИНЪ
В.И.КЛОЧКОВА
Петроградъ. Литейный пр. №55
LIBRAIRE
W.KLOTSCHKOFF
Pétrograd.— Lileiny. №55